prose_su_classics

Максим
Горький

Всеволод
Витальевич
Вишневский

Борис
Андреевич
Лавренёв

Валентин
Петрович
Катаев

Леонид
Сергеевич
Соболев

Сергей
Николаевич
Сергеев-Ценский

Лидия
Николаевна
Сейфуллина

Андрей
Платонович
Платонов

Иван
Иванович
Катаев

Борис
Пильняк

Юрий
Карлович
Олеша

Вячеслав
Яковлевич
Шишков

Исаак
Эммануилович
Бабель

Илья
Арнольдович
Ильф

Евгений
Петрович
Петров

Михаил
Михайлович
Зощенко

Михаил
Ефимович
Кольцов

Всеволод
Вячеславович
Иванов

Константин
Георгиевич
Паустовский

Александр
Грин

Борис
Степанович
Житков

Павел
Петрович
Бажов

Константин
Александрович
Федин

Алексей
Николаевич
Толстой

Юрий
Николаевич
Тынянов

Антология русского советского рассказа (30-е годы)

Книга раскрывает современному читателю панораму жизни нашей страны в годы коллективизации и первых пятилеток. Значимость социальных перемен, которые дала людям Советская власть, отражена в рассказах М. Горького, Л. Платонова, В. Шишкова, Вс. Иванова и других.



ru

oldtimer

ABBYY FineReader 12, FictionBook Editor Release 2.6.6
2017-03-18
ABBYY FineReader 12
{E3045237-E7E6-449B-B7D1-262ABA16D8A7}
2.0

v.1.0 — Scan: ewgeniy-new (февраль 2014)
v.2.0 — fb2 convert: oldtimer

Современник
Москва
1986

Составитель, автор вступительной статьи и примечаний: Сергей Григорьевич Боровиков Рецензент: А. И. Овчаренко Редактор: О. Владимирская Художественный редактор: Е. Андреева Технический редактор: В. Соколова Корректоры: В. Лыкова Г. Черепенникова Подписано к печати 04.08.86. Тираж 300 000 экз. Цена 2 р 50 к.

Антология русского советского рассказа (30-е годы)

Страницы новой эпохи

«Надо делать вещи, достойные времени… Это так же трудно, как на огромном лугу очертить контур тени, отброшенной грозовым облаком. Оно несется со скоростью, превышающей во много раз медлительную поступь искусства. Здесь и лежит причина отсутствия средней формы — рассказа и повести. Отсюда рождаются две основные струи в настоящем художественном движении: можно или фотографировать стремительные тени гигантских вещей и их творцов, переполняющих нашу современность, или же пытаться в более монументальных жанрах искать ту эмоциональную формулу, по которой образуются эти суровые тучи, полные дождя и благодеяний для земли». (Из выступления Леонида Леонова на I съезде советских писателей.)
Достижения русского советского романа в предвоенное десятилетие общеизвестны. Стоит лишь перечислить:
М. Горький — «Жизнь Клима Самгина», А. Толстой — «Хмурое утро», «Петр Первый» (2-я книга), М. Шолохов — «Тихий Дон» (3, 4-я книги), «Поднятая целина» (1-я книга), В. Шишков — «Угрюм-река», Н. Островский — «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей», С. Сергеев-Ценский — «Севастопольская страда», Л. Леонов — «Скутаревский», «Дорога на океан», К. Федин — «Похищение Европы», А. Малышкин — «Люди из захолустья», А. Фадеев — «Последний из Удэге», Вс. Иванов — «Похождения факира», В. Катаев — «Белеет парус одинокий», «Время, вперед!», И. Ильф и Е. Петров — «Золотой теленок», В. Каверин — «Два капитана» (1-я книга). Над романами работают Б. Лавренев и Б. Пильняк, А. Чапыгин и И. Эренбург, А. Платонов, Ю. Тынянов, О. Форш, М. Булгаков, другие крупные писатели.
Если романы 30-х годов широко известны, потому что живут для современного читателя, то вторая «основная струя» литературы тех лет, определенная Л. Леоновым как фотография, отчасти осталась в своем времени, хотя и сыграла роль в развитии и становлении советской литературы. Ведь именно тогда (во многом благодаря горьковским журнальным и издательским начинаниям) возникла мощная литературная «отрасль» — писательская публицистика, в том числе и военно-патриотическая, без уроков которой вряд ли было бы возможно такое широкое и такое действенное участие писателей в качестве военных корреспондентов в Великую Отечественную войну.
Но где же — рассказ?
В сопоставлении с предыдущим десятилетием 30-е годы сравнительно бедны хорошими рассказами. (Разумеется, период нельзя понимать чересчур буквально, и некоторые вошедшие в сборник рассказы написаны на рубеже десятилетия; речь идет о более или менее явной тенденции в литературном процессе.)
Если сравнить сборник с предшествовавшим выпуском «Антологии русского советского рассказа. 20-е годы» (Современник, 1985), то многие имена повторяются. Повторяются как будто и темы: революция, гражданская война, борьба старого и нового в советской действительности, свежая память о дореволюционном прошлом, летопись строительства нового общества. Но это русло, а в нем, в сущности, одна вечная тема — душа человека, его

внутренний мир, попытка художника создать характер, воплощающий и национальные черты, и эпоху.

Но нельзя не заметить и существенных различий.

Проза 20-х годов кипела, бурлила, кричала о недавнем «дымящемся» прошлом. Авторы словно впервые остановились и еще не отдышались после боя. Под стать горячему буйному восприятию жизни были и художественные поиски. Рассказ первых лет Советской власти зачастую экстравагантен по форме, в нем может быть немало заемного — от предреволюционных российских новаторов формы или увлечений Западом. Молодому писателю не терпится высказаться, он с досадой понимает, что ему это удается не в полной мере! Эта досада на форму как бы просвечивает за стилевыми поисками прозаиков в 20-е годы.

Со временем писатели углубляли свои поиски, в том числен в области формы, отказываясь от чрезмерного увлечения ею. Скажем, такой мастер изощренной формы, как Исаак Бабель, к 30-м годам не только заметно изменил почерк, но и прямо высказывался о том, что метафоричность, яркая выделанность самоценных фраз и словечек тяготят его, так как стоят на пути к серьезному освоению действительности. Об этом говорит и помещаемый в книге рассказ «Пробуждение».

Сказанное не охватывает всей литературы, а лишь говорит о каких-то более или менее характерных тенденциях. И в 20-е годы далеко не все тяготели к натурализму или формальному эксперименту. Точно так же неверно видеть в прозе, в частности в рассказе 30-х годов, лишь умудренную и успокоившуюся «вольницу» 20-х. Многие завоевания раннего этапа стали основой для дальнейшего развития, какие-то черты ранней советской прозы сохранялись. Так, рассказы Всеволода Вишневского, представленные в сборнике, живо напоминают о самых первых страницах литературной летописи гражданской войны. Но уже рассказы Леонида Соболева на ту же тему были выдержаны в спокойной, повествовательной манере. Попытку эпического, едва ли не былинного взгляда на героические события предпринял Валентин Катаев в небольшом рассказе «Сон».

Казалось бы, трудно оторваться от такого недавнего прошлого, которому ты был свидетелем, участником. Но нет, на первый план выходит куда более близкая, сиюминутная современность. Литература спешит за временем! На пороге 30-х годов Леонид Леонов создает «Соть». Михаил Шолохов прерывает работу над «Тихим Доном» для художественного осмысления коллективизации. Валентин Катаев вместе с Александром Малышкиным отправляется в Магнитогорск, чтобы создать едва ли не в газетном темпе роман «Время, вперед!».

Проблемы современности владеют умами художников.

Стремительно менялась действительность. Страна жила в напряженном рабочем темпе. Вставало на ноги новое, уже воспитанное при Советской власти поколение, полное энтузиазма и оптимизма. Эта мажорность подъема, сплоченности для решения задач по переустройству общества не могла не сказываться в литературе.

Первый съезд Союза советских писателей, состоявшийся в августе-сентябре 1934 года, показал, по словам М. Горького, что «всесоюзная наша литература… если еще не стала, то все-таки уже становится учительницей литературы всего мира, — во всяком случае влиятельнейшей литературой мира».

В творчестве Максима Горького последних лет как бы движутся навстречу друг другу два направления: исследование старого мира и познание нового. Движутся и — встречаются: и в пьесах «Егор Булычов и другие», «Достигаев и другие», в рассказах и воспоминаниях, статьях и очерках. «Рассказы о героях» появились в результате поездок писателя по стране, в частности пароходом по любимой Волге. М. Горький мастерски раскрывает становление нового сознания у людей, едва вышедших из прошлого, из огня гражданской войны. Запомнившиеся писателю слова хромого рассказчика, которые прозвучали «как поговорка, но поговорка только что придуманная»: «Всякое дело человеком ставится, человеком славится», М. Горький берет эпиграфом. Своеобразным антиподом этому произведению стал напечатанный в те же годы рассказ «Бык», повествующий о беспощадных законах общества эксплуатации, разобщающего людей прежде всего нравственно.

О тех же законах пишет и Константин Федин в колоритном «Старике» (сам писатель считал его лучшим своим рассказом). Быт поволжского купечества описывается здесь в традициях русской классики, однако традиционный взгляд как бы окрашен насмешливой улыбкой человека нового времени, который, рисуя страницы прошлого, знает, чем дело кончится.

Судьбе одного из тех, кого называли в те годы «бывшими», посвящен рассказ Всеволода Иванова «Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов». Смерть бывшего фабриканта воспринимается символически. Ведь она пришла к нему вместе с неожиданным возвращением богатства! Лобанов уже был готов жить, да, собственно, и жил по новым законам. Больше того, они впервые открыли ему его самого: «Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство». И свалившиеся вновь, забытые им парижские доллары оказываются для этого человека уже непосильной ношей.

Вячеслав Шишков в «Чертознае» слепил мгновенный, но очень живой портрет таежного старателя, жившего по нехитрой и горестной «методе»: добыча золота — «гулеванье» до последней нитки. И вот всю жизнь работавший «на погибель свою» забубенный Чертознай сталкивается с тем, кто «первый за всю жизнь человека в нем увидел» — представителем Советской власти.

Да, старое и новое, их сложные связи и борьба были, пожалуй, ведущей темой литературы тех лет, более того — основной силой, стержнем, двигателем творческой мысли. И большинство рассказов, вошедших в настоящий сборник, так или иначе раскрывают эту большую тему.

Борис Лавренев с присущим ему пристальным вниманием к традициям культуры ставит в своем «Коменданте Пушкине» вопрос о наследовании старой культуры новым обществом. Вопрос актуальный в то время, когда свежа еще была память пролеткультовских, рапповских, напостовских наскоков на само понятие культурной традиции как реакционное.

Нравственная ценность красоты на своеобразном жизненном материале раскрывалась Павлом Бажовым, автором замечательной «Малахитовой шкатулки». Явление Медной горы Хозяйки мастеру Даниле словно бы говорит о единении красоты природной и созданной человеком как условии счастья человека на земле.

Вечные вопросы жизни и смерти, смысла бытия раскрывались на конкретном сопоставлении старого и нового в рассказах Сергея Сергеева-Ценского «Платаны» и Ивана Катаева «В одной комнате».

В 30-е годы стала складываться известность одного из мастеров лирической прозы — Константина Паустовского. Как правило, он строил свои произведения на реальной основе, зачастую автобиографической. Цикл «Летние дни» — одно из лучших произведений писателя. Его лиризм здесь очень естествен, а преданность русской природе не может не вызывать в читателе ответной теплоты.

Совсем в ином ключе писал Борис Житков. Нечасто удается художникам слова так показать труд, чтобы одновременно явить и красоту его, и целесообразность, и смысл, и поэзию ремесла, которая есть во всякой профессии. И притом не приукрашивать. Б. Житков владел этим даром. Его произведения — как бы энциклопедия профессий, но они же при этом сюжетны, лаконичны, психологически точны. Не исключение и рассказы «Погибель» и «Механик Салерно».

Очень своеобразным поэтом трудовой деятельности человека был и Андрей Платонов, который мог сказать о своих героях названием одного из рассказов — «Одухотворенные люди». И это при том, что они зачастую и слова-то такого не слышали, что жизнь их, как правило, поглощена тяжким ежедневным трудом. Но владеют люди волшебным даром — воспринимать паровоз или станок как живое существо, одухотворять его и как бы наделять обратной, направленной на человека духовной силой. Таков Федор Пухов из знаменитой повести «Сокровенный человек», таков и отец героини рассказа «Фро».

Включенные в сборник рассказы А. Платонова, Л. Сейфуллиной, Ю. Олеши, Б. Пильняка рождали представление о совершенно новом образе жизни. Это представление складывается и из внешних примет, черточек быта, и из мироощущения героев.

Вот «Три рассказа» Юрия Олеши, писателя трудной внутренней судьбы. Прославившись смолоду сказкой «Три толстяка» и романом «Зависть», он на долгое время очутился в серьезном творческом кризисе, одной из причин которого был его разлад с действительностью — разлад человека, воспитанного в мире старых ценностей, в мире индивидуализма, с новым, коллективистским сознанием. Тем интереснее его постоянные попытки в середине 30-х годов вырваться из пут старого мировоззрения, выйти к новым темам и героям. На пути освоения современности он нередко прибегал к очерковым методам.

Человек нового общества предстает и в рассказе Лидии Сейфуллиной. Тане уже чужд груз, лежащий за плечами ее родителей, она воспитана в мире, где не должно быть разлада между

личным и общественным сознанием. Девочка принадлежит к поколению, и по наши дни во многом оставшемуся образцом, поколению высокой трагической судьбы. Выросшее и воспитанное Советской властью, оно же первое и защитило ее миллионами своих лучших представителей.

Порой литературу 30-х годов упрекают в прямолинейности, приглаженности, догматизме. А ведь она умела чутко реагировать на самые важные стороны действительности, в том числе и на негативные. Бурная преобразовательная деятельность приносила не только достижения, но и рождала новые проблемы, конфликты, драмы. Рассказ Бориса Пильняка «Рождение человека» представляет интерес как свидетельство эпохи. По нему видно, как далеко мы ушли от тех лет, когда в борьбе с лживостью буржуазной морали кое-кто пытался зачеркнуть и естественные для человека чувства и обязанности, в данном случае — вечные инстинкты отцовства и материнства. Рассказ интересен прежде всего образом прокурора Антоновой, в котором причудливо смешались обычные женские черты и ложно понятая современность.

Борьба нового и старого раскрывалась в литературе на разных уровнях и разными средствами, нередко сатирическими. Надо прямо сказать, что сатира тех лет куда успешнее справлялась со своими обязанностями, чем в последующие десятилетия, шире, острее и масштабнее сражалась с пороками и недостатками.

Известные сатирики Илья Ильф и Евгений Петров представлены в сборнике рассказом «Граф Средиземский», рассказом, пожалуй, более юмористическим, чем сатирическим.

Михаил Зощенко в рассказе «Страдания молодого Вертера», иронически перенося в советскую эпоху образ одинокой нежной души гетевского героя, обращается к читателю: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности — давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга». Эти слова можно поставить эпиграфом к творчеству замечательного рассказчика. Порой казалось, что, поглощенный мелочными дрязгами своих персонажей, Зощенко тонет в них, не видя горизонта большой жизни. Теперь, с расстояния лет понятно, что писатель избрал нелегкое дело борьбы за достоинство человека, его высокое назначение, на которое покушается агрессивная и ползучая бездуховность.

Михаил Кольцов, известный более как журналист, обнаруживает большое мастерство сатирической типизации в рассказе «Иван Вадимович — человек на уровне». Снимая слой за слоем притворную личину этого «деятеля», писатель раскрывает огромную опасность подобных людей, отработавших тончайшую систему социального и политического хамелеонства.

На первый взгляд неожиданно рядом с самой жгучей злободневностью в прозе 30-х годов начинает занимать все более заметное место историческая тема. Во многом это было реакцией на известное пренебрежение, существовавшее в предыдущий период, к отечественной истории. Романы и повести А. Толстого, А. Чапыгина, Ю. Тынянова, В. Шишкова, О. Форш, Г. Шторма, А. Веселого и других писателей закладывали основу русской советской исторической прозы.

Жанр рассказа никогда не был ведущим в исторической литературе. В советской литературе успех выпал на долю «Поручика Киже» (1928) Юрия Тынянова. Помещаемый в настоящем сборнике «Малолетный Витушишников» — во всем «тыняновское» произведение: тонко совмещаемая с жизненной реальностью анекдотичность сюжета, глубокое знание эпохи и умение донести ее колорит до читателя, иронический скепсис.

Куда проще, скромнее рассказ Алексея Толстого «Марта Рабе», являющийся как бы этюдом к известному роману «Петр Первый». История о том, как служанка немецкого пастора Глюка в короткий срок сделалась фавориткой русского царя, в романе дана в несколько иной, более приподнятой трактовке, чем в рассказе.

Рассказ и роман… Отходя в 30-е годы на второй план, играя порой роль этюда к роману, русский советский рассказ тем не менее составил немало славных, незабываемых страниц. В них с глубиной и страстностью запечатлелась эпоха.

С. Боровиков

Максим Горький

Рассказы о героях

Всякое дело человеком ставится, человеком славится.

I

Чем дальше к морю, тем все шире, спокойней Волга. Степной левый берег тает в лунном тумане, от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки баканов особенно ярко горят на масляно-черных полотнищах теней. Поперек и немножко наискось реки легла, зыблется, сверкает широкая тропа, точно стая серебряных рыб преградила путь теплоходу. Черный правый берег быстро уплывает вдаль, иногда на хребте его заметны редкие холмики домов, они похожи на степные могилы. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим создается фантастическое впечатление: река течет в гору. Расстилая по воде парчовые отблески своих огней, теплоход скользит почти бесшумно, шумок за кормою мягко-ласков, и воздух тоже ласковый — гладит лицо, точно рука ребенка.

На корме сдержанно беседуют человек десять бессонных людей. Особенно четко слышен высокий, напористый голосок:

— А я скажу: человек со страха умира-ат…

В слове «умирает» он растянул звук «а» по-костромски. Ему возражают пренебрежительно, насмешливо, задорно:

— Смешно говорите, гражданин!

— В боях не бывал!

Напоминают о тифе, голоде, о тяжести труда, сокращающей жизнь человека. Усатый, окутанный парусиной, сидя плечо в плечо с толстой женщиной, сердито спрашивает:

— А старость?

Костромич молчит, ожидая конца возражений. Это — самый заметный пассажир. Он сел в Нижнем и едет четвертые сутки. Большинство пассажиров проводит на пароходе дни своих отпусков, это всё советские служащие; они одеты чистенько, и среди них он обращает на себя снимание тем, что очень неказист, растрепан, как-то весь измят, сильно прихрамывает на правую ногу и вообще — поломан. Ему, наверное, лет пятьдесят, даже больше. Среднего роста, сухотелый, с коричневой жилистой шеей, с рыжеватой, полуседой бородкой на красном лице; из-под вздернутых бровей смотрят голубые глаза, смотрят эдаким испытующим взглядом и как будто упрекают. Трудно догадаться — чем он живет? Похож на мастерового, который был когда-то «хозяином». Руки у него беспокойные, он шевелит губами, как бы припоминая или высчитывая что-то; очень боек, но — не веселый.

Часа через два после того, как появился он на палубе теплохода, он обежал ее, бесцеремонно разглядывая верхних пассажиров, и спросил матроса:

— С верхних-то сколько берут до Астрахани?

И через некоторое время его певучий голос внятно выговаривал на нижней палубе:

— Конешно, — легкое наверх выплывает, подымается, тяжелое — у земли живет. Ну, теперь поставлено — правильно: за легкую жизнь — плати вчетверо.

Нельзя сказать, что этот человек болтлив или что он добродушен, но ясно чувствуется, что он обеспокоен заботой рассказывать, объяснять людям все, что он видел, видит, узнал и узнаёт. У него есть свои слова, видимо, они ему не дешево стоят, и он торопится сказать их людям, может быть, для того, чтоб крепче убедиться в правоте своих слов. Прихрамывая, он подходит к беседующим, минутку-две слушает молча и вдруг звонко говорит нечто, не совсем обычное:

— Теперь, гражданин, так пошло: ты — для меня, я — для тебя, дело у нас — общее, мое к твоему пришито, твое к моему. Мы с тобой — как две штанины. Ты мне — не барин, я те — не слуга. Так ли?
Гражданин несколько ошарашен неожиданным вмешательством странного человека и смотрит на него очень неблагосклонно. Пожилая женщина, в красной повязке на голове, говорит, вздыхая:
— Так-то так, да туго это понимают!
— Не понимают это — которые назад пятятся, вперед задницей живут, — отвечает хромой, махнув рукою на темный берег: теплоход поворачивал кормой к нему.
— Верно, — соглашается женщина и предлагает: — Присаживайся к нам, товарищ!
Он остался на ногах, и через две-три минуты высоким голос его четко произнес:
— Всякое дело людями ставится, людями и славится.
Прозвучало это как поговорка, но поговорка, только что придуманная им и неожиданная для него.
Вот так он четвертые сутки и поджигает разговоры, неутомимо добиваясь чего-то. И теперь, внимательно выслушав все возражения против его слов о том, что «человек умирает со страха», он говорит, предостерегающе подняв руку:
— Старики, конешно, от разрушения системы тела мрут, а некоторa-а часть молодых — от своей резвости. Так ведь я — не про всех людей, я про господ говорил. Господа смерти боялись, как, примерно, малые ребята ночной темноты. Я господ довольно хорошо знаю: жили они — не весело, веселились — скушно…
— Откуда бы тебе знать это? — иронически спрашивает усатый человек. — На лакея ты не похож…
Молодой парень в шинели и шлеме резко спрашивает:
— Позвольте, гражданин! При чем тут обидное слово — лакей?
— Есть пословица: для лакея — нет… людей.
— Пословицы ваши оставьте при себе.
Присоединяется еще один голос:
— Пословица ваша сочинена тогда, когда лакея за человека не считали…
— Довольно, граждане!
Хромой терпеливо ждет, выбирая из коробки папиросу, потом говорит:
— Я тебе, гражданин, пословиц сколько хочешь насорю, ну — толку между нами от этого не много будет. Это ведь неверно, что «пословица век не сломится»…
Красноармеец перебивает его:
— Насчет страха — тоже неверно. Это теперь буржуазия смерти боится, а раньше…
— И раньше, — настойчиво говорит хромой, раскурив папиросу. — Я обстановку жизни изнутри знаю, в Питере полотером был…
— Ну, если так, — проворчал усатый и усмехнулся.
— Вот те и так! До тринадцати годов я, по сиротству, пастушонком был, а после крестный батька прибыл в село, да и похитил меня, как бирюк барашка. Четыре года я выплясывал со щеточкой на ноге по квартирам, ресторанам, по публичным домам тоже. В Питере тогда особо роскошные бардачки были, куда тайно от мужьев настоящие барыни приезжали, ну и мужья тоже тайно от них. Я все четыре года во дворе такого бардачка прожил, в подвале, стало быть, мог кое-что видеть…
Курил хромой торопливо, заглатывал дым глубоко, из-под его желтых растрепанных усов дым летел так, точно человек этот загорелся изнутри и вот сейчас начнет выдыхать уже не дым, а огонь.
— И в боях я во всяких бывал, — обратился он в сторону красноармейца: — Я, браток, повоевал так, как тебе, пожалуй, не придется, да я тебе и не желаю. Под Ляояном был, бежал оттуда так, что сапоги насквозь пропотели…
Кто-то засмеялся, толстая женщина спросила:
— Что же вы — гордитесь этим?
— Нет, зачем? — звонко ответил рассказчик. — У меня, для гордостей, другое есть, георгиевский кавалер, два креста получил, когда мотался на фронтах от Черновицы города до Риги даже. Там ранен два раза, в своей, за Советы, — два, для гордостей — хватит!
— За что кресты получили? — спросил усатый.

— Один — за разведку и пулемет захватил, другой — рота присудила, — быстро, но как будто неохотно ответил хромой; плюнув в ладонь, он погасил окурок в слюне и, швырнув его за борт, помолчал.
Обнявшись, тихонько напевая, подошли две девицы. Одна сказала:
— Смотри — лодка, точно таракан…
— Огоньки на берегу, — задумчиво сказала другая, а красноармеец спросил что-то о пулемете.
— Да так это, случайно, — нехотя сказал хромой воин. — Послали нас, троих, в разведку, я — за старшего… Ночь, конешно, австрияки не так далеко, шевелились они чего-то… Это еще в самом начале войны было. Ползем. Впереди, за кустами, кашлянул человек, оказалось — пулеметное гнездышко, вроде секрет. Пятеро были там. Одного — взяли, он по-русски мог понимать, ветеринар оказался. Нашего одного тоже там оставили, потому что погоня началась, а он — раненый, а у нас — пулемет. Проступок этот сочли за храбрость, даже приказ по полку был читан.
— Ногу-то когда испортили? — спросил красноармеец.
— Это уже когда господина Деникина гнали, — очень оживленно заговорил хромой. — Ногу я упрямством спас, доктор решил отрезать ее. Я его уговариваю: оставь, заживет! Он, конешно, торопится, вокруг его сотни людей плачут, он сам плакать готов. Я бы, на его месте, топором руки, ноги рубил, от жалости. Ну, поверил он мне, нога-то — вот!
— Герой, значит, вы, — сказала одна из девиц.
— В гражданскую войну за Советы мы все герои были…
Усатый человек напомнил:
— Ну, не все, бывало, и бегали, как под Лаояном, и в плен сдавались…
— Когда бегали — не видал, а в плен сам сдавался, — быстро ответил рассказчик. — Сдашься, а после переведешь десятка два-три на свой фронт. Переводили и больше.
— Вы — крестьянин? — спросила женщина.
— Все люди — из крестьян, как наука доказыва-ат…
Красноармеец спросил:
— В партии?
— На кой нужно ей эдаких-то? В партии ерши грамотные. А меня недостача стеснила, грамоты не знал я почти до сорока лет. Читать, писать у безделья научился, когда раненый лежал. Товарищи застыдили: «Как же это ты, Заусайлов? Учись скорее, голова!» Ну, выучили, маракую немножко. После жалели: «Кабы ты, голова, до революции грамоту знал, может, полезным командиром служил бы». А почем я знал, что революция будет? В ту революцию, после японской войны, я об одном думал: в деревню воротиться, в пастухи, а на место того попал в дисциплинарную роту, в Омск.
Красноармеец засмеялся, ему вторил еще кто-то, а усатый человек поучительно сказал:
— В грамоте ты, брат, действительно слабоват, говоришь — проступок, а надобно — поступок…
— Сойдет и так, — отмахнулся от него солдат, снова доставая папиросу, а красноармеец подвинулся ближе к нему и спросил:
— За что в дисциплинарную роту?
— Четверых — за то, что не досмотрели арестованного, меня — за то, что не стрелял; он выскочил из вагона, бежит по путям, а я у паровоза на часах, ну, вижу: идет человек очень поспешно, так ведь тогда все поспешно ходили, великая суматоха была на всех станциях. На суде подпоручик Измайлов доказывает: «Я ему кричал — стреляй?» Судья спрашивает: «Кричал?» — «Так точно!» — «Почему же ты не стрелял?» — «Не видел — в кого надо». — «Ты, что ж — не узнал арестанта?» — «Так точно, не узнал». — «Как же ты, говорит, ехал в одном вагоне с ним три станции конвоиром, а не узнал? Ты, говорит, напрасно притворяешься дураком». Ну, потом требовал: расстрелять. Однако никого не расстреляли…
Он засмеялся очень звонким, молодым смехом и сказал, качая головой:
— Суматошное время было!
— А ты, дядя, не плох, — похвалил красноармеец, хлопнув ладонью по его колену. — Чем теперь занимаешься?

— Пчелой. На опытной станции пчеловодом. Дело — любопытное, знаешь. Делу этому обучил меня в Тамбове старик один, сволочь был он, к слову сказать, ну, а в своем деле — Соломон-мудрец!
Заусайлов говорил все более оживленно и весело, как будто похвала красноармейца подбодрила его.
Толстая женщина ушла, усатый сосед ее сказал:
— Я сейчас приду.
Но тотчас встал и тоже ушел, а на его место, на связку каната присела девушка, которой лодка показалась похожей на таракана.
— С пчелами он такое выделывал — в цирке не увидишь эдакого! — продолжал Заусайлов и причмокнул. — Сам он был насекомая вредная и достиг своей законной точки — шлепнули его в двадцать первом за службу бандитам. Мне в этом деле пятый раз попало — голову проломили. Ну, это уж я не считаю, потому — время было мирное, не война. Да и сам виноват: любопытен, разведку люблю; я и в нашей армии ловким считался на это дело.
— В нашей — в Красной? — тихонько спросила девушка.
— Ну, да. Другой армии у нас нету. Хотя и в той — тоже. Там, конешно, по нужде, по приказу, а у нас по своей охоте.
Он замолчал, задумался. Вышла женщина с мальчиком лет восьми-семи; мальчик тощий, бледненький, видимо, больной.
— Не спит? — спросила девушка.
— Никак!
— Я к тебе хочу, — сердито заявил мальчуган, прижимаясь к девушке; она сказала:
— Садись и слушай, — вот человек интересно рассказывает.
— Этот? — спросил мальчик, указав на красноармейца.
— Другой.
Мальчик посмотрел на Заусайлова и разочарованно протянул:
— Ну-у… Он старый…
Красноармеец привлек мальчугана к себе.
— Стар, да хорош, куда хошь пошлешь, — отозвался Заусайлов, а красноармеец, посадив мальчика на колени себе, спросил:
— Как же ты, товарищ, к бандитам попал?
— А я их выяснил, потом — они меня. Суть дела такая: вижу я — похаживают на пчельник какие-то однородные люди, волчьей повадки, все невеселые такие. Я и говорю товарищам в городе: подозрительно, ребята! Ну, они мне — задание: доказывай, что сочувствуешь! Доказать это — легче легкого: народ темный, озлобленный до глупости. Поумнее других коновал был, артиллерист, постарше меня лет на пятнадцать — двадцать. Практику с лошадьми ему запретили, ну, он и обиделся. К тому же — пьяница. В шайке этой он вроде штабного был, а кроме его, еще солдат ростовского полка, гренадер, замечательный гармонист.
Мальчуган прижался щекою к плечу красноармейца и задремал, а девушка, облокотись на свои колени, сжав лицо ладонями, смотрела за борт, высоко подняв брови. Теплоход шел близко к правому берегу, мимо лобастого холма, под холмом рассеяно большое село: один порядок его домов заключен, как строчка в скобки, между двух церквей. С левого борта — мохнатая отмель, на ней — черный кустарник, и все это быстро двигается назад, точно спрятаться хочет.
— Банда — небольшая, человек полсотни, что ли. Командовал чиновник какой-то, лесничий, кажись, так себе, сукин сын. Однако — недоверчивый. Ну вот, они трое приказывают мне: узнай то, узнай это. Товарищи говорят мне, что я могу знать, чего — не могу. Действовали они рассеянно: десяток там, десяток — в ином месте, людей наших бьют, школу сожгли, вообще живут разбоем. Задание у меня, чтоб они собрались в кулачок, а наши накрыли бы их сразу всех, как птичек сетью. Сделана была для них заманочка… помнится — в Борисоглебском уезде на маслобойке, что ли. Поверили они мне, начали стягивать силы. Черт его знает почему, старик догадался и вдруг явись, как злой дух, раньше, чем они успели собраться, однако — тридцать четыре сошлось. Начал он сеять смуту, дескать, надобно проверить, да погодить, да посмотреть. Вижу — развалит он все

дело, говорю нашим: «Берите, сколько есть!» Они за спиной у меня были в небольшом числе. Тут меня ручкой револьвера — по голове. Вот и вся недолга история!
— О, господи! — вздохнула женщина. — Когда все это кончится?
— Когда прикончим, тогда и кончится, — задорно откликнулся рассказчик. Женщина махнула на него рукой и ушла.
— А ведь верно, вы в самом деле — герой, — весело и одобрительно сказал красноармеец.
Мальчик встрепенулся, капризно спросил:
— Что ты кричишь?
— Извини, не буду, — отозвался красноармеец. — Строгий какой!.. Чужой вам? — спросил он девушку.
— Племянник, — ответила она. — Иди-ка спать, Саша.
— Не хочу. Там — храпит какой-то.
И он снова прижался к плечу красноармейца, а Заусайлов вполголоса повторил:
— Саша…
И, вздохнув, покачиваясь, потирая колени ладонями, заговорил тише, медленнее.
— Ты, товарищ, говоришь — герой. Слово будто неподходящее нашему брату, — свое защища-ам, ну ведь и бандиты, кулаки — свое. Верно?
Мальчик снова встрепенулся и громко, как бы с гордостью, сказал:
— У меня отца кулаки убили. Я видел — как. Мы приехали из города, папа вылез ворота отворять, а они на него напали пьяные, два, а я уже проснулся, закричал. Очи его палками.
— Вот оно как, — сказал Заусайлов.
— Н-да, — угрюмо откликнулся красноармеец, а девушка сказала:
— В третьем году, а он — помнит.
Я помню, — подтвердил мальчик, тряхнув головой.
— Расти он перестал после того, — продолжала девушка, вздыхая, — двенадцатый год ему.
— Вырасту, — хмуро пообещал мальчуган. Заусайлов пошлепал его по колену и посоветовал:
— Так и помни!
— Вот они, дела-то, — пробормотал красноармеец. — Учительница будете?
— Да. Мы обе, с его матерью.
— Сестра вам?
— Жена брата.
— Убитого?
— Да.
Все замолчали. Красноармеец, расстегнув шинель, прикрыл мальчика и прижал его к себе плотнее.
— Вот оно, геройство, — снова заговорил Заусайлов. — Оно у нас — везде, товарищ.
Щупая пальцами папиросы в коробке, он, негромко и не торопясь, заговорил:
— Я могу хвастануть — знал героя. У нас в отряде парень был, тоже — Саша. Сашок, звали его, туляк он, медная душа. Веселый был и — куда хошь сунь, везде он на своем месте. Личностью маленько на тебя схож был, тоже крепыш и зубастенький, как хорек. Ты — кавалерия?
— Да.
— То-то шинель длинна. А — аккуратен.
Закурив, он продолжал, снова оживляясь:
— Был он семинарист, Сашок, из недоучек; сказывал, что выгнали его за резвость. Однако — сильно образованный. Он меня и многих в безбожники обратил, мастак был насчет леригии, очень убедительный. Бога знал, как богатого соседа, и так доказывал, что бог жить мешает, что не хочешь, а — веришь. Н-ну, вот…
Случилось так, что заскочил сгоряча наш отряд далеконько. За Курском это было, Деникина гнали. Вообще перепуталась обстановка, непонятно: где — они, где наши. Товарищи говорят: «Ну-ка, Заусайлов, сходи, сообрази, кто у нас с левого бока? И — сколько? Возьми себе, по вкусу, одного, двух парней». Это, конешно, так и надо по моей безграмотности. Взял я Сашка и Василия Климова, — осанистый был мужчина, вроде старшего дворника, — в Питере в царевы годы бывали такие дворники; он, сукин сын, дворник, а осанка — церковного старосты.

Ну, пошли. Места — незнакомые. Держимся линии железной дороги, Сашок с Климовым по одну сторону насыпи, я — по другую, впереди шагов на сто. Дорога, конешно, раскорябана. Вечер — лунный, ветерок гуля-ат, облаки бегут, тени ползут, там — тень, тут — тень, да сразу — бом! «Стой!» — кричат. Вижу — пятеро. Они хоть и белые, а в один цвет с землей и в кустах, около насыпи, неприметны. Командирчик — молодой, еще и до усов не дорос, револьверчик в руке, шашечка на боку, винтовочка коротенька за плечом, — вооружен, как для портрета фотографии. Нацелился мне в глаз, допрашивает, покрикивает; я, конешно, вроде как испугался, тоже во весь голос кричу, чтоб Сашок с Климовым слышали, дескать — бегу от красных, боюсь — мобилизуют. Он как будто верить начал, а солдатик один и подскажи ему: «Ваше благородие, выправка у него подозрительная, наверно — солдат ихний, разведчик!» Ах ты, думаю, сучкин сын! Ну, побили меня немножко, отрядил он со мной двоих, повели меня куда надо. Идем тихонько, и дождичек пошел. Начал было я балагурить с конвоем, вижу: ничего не выходит, сердятся они, видно, устали. Решил молчать, а то, пожалуй, пришибут, черти.
Долго ли, коротко ли — дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерией побиты. У церковной ограды, под деревами коновязь, семнадцать лошадей — все дрянцо. Поодаль на дереве два уже висят. «Ну, думаю, ежели не убегу, — тут и останусь». Темновато, огней в окнах почти нет, время — за полночь, спит белое воинство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив ее — хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там — шумят и огонь есть. Один конвойный пошел туда, другой сел на крылечко школы, я, конешно, стою на дождике, тут — не побежишь.
Вышел другой конвойный, говорит: «До утра велено оставить». Это — меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уже совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажег — вижу я: пол разворочан, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу — тряпье, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел все, вышел в сени, дверь не закрыл. «Это — плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда — пустяки», — думаю. Сижу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит; людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом слышу, — храпит.
Счета времени я, конешно, не вел, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и — как страшный сон вижу.
Душа скучает, и — совестно: вот как влопался! Зажег осторожненько спичку, поглядел — бревна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал — качаются.
И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шепот: «Заусайлов!» Это — Сашок, это — он! «Вылезай», — шепчет. Отвечаю: «Никак нельзя, в сенях — солдат». Замолчал он, потом, слышу, царапает, бревна поскрипывают. И только что, на счастье свое, отодвинулся к печке, — заскрежетало, завалились бревна в избу. Ну, теперь — оба пропали!
Солдат, конешно, проснулся, кричит: «Что ты там?» Отвечаю: «Не моя вина, угол обвалился!» Ну, ему, конешно, наплевать, был бы арестованный жив до казенного срока. Пожалел, что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу, близко от меня, — дыхание, пощупал рукой — голова. «Сашок, шепчу, как это ты, зачем?» Он объясняет: «Мы, говорит, все слышали, Климова я назад послал, асам следом за тобой пошел… Главная, говорит, сила их не здесь, а верстах в четырех», — он уже все досконально разузнал. «Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа — наши»… Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. «Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идет, и ногу придавило». Пощупал я — действительно нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет: «Не тронь, закричу — пропадешь! Уходи, говорит, все ли помнишь, что я сказал? Уходи скорей!» — «Нет, думаю, как я его оставлю?» И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: «Брось, черт, дурак! Закричу!» Что делать?! Я еще разок попробовал, может, освобожу ногу-то… Ну, хочешь — веришь, товарищ, хочешь — не веришь, — слышал я, хрустнула косточка, прямо, знаешь… хрустнула! Да… Раздавил я ее, значит… А он простонал тихонько и замер. Обмер. «Ну, думаю, теперь — прости, прощай, Сашок!..»
Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть искал, которая потуже набита. Не поднимая голову, он продолжал потише и не очень охотно:

— За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы приперли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и еще десяток наших первые попали в это несчастное село. Ну, опять пожар там. А Сашок — висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок — голый, только одна штанина подштанников на нем. Избит весь, лица — нет. Бок распорот. Руки — по швам, голова — вниз и набок. Вроде как виноватый… А виноватый я…
— Это — не выходит, — пробормотал красноармеец. — Оба вы, товарищ, исполнили долг как надо.
Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил ее огонек до той минуты, пока он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцем красный уголь и сказал:
— Вот герой-то был!
— Да-а, — тихо отозвалась учительница и спросила:
— Уснул?
— Спит, — ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана, и, помолчав, веско заговорил:
— У нас герои не перевелись. Вот, скажем, погрохрана в Средней Азии — парни ведут себя «на ять»! Был такой случай: двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была темная. Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: «Стреляй на мой голос!» Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие — разбежались, даже и винтовку отнятую бросили. А в это время — другого басмачи взяли; он кричит: «Делай, как я!» Он еще и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда — первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост — рассказывают, а им не верят. Утром проверили по крови — факт! А ведь на голос стрелять — значило по товарищу стрелять. Понятно?
— Как же непонятно, — сказал Заусайлов. — Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?
— Из командировки.
Учительница встала.
— Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.
— Зачем? Я его так снесу, — сказал красноармеец.
Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошел к борту, швырнул в реку папироску. Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто еще быстрее уплывал в мутную даль…

1930

II

Теплым летним вечером мы — я и старый приятель мой — сидели под соснами на песчаном обрыве; под обрывом — небольшой луг, ядовито-зеленый после дождя; на зелень луга брошена и медленно течет рыжая вода маленькой реки, за рекой — темные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков, багровое вечернее солнце стелет косые лучи на реку, луг, на золотой песок обрыва.
Собеседник мой закурил, глядя на реку, и начал рассказывать, не торопясь, вдумчиво:
— Было это года два тому назад, в одном из маленьких городов верховья Камы. Я сидел в уездном комитете партии, беседуя «по душам» с предом, и секретарем.
Было воскресенье, время — за полдень, на улице жарко, точно в бане, и — тишина. За крышами домов — гора, покрытая шубой леса, оттуда в открытые окна течет запах смолы и горький дымок: должно быть, где-то близко уголь жгут.
Беседуем мы и уж начинаем немножко скучать. Вдруг с улицы, в открытое окно, поднимается от горячей земли большое, распаренное докрасна бабье лицо, на нем

неласково и насмешливо блестят голубовато-серые, залитые потом глаза, тяжелый, густой голос гудит:
— Здорово живете! Чай да сахар…
— Опять черт принес, — проворчал пред, почесывая под мышкой, а женщина наполняла комнату гулом упреков:
— Ну, что, товарищ Семенов, обманул ты меня? Думал: потолкую с ней по-умному, она и будет сыта? А я вот опять шестьдесят верст оттопала, на-ко! Принимай гостью.
Лицо ее исчезло из окна. Я спросил, кто это. Пред махнул рукой, сказав: «Так, шалая баба». А секретарь несколько смущенно объяснил:
— Числится кандидаткой в партию.
«Шалая баба» протиснулась в дверь с некоторым трудом. Была она, скромно говоря, несколько громоздка для женщины, весом пудов на шесть, если не больше, широкоплеча, широкобедра, ростом — вершков десяти сверх двух аршин. Поставив в угол толстую палку, она движением могучего плеча сбросила со спины котомку, бережно положила ее в угол, выпрямилась и, шумно вздохнув, подошла к нам, стирая пот с лица рукавом кофты.
— Еще здравствуйте! Гражданин или товарищ? — спросила она меня, садясь на стул. Стул заскрипел под нею. Узнав, что я — товарищ, спросила еще: «Не из Москвы ли будешь?» И, когда я ответил утвердительно, она, не обращая более внимания на свое начальство, вытащив из огромной пазухи кусок кожи солдатского ранца величиною с рукавицу, хлопнула им по столу, однако не выпуская из рук, и, наваливаясь на меня плечом, деловито, напористо заговорила:
— Ну-ко, вот разбери дела-то наши! Вот, гляди: копия бумаги из губпарткома — верно? Это — ему приказание, — кивнула она головой на преда. — А это вот он писал туда. Значит, есть у меня право говорить?
Минут десять она непрерывно пользовалась этим правом, рассказывая о кооператорах, которые «нарочно не умеют торговать», о товариществе по совместной обработке земли, которому кулаки мешают реорганизоваться в колхоз, о таинственной и не расследованной поломке сепараторов, о мужьях, которые бьют жен, о противодействии жены предсельсовета и поповны-учительницы организации яслей, о бегстве селькора-комсомольца, которого хотели убить, о целом ряде маленьких бытовых неурядиц и драм, которые возникают во всех глухих углах нашей страны на почве борьбы за новый быт, новый мир.
Рассказывая, собеседник мой постоянно увлекался и живо дорисовал фигуру бабы, ее жесты; отметил ее бережное отношение к носовому платку: она раза два вынимала платок из кармана юбки, чтобы отереть пот с лица, но, спрятав платок, отирала пот рукавом кофты.
— Потом от нее несло, как от лошади, — сказал он. — Секретарь налил ей стакан чаю: «Пей, Анфиса!» Но она, жадно хлебнув желтенького кипятку, забыла взять сахару, а взяв кусок, начала стучать им по столу в такт своей возмущенной речи, а затем, сунув сахар в карман, взяла еще кусок и сконфузилась:
— Ой, что я делаю! — Но и другой кусок тоже машинально спрятала в карман, а остывший чай выпила залпом, точно квас. — Налей еще, товарищ Яков!
Собеседник мой, торопливо покуривая, продолжал:
— Она высыпала на голову мне столько этих драм и неурядиц бытовых, что я даже перестал понимать «связь событий» в хаосе этом. Чувствую только, что шестипудовая Анфиса — существо совершенно необыкновенное, новое для меня, что мне нужно узнать и понять, каким путем она «дошла до жизни такой». Короче говоря, пригласил я ее к себе, — я остановился у агронома, старого приятеля моего. Пригласил и за чаем подробнейше, до позднего вечера, пытал ее расспросами. Передать колорит ее рассказа я, разумеется, не могу, но кое-что в память врезалось мне почти буквально. Отец у нее был портной-овчинник, ходил по деревням, полущубки и тулупы шил. Мать умерла, когда Анфисе исполнилось девять лет. Отец дозволил ей кончить церковноприходскую школу, потом отдал в «няньки» зажиточному крестьянину, а года через три увез ее в село на Каму, где он женился на вдове с двумя детьми. В этих условиях Анфиса, конечно, снова стала «нянькой» детей мачехи, батрачкой ее, а мачеха оказалась «бабочкой пьяной, разгульной», да и отец не отставал от нее — любил и выпить и попраздновать. Частенько говаривал: «Торопиться некуда, — на всех мужиков тулупы не сошьешь».

Анфисе минуло шестнадцать лет, когда отец помер, заразясь сибирской язвой, и по смерти отца хозяйство мачехи еще тяжелее легло на ее хребет.
— Был у нас шабер; старичок Никола Уланов, охотой промышлял, а раньше штейгером работал. Его породой придавило в шахте, хромал он, и считали его не в полном уме: угрюмый такой, на слова скуп, глядел на людей неласково. Жил он бобылем, ну, я ему иной раз постираю, пошью, так он стал со мной помягче. «Зря, говорит, девка, силу тратишь на пустое место, на пьяниц твоих. До чужой силы люди лакомы, избаловали их богатые. На все худое людям от богатых пример, от них весь мир худому учится».
Очень понравились мне эти его слова-мысли, вижу, что верно сказал: село — богатое, а люди — жесткие, жадные, и все в склоке живут. Спрашиваю Николу-то: «А что мне делать?» — «Ищи, говорит, мужа себе. Ты девица здоровая, работница хорошая, тебя в богатый дом возьмут».
Ну, я и в ту пору не совсем дура была, вижу, старичок сам же туда гонит, откудова звал. А первые-то его слова скрыла в душе все-таки.
Эту часть своей жизни она рассказала не очень охотно, с небрежной усмешкой в глазах и холодновато, точно не о себе говорила, а о старой подруге, неинтересной и даже неприятной ей. А затем как-то вдруг подобралась вся, постучала кулаком по колену, и глаза ее прищурились, как бы глядя глубоко вдаль.
— И вот приехал к матери брат, матрос волжских пароходов, мужик лет сорока — лютой человек! Сестру живо прибрал к рукам, выселил ее с детьми в баню, избу заново перебрал, пристроил к ней лавку и начал торговать. И торгует, и покупает, и деньги в долг дает, трех коров завел, овец, а землю богатому кулаку Антонову в аренду сдал. Я у него и стряпка, и прачка, и коровница — и тки, и во все стороны гляди. Рвутся мои жилочки, трещат косточки. Ох, трудно мне было! Видите, товарищ, какая кувалда, а до обмороков доходила. — Она засмеялась густым таким, грудным смехом, — странный, не женственный смех. Потом, вытерев лицо и рот платочком, вздохнула глубоко.
— А еще труднее стало, когда он невзначай напал на меня да и обабил. Хоть и подралась я с ним, а не сладила — нездорова была в ту пору, женским нездоровьем. Очень обидно было. Я компанию вела с парнем одним, с Нестеровым, хорошей семьи, небогатые люди, тихие такие, двое братьев, Иван и Егор. Жили не делясь. Егор, дядя парня, — вдовый, он потом партизаном был, и беляки повесили его. Парня-то убили в первый год империалистической войны, отца его кулаки разорили, тоже пропал куда-то. Из всей семьи только Лиза осталась, теперь она подруга моя, партийной стала четвертый год. Она в шестнадцатом году, умница, в Пермь на завод ушла, хорошо обучилась там. Ну, это уж я далеко вперед заскочила. Ну, хотела я, значит, уйти, когда идиот этот изнасилил меня, и собралась, а он говорит: «Куда пойдешь? Пачпорта у тебя нет. И не дам, на это у меня силы хватит. Живи со мной, дуреха, не обижу. Венчаться не стану, у меня жена в Чистополе, хоть и с другим живет, а все-таки венчаться мне закон не позволяет! Умрет она, обвенчаюсь, вот бог свидетель!»
Противен был он, да пожалела я сдуру хозяйство: уж очень много силы моей забито в него было. У Нестеровых семья вроде как родные были мне. Пожалела, осталась. Неласкова была с ним, отвратен он был, да и нездоров, что ли: живем, живем, а детей нету. Бабы посмеиваются надо мной, а над ним еще хуже — дразнят его; он, конешно, сердится и обиды свои на мне вымещает. Бил. Один раз захлестнул за шею вожжами да и поволок, чуть не удавил. А то поленом по затылку ударил, ладно, что у меня волос много, а все-таки долго без памяти лежала. Сосок на левой груди почти скусил, гнилой черт, сосок-то и теперь на ниточке болтается. Ну, да что это вспоминать, поди-ка, сам знаешь, товарищ, как в крестьянском-то быту говорят: «Не беда, что подохнет жена, была бы лошадь жива». Началась разнесчастная эта война…
Сказав эти слова, она замолчала, помахивая платком в раскаленное лицо свое, подумала.
— «Разнесчастная», это я по привычке говорю, а думается мне, как будто не так: конешно, трудовой народ пострадал, однако и пользы немало от войны! Как угнали мужиков, оголили деревни, вижу я, бабы получше стали жить, дружнее. Сначала-то приуныли, а вскоре видят: сами себе хозяйки, и общественности стало больше у них, волей-неволей, а надобно друг другу помогать. Богатеи наши лютуют, ой как лютовали! Было их восьмеро, считая хозяина моего, конешно, попы с ними, у нас — две церкви; урядник — зять

Антонова, первого в селе по богатству. И чего только они не делали с бабами, солдатками, как только не выжимали сок из них! На пайках обсчитывают, пленников себе по хозяйствам разобрали. Даже скушно рассказывать все это. Пробовала я бабам, которые помоложе, говорить: «Жалуйтесь!» Ну, они мне не верили. Живу я средь горшков да плошек, подойников да корчаг, поглядывая на грабеж, на распутство, и все чаще вспоминаю стариковы слова, Уланова-то: «Богачи всему худому пример». И такая тоска! Ушла бы куда, да не вижу, куда идти-то. Тут Лизавета Нестерова приехала, ногу ей обожгло, на костыле она. Говорит мне: «Знаешь, что рабочие думают?» Рассказывает. Слушать — интересно, а — не верится. Рабочих я мало видела, а слухи про них нехорошие ходили. Думаю я: «Что же рабочие? Вот кабы мужики!» Много рассказывала мне Лиза про пятый — шестой года, ну, кое-что в разуме, должно быть, осталось. Уехала она, вылечилась. Опять я осталась, как пень в поле, слова не с кем сказать. Бабы меня не любят, бывало, на речке или у колодца прямо в глаза кричат: «Собака ворова двора!» — и всякое, обидное. Молчу. Что скажешь? Правду кричат! Горестно было. Нет-нет да и всплакнешь где-нибудь тихонько в уголку. Стукнул семнадцатый год, сшибли царя, летом повалил мужик с войны, прямо так, как были, идут, с винтовками, со всем снарядом. Пришел Никита Устюгов, сын кузнеца нашего, а с ним еще бойкенький паренек Игнатий, не помню фамилии, да какой-то вроде цыгана, Петром звали. Они на другой же день сбили сход и объявляют: «Мы — большевики! Долой, кричат, всех богатеев!» Выходило это у них не больно серьезно, богачи посмеиваются, а кто победнее — не верят. И моя бабья головушка не верила им. Однако вижу: хозяин мой с приятелями шепчутся о чем-то, и все они невеселы. Собираются в лавке почти каждый вечер, и видно — нехорошо им! Ну, значит, кому-то хорошо, а кому — не видно! Вдруг слышу: царя в Тобольск привезли. Спрашиваю хозяина в ласковый час: «Зачем это?» — «Сократили его теперь — в Сибири царствовать будет. В Москве сядет дядя его, тоже Николай». Не верю и ему, а похоже, что правду Лиза говорила. А в лавке, слышу, рычат: «Оскалили псы голодные пасти на чужое добро». Как-то вечером пошла незаметно к Никите, спрашиваю, что делается. Он кричит: «Я вам, чертям дубовым, почти каждый день объясняю, как же вы не понимаете? Ты кто? Батрачка? Вору служишь?» Мужик он был сухой такой, черный, лохматый, а зубы белые-белые; говорил звонко, криком кричал, как с глухими. Он не то чтобы злой, а эдакий яростный. Вышла я от него и — право слово — себя не узнаю, как будто новое платье надела и узко оно мне, пошевелиться боюсь. В голове — колеса вертятся. Начала я с того дня жить как-то ни в тех ни в сех — будто дымом дышу. А хозяин со мной ласков стал. «Ты, говорит, верь только мне, а больше никому не верь. Я тебя не обижу, потише станет — обвенчаемся, жена померла. Ты, говорит, ходи на Никитовы сходки, прислушивайся, чего он затевает. Узнавай, откуда дезертиры у него, кто такие».

Ладно, думаю. Ловок ты, да не больно хитер.

Незаметно в суматохе-то и Октябрь подошел. Организовался Совет у нас, предом выбрали старика Антонова, секретарем Дюкова, он до войны сидельцем был в монопольке и мало заметный человек. На гитаре играл и причесывался хорошо, под попа, волосья носил длинные. В Совете все — богатеи. Устюгов с Игнатом бунтуют. Устюгов-то сам в Совет метил, ну — не поддержали его, мало народа шло за ним, боялись смелости его. Петр этот, приятель его, тоже к богатым переметнулся, за них говорит. Прошло некоторое время — Игната убили, потом еще один дезертир пропал. И вот мою полы я, а дверь в лавку не прикрыта была, и слышу — Антонов говорит: «Два зуба вышибли, теперь третий надо». — «Вот как?» — думаю, да ночью к Никите. Он мне говорит: «Это я без тебя знаю, а если ты надумала с нами идти, так следи за ними, а ко мне не бегай. Если что узнаешь, передавай Степаниде-бобылке. Я на время скроюсь».

И вот, дорогой ты мой товарищ, пошла я в дело. Притворилась, будто ничего не понимаю, стала с хозяином поласковее. Он в ту пору сильно выпивать начал, а ходил гоголем, они все тогда с праздником были. Спрашиваю я моего-то: «Что же это делается?» Он, конечно, объясняет просто: грабеж, а грабителей бить надо, как волков. И похвастался: «Двоих ухайдакали, и остальным то же будет». Я спрашиваю: «Разве Зуева, дезертира, тоже убили?» — «Может, говорит, утопили». А сам оскалил зубы и грозит: «Вот еще стерву Степаниду худой конец ждет». Я — к ней, к Степахе, а она ничего, посмеивается: «Спасибо, говорит, я уж сама вижу, что они меня любить перестали!» От нее забежала я к

Нестеровым, говорю дяде Егору: «Вот какие дела!» Он советует мне: «Ты бы в эти дела не совалась!» А я уж не могу! Была там семья Мокеевых, старик да две дочери от разных жен, старшая — солдатка, а младшая — девица еще; люди бедные, старик богомольный такой, а солдатка — ткачиха знаменитая, в три краски ткала узоры и сама пряжу красила; злая баба, однако меня она меньше других травила. У нее вечеринки бывали, вроде — бабий клуб; раза два она и меня звала. Вот и пошла я к ней от тоски спрятаться. Застала там баб — все бедняцкие жены да вдовы. И прорвало меня: «Бабы, говорю, а ведь большевики-то настоящей правды хотят! Игната за правду и убили, да и дезертира Зуева. Неужто, говорю, война-то ничему не научила нас и не видите вы, кто от нее богаче становится?»
И знаешь, товарищ, не хвастаю, не сама за себя говорю, а после от людей слыхала: удалось мне рассказать женщинам всю их жизнь так, что плакали. Это я и теперь всегда умею, потому что насквозь знаю все и говорю практически. А старик Мокеев на печи лежал, слушал да утром все мои речи Антонову и передал. Вечером хозяин лавку запер, позвал меня в горницу, а там и Антонов, и зятек его, и еще двое ихних, и Мокеев тоже тут. Он меня и уличил во всем; прямо сказал: она, дескать, не только вас, и бога хаяла! Это он врал, я тогда о боге не думала, а как все: и в церковь ходила, и дома молилась. Наврал, старый черт! Начали они меня судить, стращать, выспрашивать, хозяин мой уговаривает их: «Она — дура, ей что ни скажи, всему верит. Не трогайте ее, я сам поучу». Поучил. Пятеро суток на полу валялась, не только встать не могла, а рукой-ногой пошевелить силы не было. Думала, и не встану. Однако — видишь — встала! Суток через трое владыка и воспитатель мой уехал в волость, и вот слышу я ночью стучат в окно. Решила: пришли убить! А это Егор Нестеров. «Живо, говорит, собирайся!» Вышла я на улицу, сани парой запряжены, в санях — Степанида; спрашивает: «Жива ли?» А я и говорить не могу от радости, что есть люди, позаботились обо мне!
Громко шмыгнув носом, она часто заморгала, глаза у нее странно вспыхнули, я ждал — заплачет, но она засмеялась очень басовито и как-то по-детски.
— Привезли они меня в город, стали допрашивать, да лечить, да кормить, — в жизни моей никогда не забуду, как лелеяли меня, просто как самую любимую! Народ все серьезный, тут и Устюгов, и Лиза, и еще рабочий один, Василий Петрович, смешной такой. Ну… всего не скажешь, а просто: к родным попала! Дядя Егор удивляется: «Я, говорит, не верил ей, почитал за шпионку от них». Жила я в городе месяца четыре, уже началась гражданская, за Советы, пошел кулак войной на нас, и было это в наших местах вроде сказки: и страшно, а весело! Путаница большая была, так что и понять трудно: кто за кого? Никита учит меня: «Вертись осторожно, товарищ Анфиса, держи ухо востро».
Научил меня кое-чему, светлее в голове стало, я уж по всему уезду шмыгаю: где на митингах бабам речи говорю, где разведку веду. Тут уж мне трудно рассказывать, много было всего; перед глазами-то как река течет. Поработала, слава те, господи!
Славословие богу сконфузило ее, покраснеть она не могла — и без того лицо ее было красное, точно кирпич, — но она всплеснула руками, засмеялась, виновато воскликнув:
— Фу-ты, батюшка! Вот и оговорилась! Привычка, товарищ! Слова эти — скорлупа! А своих — не похвалишь, они сами себя делом хвалят. Ну, ладно!.. Да, милый, поработала в охотку. Егор Нестеров собрал отрядец, десятка три, сходил в село для наказания — там, видишь, хозяйство ихнее разорили, Ивана-то укокали, должно быть, пропал, Степанидину избенку сожгли, Авдотью Мокееву убили, а сестрицу ее, Танюшу, изнасильничали — она и по сей день дурочкой ходит. Егор суд устроил на площади. Никита Устюгов речь говорил, народ одногласно осудил Антонова, хозяина моего, да еще двоих: Зотова, мельника, и попа. Застрелили их. Дюков скрылся, урядника в перестрелке убили, а старику Мокееву и бороду и волосья на голове обрили начисто и — ходи, гуляй! Все было страшно, а как вывели Мокеева-то на улицу бритого — не поверишь: такой смешной он стал, что хохотали все до упаду, до слез, и весь страх пропал в смехе! Это Никита шутку выдумал. Ох, умен был мужик! Посадили его предом сельсовета, Лизу секретарем, я тоже в дело вошла, все с бабами возилась. Тут они все уж верили мне: «Из богатого дома зря на бедную сторону не встанешь», — говорят. «Эх, говорю, подруги! Да ведь вы сами знали, что я в богатом-то дому собакой служила!» — «А не служи!» Смеются. Ну, ладно! Примерно месяца через два пришлось нам бежать: белые пришли, и — многовато их! Егор со своими в лес ушел, у него десятков пяток людей было, мог бы собрать больше, да винтовок не было. Меня и

Степаниду оставили в селе: наблюдайте, да не показывайтесь! Степаха, отчаянная голова, там пряталась, а я приткнулась версты за три на пасеке. Живем. По ночам Степаха приходит, один раз винтовку скрала, принесла мне и говорит: «Знаешь, Дюков с белыми, любовничек мой, и я ему хочу дерзость устроить, сволочи! Он там взяточки собирает, стращая людей, и уже из-за его языка двое пострадали, заарестованы». — «Пропадешь», — говорю. «Авось сойдет!»

Сошло ведь! Тоже смешной был случай. Сижу я как-то вечером на пасеке, шью чего-то, поглядываю сквозь деревья на дорогу в село и вижу: будто Степанида идет, а с ней мужчина в белом картузе, белой рубахе, идут не по дороге, а боком, кустами. Там тропинка была на целебный ключ. Не понравилась мне эта прогулка. Хоть и считалась Степанида сознательной, да уж больно жадна была на всякое баловство. А она все ближе; тут уж я подумала: «А не бежать ли мне в лес?» Вдруг вижу: наклонился белый-то, а она — верхом на спину ему, ноги свои под мышки его сунула, голову в землю прижала, кричит: «Анфис!» Баба она здоровая, ловкая была! Бегу я к ней, сама задыхаюсь от страха, барахтается белый-то, вот-вот скинет ее с себя! Подбежала, успокоила его по затылку. Степанида револьвер вынула из кармана у него. «Веди, говорит, его к Егору, он там сгодится». А это Дюков и был! Ну, сволокли мы его на пасеку, очухался он там, Степанида говорит: «Стрелять знаешь как? Револьвера из рук не выпускай, так и веди. Я, говорит, тут останусь, а ты не приходи и скажи, чтобы мне кого-нибудь прислали, дело у меня есть».

Ладно, повела я Дюкова; до Егора далеко было, около двадцати верст, а верстах в пяти — хутор староверский, там тоже наши сидели. Идет Дюков впереди меня, плечи трясутся, плачет, уговаривает: «Отпусти!» Подарки сулил. Стыдно ему, конечно, что бабы в плен взяли, ну и боится тоже! «Иди, приказываю, и не пикни, а то застрелю!» Хохотали наши над ним, да и надо мной, и он сидит на пенышке, трясется весь, лица на нем нет, маленький, щуплый, даже смотреть жалко было. Суток через двое Степанида заманила на пасеку еще белого. Привели его к нам те двое, которых послали к ней, и говорят: «Ну, эта рисковая баба пропала, считайте».

Так и вышло: пасеку разорили, а от Степаниды — ни костей, ни волоса, так и неизвестно, что с ней сделали. А пленник ее оказался полезный: рассказал нам, что через трое суток белые город брать будут и что к ним большая сила подходит. Не соврал. Двинулись мы в город. На Каме, на берегу, сраженьице было небольшое, как будто и ненужное, да уж очень разъярился дядя Егор. Семерых наших убили. Город белые взяли, конешно: их было, пожалуй, сотни полторы, а защитников — человек сорок. Постреляли друг в друга издали, и ушли наши в лес. Так, дорогой товарищ, годика полтора, пожалуй, и вертелись мы вроде карасей в сети: куда ни сунься, — белые, а бывало, что и красные белели, было и так, что белые перебегали к нам. Да. За горами идет большая гражданская, Колчака бьют, а мы — свою ведем и конца ей не видим. Как пожар лесной: в одном месте погаснет, в другом — вспыхнет. Переметнулись даже в Осиновский уезд, там бедноты много, все рогожки да веревки вьют. Дядя Егор прихварывать начал — лошадь помяла его, да и ранен был в йогу. Под городом Осой захватили его белые; он, вчетвером, на конных наткнулся, двоих убили, еще его подранили. Четвертый, гимназист пермский, прибежал в город, где Лиза со мной была. Лизавета послала меня поглядеть, нельзя ли как выручить дядю. Белые на реке стояли, верстах в трех, у пристаней. Пришла я, а Егор висит на дереве, полуголый, весь в крови с головы до ног, точно с него кожа клочьями содрана, — страшный! И кисти на правой руке нет. Спрашиваю какого-то рогожника: «За что казнили?» — «Большевичок, говорит, настоящий большевичок; они его тут мучили-мучили, а он их — кроет! Довели его до беспамяти, пожалуй, даже мертвого и вешали».

Ну, тут обалдела я немножко. Жалко товарища-то! У пристани народ был, я и говорю: «Как же вам, псы, не стыдно? Вас бы, говорю, вешать надо, бессердечный вы народ!»

Недолго покричала: отвели меня к начальству. Какой-то седенький, лихорадочный, что ли, трясется весь, скомандовал: «Шомполами!» Десяточка два получила и с неделю — ни сесть, ни на спину лечь. Хорошо, что тело у меня такое: чем бьют больней, тем оно полней. Вроде физкультуры. Да, товарищ, бою отведала не меньше норовистой лошади; кожа у меня так мята-изодрана, что сама удивляюсь: как это всю кровь мою не выпустили? А ничего, живу — не охаю!

Ну, что же дальше-то? Первое-то время после нашей победы не стало легче, а будто скушней. Близкие товарищи — кои перебиты, кои разбрелись по разным местам, по делам. Лиза в Екатеринбург уехала, учиться, тогда еще Свердловска не было. Осталась я вроде как одна. Народ у нас, в сельсовете, все новый, осторожный, много не знает в нашей жизни, а что знают, — это понаслышке. Про них один парень, чахоточный, — он помер года два тому назад — частушку сочинил:

Сели власти на вышке,
Рассуждают понаслышке:
— Мы-де здешний сельсовет,
Наплевать нам на весь свет.

Власть на местах была в ту пору. Потом новая экономическая началась. Пристроили меня к совхозу, да не удался он, разродилось новое кулачье, разграбило. Была зиму сторожихой в школе, — ну какая я сторожиха? Учителишко — старенький, задира, больной, ребят не любит. Стала поденно батрачить и вижу: все как будто назад попятилось, под гору, в болото. Бабы звереют, ничего знать не хотят, кроме своих углов. Беда моя — слабо я разбираюсь в теории. Стыдно это мне, а учиться времени нет! Да и человек-то я уж очень практический, не знаю, как писание к настоящей жизни применить, к нашему быту, ловкости у меня нету. Одно знаю: от этих своих углов — все наши раздоры и разлады, и дикость наша, и бесполезность жизни. Знаю, что первое дело — быт надо перестроить и начинать все это снизу, с баб, потому что быт — на бабьей силе держится, на ее крови-поте. А как перестроишь, когда каждая баба в свое хозяйство впряжена, грамотных — мало, учиться — некогда? Завоевали бабью жизнь горшки-плошки, детишки да бельишко… Начала я уговаривать баб прачешную общественную строить, чтобы не каждая стирала, а две-три, по очереди, на всех. Не вышло ничего. Стыд помешал: бельишко-то у всех заношено, да и плохое; когда сама себе стирает — ни дыр, ни грязи никто не видит, а в общественной прачешной каждая будет знать про всех. Они, конешно, не говорили этого, я сама догадывалась, а они провалили меня на вопросе с мылом: дескать, как же мыло считать? У одной десять штук белья, а у другой — четыре, а мыло-то как? Потом некоторые признались: мыло — пустяки, а вот стыда не оберешься! Будем побогаче, устроим и прачешную, и бани общие, и пекарню. Утешили: будем побогаче! «Эх, бабы, говорю, от богатства нашего и погибаем…» Ну, все-таки дела идут понемножку, безграмотность ликвидируем; «Крестьянку» совместно читаем, очень помогает нам «Крестьянская газета». Вот она — да! Она — друг! Нам, товарищ дорогой, акушерский пункт надобно, ясли надо, нам амбар Антоновых надо под бабий клуб, амбар — хороший, бревенчатый, второй год пустой стоит.
Она стала считать, что ей надо, загибая пальцы на руках, — пальцев не хватило. Тогда, постукивая кулаком по столу, она начала считать снова: «Раз, два…»
И, насчитав тринадцать необходимостей, рассердилась, даже раза два толкнула меня в бок, говоря:
— Маловато вы, товарищи, обращаете внимания на баб, а ведь сказано вам: без женщины социализма не построить. Бебеля-то забыли? А Ленин что сказал? А Сталин что вам приказал? Не освободив бабу от пустяков, государством управлять не научишь ее! А у нас и уком и райком сидят, как медведи в берлоге, и хоть бей — не шевелятся! Только слов у них: «Не одни вы на свете!» А дело-то ведь, товарищ, яснее ясного: ежели каждая баба около своего горшка щей будет вертеться, чего достигнем? То-то! Надобно освобождать нас от лошадиной работы. Время нам надобно дать свободное. Я вот сюда третий раз притопала, сосчитай: вперед-назад сто двадцать верст, а за три раза — триста шестьдесят. Шутка! Это значит — полмесяца на прогулку ушло. Ну, ладно! Выговорилась я вся, допуста. Спать пойду. А ты мне укомцев-то настегай, не то в губком пойду. Эх, скорей бы зачисляли меня в партию, уж тогда бы я их встряхивала!

III

По берегам мелководной речки, над ее мутной ленивой водою, играет ветер, вертится над костром, как бы стремясь погасить сто, а на самом деле раздувая все больше, ярче. В костре истлевают черные пни и коряги, добытые со дна реки; они лежали там, в жирной тине, много лет; дачники вытащили их на берег, солнце высушило, и вот огонь неохотно грызет их золотыми языками. Голубой горький дымок стелется вниз по течению реки, шипят головни, шелково шелестит листва старых ветел, и в лад шуму ветра, работе огня — сиповатый человечий голос:
— Мы — стеснялись; стеснение было нам и снаружи, от законов, и было изнутри, из души. А они по своей воле законы ставят, для своего удобства…
Это говорит коренастый мужичок, в рубахе из домотканого холста и в жилете с медными пуговицами, в тяжелых сапогах, — они давно не мазаны дегтем и кажутся склепанными из кровельного железа. У него большая, круглая голова, толстое лицо тоже щетинисто; видно, что в недалеком прошлом он обладал густейшей, окладистой бородой. Под его выпуклым лбом спрятаны голубоватые холодные глаза, и по тому, как он смотрит на огонь, на солнце, кажется, что он слеп. Говорит он не торопясь, раздумчиво, взвешивая слова:
— Бога, дескать, нету. Нам, конешно, в трудовой нашей жизни, богом интересоваться некогда было. Есть, нет — это даже не касаемо нас, а все-таки как будто несуразно, когда на бога малыши кричат. Бог-от не вчерась выдуман, он — привычка древних лет. Праздники отменили, ну, так что? Люди водку и в будни пьют. А бывало, накануне праздника, в баню сходишь, попаришься.
— Так ведь это и в будни можно, в баню-то?
— Кто говорит — нельзя? Можно, да уж смак не тот. В праздник-то сходишь в церкву, постоишь…
— Ходите и теперь ведь…
— Смак, говорю, не тот, гражданин! Теперь и поп служит робко, и свечек мало перед образами. Все прибеднилось. А бывало, поп петухом ходил, красовался, девки, бабы нарядные — благообразно было! Теперь девок да парней в церкву палкой не загонишь. Они вон в час обедни мячом играют, а то — в городки. И бабы, помоложе которые, развинтились. Баба к мужу боком становится, я, говорит, не лошадь…
Сиповатый голос его зазвучал горячее, он подбросил в костер несколько свежих щепок и провел пальцем по острию топора. Он устраивает сходни с берега в реку; незатейливая работа: надобно загнать в дно реки два кола и два кола на берегу, затем нужно связать их двумя досками, а к этим доскам пришить гвоздями еще четыре. Для одного человека тут всей работы — на два часа, но он не спешит и возится с нею второй день, хотя хорошо видно, что действовать топором он умеет очень ловко и не любит людей, которые зря тратят время.
На том берегу реки пасется совхозный скот — коровы и лошади. Из рощи вышел парень с недоуздком в руках, шагнул к рыжему коню, — конь отбежал от него и снова стал щипать траву. Словоохотливый старик, перестав затесывать кол, начал следить, как парень ловил коня, и, следя, иронически бормотал:
— Экой неуклюжий!.. Опять не поймал… Ну, ну… эх, болван какой! Хватай за гриву! Эй!
Парень тоже не торопился. Коня схватила за гриву молодая комсомолка, тогда парень взнуздал его и, навалясь брюхом на хребет, поскакал, взмахивая локтями почти до ушей своих.
— Вот как они работают — с полчаса время ловил коня-то, — сказал старик, закуривая. — А кабы на хозяина работал, — поторопился бы, увалень!
И не спеша снова начал затесывать кол, пропуская слова сквозь густые подстриженные усы:
— Спорить я не согласен с вами насчет молодежи, она, конешно, действует… добровольно, скажем. Ну, однако, нам ее понять нельзя. Она, похоже, хочет все дела сразу изделать. У нее, может, такой расчет, чтобы к пятидесяти годам все барами жили. Может, в таком расчете она и того… бесится.
Ну, да, конешно, это слово — от нашего необразования: не бесится, а вообще, значит… действует! И — ученая, это видно. Экзаменты держит на высокие должности, из мужиков метит куда повыше. Некоторые — достигают: тут недалеко сельсоветом вертит паренек, так

я его подпаском знавал, потом, значит, он в Красной Армии служил, а теперь вот — пожалуйте! Старики его слушать обязаны! Герой!

Бывало, парень пошагает в солдатах три-четыре года, воротится в деревню и все-таки — свой человек! Ежели и покажет городскую, военную спесь, так — ненадолго, покуражится годок и — опять мужик в полном виде. А теперь из Красной-то через два года приходит парень фармазон фармазоном и сразу начинает все обстоятельства опровергать. Настоящего солдата и незаметно в нем, кроме выправки, однако — воюет против всех граждан мужиков и нет для него никакого уёму. У него — ни усов, ни бороды, а он ставит себя учителем…

— Плохо учит?

Старик швырнул окурок в воду, швырнул вслед за ним щепку и, сморщив щетинистое лицо, ответил:

— Я вам, гражданин, прямо скажу: не в том досада, что — учит, а в том, что правильно учит, курвин сын!

— Непонятно это!

— Нет, понять можно! Досада в том, что обидно: я всю жизнь дело знал, а оказывается — не так знал, дураком жил! Вон оно что! Кабы он врал, я бы над ним смеялся, а так, как есть, — он прет на меня, мне уже и увернуться некуда. Он в хозяйство-то вжиться не успел, по возрасту его. А — чего-то нанюхался… Кабы из него, как из меня, земля жилы-то вытянула, так он бы про колхозы не кричал, а кричал бы: не троньте! Да-а! Он в колхоз толкает — почему? Потому, видишь ты, что он на тракториста выучился, ему выгодно на машине сидеть, колесико вертеть.

Ведь понимаем: конешно, машина — облегчает. Так ведь она и обязывает: на малом поле она — ни к чему! Кабы она меньше была, чтоб каждому хозяину по машине, катайся по своей землице, а в настоящем виде она межу не признает. Она командует просто, сволочь: или общественная запашка, или — уходи из деревни куда хошь. А куда пойдешь?

Ну, да, конешно, я не спорю, — начальство свое дело знает, заботится — как лучше. Мы понимаем, не дураки. Мы только насчет того, что легковерие большое пошло. Комсомолы, красноармейцы, трактористы всякие — молодой народ, подумать про жизнь у них еще время не было. Ну и происходит смятение…

Поплевав на ладонь, крепко сжимая топорище красноватой, точно обожженной кистью руки, он затесывает кол так тщательно, как секут детей люди, верующие, что наказание воспитывает лучше всего. И, помолчав, загоняя кол ударами обуха в сырой, податливый песок, он говорит сквозь зубы:

— Вот, примерно, племянник мой… Двоюродный он, положим, а все-таки родня. Однако он мне вроде как — враг, да!.. Он, конешно, понимает: всякому зверю хочется сыто жить, человеку — того больше. На соседе пахать не дозволено, лошадь нужна, машина — это он понимает. Говорить научились, даже попов забивают словами; поп шлепает губой, пыхтит: бох-бох, а его уж не токмо не слыхать, даже и нет интереса слушать. А они его прямо в лоб спрашивают: «Вы чему такому научили мужиков, какой мудрости?» Поп отвечает: «Наша мудрость не от мира сего», они — свое: «А кормитесь вы от какого мира?» Да… Спорить с ними, героями, и попу трудно…

Вы, гражданин, прибыли издаля, поживете да опять уедете, а нам тут до смерти жить. Я вот пятьдесят лет отжил в трудах и — достоин покоя али не достоин? А он меня берет за грудки, встряхивает, кричит, как бешеный али пьяный. Из-за чего, спрашиваете? Будто бы я на суде неправильно показал, — там у нас коператоров судили, за растраты, что ли, не понял я этого дела. Попытка на поджог лавки действительно была, это всем известно. Суд искал причину: для чего поджигали? Одни говорят: чтобы кражу скрыть, другие — просто так, по пьяному делу. Племянник — Сергеем звать — да еще двое товарищей его и девка одна, они это дело и открыли. До его приезда все жили как будто благополучно, а вкатился он — и началась собачья склока. И то — не так, и это — не эдак, и живете вы, говорит, хуже азиатов, и вообще… И требуют, чтобы меня тоже судить: будто бы я неправильно показал насчет коператоров…

Говорит он все более невнятно и неохотно; кажется, что он очень недоволен собой за то, что начал рассказывать. Он изображает племянника коротенькими фразами, создавая образ человека заносчивого, беспокойного, властного и неутомимого в достижении своих целей.

— Бегает круглы сутки. Ему все едино, что — день, что — ночь, бегает и беспокойство выдумывает. Пожарную команду устроил, трубы чистить заставляет, чтоб сажи не было. Мальчишек научил кости собирать, бабам наговаривает разное, а баба, чай, сами знаете, — легковерная. В газету пишет; про учителя написал. Оттуда приехали — сняли учителя, а он у нас девятнадцать лет сидел и во всех делах — свой человек. Советник был, мимо всякого закона тропочку умел найти. На место его прислали какого-то веселенького, так он сразу потребовал земли школе под огород, под сад, дескать, надобно произвести…
Чувствуется, что, говоря о племяннике, он, в его лице, говорит о многих, приписывает племяннику черты и поступки его товарищей и, незаметно для себя, создает тип беспокойного, враждебного человека. Наконец он доходит до того, что говорит о племяннике в женском лице:
— Собрала баб, девок…
— Это вы — о ком?
— Да все о затеях его. Варвара-то Комарихина до его приезда тихо жила, а теперь тоже воеводит. Загоняет баб в колхозы, ну, а бабы, известно, перемену жизни любят. Заныли, заскулили, дескать, в колхозе — легче…
Он сплюнул, сморщил лицо и замолчал, ковыряя ногтем ржавчину на лезвии топора.
Коряги в центре костра сгорели, после них остался грязновато-серый пепел, а вокруг него все еще дышат дымом огрызки кривых корней: огонь доедает их нехотя.
— И мы, будучи парнями, буянили на свой пай, — задумчиво говорит старик. — Ну, у нас другой разгон был, другой! Мы не на все наскакивали. А их число небольшое, даже вовсе малое, однако жизнь они одолевают. Супротив их, племянников-то этих, — мир, ну, а оборониться миру — нечем! И понемножку переваливается деревня на ихнюю сторону. Это — надобно признать.
Встал, взял в руки отрезок горбуши, взвесил его и, снова бросив на песок, сказал:
— Я — понимаю. Все это, значит, определено… Не увернешься. Кулаками дураки машут. Вообще мы, старики, можем понять: ежели у нас имущество сокращают и даже вовсе отнимают — стало быть, государство имеет нужду. Государство — человеку защита, зря обижать его не станет.
И, разведя руками, приподняв плечи, он докончил с явным недоумением на щетинистом лице, в холодных глазках:
— А добровольно имущество сдать в колхоз — этого мы не можем понять. Добровольно никто ничего не делает, все люди живут по нужде, так спокон веков было. Добровольного и Христос на крест не шел — ему отцом было приказано.
Он замолчал, а потом, примеривая доску на колья, чихнул и проговорил очень жалобно:
— Дали бы нам дожить, как мы привыкли!
Он идет прочь от костра, ветер гонит за ним серое облачко пепла. Крякнув, он поднимает с земли доску и бормочет:
— Жить старикам осталось пустяки. Мы, молодые-то, никому не мешали… Да… Живи, как хошь, толстей, как кот…
Чадят головни; синий, кудрявый дымок летит над рекой…

1930–1931

Бык

Деревня Краснуха приобрела быка. Это случилось так: выйдя в отставку, сосед Краснухи, генерал Бодрягин, высокий, тощий старик, с маленькой головой без волос, с коротко подстриженными усами на красненьком личике новорожденного ребенка, жил года три смирно, никого не обижая, но осенью к нему приехал тоже генерал, такой же высокий,

лысый, но очень толстый; два дня они, похожие на цифру 10, гуляли вокруг усадьбы Бодрягина, и после этого генерал решил, что надобно строить сыроварню, варить сыры. Богатым мужикам Краснухи это не понравилось — они дешево арендовали всю пахотную землю генерала, 63 десятины, а беднота — приободрилась в надежде заработать. Так и вышло: генерал немедля нанял, мужиков рубить лес, начал строить обширные бараки, всю зиму весело и добродушно командовал, размахивая палкой, как саблей, а во второй половине апреля скоропостижно, во сне, помер, не успев заплатить мужикам за работу, — деньги платил он туго, неохотно.
Становой пристав, распоряжаясь похоронами, погнал мужиков провожать гроб с генералом на станцию железной дороги, а в усадьбе, ожидая, когда кончатся поминки, остались трое отменно жирных: староста Яков Ковалев и приятели его Данило Кашин да Федот Слободской. Поминало Бодрягина немного людей, человек шесть, но поминали шумно, особенно гремел чей-то трескучий, железный бас, то возглашая «вечную память», то запевая «Спаси, господи, люди твоя», причем однажды он спел не «спаси», а «схвати», и все громогласно смеялись.
Потом на крыльцо вышел, с трубкой в руке, сильно выпивший наследник Бодрягина, тоже военный человек, коренастый, черноволосый, с опухшим багровым лицом и страшно выпученными глазами. Он грузно сел на ступеньки и, не глядя в сторону мужиков, набивая трубку табаком из кожаного кошелька, спросил грозно, басом:
— Вы чего тут мнетесь, а?
Староста, согнувшись, протянул ему подписанные Бодрягиным счета и стал осторожно жаловаться, а наследник смял бумажки, скатал их ладонями в комок и, бросив в лужу, под ноги мужиков, спросил:
— Сколько?
— Восемьдесят семь целковых, — сказал Ковалев.
— Ни хрена не получите, — тяжело качнув головой, заявил наследник. — Именье заложено, инвентарь будут с аукциона продавать, а у меня — денег нет, да и не за что мне платить вам! Поняли? Ну и ступайте к чертям.
Тогда заговорил Данило Кашин; он умел говорить много, певуче и как-то так, что заставлял всех и всегда молча ждать: вот сейчас он скажет что-то очень важное, хорошее и все объяснит, все разрешит. Так случилось и с наследником; он тоже минуты две слушал молча, попыхивая зеленым дымом, страшные глаза его потускнели, стали меньше, и наконец он сказал:
— Будет, растаешь! Возьмите быка, его в подарок дяде прислали, он в инвентарь еще не вписан. Берите и — к чертям болотным!
Кашин тихонько шепнул старосте:
— Брать надо, брать!
Но староста и без его совета принял предложение военного человека как закон. А Слободской, мужик тяжелый, большой, угрюмый, взглянул на это дело, как на все в жизни.
— Все едино, — сказал он — берем.
И вот привели быка в деревню, привязали его к стволу черемухи, против избы Ковалева; собралось человек двадцать мужиков и баб, уселись на завалинке избы, на куче жердей против нее. Бык — огромный, черный, точно вырезан из мореного дуба и покрыт лаком, толстоголовый, плосколобый, желторогий — стоял неподвижно, только уши чуть заметно шевелились. Красноватые ноздри на тупой его морде широко разведены в стороны, и от этого морда кажется свирепой. Большие выпуклые глаза покрыты влажной сизоватой пленкой; бык тихонько пофыркивает и смотрит сосредоточенно, как бы надумывая что-то. Смотрит он за реку, в луга, там сероватый покров снега мелко изорван черными проталинами и сквозь снег торчат ржавые прутья кустарника.
Люди, неодобрительно разглядывая быка, молча слушают рассказ Ковалева. Он человек среднего роста, крепкий, с миролюбивой улыбочкой на румяном лице, с ласковым блеском в голубоватых глазах; он говорит мягким, гибким голосом добряка и приглаживает ладонью седоватые, редкие волосы, рассеянные неряшливо по щекам, подбородку, по шее.
— Так, значит, и сказал, — докладывает он, — «берите и — больше никаких, а то, говорит, я вас…» Ну, он — военный, с ним не поспоришь, да мне, старосте, с начальством спорить и не полагается. Конечно, животная эта наших денег не стоит…

Ковалев говорил виновато. По дороге из усадьбы в деревню он, глядя, как медленно шагает бык, подумал, что, пожалуй, староват бык, да и слишком тяжел для мелких деревенских маток, поломает их.
Немедленно после старосты заговорила мужеподобная, толстогубая вдова железнодорожного сторожа Степанида Рогова.
— Немощный он, — сердито сказала она густым голосом. — Глядите, — яйца-то высохли.
Вмешался Кашин.
— Ты, Степаха, брось! Ты знай свои, куриные…
На эту тему заговорили все мужики, и так, что бабы начали плеваться, кричать:
— Эх, бесстыжие рожи! Охальники! Ребятишки слушают вас. Постыдились бы детей-то, черти безмозглые!..
А Рогова, гневно сверкая красивыми глазами, точно чужими на ее грубом лице, кричала Кашину, напирая на него грудью:
— Говядина! Говядина и — больше ничего!
На нее тоже закричали сразу несколько мужиков и баб:
— Будет тебе орать! Эх ты, халда! Заткни глотку, эй!
Деревня не любила Рогову за ее резкий характер и за скупость; не любила, считала чужим человеком и завидовала ей. Муж ее был путейским сторожем, и ему «всю жизнь судьба везла», как говорили мужики. Года три тому назад ему удалось предупредить крушение поезда, пассажиры собрали для него 104 рубля да дорога наградила полусотней рублей. Вскоре после этого, в половодье, переезжая на лодке Оку, утонул его брат с женой и сыном; тогда Рогов послал Степаниду хозяйствовать в Краснухе на землю брата, а сам еще на год остался работать на дороге, да вскоре, спасая имущество станции во время пожара, сильно ожегся и помер от ожогов. За это дорога выдала Степаниде 100 рублей. Женщина заново перестроила избу деверя, обратила в батрачку свекровь, — старуху, счастливую своей глупостью и деловитостью снохи, купила лошадь, корову, завела пяток овец, дюжину кур, с весны до покрова держала батрака и открыто жила с сельским стражником Прохором Грачевым, недавно арестованным за «нанесение увечья» пастуху деревни Выселки. Всего этого было слишком достаточно для того, чтоб Рогову не любили, но это ее не смущало, и, не обращая внимания на злые окрики, она упорно твердила в лицо Кашина:
— Ему — сто лет, быку, сто лет!
Кашин, коренастый, коротконогий, с бритым солдатским лицом, толстыми усами и темными глазками медведя, человек исключительной физической силы, отмахиваясь от нее, уговаривал Рогову веселым тенорком:
— Ты погоди, не бесись! Какое твое дело? Чего теряешь, чего выиграть хочешь? Нам дело решить надо: продавать его али оставить и на случки пускать? Он — породистый.
Рогова все наскакивала на него, выкрикивая:
— А ты, а ты чего добиваешься, ну-кось? Ну, скажи…
— Кормов не оправдает, — крикнул кто-то.
Марья Малинина, повитуха и знахарка, сытенькая старушка, маленькая, точно подросток, в черной юбке, аккуратно, с головы до поясницы, закутанная в серую шаль, заговорила, покачивая головой:
— Верно, не оправдает кормов. И ухода потребует, очень много ухода надобно за ним…
Тихонько подошел учитель, молодой человек в огромных серых валенках, в городском пальто, с поднятым воротником, в мохнатой шапке, надвинутой на глаза, погладил круп быка и сказал сиплым голосом:
— Жвачное млекопитающее, из семейства полорогих.
Кашин громко удивился:
— Чего это? Бык — млекопитающий?
— Именно.
— А еще чего соврешь?
Учитель подумал и сказал:
— Любит соль.
— А конфетов не любит? — спросил Кашин.
Рогова, толкнув учителя локтем в бок, продолжала кричать:
— Ты, двуязычный, молчи, не мешай! Пускай они, деловики наши, развяжут узелок этот…

Встал с завалины староста, бросил на землю окурок, растер его ногой и заговорил:
— Ну, пора кончать, покричали сколько надо! Теперь вопрос: у кого держать быка?
Все замолчали, а Кашин, оглянув народ, сорвал с головы свою шапку, хлопнул ею по широкой своей груди и удало сказал:
— Видно, мне надобно брать его. Ладно, я готовый миру послужить. Хлевушок надобно ему, так вы дайте мне жердочки и хворост из Савеловой рощи…
Учитель передвинул шапку на затылок, открыл серое, носатое лицо с большими глазами в темных ямах, испуганно спросил:
— Как же это, господа миряне? Дерево назначено на ремонт школы, хворост — на топливо мне, я же сам хворост рубил, сам укладывал.
— Не пой, Досифей, не скули, — попросил Кашин, пренебрежительно махнув на него рукой.
— Нет, вы школу не обижайте, — говорил учитель, покашливая. — Ведь ваши дети в ней учатся, не мои.
— А им наплевать на детей, — сказала Рогова. — Тебя до чахотки довели и детей перегубят…
— Экая вздорная баба! — удивился Кашин. — Не все я возьму, Досифей, не плачь! Иди с богом на свое место, ты тут несколько лишний…
Учитель снова надвинул шапку на лицо, закашлялся неистово и, сплевывая на землю, изгибаясь, пошел прочь. За ним последовала Рогова, но через несколько шагов обернулась, крикнув:
— Облапошит вас Кашин, глядите!
Кашин, усмехнувшись, помотал головой и вздохнул:
— Еще разок хрюкнула…
Все молчали. Только староста и Кашин, сидя рядом, отрывисто и как бы нехотя, невнятно говорили о чем-то. Но Слободской, должно быть, устав молчать, пробормотал в бороду себе:
— А этот, чахлый, все про школу.
— Тепло любит, — откликнулся плотник Баландин.
— Учит, а чему? — спросил Кашин. — Каля-маля, кругла земля. «Зубы, десны крепче три и снаружи и снутри».
— Нас учили про птичку божию читать, — вспомнил староста. — Дескать — «не знает ни заботы, ни труда».
Батрак Слободского, красивый, скромный парень, сказал:
— Считать учат.
— Считать всякий сам научается, — строго выговорил Кашин. Кто-то поддакнул ему:
— Это верно. Я в цирке собаку видел — считает!
— Значит, решили, — заговорил Кашин, — ставим быка на содержание Данилу Петрову. За корм возместить ему придется. Баландин хлевишко соорудит. Так, что ли?
— А как иначе? — откликнулся плотник. — Самое правильное.
Человека три встало с бревен, побрели в разные стороны.
Слободской искоса посмотрел на них и, снова опустив голову, сказал в землю:
— Помрет скоро учитель, кровью харкать начал.
— Ребятишки рады будут.
— Нет, это — напрасно!
— Им, дьяволятам, лишь бы не работать, а учиться они охочие.
— Они Досифея уважают.
— Сказки рассказывает им.
— Уважать его не за что, — решительно заявил Кашин. — Да и вообще дети уважать — не могут, не умеют.
— Эхе-хе, — вздохнул Баландин и позевнул с воем, а затем скучно выговорил:
— И учен, да не богат, все одно наш брат, нищий.
Но хотя говорили об учителе, а думали о другом, и Никон Денежкин, первейший в деревне пьяница и буян, выразил общее желание, сказав:
— Могарыч с тебя надо, Данило Петров. Ставь четвертуху!
— Это за что? — очень искренне удивился Кашин, похлопывая ладонью по крупу быка.

— Уж мы понимаем за что!
— Я, значит, должен питать, охранять общественное животное, да я же и водкой вас поить обязан?
— А ты не ломайся, — сердито посоветовал Денежкин. — Нас тут семеро, давай три бутылки и — дело с концом.
Ковалев, немножко нахмурясь, спросил все-таки ласковым голосом:
— Народ спросит: какая причина выпивки?
— Чего там — причина? Захотелось, ну и выпили.
Батрак Слободского и Баландин пытались привести быка в движение, батрак толкал его в бока, плотник дергал за веревку, накинутую на рога. Бык стоял, точно отлитый из чугуна, только челюсти медленно двигались и с губ тянулась толстая нить сероватой слюны.
— Паровоз, — пробормотал Слободской и, подняв с земли щепку, швырнул ее в морду быка, а Денежкин ударил его ногой в живот, тогда бык не громко, но густо и очень грозно замычал, покачнулся, пошел.
— Ну и черт! — одобрительно сказал Кашин, хлопнув себя руками по бедрам, притопнув ногой.
Денежкин отправился за водкой. У избы старосты осталось четверо; он скручивал папиросу, рядом с ним сидела Марья Малинина. Слободской, согнувшись, озабоченно ковырял палочкой землю, а Кашин лежал вверх спиной на бревнах и глядел за реку; оттуда веяло сырым холодом, там опускалось солнце, окрашивало пятна снега в розоватый цвет, показывало вдали башню водокачки железнодорожной станции, белую колокольню, красный, каменный палец фабричной трубы. Тихонько, но напористо струился сухой, старушечий говорок Малининой.
— А дифтерик из Мокрой к нам перескочил, Яков Михайлыч…
— Перескочил? — спросил Ковалев. У него не свертывалась папироса, он был очень занят этим и спросил из вежливости, равнодушно, как эхо.
— Ну меня такая думка, что это Татьяна Конева занесла, по ее вдовьему горю.
— Не ладишь ты с Татьяной!
— Зачем? Мне с ней делить нечего. А известно мне, что она водила в Мокрую Катюшку с Лизкой прощаться с двоюродным и, наверно, потерла своим ребятишкам глазки, личики рубашечкой с мертвенького, — говорила Малинина, точно сказку рассказывала.
— Не верю я, чтобы матери детей нарочно заражали дифтериком, — сказал Ковалев, отхаркнулся и плюнул с дымом.
— Бывает, — кратко и веско откликнулся Слободской, а Данило Кашин живо подтвердил:
— Бывает, я знаю! Марья сама эдак-то травила ребят.
— Ну, это — шутишь ты, и нехорошо. Я него не надо никогда не делывала и не буду, — спокойненько говорила Малинина, роясь правой рукой во многих юбках, надетых на ее кругленькое тело. Нашла в юбках табакерку, понюхала табаку и подняла лицо в небо, ожидая, когда нужно будет чихнуть, а чихнув, продолжала:
— Я опасного боюсь! Я ведь знаю, доктора преследуют матерей, которые дифтерик прививают детям. Это, дескать, самоубийство детей. Однако и матерей надо понять — пожалеть. У Коневой — четверо, мал мала меньше, а от мужа всю зиму ни слуха ни духа. Четверых милостыней не прокормишь.
Ковалев отодвинулся от нее и строго заговорил:
— Ну, а ты чего? Захворали дети Коневой? Иди, лечи! Чего ты сидишь?
Старушка вытерла рот концом шали и, не повышая голоса, ответила:
— Я дифтерик лечить не могу, я только русские болезни лечу, а дифтерик — аглицкая. А твое дело — сказать уряднику про Коневу…
— У нее задача — Коневу истребить, — добродушно сказал Кашин. Старушка немедля ответила:
— Конева для меня — тьфу! — и, плюнув на землю, притопнула плевок.
— Ты иди-ка, иди, — настаивал Ковалев. — Что тебе тут сидеть?
— Улица для всех, — объяснила Малинина и пересела на бревна, рядом со Слободским.
Он, не глядя на нее, сказал:
— Язва ты.

— Денежкин идет, — сообщил Кашин, вставая на ноги. — Айда в избу к тебе, Яков… Огурчиков дашь?
— Можно.
Трое мужиков ушли во двор старосты. Марья Малинина посмотрела в розовое небо, на шумную суету галок, подождала, когда во двор прошел Денежкин, встала и, погрозив избе старосты маленьким кулачком, пошла вдоль улицы мелким, быстрым шагом.

Кашин немедленно начал строить хлев, а быка отдал на присмотр и попечение пастуху, нелюдимому, зобатому старику с большой лысой головой на узких плечах, с выкатившимися глазами на лице синеватой кожи, спрятанном в густой, курчавой бороде. Борода у него росла от ушей к подбородку густо и еще не вся поседела, а на туго вздувшемся зобе волосы были какие-то бесцветные, разошлись редко, торчали вперед, и от этого казалось, что у старика на шее — другая голова, обращенная лицом в нутро груди, выставившая наружу красный затылок. Некоторое время пастуха так и звали Двуглавый, но становой пристав, узнав об этом, рассердился.
— Идиёты! — закричал он. — Двуглавый-то кто у нас? Государственный орел, священный знак государя императора, черти не нашего бога!
Он приказал:
— Забыть и не сметь!
Взрослые забыли, но ребятишки помнили прозвище пастуха, и за это им давали подзатыльники, драли за уши, волосы. Два раза в день по улице Краснухи появлялся бык, почти вдвое более крупный, чем любая корова стада. Его мощная туша, медленный барский шаг, бархатистый лоск его шерсти, жирный огрудок, важное покачивание огромной, желторогой башкой, весь он очень плачевно оттенял малорослость деревенского стада. Бабы, девки не любили его, и многие из них, выгоняя коров со двора, хлыстали быка хворостинами, колотили палками, покрикивая:
— У-у, дьявол!..
— Дармоед!..
Обычно стадо гоняли за реку; в широком ее месте был хороший, мелкий брод. Но стояло половодье, стадо паслось по жнивью, где по частым межам не щедро прорастало кое-что зелененькое и где лошадные хозяева уже начали пахать. Отощавшие за зиму коровы тщательно и жадно выщипывали губами молодые побеги сорняков, а бык, должно быть, считая этот нищенский корм оскорбительным для себя, стоял монументом или медленно переходил с места на место, источая на землю голодную слюну. Изредка он мычал глухо и обиженно. Пастух сказал Кашину:
— Бык этот — большой цены, его сытно кормить надо, а вы, хозяева, погубите его. Продавали бы скорее немцу, управляющему Ветошкина.
Кашин поднял ладонь к его лицу, как бы желая закрыть глаза пастуха.
— Ты — молчи, Антон! Я знаю, как надо. А ты — помалкивай.
Вся деревня смотрела на старосту, Кашина и Слободского, как на людей, виноватых в том, что пропали деньги, заработанные у генерала. По вечерам у избы Ковалева собирался народ, и почти всегда разгорались сердитые споры. Рогова кричала:
— Надо же было выдумать эдакое, — променять почти сотню рублей на дохлую скотину.
Ее нападки почему-то радовали миротворца Кашина, и он изливал свое неистощимое красноречие.
— Ну, ладно, ну хорошо, действительно — виноваты, ошиблись! Бычишка — дерьмо, цена ему — три красных, верно! Но ведь это — не мы дураки, случай — дурак! Нам бы действительно просить еще чего-нибудь, лошадь, что ли, ну, там, телегу… Да он, наследник-то, пьяный был. К тому же — военный! Чего с него возьмешь?
Тяжело передвигая по сухой, холодной земле огромные валяные сапоги, подходил учитель, как всегда подняв воротник пальто. Молча, бескровной рукой снимал шапку, обнажая высокий лоб и прямые, зачесанные на затылок волосы, сероватые, в цвет кожи лица. Он был еще юноша, на остром его подбородке и на костлявых щеках едва заметно прорастал бесцветный пух, и особенно молодили его лихорадочно блестевшие голубоватые глаза.
У Степаниды Роговой было основание называть его двуязычным: он ей жаловался на отношение мужиков к нему и школе, а мужикам жаловался на то, что Рогова плохо кормит

его и дорого берет за квартиру; комната для учителя при школе обгорела год тому назад, и ее все еще не собрались починить. Мужикам он надоел своими просьбами, бабы относились к нему жалостливо, как к полоумному, а некоторые и брезгливо, как к больному чахоткой. У него была странная привычка: здороваясь с людьми, он почти всегда произносил какие-то книжные фразы, как будто хотел напомнить людям, — а может быть и себе, — что он — учитель. Вот и теперь, подойдя, он сказал:
— «Живительное дыхание весны выманило людей из темных изб на воздух, под теплые ласки солнца».
— Цветешь? Ходишь? — встретил его Кашин и тотчас вернулся к своей теме.
— Его, военного, может, к нам земским начальником назначат. Он прямо сказал: «Денег у меня нету». Ну, куда же ему деваться? Хороший дворянин, самостоятельный в земские не пойдет. И в попы не пойдет. Он — в театр, в актеры, в цирк али еще куда. На фортепьянах играть, на скрипке.
— Книги писать, — подсказал учитель.
— Правильно! — согласился Кашин. — Книги писать они могут сколько угодно. Это для них — самое легкое дело. Лев Толстой, граф, обеднел до того, что сам землю пахать начал, а опомнился, начал книги писать — усадьбу купил. Штука?
— Это не так, — сказал учитель и закашлялся с воем, точно ребенок в коклюше.
— Нет, врешь, так! — победно закричал Кашин. — Имеет усадьбу. Картинка есть — пашет. Даже и босой, вот как! Ты со мной не спорь, я старше тебя, я в десять раз больше тебя знаю! Я — просвещенный, — гордо сказал он, поглаживая грудь свою ладонью. — Ты, намедни, про Гоголя сказывал, а не знал, что по-настоящему гоголь-то — селезень. Даже песня есть:

Вниз по реченьке гоголюшка плывет,
Выше бережка головушку несет.

Слыхал? Надо, брат, знать, как что называется.
Знал Кашин много, крепко верил в ценность своих знаний и любил учить: учил ребятишек играть в бабки, парней и девок — песни петь, батраков — работать и мириться с жизнью. А особенно любил он поучать учителя. Пристрастие к болтливости не мешало ему искусно хозяйствовать, он имел пару лошадей, три коровы, круглый год держал батрака. К сорока пяти годам он схоронил двух жен, семерых детей, уцелело двое: старший — в солдатах, младший поссорился с ним, ушел на Каспий рыбу ловить, и неизвестно было, жив ли он. Третий год Кашин жил с дочерью Слободского, вдовой; она привела ему двух девочек да от него родила девочку и мальчика; ее девчонки бегали на станцию торговать молоком, лепешками; девочку от Кашина на днях задушил дифтерит, а сына он спрятал от эпидемии в избе бездетного Слободского. Дочь Слободского была красивая, высокого роста, пышногрудая, но такая же сумрачная и скупая на слова, как ее отец.
— Господа — живучие, — говорил Кашин, поучая учителя; тенористый голосок его звучал торопливо, как весенний ручей, и очень согласно с криками ребятишек, игравших в бабки за пожарным сараем, согласно с теплым дыханием ветра, с ласковыми запахами весны.
— Им, господам, есть куда деваться. Вот, возьми Черкасовых: отец в пух, прах разорился, все имение растранжирил, — мать тотчас в городе гимназию девичью завела, сына выучила пароходы строить, он тысячи зарабатывает, на паре лошадей ездит — шутка! А дочь за прокурора выдала — вот как! Я, брат, все истории знаю. Или — возьми Левашовых…
У пожарного сарая собрались девки и, высоко построив голоса, пронзительно раздергивали городскую песенку. Кашин замолчал, подняв вверх левую руку с вытянутым указательным пальцем, а учитель внятно и любовно выговорил:
— «Вечерами, отдыхая от трудов, крестьяне собираются на улицах сел, деревень и проводят время в мирной беседе, тогда как молодежь поет задушевные русские песни».
— Юрунду поют, — сказал Ковалев, сплюнув.
— Верно! — подтвердил Кашин. — Я же говорил им, дурам. Это — городская, мещанская песня, а надо петь самолучшие господские. И слова не те поют, надо петь — так.

Притопывая пяткой левой ноги, помахивая правой рукой, сохраняя мелодию, он, говорком, рассказал!

Мне не спится, не лежится,
И сон меня не берет,
Я пошел бы к Саше в гости,
Да не знаю, где живет.

Попросил бы приятеля —
Пусть приятель отведет.
Мой приятель меня краше,
Боюсь — Сашу отобьет,

а они орут:

Мне не спит-ца, не лежит-ца,
Между прочим — почему?
Ах, я узнаю, отгадаю,
Когда, может быть, помру.

— Юрунда, конешно, — повторил Ковалев. — Дай-ко табачку.
— Я песни знаю, — живо говорил Кашин, доставая кисет из кармана штанов. — Может, сотни песен известны мне…
— А все-таки чего с быком делать будем? — угрюмо спросил Слободской.
— И это знаю. Я обо всем думаю. Нет такой вещи, чтобы я ее не обдумал…
Свертывая папиросу, искоса посмотрев на учителя, точно задремавшего, прислонясь спиной к стволу черемухи, Ковалев проговорил:
— Вот Слободской боится, что взыщут с нас мужики восемьдесят рублей, а бык — нам останется… И продадим его целковых за тридцать…
— Этому не быть! — твердо сказал Кашин и, закрыв один веселый глаз, грозя пальцем кому-то над своей головой, он вполголоса, очень секретно, добавил: — Вы о быке не беспокойтесь, я про него больше вашего знаю. Дайте мне срок, я вас могу удивить. О быке, намекну я вам, недоимщикам надо позаботиться, а не нам… Вот что…
С поля возвращались двое запоздалых пахарей, оба — тощие, в рваных кафтанах, в комьях рыжей грязи на лаптях; за ними устало, покачивая головой, шла мохнатая лошаденка.
Учитель выпрямил шею и сказал:
— «Для земледельческих работ славяне издревле пользовались лошадью».
— Это кто такое, славяне? — настороженно спросил Кашин.
— Мы, русские, — сказал учитель.
— А почему же — славяне? — строго осведомился Кашин.
Учитель виновато объяснил:
— Племя наше так называется.
Сожалительно покачивая головой, Кашин сказал тоном осуждения:
— Неправильно говоришь, Досифей, даже — смешно. Это о скоте говорится — племя, а про крестьян — нехорошо так говорить! Эх, брат…
— Вот он чему ребят учит, — грустно сказал Ковалев.
Сухо покашливая, держа себя рукой за горло, учитель заговорил огорченно:
— Вы не знаете, Данило Петрович! Люди все на племена делятся: мордва, например, немцы, англичане.
— Мы тебе не мордва, — напомнил Ковалев, пустив на учителя длинную струю дыма, а Кашин добродушно засмеялся:

— Чудак ты, Досифей! Ну, пускай там немцы, англичане делятся, как хотят, они все одинаковы, это, может, обидно им. А мы — православный народ, христиане, мы не мордва, не немцы… Смешной ты, ей-богу…
— А вот, Данило Петрович, говорится «племянник», — не уступал учитель, но Кашин твердо ответил ему:
— Не-ет, Досифей, я учитель — погуще тебя, посильнее буду. Молодой ты очень. Учитель — ходовой человек, бывалый, тогда он — учитель. А ты — где бывал? То-то…
Досифей хотел сказать еще что-то, но Кашин, махнув на него рукой, сказал:
— Посиди, помолчи!
Девки пели другую песню, скучнее, заунывней.

Вот мой гроб обит клазетом,
Золотою бахромой,
И буду я лежать при этом
Навеки мертвый и немой.

Ах, скорее хороните:
Неподвижный труп — готов!
И на грудь мне положите
Полевых букет цветов.

— Насчет недоимщиков ты ловко сообразил, — сказал староста и смачно, с дымом, плюнул на землю.
— Уж я не ошибусь, — откликнулся Кашин, прислушиваясь к песне.
— Всё про смерть поют, — как-то вопросительно отметил учитель. Кашин немедленно подхватил его слова:
— А что? Им не завтра помирать. Им до смерти, как до Америки, — далеко! Ты про Америку — чего знаешь? Слыхал ты, там построили мост над морем, висит мост на воздухе и — ничего, висит!
— Это мост через реку Гудзон, — поправил учитель.
Кашин даже привстал, удивленно моргая, вытаращив круглые глаза.
— Ну и врешь, — сказал он. — Ты же карту не видал, Досифей. Эх ты, брат! Ведь Америка-то остров, а — откуда же на острове река? На островах рек не бывает. Эх, Досифей, о смерти думаешь, а пустяки говоришь.
— Я о смерти не думаю, — слабо откликнулся учитель.
— И тоже врешь. Должен думать, не думал бы, так не говорил. Нет, чего же? Твоя жизнь — решенная. Против чахотки средства нет. От нее не спрячешься, она прямо ведет на погост, в могилу, и — боле никаких! Брось спорить, меня не переспоришь. Айда к девкам, я с ними петь буду, я их зимой многим новым песням научил. Айда!
Коренастый, тяжелый, но ловкий, он легко поднялся на ноги и пошел, вскрикивая:
— Девки-и! А вот он я — иду!
Ковалев тоже встал, почесал спину об угол избы и скрылся к себе во двор. Слободской, поглядев вослед Кашину, направился за старостой, и учитель слышал, как он во дворе спросил:
— Обманет нас Данило-то?
Ответ Ковалева прозвучал невнятно. Учитель пошаркал по земле подошвой сапога, пощупал пальцами свой серый нос, поковырял указательным в левом глазу, посмотрел на палец, вытер его о пальто на груди, с минуту постоял, оглядываясь вокруг, как бы решая: куда идти? И пошел к пожарному сараю, а встречу ему уже весело струился звонкий тенорок Кашина:

Гляжу я, гляжу я на черную шаль,

И душу терзает обида и печаль, — и-эх!

Девки яростно и дружно подхватили:

Когда я мальчишка молоденький был,
Одну я девчоночку отчаянно любил!
Эх, дуй, раздувай, разыгрывай давай,
Парень девчонку отчаянно любил.

Кашин стоял перед девицами, взмахивая руками, точно крыльями, и, сгибая ноги в коленях, подпрыгивая, подбрасывал в такт веселой песни широкое тело свое от земли.

Краснуха считалась деревней зажиточной, но из тридцати семи дворов девятнадцать закоренели в недоимках, а пять хозяйств из девятнадцати были совсем разорены. Один из мужиков удавился после того, как описали и продали за недоимки его имущество, другого изуродовала грыжа, третьего разбил паралич, четвертый, Асаф Конев, человек грамотный и очень неприятный богачам деревни своим умом, ушел из деревни, бросив жену с пятеркой детей, и второй год пропадал без вести. Эти многодетные четыре семьи нищенствовали, «ходили по миру» и так надоели Краснухе, что милостыню им подавали редко и только те сердобольные бабы, которые жили тоже на очереди идти по миру «в кусочки». Татьяна Конева никогда уже не просила милостыни в своей деревне, а зимою и летом уходила далеко, добиралась даже до губернского города, за сто тринадцать верст. После одного из таких путешествий она вернулась без грудного ребенка и сказала, что помер; соперницы ее пустили слух, что Татьяна нарочно заморозила дитя. В общем, нищие Краснухи жили не так уж плохо, легче и сытнее многих бедных семей, которые, работая «исполу» с богачами или батрача на них, жили трудно, голодно и озлобленно.
— Вредный народ, — говорил о них Кашин. Староста тяжко вздыхал:
— Великая обуза мне они.
А Слободской мрачно удивлялся:
— Отчего бы не выселять горлопанов этих на пустые места? В Сибирь бы куда-нибудь.
— В Америку продавать, — весело мечтал Кашин. — В Америке людей не хватает, неграми пользуются, такой народ есть негры, в черной шерсти все, вроде медведей.
Первым богачом и умником Краснухи числился Ермолай Солдатов, старик высокого роста, в шапке седых курчавых волос, с такой же курчавой густейшей бородой, с большим красным носом и круглыми, как у птицы, серыми глазами без улыбки. Он держался в стороне от всех, на мирских сходках бывал редко, но накануне схода почти всегда беседовал со старостой, и Ковалев, слушая его спокойные советы, особенно усердно растирал неряшливую бороду свою ладонью по щекам. Почти каждый год к Солдатову приезжал старший сын, матрос Балтийского флота, служивший второй срок, лысый, усатый и до того жадный на девок, что парни Краснухи следили за ним, как за подозреваемым в конокрадстве, но он подпаивал их и все-таки успел заразить одну «дурной болезнью». Изба у Солдатова в пять окон, двор покрыт тесом. С ним жил второй сын, Михаил, женатый на дочери волостного старшины, рыжий красавец, с наглым лицом и барской медленной походочкой, руки в карманах, кудрявая голова гордо вскинута, мужик грамотный и насмешливый, отец троих детей. Каждый праздник он, сидя за кучера, возил старика за восемь верст в монастырь к обедне; в хорошую погоду Солдатов сам заботливо усаживал в бричку старшего внучонка Евсейку, краснощекого паренька лет семи.
Отца и сына Солдатовых уважали, боялись, но редкие их советы и мысли ценили очень высоко. Отец Слободского, восьмидесятилетний злой старикан, — зимою бродяга по монастырям, летом пчеловод и рыбак, — ставил Солдатовых в пример всем людям:
— Учитесь: живет мужик, как помещик. Настоящее его благородие.
Однажды, после схода, когда раздраженный Федот Слободской высказал свое заветное желание выслать недоимщиков «в пустые места», старик Солдатов спросил:

— Ну, выселишь, а кто на тебя работать будет?
Слободской, нахмурясь, не ответил, а Кашин живо вскричал:
— Было бы корыто — свиньи будут, было бы болото — черти найдутся.
— Зря орешь, Кашин, — возразил Солдатов, строго глядя на Данила сверху вниз. — Надо понимать дело-то! Когда работник свой, деревенский, это — одно, когда он со стороны — другое. Своего всегда вразумить можно, он у тебя под рукой, у него тут избенка, семья. А сторонний — схватил да ушел, ищи его! Понимать, говорю, надо: бог бедного богатому в помощь дал; стало быть, умей взять с него пользу.
Кашин, несколько сконфуженный, сказал:
— Орут они много.
— Крик спать мешает, крик делу не мешает, — ответил Солдатов и важно пошел прочь, меряя падогом землю.
Кашин, глядя ему вслед, вздохнул:
— Премудро сказал, старый черт!
— Да-а, разума накопил он и себе и сыну, — подтвердил Ковалев.
— И духу святому, — добавил Кашин.
Дня через два после беседы Кашина с учителем староста пошел по избам недоимщиков. Сначала он зашел на пустой двор Васьки Локтева, самого зубастого и опасного. Локтев сидел на ступени полуразвалившегося крыльца, выстругивая ножом топорище из березового кругляша. Мужик высокий, костлявый, с головой в форме дыни, остриженной, как у солдата, с полуседой черной бородой, настолько густой, что черные клочья в ней были похожи на комья смолы.
— Здоров, Василий!
— Садись, гость будешь, — ответил Локтев, не взглянув на старосту.
— Не ласково встречаешь, — отметил Ковалев и получил в ответ:
— Я не девка, тебе не любовница.
Староста сунул ладони под мышки себе, помолчал и осведомился:
— Как у тебя с недоимками?
— Об этом весной не говорят. Осенью приходи, к тому времени разбогатею, все заплачу, даже прибавлю пятачок.
— Ты не шути! Гляди, имущество опишем.
— Это дело нетрудное — имущество мое описать.
Говорил Локтев глухим басом, равнодушно и, согнувшись, строгая на колене березовый кругляш, не смотрел на Ковалева.
— Продавать быка-то? — спросил староста.
— Валяйте. Даю за быка два четвертака с рассрочкой платежа на год.
— Как думаешь, какую цену брать за него?
— Бери, сколько дадут, меньше не надо.
— Все дуришь ты, Василий, — вздохнув, сказал Ковалев.
— В дураках живу.
— Рублей тридцать, сорок выручим, обернем в недоимки — ладно?
— Плохо ли, — откликнулся Локтев и, щупая пальцем лезвие ножа, добавил: — А того лучше, половину пропить, ну, а другую бедняге царю на сапоги.
— Ой, Вася, добьешься ты, повесят тебя за язык.
Локтев, прищурив глаза, посмотрел, гладко ли обстругано топорище, и промолчал, а староста тихонько вышел за ворота, оглянулся на согнутую фигуру Локтева и пошел наискось улицы, к Ефиму Баландину, пробормотав:
— Сукин сын… Погоди!..
Баландин, маленький, тощий, в рубахе без пояса, в кожаных опорках, с волосами, повязанными лентой мочала, пилил во дворе доску. Поздоровавшись с ним, староста получил в ответ торопливый возглас:
— Здорово, здорово, начальство.
Голос Баландина звучал пискливо, руки двигались быстро, да и все его тощее тело сотрясалось в судорогах. Ковалев, смерив напиленные доски глазами, спросил:
— Кому это?

— Ванюшке Варвары Терентьевой, этому, который трехлетний. Разоряюсь я, разоряюсь, староста, божий человек! Вот доску купил у Солдатова, сорок копеек взял, кощей, сорок, да, а в городе цена ей — пятиалтынный — каково? А Варвара — плачет мне: «Пожалей, говорит, пожалей!» Мужа-то, знаешь, отвезли в больницу, ногу лечить, он и лежит там, и лежит. Конешно — пища вкусная, отдых человеку, ну, тут и здоровый больным себя объявит. Нестерпимый у ней мужик, лентяй, пьяница, — что поделаешь, дорогой человек? Ну, Варваре теперь легче будет, трое осталось…
Он быстро, ловко шлепал доской о доску, измеряя их длину, поправляя пальцем мочало, съезжавшее на его лохматые брови, под его остренькой редкой бородкой прыгал в морщинах кожи красный кадык, хрящеватый маленький нос тоже был красен, глубоко посаженные глаза слезились. Говорил он непрерывно, как бы торопясь выговорить все слова, какие знал, и его бабий, пискливый голос сверлил воздух так неприятно, что староста заткнул одно ухо пальцем.
— Зарабатываешь, значит? — спросил он.
— Разоряюсь, разоряюсь, браток! Девятый строю. А у богатых детишки-то неохоче мрут, на них не разживешься. Вот Варвара-то, когда заплатит за гроб? Что с нее возьмешь? Уговорились, она картошку поможет садить, рубахи детишкам пошьет, ну, там еще чего, маленько. Помогать друг дружке надо, помогать, без помощи — никак невозможно! Вот мне теперь три бабы поработать обязаны: видишь, как сошлось? С Бариновых ягненка взял за гроб, Лизавета у них почти в два аршина вытянулась, хоша ей всего тринадцать лет было. Помаленьку надо; сразу дернешь — надорвешься, помаленьку — разживешься; так-то, божий человек!
Словоохотливый, точно Кашин, Баландин отличался от него тем, что говорил не для поучения людей, а для себя. Замечали за ним, что часто он и один сам с собой разговаривает, думает вслух. Считался он в деревне человеком хитрым, жуликоватым, и был в его жизни такой случай: возвращаясь из соседней деревни, он заметил в кустах, близко от дороги, мертвого человека, какого-то горожанина. Он обыскал труп и, не найдя в карманах ничего интересного, спорол с пальто и с пиджака все пуговицы. Но оказалось, что человек-то — самоубийца, отравился ядом. Тогда возник вопрос: кто лишил его пуговиц? Испуганный плотник зарыл их у себя в огороде и со страха забыл, где они зарыты, а весною дети его нашли пуговицы, вынесли их на улицу, и хотя Баландин быстро отнял их, все-таки деревня года три дразнила его. Но этот маленький слабосильный человек был очень искусным плотником, и деревня, несмотря на его недостатки, ценила Баландина.
Когда староста спросил его, что делать с быком, он тотчас же ответил:
— А продать. Продать, покамест Кашин не присвоил его. Продать, денежки разделить — вот и все дело! Мне — шесть рублей тридцать копеечек причитается с генерала, не забудь! У тебя расписочка моя есть…
Ковалев помолчал, думая: «Сказать, что счета, смятые наследником Бодрягина и брошенные в лужу, погибли?» Решил, что об этом не надо говорить плотнику, скажется это тогда, когда бык будет продан и утрата расписок генерала послужит поводом к тому, чтобы все деньги обратить на покрытие недоимок.
— Ну, будь здоров! — сказал он Баландину. Плотник проводил его прибауткой:
— Прощай, не тощай, будь широк, наживай жирок.
Староста зашел еще в три избы наиболее заметных и влиятельных хозяев, но один из них валялся на полу, раскаленный «горячкой» до бреда, другой ушел в овраг, версты за три, резать лозу для вентерей — он был рыбак, — а Никон Денежкин, злой с похмелья, отмахнулся от него рукой, прорычав:
— Да ну вас к лешему, делайте как хотите!
Затем Ковалев, уже из любопытства, остановился над окном вросшей в землю, полуразвалившейся избенки Татьяны Коневой. Окно было так низко над землей, что староста, чтобы заглянуть в него, должен был согнуться, упираясь руками в колена. В эту избу он не заглядывал года два и ожидал увидеть в ней тесноту, грязь, но в избе было просторно, пол вымыт и выметен, стены обмазаны глиной, мешанной с мелко рубленной соломой и коровьим пометом, густо побелены.
«Ничего нет, потому и чисто, — подумал староста, потом добавил: — Как в больнице».

Татьяна Конева, маленькая, тощая, сидела на лавке у стола, примеряя на ноги пятилетней дочери туфлю, сшитую из войлока, и звонко рассказывала ей:
— Пришла она в город, а город огромный, и где в нем счастье живет — нельзя понять, только видит она — живет счастье! Всего в городе много, все люди сытые, одетые, все в шелках-бархатах, шелка-бархаты шелестят, сапоги-башмаки поскрипывают…
Староста, усмехаясь, кашлянул. Сын Коневой, сидя на полу, щелкал дверцей птичьей клетки; приподняв гладко остриженную голову, нахмурил белое, глазастое лицо и недружелюбно крикнул:
— Кого надо? Мам, в окошко заглядывает какой-то.
— Не узнал разве? Это Яков Тимофеич, староста наш, — сказала мать. Лицо у нее было тоже глазастое и все сплошь иссечено мелкими морщинами, как у старухи.
— Выправился сын-от? — спросил Ковалев.
— Да вот встал, играет.
— Я не играю, а клетку чиню, — солидно поправил сын.
— Учиться надо бы ему, да учитель-то захворал, — сказала мать, прижав к себе девочку.
— Теперь, с двоими, тебе легче будет, — объяснил ей староста таким тоном, как будто это он устроил так, что двое детей Татьяны умерли один за другим.
— Да, да, — согласилась женщина, вздохнув. — Родим да хороним…
— Дело простое, — усмехнулся Ковалев.
Черноволосая девочка смотрела на него из-под локтя матери, шевеля губами.
— Девчурка-то тоже — ничего, выздоровела?
— Да она и не хворала.
— Вот умница, — похвалил Ковалев, а мальчик, взмахнув головою, строго спросил его:
— А хворают дураки только?
— Гляди-ко ты, какой бойкий, — удивленно воскликнул староста.
— Он у меня дерзкий, — виновато, но ласково сказала мать. — Он со всеми так.
— Непокорный, значит, — объяснил Ковалев. — Это у него от учителя. Учитель тоже — спорщик.
Стоять согнувшись было неудобно, легче бы встать на колени, но нельзя же старосте на коленки встать у окна нищей бабы, смешно одетой в юбку из мешковины, в зеленоватый, глухой жилет вместо кофты, к жилету пристроены полосатые рукава; горожане из такой полосатой материи штаны шьют. Ковалев еще раз осмотрел избу: на полке, около печи, немножко посуды, стол выскоблен, постель прибрана, и все — как будто накануне праздника. И дети — чистые.
— Чисто живешь, — похвалил он.
— Исхитряюсь кое-как, — сказала женщина. — Вот войлок дали на станции, обувку ребятам сделала, а то — простужаются, босые, — холодно еще.
— Ну, живи, живи, — разрешил староста и, выпрямив ноющую спину, пошел прочь, чувствуя легкую обиду и думая:
«Не жалуется. Ничего не попросила…»
Неприятно было вспомнить, что у него дома три бабы: мать, еще бодрая старуха, жена, суетливая и задорная, сестра жены, старая дева, плаксивая и злая, а в доме грязновато, шумно, дети плохо прибраны, старший — отчаянный баловник, драчун, на него постоянно жалуются отцы и матери товарищей, избитых им.
Когда он шел мимо избы Роговой, Степанида выскочила со двора с решетом в руках, схватила его за рукав и озабоченно, сдерживая голос, сказала:
— Тимофеич, слушай-ко: учитель-то у меня нехорош стал…
— А был хорош? — шутливо спросил Ковалев.
— Ты погоди, послушай, — говорила она, оглядывая улицу и толкая старосту во двор свой. — Сказала я ему, чтоб он квашню на лавку поставил, а он взял квашню-то, поднял да и сел на пол, а квашня — набок, я едва тесто удержала. Гляжу, а у него изо рта кровь ручьем, ты подумай! Это уж к смерти ему. Ты, батюшка, сними его от меня, в больницу надо отвезти, давай лошадь, моя — на пахоте! Да я и не обязана возить его.
— А кто обязан? Я, что ли? — ласково заговорил Ковалев. — И где я лошадь возьму, у кого? Никто не даст, все пашут. Тридцать верст туда-обратно. Это значит — двое суток время потерять?

— А мне как быть?
— Отлежится. Позови Марью Малинину, она заговорит кровь-то, — успокоительно говорил староста, почесывая спину о перила крыльца. — Ты не беспокойся. Уж очень ты любишь беспокоиться, — укоризненно сказал Ковалев.
— А умрет? — спросила Рогова, выкатив красивые глаза свои.
— Эка важность! Имущество тебе останется.
— Ну, какое! Три рубахи, трое штанов, все ношеное, пиджачишко да пальтишко. Часы будто серебряные.
— Вот видишь — часы. Родные-то есть у него?
— Не знаю. Письма писал кому-то. Голье, наверное, родные-то. А он мне девять рублей должен.
— Родных у него нет, — вспомнил староста. — Он барыней Левашовой воспитан, сирота он. Родных нет, а есть жалованье. Понимаешь? Значит, надо следить, когда в волость повестка на жалованье придет. Тут тебе и девять рублей и поминки и… вообще. Ты, главное, живи смирно. Ну, будь здорова!
Он вышел на улицу. Рогова шла за ним, считая что-то на пальцах. Ковалев обернулся к ней и сказал:
— Сейчас у Коневой был, — чисто живет, шельма!
Рогова, стоя у ворот, смотрела вслед ему, нахмурясь, озабоченно надув толстые губы. Из сеней вышел большой рыжий кот; подняв хвост трубой, он потерся об ноги хозяйки, мяукнул.
— Чего тебе, балованный? — спросила Рогова, наклонясь, подняла его с земли и, поглаживая башку кота, забормотала:
— Запел, замурлыкал? Ах ты, зверь…
Шумели ребятишки, играя в бабки, бормотал и посвистывал скворец, невидимый жаворонок звенел в голубом воздухе, напоенном теплым светом весеннего солнца.

Утром, когда пастух собирал стадо, быка не оказалось на улице. Бабы тотчас зашумели, окружили Антона, спрашивая тревожно и сердито — куда девал быка? Утро было хмурое, сеялся мелкий дождь. Старик подождал, когда бабы немножко обмокли, охладели, и сказал:
— Бык — с хозяином.
— А кто ему хозяин?
— Кто кормит, тот и хозяин. Быка вчера поутру прямо с выгона продавать повели.
Бабы закричали: кто, куда, кому, за сколько?
— Повел Данило Кашин, а больше я ничего не знаю, и не задерживайте стада, — ответил киластый старик. Бабы побежали к старосте. Он, собираясь в поле, подтвердил, что Кашин и Слободской отправились продавать быка.
— Кормить его никому не охота, а мужиков я спрашивал — они решили продать.
— Самовольничаешь ты с Кашиным да Слободским, — закричали бабы, но когда староста ласково спросил их: «Да вы чего кричите? Чем недовольны?» — бабы не могли объяснить причину своего раздражения, пошли по домам, стали вспоминать, сколько мужьями заработано у генерала, заспорили и быстро перессорились. Примирила их Степанида Рогова, выбежав на улицу и объявив, что ночью помер учитель.
В скучной жизни и смерть — забава. В избу Роговой начали забегать бабы, девицы, вползали старики и старухи с палочками, явились ребятишки. Рогова, не пуская никого в комнату учителя, сердито уговаривала:
— Да чего смотреть-то? Чего? Какой интерес? Он и мертвый не лучше мужика, учитель-то. Идите-ко, идите с богом.
Марья Малинина осведомилась:
— Кто же его, сироту, обмоет, оденет, ручки ему на грудях сложит, гробик закажет, попа позовет?
— А я почему знаю? — раздраженно рычала Степанида. — Что он мне — сын али муж? Он и так девять рублей остался должен мне. Вот староста явится, он скажет, это его дело…
Пришла Матрена Локтева, женщина большая, толстая. Сердце у нее было больное, она страдала одышкой, и распухшее лицо ее казалось туго налитым синеватой кровью.

— Скончался, значит? — спросила она. — А я вот все маюсь — задыхаюсь, а не могу умереть. — Затем, сочувственно качая головой, сказала:
— Большие расходы тебе, Степанида Власьевна. Поп дешевле пятишницы, наверно, не возьмет, да лошадь надо за ним туда, сюда.
— С ума ты сошла, Матрена! — взревела Рогова, хлопнув ладонями по широким своим бедрам. — Какие расходы? При чем тут я? Он мне девять…
Но, не слушая Рогову, слепо глядя в лицо ее заплывшими глазами, Локтева говорила:
— А попа можно и не звать. Вот Мареевы да Конева без попа детей хоронили…
— Конева — еретица, она в бога не верит, и мужичонка ее в церковь не ходил, они — еретики, — строго сказала Малинина, но и это не остановило течение мысли Локтевой; все так же медленно она продолжала:
— И зачем ему поп? Он тоже, как дитя, был, глупенький, невинный ни в чем, да и смирнее ребятишек наших. Взглянуть-то на него не допускаешь? Ну, так я пойду…
Тяжело поднялась на ноги и выплыла из избы, а Рогова проводила ее воркотней:
— Дура толстая, залилась жиром, как свинья.
На смену Локтевой явился староста, молча прошел за переборку, в комнату учителя, прислонился к стене, поглаживая ее спиною. Учитель вытянулся в постели, покрытый до подбородка пестрым, из ситцевых лоскутков, рваным одеялом; из дыр одеяла торчали клочья ваты, грязноватой, как весенний снег; из-под одеяла высунулись голые ступни серых ног, пальцы их испуганно растопырены, свернутая набок голова учителя лежала на подушке, испачканной пятнами потемневшей крови, на полу тоже поблескивало пятно покраснее. Часть длинных волос учителя покрывала его щеку и острый костяной нос, а одна прядь возвышалась над головой, точно рог. Был виден правый глаз; полуоткрытый, он смотрел в подушку и точно прятался.
— Нехорошая какая видимость, — сказал староста, выходя из комнаты. — Словно он не сам помер, а убитый. — Он сел к столу и начал свертывать папироску, вздохнул и сморщил мягкое благообразное лицо.
— Ах ты, господи… Стражника нет, заарестовали, не выпускают…
— А ты бы не доносил на него, — проворчала Рогова.
Староста, глядя на нее, как в пустое место, продолжал:
— Как вот хоронить чужого-то человека? Может, особый закон какой-нибудь имеется для этого? Н-да, Малинина, ты займись тут; это — твое дело, больные, мертвые. За работу из жалованья получишь.
— Не забудь, он мне должен остался, — напомнила Рогова.
— Забуду ли, ты у меня — первая на памяти, — сказал Ковалев, закуривая. — Я только про тебя и думаю: как у меня Степанида живет?
— Старенек ты для шуточек, — сказала Рогова.
— Помолчи, чудовище, — предложил Ковалев и снова обратился к Малининой: — Все это дело, Марья, я тебе строго поручаю; а то Рогова насчитает расхода рублей на сто. Позови Коневу, она тебе поможет.
— Одна управлюсь. Не хочу я видеть эту нищую, — твердо сказала Малинина.
— Эх, забыл я, что ты воюешь с ней. Напрасно. Она живет… вроде как будто и нет ее в деревне. Она вам — пример.
— Ой, умен ты, Яков! — вскипела Рогова. — Нищих в пример ставишь.
Ковалев встал, поглядел на папиросу.
— Ну, мне — пахать! Так, значит. Налаживай, Марья.
И обратился к хозяйке, как всегда, мягко:
— А ты гляди, ежели что окажется неправильно, так я с тебя взыщу!
Тут Рогова топнула ногой так, что где-то задребезжала посуда, а женщина, показывая кукиш в затылок старосте, заревела во всю силу голоса:
— Вот чего ты взыщешь с меня, на-ко вот! Жалуется, стражника заарестовали, а сам донес на него. Ябедник! Паточная рожа, святая задница, прости меня, господи!..
— Степанидушка, — успокоительно заговорила Малинина, — надо бы водицы согреть, обмыть усопшего надо, а то в день страшного суда, второго пришествия Христова, немытый он…

— Отстань! — густо сказала Рогова. — Вот — печь. Грей. Я сегодня печь топить не буду. И дров не дам. Как хотите…
Малинина, сердито поджав губы, вышла из комнаты, а Рогова села к столу, выдвинула ящик, достала ученическую тетрадку, карандаш, посмотрела в потолок и, помусолив карандаш, начала писать что-то. В избе стало тихо, как в погребе. Потом с печи мягко спрыгнул толстый, рыжий кот, бесшумно касаясь лапами пола, подошел к хозяйке, взобрался на колени ей, и хвост его встал над столом, как свеча.
— Пошел прочь, — проворчала женщина, но не столкнула кота, а он, замурлыкав, начал гладить мордой ее руку.
Вскоре явился плотник Баландин, босой, без шапки, заправив подол рубахи за пояс синих штанов, пришел, держа в руке аршин, взмахнул им и весело поздоровался:
— Здорово, хозяйка, добрая душа! Вот и я — мерочку снять.
Рогова подняла голову и уверенно сказала:
— Одиннадцать рублей сорок копеек оказалось за ним…
— Однако, капитал! — откликнулся плотник. — А не найдется у тебя стаканчика веселухи?
— Есть.
Рогова сняла кота с колен, посадила на лавку и пошла в угол, к маленькому шкафу на стене.
…Поздно вечером со станции пришли Кашин и Слободской, оба немножко хмельные. Слободской поставил на стол бутылку водки, положил кольцо колбасы и спросил Ковалева:
— Любаша где? У жены моей, ага! Мать, сестра — спать пошли? Вот и хорошо. Решим дело без бабья, тихо, мирно.
— Продали? — нетерпеливо спросил староста.
— Обязательно, — сказал Кашин. — Эх, самоварчик бы с дороги…
— Сейчас налажу, — охотно согласился Ковалев, выходя в сени, а Кашин, вполголоса, сказал Слободскому:
— Ты помалкивай, я с ним пошучу, на цифре поиграю. — Слободской молча кивнул головой, ударами ладони в донце бутылки выбивал из нее пробку.
— За сколько? — спросил Ковалев, возвращаясь.
— А как думаешь?
Староста посмотрел в угол, улыбаясь, сказал осторожно:
— Полсотни.
— Девяносто целковых, — гордо произнес Слободской.
— Тише! Что орешь! — грубо предостерег его Кашин.
— Врете? — удивленно воскликнул Ковалев.
— Эх ты, — качая головой, с укором говорил Кашин Слободскому. — Я же тебе сказал: придержи язык! Говорить — не работать, торопиться не надо. Пушка! Стреляешь куда не знаешь.
И тенорок его негромко, но горделиво, напористо зазвенел:
— Продали милостиво, ниже цены. Бык — известный, я про него давно знаю. Испытанный бык, семь лет ему; Бодрягину генералу он попал сдуру, по капризу, от Челищевых. Я после все это расскажу, я досконально все знаю, всю историю. Я, брат, в деле не ошибусь! Теперь давайте решим главное. Значит — девяносто. Нам — по три пятерки — сорок пять, верно? Сверх того, беру себе пятерку — за корм, за хлопоты, за мое знание — идет? Остается сорок целковых. Гони их, староста, в недоимки! Честно, как в аптечке. И все будут довольны.
— Узнают, — жалостливо сказал Ковалев.
— Бро-ось! Кто станет узнавать? Бык далеко ушел, за Волгу. Кончили?
— Опасаюсь я, — умильно сказал Ковалев, но Кашин торопливо забросал его словами, и староста, пожимая плечами, почесывая спину о стойку полатей, махнул рукой:
— Ладно.
— Бабам — ни словечка! — строжайше предупредил Кашин, сунув в руку старосты красную и синюю бумажки. — Продали быка за сорок целковых, и конец! Ну-ко, давайте выпьем, — предложил он, разливая водку по чашкам.
— На пропой будут требовать, — сказал Ковалев, быстро спрятав бумажки в карман штанов.

— Потребуют — дай на ведерко, — советовал Кашин. — Дашь — спокойнее будет. Казну сорок целковых не утешат. На два ведра попросят, поспорь и на два дай.
Староста взял чашку с водкой и, крестясь, сказал:
— Вот и поминок учителю.
— Помер? — спросил Кашин и как будто немного огорчился. — Ах ты… помер все-таки! Жаль, любил я поспорить с ним, приятно мне было это. Вот оно как: пожил — помер…
— Ну, и спасибо, — докончил Слободской, нюхая кусок колбасы. — Запах какой хороший.
— Завтра хоронить, — сообщил староста, держа руку в кармане, куда спрятал деньги. — Беспокойно мне. Наш брат, мужик, умрет, так это — привычно и ничего сомнительного не сыщется, — помер, да и все. А тут — чужой, да еще вроде как будто казенный человек.
— Полицейский, — подсказал Слободской. Кашин вынул из кармана коробку папирос «Пушки», одну из них протянул старосте:
— Покури, Яша, городскую; толстая, сытная папироса, вкусная. И не беспокойся: все обойдется, как надо. Я, брат, знаю… Я, мил друг, столько знаю, что и сам себе удивляюсь: как, где это во мне помещается? Ей-богу!
Тощая, косоглазая и рябая сестра Ковалева внесла кипящий самовар, с треском поставила его на стол и сердито сказала:
— Сами угощайтесь…
…Учителя хоронили на другой день поздно вечером. Крышку гроба несли на головах два школьника, а гроб — Локтев, Денежкин, Баландин и вечный батрак, бобыль Самохин, человек лет сорока, лысый и глуховатый. Учитель оказался легким, трое шли очень быстро, а Самохин все время сбивался с ноги, и Локтев сердито учил его:
— Шагай как следует: раз — два, правой — левой, козел!
За гробом шла, выпятив грудь, точно солдат, Степанида Рогова; рядом с нею галкой поскакивала на коротких ножках Малинина, позади их шагал староста, размахивая падогом, его окружали мальчишки и девчонки, десятка полтора, а отступя от этой группы шагов на двадцать, вела за руку дочь свою Татьяна Конева; рядом с ней, нахмурясь, шел сын.
Сначала Конева пошла было вместе со всеми, но Марья Малинина ядовито спросила ее:
— Думаешь, копеечку подадут? Не надейся, хоронят тоже нищего.
Тогда Конева замедлила шаг, а через некоторое время и сын ее отступил из группы товарищей, остановился, подождал, когда мать поравняется с ним, и, взяв ее за руку, пошел рядом.
Когда гроб поставили на край могилы и Баландин стал вбивать в крышку гвоздь, гроб скользнул с холмика на землю, боковая доска отвалилась, и учитель, повернувшись на бок, как будто хотел спрятать от людей серое костлявое лицо, застывшие глаза его были плохо прикрыты, казалось, что он щурится, глядя на огненные облака. Локтеву все это не понравилось.
— Эх ты, грободел! — сердито сказал он Баландину.
Плотник, прилаживая доску, крякнул и оправдался:
— Понимаешь, гвоздей не хватило! Да и доски — старые, рухлые, плохо держат гвоздь.
Локтев заворчал на Малинину:
— Копейки надо было положить на глаза!
— А ты их припас, копейки-то? — спросила старушка, крестясь.
— Эх, черти! — вздохнул Локтев.
Рогова посоветовала ему:
— Ты бы не лаял над могилой-то…
И тяжелым басом своим проговорила очень громко:
— Заступница усердная, мати господа вышнего, прими душеньку усопшего раба твоего, Досифея.
Староста выслушал ее, крестясь, поклонился могиле и быстро пошел прочь.
— Хитрый, — сказал Денежкин, подмигнув и усмехаясь. — Бежит, боится — на водку потребуем.
Лопатой и ногами сбросили рыжую землю в могилу. Баландин любовно охлопал холмик земли лопатой, ребятишки разбежались по погосту, собирая первые цветы между могил; у одной из них опустилась на колени Татьяна Конева, Малинина и Рогова молча крестились, кланялись земле. Денежкин шагнул к Роговой и сказал:

— Ну, давай на четверть.
— Это что еще? — удивилась Рогова.
— А ты — без разговоров! Давай!
— Правильно! — подтвердил Локтев, усмехаясь. — Что ж, мы даром время тратили?
— Да что вы, обалдели? — закричала Рогова. — Что он мне — муж, сын? Со старосты просите…
— Не спорь, Степанида, не отвергай! — вмешался Баландин, держа лопату на плече, как ружье. — Дай нам помянуть человека, господь тебя вознаградит…
— А не дашь, он тебе стекла в окнах выбьет, господь, — свирепо предупредил Денежкин.
— На бутылку дам, — согласилась Рогова, громко вдохнув воздух носом.
— Ну, ты не торгуйся! — сказал Локтев спокойно, но глаза его нехорошо вспыхнули. — Ты от него неплохо попользовалась, чихнет он — плати, мигнет — плати! Это всем известно.
Денежкин протянул руку плотнику.
— Дай-ко лопату, я ее лопатой по башке стукну.
Малинина быстренько побежала прочь. Рогова начала искать карман в своей юбке, рука ее дрожала.
— Два целковых давай, — потребовал Денежкин. — Чтоб и на закуску хватило, слышишь?
— Не глухая, — пробормотала Рогова и подала ему два серебряных рубля и пошла прочь, шагая наклоня голову, вытирая лицо концом шали.
— Эхе-хе, грехи! — вздохнул Баландин, оглядываясь. — Надо бы ребятишек заставить хоть молитву спеть, они молитву поют, слышал я. Покойникам причитается уважение, а у нас как-то так… голо вышло.
Локтев искоса взглянул на него и пробормотал:
— Погоди, разбогатеем — барабан купим, с барабаном хоронить будем.
— Ну, пошли, — скомандовал Денежкин.
Татьяна Конева все еще молилась, дочь ее сидела на соседней могиле, разбирая сорванные подснежники; сын, стоя за спиной матери, оглядывался, слушал, потом, когда все ушли, он положил руку на плечо матери и серьезно сказал:
— Ладно уж, мам, будет, вставай, идем…

Погост — за версту от деревни, расположен на обширном, невысоком холме и был огражден пряслом, но жерди давно и почти все исчезли — беднота растаскала на топливо, колья тоже повыдергали, а четыре пустили корни и пышно разрослись в толстые ветлы. У подножья холма под ветлами торчала небольшая, старенькая часовня; подмытая дождями, она заметно наклонилась вперед, точно подвигаясь с погоста к деревне. В ней отстаивались покойники в ожидании попа. Кресты и могилы были разбросаны так беспорядочно, как будто живые торопились зарыть мертвых в землю и заботились о том, чтоб, как при жизни, свой покойник не очень приближался к чужим, чтоб ему хоть в земле-то посвободнее было.
С погоста хорошо видно половину улицы, изогнутой по берегу реки, а другая половина, отделенная пожарным сараем, пряталась за группой старых берез. Улица похожа на челюсть, в которой многие зубы загнили, а некоторые еще крепки.
Четверо мужиков, закопав учителя, спустились, не торопясь, к часовне. Денежкин, подбрасывая на ладони две серебряные монеты, заглянул внутрь часовни, посредине ее — деревянные козлы, на них ставили гроба. Денежкин сунул монеты в карман, попробовал закрыть дверь, она заскрипела, но не закрылась.
— Починить бы надо, плотник, — сказал он.
Баландин скупо ответил:
— Заплати — починю.
Локтев, сунув пальцы рук за пояс штанов, посвистывая сквозь зубы, прищурясь, смотрел через деревню вдаль, в луга, обрезанные черной стеной хвойного леса. Над лесом еще пылали огненные облака, солнце уже расплавилось в их кипящем огне. Над деревней выяснялась серебряная и как бы прозрачная луна.
— Шумят, — сказал, улыбаясь, тихий мужик Самохин.
— Тому есть причина, — объявил Баландин. — Деньги делят за быка. Собирались делить вчера, да староста с Кашиным в Мокрое ездили зачем-тось. Айда, братцы!
Пошли, но Денежкин, шагая рядом с плотником, сказал:

— Стойте! Там, наверно, тоже отчислят на пропой души, так нам наши деньги, может, разделить по полтине для завтрашнего дня? Завтра — воскресенье. Опохмелимся.
— Не-е, — пискливо протянул Баландин. — Это — не сойдется! Я — питух слабый, мне подай мои шесть тридцать! Я эту сумму с кожей вырву, с пальцами.
— Не вырвешь, — вмешался Локтев. — За быка деньги в недоимки пойдут.
— Это — кем решено-установлено? — завизжал плотник.
— Мной. Я установил, — сказал Локтев, усмехаясь, и успокоил Баландина.
Плотник пренебрежительно махнул рукой, говоря:
— Ну, ты — это ничего! Тебя, друг, мир не послушает.
— А меня? — спросил Денежкин.
— И тебя. Вы оба — миру не головы, — забормотал плотник, ускоряя шаг, и вплоть до деревни почти непрерывно он взвизгивал, повторяя в разных словах одну мысль: — Миром, люди божии, двигает мужик отборно крепкий, да-а! Яко на небеси, тако и на земле божией. Чины: ангелы, архангелы, керувины, серафины…
Денежкин, хрипло и резко похохатывая, вставлял пропитым голосом:
— Херувины, керасины, ах, старый черт! Выдумает же!
— Нет, я не черт! Я — богу раб, царю — слуга вечный! Вот кто я! Я, брат, божественно думаю-рассуждаю, да-а! Мужик-крестьянин показан в нижних чинах, из него генерала не состряпаешь, нет! Не бывало того, ну и — не будет…
— В морду тебе дать, — лениво сказал Денежкин и снова заговорил о том, что два рубля надобно разделить, но его прервал Локтев; он поравнялся с плотником, взял его за плечо и, заглянув в лицо ему, сказал:
— Ты, чиновник, вот что объясни: вот мы — Краснуха — общество, верно?
— И верно! А как же? Ты не дави плечо мне, не сбивай с ноги.
— Потерпишь, — сказал Локтев, еще более замедляя шаг. — Так, значит, общество, общее дело делаем, так?
— Ну и так!
— Однако — у одних хлеба много и они его на сторону продают, а в деревне — нищие. Это правильно?
— Нет, неправильно! — визгливо крикнул Баландин.
— Ага! — сказал Денежкин, усмехаясь.
— Неправильно, — кричал плотник. Не первый раз слышу я эти твои слова, а они — не твои! Это — от учителя, сукина сына, прости господи, это от него, смутьяна! Он, козел чахлый, смуту здесь сеял, он это!
Локтев остановился, оттолкнул Баландина от себя и, размахнувшись, ударил его по виску. Плотник не охнул и очень легко свалился на землю, а Денежкин дал ему пинка ногой и с удовольствием сказал:
— А полтинника ты не получишь, хе-хе! Проспорил полтинник…
Плотник лежал неподвижно. Самохин, не останавливаясь, не оглядываясь, ушел вперед. Денежкин и Локтев посмотрели на плотника и тоже пошли.
— Лежит, — сказал Денежкин, Локтев промолчал, но через несколько шагов твердо выговорил:
— Многим надо бы морды бить. Тоска!
— Да, — согласился Денежкин. — Я, как выпью, так обязательно драться хочу. А полтину я ему действительно не дам. Вот Самохину — другое дело.
— Самохин — стражнику служит, — угрюмо заметил Локтев.
— Так я и ему не дам, — тотчас же сообразил Денежкин, сунул руку в карман, достал рубль и протянул его Локтеву.
— На. Квиты!
Локтев взял монету, подбросил ее высоко в воздух, а когда она упала на землю, к ногам его, сказал, подняв ее:
— Решка.
— Для нас, брат, орлом не ляжет, — откликнулся Денежкин.
Вошли в улицу, встречу им от пожарного сарая изливался шум многих голосов и особенно звонко звучал голос Данилы Кашина.

— Я, миряне, честь-совесть подробно знаю! Вот я его, быка, кормил, поил, уход за ним имел. Ну, я с вас за это ни копейки не беру. Я обществу — верный слуга!
— Знаем тебя, знаем, Данило Петров! — кричали ему.
— Давай на два ведра!
— Хватит одного!
— Тебе хватит, а мне нет!
— Так как же? Одно или два? — крикнул староста.
Мужиков было у сарая десятка полтора, и почти все они в один голос крикнули:
— Два-а!
— Эхма, где наше не пропадало!
— Гони за вином!
— Вино есть! — объявил Кашин. — Я вчерась догадался: наверно, думаю, миряне не упустят случая. Вино есть!
На завалинках сидели и ворчали бабы, собирались парни, девки, чей-то басовитый голос радостно командовал:
— Бабы, давай огурцов соленых, капусты квашеной — жив-во!
Кто-то густо напомнил:
— Хлеба!
— Все, что ли, собрались? — спросил Ковалев.
— Все, все!
— Вот — Локтев с Денежкиным…
— Баландина, плотника, нет!
Денежкин, расталкивая людей, хрипло говорил с усмешкой на опухшем, красноглазом лице:
— Баландин идет! Он, сослепа, мордой на крест наткнулся.
Сняли с пожарной телеги бочку, положили на телегу доски, попробовали, плотно ли доски лежат, и на этом столе быстро появились две светлейшие четверти водки, каравай ржаного хлеба с ножом, воткнутым в него, большие плошки с огурцами, капустой. Кашин, взмахивая руками, подпрыгивая, командовал:
— Изначала — бабы, как, значит, помощницы, наставницы наши! Бабы — подходите, благословясь, причащайтесь, покорнейше просим!
И вполголоса, подмигивая, он говорил ближайшим мужикам:
— Пускай они первые клюкнут, пускай хватят да опьянеют — шуму меньше будет, воркотни избавимся.
И снова кричал:
— Бабочки, радость наша! Не задерживайте! Глотай ее, царскую малопольную! Эхма…
Мужья, признав политику Кашина правильной, ухмыляясь, подталкивали жен к водке, любезно уговаривали их:
— Иди, иди, чего кривишь рожу!
— Айда, Настенька, тяпни чашечку для здоровья, не упирайся, дура.
А Кашин, разливая из бутылки по чашкам, притопывал ногой, звонко распевая:

И затем лишь я, ей-богу,
Прод-должаю пить,
Чтоб эту водку понемногу
И вовсе истребить… Эх, ты-и!

— На здоровье, Настасья Павловна! Ох, когда ты красоту свою изживешь? Ну, ну, бабочки, не кобеньтесь!
Бабы притворялись, что пить водку — дело для них новое, и пили ее маленькими глоточками, как пьют очень горячий чай, а выпив, морщились, вздрагивали всем телом, плевали. Подошла жена Локтева; он, сидя на земле, дернул ее за подол юбки и строго сказал:
— Немного глотай, задохнешься!

— Тебе легче будет, — ответила она.
Пошатываясь, приближался Баландин и еще издали плачевно кричал:
— Господа общество, требую помощи-защиты!
Денежкин взял из руки Кашина чашку, налитую до краев, и, бережно неся ее на уровне своего рта, пошел встречу плотнику, остановился пред ним.
— Пей!
— Не хочу! Не желаю от разбойника.
— Пей, я те говорю, — негромко, но грозно повторил Денежкин. Плотник поднял голову, глаза его слезились более обильно, чем всегда.
— За что били? — спросил он, всхлипнув, взял чашку в обе руки и присосался к ней, а когда он выпил, Денежкин швырнул чашку за плетень, в огород Кашина, сказал:
— Ну вот! И — молчи! А то…
Плотник, мотая головой, обошел его с левой руки и быстро направился к старосте, но Ковалев, должно быть, еще раньше выпил, он сидел на бочке и, блаженно улыбаясь, грыз мокрый огурец, поливая бороду рассолом, и покрикивал:
— И вышло все благополучно, как надо! Баландин, садись рядом…
— Шесть тридцать мне… причитается!
Староста захлюпал губами, засмеялся:
— Никому, ничего! Как уговаривались. Все — в недоимку! Забыл?
— Вор-ры! — завизжал плотник. — Пьяницы…
Локтев ударил его ногой под колено, плотник пошатнулся, сел рядом с ним и еще более визгливо прокричал:
— Разбойник!
— Сиди смирно, — посоветовал Локтев и добавил: — А то — водки не дадим.
— А ты работал ему, генералу?
— Не работал!
— А я — работал!
— Ну и твое счастье.
— Счастье? В чем?
— Да — черт тебя знает! Отстань…
— Ай-яй-яй! — пробормотал Баландин, пьянея.
И все пьянели очень быстро. Луна блестела ярче, сероватый сумрак позднего вечера становился серебряным, бородатые лица мужиков, широкие рожицы девок, баб, парней, теряя краски, блестели тускло, точно отлитые из олова. К сараю со всех дворов собирались хозяева, становилось шумнее, веселей.
Девки сгрудились за сараем, под березами. Добродетельный Кашин дал парням две бутылки:
— Нате-ко, угоститесь малость и девчонкам по рюмашке дайте, веселее будут, ласковее, — сказал он, а понизив голос, добавил: — Не хватит — еще дам! Только — вот что: ежели Денежкин драку зачнет, — бейте его не щадя, дыхалки, дыхалки-то отшибите буяну!
Девицы уже налаживались петь, и Матрена Локтева, покачивая грузное тело свое, упрашивала:
— Вы, девицы, спойте какую-нибудь позаунывнее, на утешение души!
А муж ее, держа чашку водки в руке, внушал старосте:
— Ты, Яков, не миру служишь, ты — Кашину да Солдатову собачка, а они деревне — чирьи, их каленым гвоздем выжечь надо, как чирьи.
— Глядите, чего он говорит, беспокойный! — кричал Ковалев пьяным, веселым голосом и хохотал, хлопая ладонями по коленям своим. — Данило Петров, хо-хо, он тебя каленым гвоздем, о-хо-хо…
Кашин, искоса посматривая на Локтева, ораторствовал:
— Жить надо, как пчела живет: тут — взял, там — взял, глядишь — и воск и мед есть…
Но голос его заглушала Рогова, басовито выкрикивая:
— Вот так и пропивают житье, а после — жалуются, охают!
Девки дружно взвыли высокими голосами:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берет,
Ах, меня за это!

Немного в стороне сидел Баландин, дружелюбно прислонясь к плечу Денежкина. Денежкин отчетливо и удало играл на балалайке; молодой парень, нахмурясь, плясал, вздымая топотом ног холодную пыль, а тихий мужичок Самохин, прищурив глаза, сладостно улыбаясь, тоже топал левой ногой и детским голосом, негромко, осторожно приговаривал:

Эх, нужда пляшет,
Нужда скачет,
Нужда песенки поет,
Н-нужда по миру ведет…

— Дел-лай! — свирепо кричал Денежкин плясуну. — Делай, черт те в душу!

А Баландин, качая головой, всхлипывая, жаловался:

— Шесть тридцать… пропало, а?

Парень, перестав плясать, взмахнул головой и, глядя в небо, прокричал:

Эх, ветер дует и ревет,
На войну солдат идет…

И снова отчаянно затопал ногами.

А Денежкин снова крикнул:

— Дел-лай!

1930-е гг

.

Всеволод Вишневский

Гибель Кронштадтского полка

Холили слухи, что их было — тысяча, две, три. Но определенно не знали, сколько же их было.

Я знаю, что их было тысяча восемьсот восемьдесят пять. И все они, как один, похожие друг на друга, как прибрежные балтийские сосны. Великолепным шагом прошли они Якорную площадь Кронштадта и, бросив прощальный взгляд на гавань, ушли на сухопутный далекий фронт. В бумагах красавцев значилось: «Военный моряк первого морского Кронштадтского полка».

17 декабря 1918 года… Полк стоит под селом Кузнецовским, на Урале. Ночью пошли белые сибирцы на матросов. Юз стучит: «Противник силой до шести тысяч штыков начал наступление на участке кронштадтцев…»
— Го-го, Марфуша, ставь самовар, гости едут!
— Гады сибирские, спать не дадут…
— Искромсаем!
— Стукнем!
Цепь в снегу… Идет передача:
— Прицел постоянный. Без приказа не стрелять…
Так. Подпускать, значит, в упор. А ночь лунная — удобная для этого. Ведь на снегу все видно.
Идут сибирцы. Смотрят матросы:
— В рай торопятся…
— Хорошо идут, ей-богу!
Пулеметчики спешно докуривают, потом некогда будет: предстоит бой, а то еще и убьют. Табаку мало, второй номер просит:
— Оставь двадцать, а?
Потянул. Третий просит:
— Заявка на сорок…
Пососал третий, пальцы цигарка обжигает, держать нельзя, но мы народ хитрый: подденем ее на острую спичечку — и ко рту, вот на пару затяжек и хватит. На все, друг, соображение надо.
Комиссар подбадривает:
— Держись за землю, братки. Корешки пускай в нее, расти, как дерево.
Идут сибирцы…
— А ну, сыграть им, а?
— Стоп! Без торопливых. А то еще залягут…
У гангутских подначка идет:
— Мишечка, может, нам надо для безопасности партийный билет на сохранение сдать?
Мишечка глазом косит:
— Ты от себя или от хозяина треплешься?
— Мишечка, странный вопрос. Хозяев ликвидировали. (И сразу голос изменился.) А чалдоны-то близко… Во! Гляди, Миша!
— Вижу…
Сибирцы подходят: цепями, вперебежку. Интервалы по фронту — три шага. Примолкли все. Тихо. Тут у одного зубы застучали. Слышно, как снег скрипит. Командиры матросские — старые бывалые — ловят глазом, чуют нутром: опередить сибирцев надо, ожечь их прежде, чем «ура» начнут. С «ура» легче идти, а если их раньше стегануть — труднее им наступать будет.
Братки лежат, левыми локтями под собой ямки буравят. Кто понервнее — курок поставит, чтобы не дернуть раньше других. Полковой пес, взятый с крейсера, стал подскуливать. Цыкнули — умолк. Пулеметчикам из резерва горячие чайники лётом тащат: кожуха пулеметов прогреть надо. И вот — с фланга: «По противнику! Постоянный! Пальба рот-той!»
Старый унтер голос дал — что в тринадцатом году на плацу у Исаакия:
— Рот-та!
Подождем… На выдержку берет…
— Пли!
Эх, плеснули! Ох, капнули! С елей снег посыпался…
А пулеметчики ждут. Свои «максимы» белолобые прячут. А ну, иди ближе, Колчак! Мы тебе захождение сыграем.
Загудели сибирцы. «Рр-а-а». Жидковато.
— Огонь!
Бьют матросы с рассеиванием.
— Шире рот разевай, лови!
Окапываются сибирцы…

— Хлебнули!
— Куда лезете, здесь для некурящих!..
Тихо…
Время шло. Девять атак было.
Двое суток сибирцы окружали полк, теснили его. Полк подался и занял кольцевую позицию… Окружен… К концу вторых суток, девятнадцатого декабря, в десятую атаку готовились сибирцы. Шрапнелью поливать начали.
Покрикивают в цепи братки:
— Санита-а-ры…
— Носилки…
Ответ дают:
— В цепи санитары все…
Шестая рота по семь патронов на человека имеет. Когда ты в кольце — это не богато. И вдруг:
— А ну, кто за патронами?
Вскинулись… Кто кричал?
Васька отвечает:
— Есть патроны! Кто со мной? Идем с убитых снимать…
И на белых показывает. А их на снегу, шагах в двухстах, не обери-бери.
— Поди, поди-и, тебе жару дадут. На тебя запас там есть…
Вася говорит:
— Мишечка, вы, конечно, с Тулы вагон патронов себе затребовали, и вам нет заботы: и вам этот вагон два паровоза экстренно везут.
Мишечка лежит, молчит.
— Или, Мишечка, вы разговаривать не желаете? Слабо идти, а?
Молчит Мишечка. Встал, подошел к нему Вася. С ним еще четверо. А Миша лежит, не движется. Политрук говорит:
— Ну, за Мишку никогда не думал худо, а тут не пошел…
— Коммунар!
А Мишечка лежит в цепи тихий, неразговорчивый. Тяжко ранен он.
В цепи обсуждают:
— До подъема флага продержимся?
— Нет.
— Сомнут…
— Говорят, выручка идет…
— Эх, обнял бы я на прощание какую-нибудь старушку лет семнадцати…
Вася ползет по снегу. Дотащился. Лежит один бородатый солдат на животе, рука в сторону откинута. Колечко алюминиевое поблескивает. Голова набок. И слезы замерзшие. Вася с ним в разговор:
— Эх, дура-борода. Ведь взрослый парень, а туда же.
Мурлычет Вася между делом:
— Сии, дитя мое родное, бог твой сон храни…
Патроны с мертвеца снимает, приговаривает:
— Колчак чай внакладку пьет. А ты мертвый на холоде зябнешь (пересчитывает патроны). Один, два, три, десять — и то хлеб… Дело твое кончено, а нам, может, еще целый день жить.
И дальше пополз матрос. Набрали все-таки кое-каких патронов. Опять шрапнель лопается. Потом затихло. Пули свистят беспрерывно: «Пи-у, пи-у…»
— Вон она, пуля, за молоком пошла.
Двинули сибирцы. Заходили пулеметы.
Раненые второй роты сидят и лежат в яме.
— Опять пошли…
— Может, выручка придет?
— Воды бы…
С жару, с лихорадки — раненые снег едят…
— Товарищи, воды бы… Глоток хошь… О-ох…

Стонут недобитые братки. Руки себе искусали. Один пополз воды просить в лощинку, где снег для пулеметов топят.
— Дай глотнуть.
— На, только немного, костер тухнет, а пулеметы стынут.
Рядом — ели в обхват, а в костер класть уже нечего. Что было сучьей — поломали, порубили, пожгли…
— Мне бы котелочек… для раненых.
— Не выйдет, браток…
Пулеметчики примчались.
— Воду давай!
— Тут раненые просят…
— А нам как же, чего в пулеметы лить?
Поглядел раненый на пулеметчиков и сказал:
— Берите воду, братки. Полку атаку отбивать надо. Потерпим…
И снова едят раненые снег и тихо стонут:
— Испить бы…
Рядом комиссар лежит. Бок у него разворочен, кровью истекает, бойцов уговаривает:
— Потерпим, друзья, потерпим.
И захлебнулся кровью комиссар.
Отбили атаку последними патронами матросы.
За полночь перевалило. В пятой роте покуривают, идет тихий разговор:
— Всыпались вроде, а?
— Похоже…
— Выручка идет, бригада целая.
— Языком треплешь.
Командир и двое уцелевших коммунистов из ячейки обсуждают:
— Был полк и должен быть полк как полк.
— Ударить на них разом. Может, прорвемся?
— Нечем уже ударять. По двадцать человек в роте осталось.
— Что же делать-то?
— Принять гранатами, а потом на руку. Кто-нибудь ранеными займется.
В ротах готовятся. Граната дистанционного действия — «лимонка». Взяли гранату в правую руку, левой сорвали свободный конец ленты с головки запала.
— Запоминай, товарищ, правила изготовки к бою: правой рукой чиркай о дощечку, как спичку. Огонь пройдет по внутреннему бикфордову шнуру к капсюлю. Размахивайся и сразу бросай. А у кого гранаты «Г-1» — проверь тоже. Бери гранату в правую руку. Левой снимай предохранительный колпачок, ударяй правой рукой гранату раз или два по левой ладони. (Ну, как бутылку водки. Эх, пополоскать бы зубки под конец жизни!) Жало ударит капсюль, он воспламенится, огонь пойдет по бикфордову шнуру к заряду. Через пять секунд взрыв. Бросай…
— Все в порядке?
— Все.
Ваську вызвали к ротному в ячейку. Идет, нашептывает сам себе: «Полный, малый… стоп…»
— В чем дело?
— Где гармонь?
— Лежит в порядке. А что?
— «Вставай, проклятьем заклейменный…» знаешь?
— Нет… Я больше романсы и танцы знаю…
— Чудак ты, почему не научился?
— Вот пусть белые подождут — научусь, пожжалста…
— Говори толком, что играешь-то?
— «На сопках» знаю, «Падеспань», «Краковьяк», «Песня кочегара»…
— Толком бы чего-нибудь.
— А вот «Варяга».
— Да-к это старое…

— Зато флотское. А для чего именно нужно?
— Будешь сейчас в цепи играть.
— Ай, здорово! А там и выручка подойдет…
Пошли. Вася саратовскую гармонь вынул. Взял с переборами:
— «Ай, ой, иху-пху, аха-ха».
В цепи:
— Вот чудило! Молодец!
— Дай, дай, Вася!
— Вот прилажусь…
Три гранаты приготовил, ямку удобную в снегу устроил. Представился:
— Рота моя, слушай меня… Сеанс начинается. Любимец публики с крейсера «Россия», кавалер кронштадтских дам, машинист самостоятельного управления — Васечка Демин.
Матросы заулыбались:
— Вот зараза!
Донеслись возгласы белых:
— Наступа-а-й!
И опять пошли сибирцы. Потарахтели два пулемета, и кончились патроны у матросов. Только гармонь играет…
Идут сибирцы. Скрип по снегу. Опять залегли, а братки гудят:
— А-а-а…
— Что, сапоги жмут?
Командир кричит братве:
— Держись, карапузики! Выручка будет!
Ни черта, товарищи, не будет. Только разговор для подъема духа делается. Понимают это ребята. Сибирцы опять пошли. Матросы за гранаты взялись…
— Товарищи, держись кучнее, корму не показывать!
А Васечка опять треплется:
— Первым номером исполнена будет популярно-морская мелодия «Варяг». Три-четыре…

Наверх вы, товарищи, все по местам.
Последний парад наступа-а-ет.
Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не жела-а-ет…

Ну что же делать, что Васечка подходящего не знает? Вы его простите.

…Все вымпелы вьются, и цепи гремят…
Наверх якоря поднимают…

«Варяг» послужил полку, — разнос бывает…
Крикнул командир:
— А ну, к гранатам!
Один — тот самый, из ячейки — подбежал к яме с ранеными.
Раз… Два… Три… Одну, другую, третью гранату пустил. Рр-аах-ах-ах!.. По своим, по раненым! Ну ясно — а что же делать? Оставить их колчаковцам, чтобы кишки на шомпол наматывали? Брысь вы, жалостливые!
Вернулся товарищ в цепь. В цепи уже все в рост стоят, в руках гранаты. Васечка играет «Варяга»…
Кричат белые:
— Сдавайтесь!
Ответ из полка дают:
— Тппрру…

— Сад-дись!..
— А ну, дернули!
Полетели гранаты. Искры сыплются — фосфор с «лимонок» горит.
Сибирцы шарахнулись — кто назад, кто вперед. Не любят они этого дела.
Мертвый лежит первый Кронштадтский полк.
Лежит у села Кузнецовского. Знаю только двух живых из полка — вырвались: Емельянов и Степанов…
Товарищи крестьяне села Кузнецовского, сложите груду камней у могилы павших — в память полка.

В Кронштадт с Восточного фронта пришло сообщение об исключении из списков первого морского Кронштадтского полка.
В гавани кронштадтской — траур на кораблях.
— На флаг, смирно!
— Флаги приспустить!
До половины вниз сбежали флаги. Стоят смирно матросы на палубах. Тихо падает снег. Траур.
Стоят минуту, ходят годы…
«Ай, ой, иху-аху, аха-ха!» Пошел из Кронштадта второй полк. Смотри, Колчак! Моря нам не видать, если тебя не разгрохаем…

А первый Кронштадтский полк лежит и лежит — мертвый, у села Кузнецовского.
Сибирцы бродят, смотрят на матросов, удивляются:
— Вот народ!
— И чего они такие?
— Меченые…
На руках матросов действительно синеют якоря. Шарят сибирцы, обирают трупы. У одного портсигар пустой нашли, у другого — наган без патронов, у третьего газету вытащили.
— Дай-ка газетку, покурим…
А полуротный тут как тут:
— Дай сюда газету!
— На раскурку разрешите оставить, господин прапорщик.
— Давай, не разговаривай!
Сует солдат газету полуротному.
— Виноват…
Разве можно нижним чинам сибирской армии держать в руках «Красную газету»?

1930

Взятие Акимовки

Бронепоезд «Грозный» выходит из Мелитополя в бой… Флаг на ветру полощется. Палуба ходит под ногами, дым окутывает кормовые орудия… Пахнет углем и маслом.
Рисково идет бронепоезд. Два матроса вылезли на крышу рубки и наблюдают: где «Сокол», где этот враг неуловимый?..
Над рубкой пристрельный разрыв — «Сокол» бьет. Катятся все по местам. Боевая тревога.
Командир кричит:
— Прице-лл с-с-емьдесят три-и!
Кричать приходится потому, что ветер свистит, воет — команду заглушает.
«Грозный» дает больше ходу и бьет по дальнему дыму «Сокола».

— Отдай Акимовку! Не раздражай нервных!
Пятеро пулеметчиков молча сидят у пулеметов. Один из нас заводит:

Как это ни странно,
Люди постоянно
Имеют невеселый вид…

Услышали команду:
— Эй, там, в лавочке! Огонь!
Ага…
Орудие передней площадки бьет яростно и часто.
— А ну дай, а ну дай еще! Белые шьются в балку!..
Все закругление за Мелитополем пройдено, и бронепоезд идет по прямой на Акимовку.
«Сокол» кладет снаряды совсем близко, взрывается земля… По крыше рубки молотят камни и зло шуршит песок.
— Даст вот раз — четыре лапки кверху, и дух вон.
Тут не до трепотни. Струя песку с грохотом врывается в амбразуру. Снизу палуба щепится в шести местах.
— Ой, спасибо!
«Грозный» еще прибавляет ход и вырывается из поражаемого участка. Снаряды пролетают через бронепоезд, разносят насыпь…
Уже вдали виден семафор. До Акимовки осталось версты две. Белых в степи не видно. Стрельба стихает. «Сокол» опять подался назад.
Все вылезают на воздух.
— Разведчики!
«Грозный» дает малый ход. Разведчики соскакивают и бегут проверять пути и стрелки. От станции, навстречу нам — появились какие-то люди.
— Дунуть?
— Одень очки!
Слышим:
— Това-арыщи-и!
Подбегают к нам и неистово кричат:
— Товарыщи, бельяки втикли! Вот ось же стрелки на путях повзрывалы. Було их пихоты три роты, по балкам втикли, а бронэвик за мост ушел. Во, на Сокологорную тикают.
Мы все это видим и знаем, но слушаем, как музыку.
Мужики — среди них много старых солдат — идут цепью рядом с нами, руками размахивают и шумят:
— Ото ж лыхо було, ото ж було! Та вы це сами знаете. В Опанаса дочку покралы…
Мы спрашиваем:
— Флотских у вас нет?
— Та дэ там. Повтикли у партизаны вси. Кажу, дочку в Опанаса покралы, тай и немае аж по сэй день.
Другой говорит:
— Подходил я до их бронэвика. Так що на взгляд — орудия дюйма четыре, но разглядеть вже не вдалося.
Спасибо, товарищи, за каждое слово. Спасибо, дядько, за разведку, за четыре дюйма. Повесить могли тебя, дядько, за эти четыре дюйма; знаем, дядько, эти четыре дюйма, все знаем!
«Грозный» подошел к платформе. Обедают ребята досыта.
А по степи, с белой стороны, тачанка едет. Прикинули — что б это могло быть? Прямо к нам едет. С тачанки слез старый дед, к нам идет. Подошел:
— Кажись, добри люды, дэ здесь бильшовыки?
— Мы будемо, диду. Мы здесь бильшовыки.
— Вы будэте? Добрэ.

Повернулся к тачанке и приказал старухе, что коней держала:
— Несы сюда.
Старая женщина приблизилась. В руке несла в чистейшем полотне кулек. Стала подле деда и тихонько поклонилась нам. Дед протянул руку — взял у женщины кулек, снял шапку, очи поднял к небу и начал молитву читать — благодарение богу.
Обнажили головы и вытянулись матросы — так же, как это сделал дед. Дед широко перекрестился, подошел к самому высокому из нас — к Буке, поклонился в пояс исказил:
— Хлиб-соль! Нэ побрезговайтэ, товарыши.
И старая женщина перекрестилась и вслед за дедом согнулась в поклоне.
Бука принял хлеб-соль, троекратно поцеловал деда и старую женщину. Тогда все накрыли головы, и дед спросил:
— Сынов моих у вас нэмае? Хведор и Семэн Крупки зовуть.
— Нэма, диду. Армия прийдет — пошукаемо. Там твои сины. Уси мужики там, диду.
Дед молвил:
— Потрапезуйтэ, сынки, вы з бою голодни. Потрапезуйтэ.
Мы сыты, но кланяемся деду:
— Дякуемо, диду. Спасибо, диду. Будемо исты, будемо коштуваты ваше печение. Заходьте, диду. Заходьте и вы, мамо.
Мы приняли стариков на пулеметной, самой просторной площадке. Устлали палубу брезентом и сделали два кресла из патронных ящиков.
— Сидайтэ, диду. Сидайтэ, мамо.
Посидели дорогие гости и все товарищи. Командир разрезал паляницу — белейший хлеб Украины, и мы стали есть, держа ладони под шматами хлеба, чтоб не просыпать крошек столь драгоценного дара.
— Вы, диду, через хронт проихалы?
— Эге ж!
В небе лопнула над нами шрапнель. Это опять «Сокол» бьет.
— Слизайтэ, диду. Слизайтэ, мамо. Бой будэ!
Дед молвит:
— Николы в бою не був. З вами пийду, подывлюся.
Дед на коней посмотрел. Шрапнель посыпала опять.
— Жинка, доглядай на коней! Отводи, шоб не вбыло!
Старая женщина поклонилась нам. Мы ответили ей, подняли ее и на руках бережно опустили на землю…
— Вертайтэся, сыночки! Вертайтэся!
— Скоро, мамо, скоро!
Шрапнель секла землю. Старая женщина пошла к коням, чтоб их не убило. А мы с дедом пошли гнать «Сокола» из Таврии.

1929–1930

Борис Лавренев

Комендант Пушкин

1

Военмор спал у окна.

Поезд тащился сквозь оттепельную мартовскую ночь. Она растекалась леденящей сыростью по окрестности и по вагонам.
От судорог паровоза гусеница поезда скрипела и трещала в суставах. Поезд полз, как дождевой червь, спазматическими толчками, то растягиваясь почти до разрыва скреп, то сжимаясь в громе буферов.
Поезд шел от Петербурга второй час, но не дошел еще до Средней Рогатки. Девятнадцатый год нависал над поездом. Мутной синевой оттаивающих снежных пространств. Слезливым туманом, плывущим над полями. Тревогой, мечущейся с ветром вперегонки по болотным просторам. Параличом железнодорожных артерий.
Военмор спал у окна.
Новая кожаная куртка отливала полированным чугуном в оранжевой желчи единственной свечи, оплакивавшей в фонаре близкую смерть мутными, вязкими слезами.
Куртка своим блеском придавала спящему подобие памятника.
С бескозырки сползали на грудь две плоские черные змейки. Их чешуя мерцала золотом: «Балтийский экипаж».
Военмор спал и храпел. Храп был ровный, непрерывный, густого тона. Так гудят боевые турбодинамо на кораблях.
Голова военмора лежала на плече девушки в овчинном полушубке и оренбургском платочке. Девушка была притиснута кожаной курткой к самой стенке вагона — поезд был набит до отказа по девятнадцатому году. Ей, вероятно, было неудобно и жарко. Военмора она увидала впервые в жизни, когда он сел в поезд. Она явно стыдилась, что чужая мужская голова бесцеремонно лежит на ее ключице, но боялась пошевелиться и испуганно смотрела перед собой беспомощными, кукольными синими глазами.
Поезд грянул во все буфера, загрохотал, затрясся и стал.
Против окна на кронштейне угрюмо висел станционный колокол, похожий на забытого повешенного.
От толчка военмор сунулся вперед, вскинул голову и провел рукой по глазам. Кожаная скорлупа на нем заскрипела. Он повернул к девушке затекшую шею.
— Куда приехали?
— Рогатка…
Из распахнувшейся входной двери хлынули морозные клубы. Сквозь них прорвался не допускающий возражений голос:
— Приготовить документы!
Переступая через ноги и туловища, по вагону продвигалась длинная кавалерийская шинель. Ее сопровождал тревожный блеск двух штыков.
Шинель подносила ручной масляный фонарик к тянувшимся клочкам бумаги. Тусклый огонь проявлял узоры букв и синяки печатей.
Шинель была немногословна. Она ограничивалась двумя фразами, как заводная кукла. Одним бросала:
— Езжай!
Другим:
— Собирай барахло!
Военмор не торопясь расстегнул тугую петлю на куртке, вытащил брезентовый бумажник. Из него — второй, кожаный, поменьше. Из кожаного — маленький кошелек. Шинель впервые проявила признаки нетерпения:
— У тебя там еще с десяток кошельков будет?
Военмор вынул из кошелька сложенную вчетверо бумажку.
Свет задрожал на бумаге. Кавалерийская шинель нагнулась, читая:

> ПРЕДПИСАНИЕ
> Состоящему в резерве комсостава военному моряку
> А. С. Пушкину
> С получением сего предлагаю Вам направиться в город Детское Село, где принять должность коменданта укрепрайоном. Об исполнении донести.
> Начупраформ Штаокр Симонов.

Кавалерийская шинель сложила листок и, отдавая, недоверчиво поглядела на кожаную статую военмора.
— Это ты, значит, Пушкин?
Военмор слегка повел одним плечом, и черные шелковые змейки вздрогнули.
— Нет, моя кобыла! — сказал он с неподражаемым морским презрением к сухопутному созданию и отвернулся, пряча бумажник.
Кавалерийская шинель потопталась на месте. Видимо, хотела ответить. Но либо слов не нашла, либо не решилась. Был девятнадцатый год. Военмор принадлежал к породе людей-бомб. Неизвестно, как взять, чтобы не взорвалась.
Выручил звонок.
Хриплым воплем удавленника разбитый колокол трижды простонал за окном, и шинель, оттаптывая ноги, рванулась к выходу.
Военмор покосил взглядом вслед, после поглядел на девушку и, подмигнув, сказал вежливо и доброжелательно:
— Сука на сносях! Не знай где родит…
Девушка опустила ресницы на кукольные глаза и длительно вздохнула. Вздох утонул в раздирающем скрежете, звоне и громе. Поезд тронулся.
2
Снежит.
За колючей щетиной голых деревьев рассвет медленно поднимается, пепельно-серый и анемичный, как больной, впервые привстающий на постели.
В запорошенных снегом уличных лужах вода стоит тусклым матовым стеклом. Ступни оставляют в нем пробоины с разбегающимися трещинами.
Вороны оглашенно приветствуют рождение дня.
Они носятся над парками, над крышами, над льдисто сияющим золотом куполов.
Военмор останавливается на углу, против овального садика, обнесенного простой решеткой из железных прутьев. Путь от вокзала утомителен — ноги дрожат от напряжения, вызванного ходьбой по замерзшим лужам.
Военмор ставит на выступ крыльца походный чемоданчик, сияв его с плеча. Свертывает махорочную цигарку, вставляет ее в обгоревший карельский мундштук.
Императорское поместье раскрывается ему за деревьями сада филигранью парадных ворот дворца, игрушечными главками дворцовой церкви, порочной изнеженностью лепки и пышностью растреллиевских капителей.
Военмор курит и смотрит на все это настороженным подозрительным взглядом. Он не доверяет пышным постройкам, деревьям, накладному золоту, он чувствует за ними притаившегося врага.
Докурив, поднимает чемодан и входит в овальный загон садика.
Сухая трава газонов пробивается сквозь тонкий слой обледеневшего наста. Ветер гонит поземку. Бьет в лицо иглами. Звездчатые пушинки пляшут в воздухе.
За низкой чугунной изгородью темнеет гранит постамента. Бронзовая скамья. На ней легко раскинувшееся в отдыхе юношеское тело. Склоненная курчавая голова лежит на ладони правой руки. Левая бессильно свисает со спинки скамьи.
В позе сидящего есть что-то похожее на позу военмора, когда он спал в вагоне. Может быть, даже не в позе, а в тусклом отблеске бронзы, напоминающем блеск кожаной куртки.
Военмор бросает равнодушный взгляд на сидящего.
Еще шаг. Взгляд сбегает ниже. Цепляется за постамент.
Военмор резко останавливается, не закончив шага, и круто поворачивается к памятнику.
Лицо его темнеет от внезапного толчка крови. Дыхание обрывается шумным выдохом.
Он смотрит на постамент. Брови сдвинуты в огромном и тревожном недоумении. Две строчки, вырезанные на постаменте, пригвоздили его к месту.
Внезапно он кладет, почти бросает чемодан к ногам.
Из кармана вынимается брезентовый бумажник. В руках у военмора маленькая коричневая книжка. Он смотрит в нее. Переводит глаза на гранит.
На партийном билете он видит:
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ ПУШКИН
На полированном граните:

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН
Военмор произносит вслух оба текста. Только в одном слове они не сходятся: четыре буквы отчества разрывают таинственно возникшую связь.
Александр Семенович Пушкин оглядывается.
Сад пуст. Только они вдвоем — бронзовый юноша и военмор в кожаной куртке.
Необыкновенное смятение охватывает военмора. Он чувствует жаркое гудение во всем теле и мурашки в пальцах рук.
Он еще раз повторяет вслух имя — не свое, а того, который сидит на чугунной скамье и задумчиво смотрит поверх головы военмора Пушкина в дымную вуаль парков, в не известное никому, кроме него. От звуков имени огромный рой оборванных мыслей налетает на военмора. Они звенят, как пчелы. И он даже поднимает руку и делает тревожный жест, будто отгоняя пчел.
Кружащиеся мысли связаны с чем-то, очень давно позабытым. Но он никак не может вспомнить, что он позабыл. Воспоминание рождается мучительно-медленно.
Далекие и в то же время необычайно близкие слова наплывают на него из прошлого, из полузабытого детства. В словах есть ритм. Он ощутителен и настойчив.
Александр Семенович Пушкин отбивает ногой такт этого ритма. Все чаще и чаще. Вот! Сейчас будут пойманы слова, быстро мелькающие, как золотые рыбки, в глубине памяти.
Хмурое лицо военмора освещается виноватой улыбкой. Только сейчас, за истомленностью и небритой щетиной на щеках можно разглядеть настоящую молодость военмора. Он наклоняет голову набок и, словно прислушиваясь, говорит тихо и врастяжку:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».

Ритм обрывается. Александр Семенович Пушкин шевелит губами и прищелкивает пальцами. Но в омуте памяти снова провал. Золотые рыбки умчались, сверкнув чешуей.
Военмор опускает голову и говорит сам себе укоризненно:
— Запамятовал, Сашка!
И вдруг снова смеется, по-детски, беззаботно.
Все равно! Ну, забыл! Но внезапная загадка бронзового двойника разгадана. Смятение уступает дорогу любопытству.
Военмор перелезает через ограду и подходит вплотную к постаменту. Задрав голову, долго смотрит на памятник.
Кружащиеся снежинки ложатся на взбитые в беспорядке кудри Александра Сергеевича Пушкина, стынут на припухлых губах, на тонких плечах.
Александр Семенович Пушкин, осторожно ступая, обходит памятник кругом. На задней стороне постамента вырезана надпись.
Александр Семенович, подойдя вплотную, разбирает по слогам каменные строки:

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы, нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Стихи читались с трудом. Слог их был непривычен и малопонятен, слова скользили и убегали от сознания. Но загадочная музыка, таившаяся в них, укачивала, несла на ритмических волнах, как необъяснимое колдовство.
Это ощущение издавна было знакомо Александру Семеновичу. Оно овладевало им всегда, когда ему приходилось слушать музыку. Был ли это пастушеский рожок из бузины, гармошка ли в кубрике, хрустальный гром рояля из открытого люка кают-компании или духовой оркестр в кронштадтском парке, но всякая мелодия завладевала Александром Семеновичем неотразимо и повелительно. Она убаюкивала его и уносила в неизведанные и сладостные просторы.
Александр Семенович прочел по слогам последнюю строку. И вдруг обаяние музыки сорвалось, развеянное темным подозрением.
Он еще раз прочел, повысив голос:

Отечество нам Царское Село.

Эта строка была понятна от первого до последнего слова. Больше: она повеяла в лицо дыханием чужого и ненавидимого мира.
И она заставила Александра Семеновича насторожиться.
Он отодвинулся от постамента и потемневшими глазами посмотрел на бронзовую спину Александра Сергеевича. В этом взгляде были смешаны подозрение и злость.
— Царское Село тебе отечество? — сказал он вслух с таким выражением, словно хотел сказать: «Так вот ты кто такой!» — Царское! — повторил он с нажимом. — Царя все помните!
Сжав челюсти, Александр Семенович круто обошел постамент и быстрыми шагами приблизился к оставленному за оградой чемодану.
Он подхватил его ловким и стремительным рывком под мышку. Еще раз исподлобья взглянул на памятник.
Бронзовый юноша, отечеством которого было Царское Село, смотрел теперь уже не через голову Александра Семеновича, а прямо на него. Чуть заметная усмешка, дружеская и печальная, змеилась на неподвижных губах.
Александр Семенович нахмурился, поправил бескозырку и зашагал.
Шел он размашисто и решительно. Словно после долгого колебания нашел верную линию, прямой, непетляющий путь.
3
Дела в укрепрайоне было много.
Девятнадцатый год кипел.
В потревоженных и сдвинутых толщах страны глубоко бурлила кипящая, огненная лава, гоня на поверхность шлаки. Они выскакивали грязными гнойными пузырями, омерзительной накипью, шипели, брызгали перегоревшей гнусью и лопались. Шлаки плыли от периферии к огненным центрам. Туда, где жарче и сильней кипела лава, в которой они сгорали без остатка.
Революционный Петроград притягивал к себе эти шлаки, как магнит. Вокруг Петрограда все время было неспокойно.
Александр Семенович Пушкин с головой ушел в работу. Времени не хватало затыкать ежеминутно обнаруживавшиеся прорехи.
Ближайшим помощником Александра Семеновича оказался военрук укрепленного района, бывший полковник Густав Максимилианович Воробьев.
Сочетание пышно оперного, чужеземного имени и отчества с заурядной и смешной русской фамилией удивляло многих. Военрук в таких случаях раздраженно объяснял, что его прапрадед, прожив всю жизнь в Польше, принял католичество, и от него пошли Воробьевы с иностранными именами.
Объяснять приходилось часто, и это приводило старика в бешенство. Это и заставило его просить о переводе из петроградского штаба, где была вечная толчея людей и вечное любопытство, в заштатный и немноголюдный укрепрайон.

В первый день вступления в должность старик созвал всех сотрудников штаба района. Они собрались в назначенный час, ожидая каких-либо важных сообщений.
Густав Максимилианович вышел к ним из кабинета, разгладил усы и произнес короткую речь. Смысл ее сводился к тому, что, не желая рассказывать каждому поодиночке историю своих прозвищ, военрук Воробьев сообщает ее для сведения всех в целях прекращения бесцельного любопытства. Изложив события жизни своего предка, Густав Максимилианович выразил надежду, что совместная работа с новыми сослуживцами будет приятна, поклонился, как актер, удачно спевший арию, и ушел, оставив сотрудников в полном недоумении.
Был он малого роста, аккуратен и подтянут. Серебряный бобрик над высоким лбом и белые усы блестели свежестью только что выпавшего инея.
Он был честным и преданным работником, восторженным либералом шестидесятнического толка.
В день передачи должности коменданта укрепрайона Александру Семеновичу старик, окончив официальную информацию о положении в районе, выжидательно посмотрел на нового начальника.
— Чего еще? — спросил Александр Семенович, видя неуспокоенность собеседника.
— Вас, вероятно, удивляет несоответствие моего имени и отчества моей фамилии? — сердито начал военрук.
Александр Семенович удивленно покосился на Воробьева.
— С чего вы взяли? Фамилие как фамилие… А имя-отчество хоть сразу не выговоришь, а все же ничего несоответственного не видать.
Густав Максимилианович Воробьев внезапно весь порозовел от удовольствия. Казалось, даже усы приняли розоватый оттенок.
— Как приятно встретить человека столь свободных и широких взглядов! — сказал он, умиротворенно улыбаясь. — Я очень устал от бесцеремонного любопытства окружающих. Имена и прозвища мы не сами выбираем для себя, не правда ли, товарищ Пушкин? Вот, например, вы, наверное, не выбрали бы себе имени и фамилии, которая должна стеснять вас…
— Это с чего же ради? — Александр Семенович поднял голову от сводки артиллерийского имущества. — Чего мне стесняться?
— Прошу извинить, — Воробьев склонился в изящном полупоклоне, — если я коснулся неприятной вам темы. Но вы должны сами понимать, что при имени и фамилии великого поэта у каждого должен возникать ряд ассоциативных предположений. Иначе говоря, на вас всегда ложится тяжелая тень прославленного имени. Это затрудняет…
— Фамилие у вас русское, а разговор вроде имени-отчества, не сразу провернешь, — перебил, мрачнея, Александр Семенович. — Я кочегар. Кроме горя, в кочегарке ничего не хлебал. Со мной просто говорить надо, а не загвоздки выклеивать…
— Извините, ради бога! — испуганно сказал Воробьев. — Я совершенно не то… Я просто хотел сказать, что здесь, в Детском Селе, ваша фамилия и имя звучат несколько парадоксально.
— Ну вот… Говорите, хотели сказать просто, а опять загнули словцо!
— Парадоксально — по-русски значит неправдоподобно, — мягко пояснил Воробьев. — В самом деле, здесь каждому мальчишке известно, что в нашем городе жил и учился Александр Сергеевич Пушкин. А теперь приехали вы, Пушкин, и к тому же еще Александр…
— Ну и что? — вдруг зверея, рыкнул Александр Семенович. — Чего вы мне тычете под хвост вашим Пушкиным! Мне с ним не чай пить! Ему вон Царское Село — отечество, так на памятнике вырезано. А я в Гнилых Ручьях родился. Он, может, генералом был, а меня тятька с первого года из школы взял и в аптеку мыть бутылки за три рубля отдал. Я писать еле могу, и этого Пушкина только и помню, что «тятя, тятя, наши сети» и там про мертвеца… Чихал я на Пушкина! Нам нынче Детское Село отечество. А Царское мы с царем вместе похерили! Да!
Воробьев медленно отступал к двери, пока Александр Семенович нервно выбрасывал злые слова. У двери он сложил руки перед грудью, как будто собираясь молиться, и когда

Александр Семенович кончил, старик сказал, и в голосе его комукрепрайона ощутил необычайное волнение и печаль:
— Боже мой, боже мой! Вы, сегодняшний Пушкин, ничего не знаете об Александре Пушкине! Вы даже не знаете, что именно царская Россия отравила ему жизнь и задушила его! Вы…
Александр Семенович встал злой, стиснув кулаки в карманах куртки.
— Товарищ военрук! Я вам вот что скажу: идите подобру-поздорову работу сполнять. Вы тут бузите насчет Пушкина, а часовые у пороховых складов цигарки смолят! Дело нужно делать, а не лясы точить.
Густав Максимилианович Воробьев выпрямился и вытянул руки по швам.
— Слушаю, товарищ комендант!
Выходя, он оглянулся на зарывшегося в сводки Александра Семеновича. Во взгляде старика были недоумение и обида.
4
Первый весенний день пришел в блеске и свете, в ласковой свежести западного ветерка, овеянный запахом талых ручьев, земли, размокшей древесной коры.
В конце рабочего дня к подъезду штаба укрепрайона подали оседланных лошадей. Александр Семенович Пушкин намеревался, в сопровождении военрука, проехать к железнодорожным путям, проверить состояние привокзальных окопов и проволочных заграждений, поставленных осенью. Обилие снега грозило затоплением окопов и сносом кольев.
Лошади танцевали, разбрызгивая грязь, рвались из рук коновода и с тихим ржаньем, похожим на дружескую беседу, ласково покусывали друг друга за шею. Солнце, шумящая по стокам вода и угадываемый аромат сочных трав, еще прячущих ростки под землей, пьянили их и возбуждали.
Густав Максимилианович сел в седло с привычной, почти молодой легкостью. Александр Семенович долго прыгал на одной ноге, силясь нацелиться другой в ускользающее стремя. Конь казался ему менее устойчивым и более вертким, чем палуба миноносца в шторм. Но, очутившись в седле, он сразу приобрел ту суровую и тяжелую каменную посадку, которая всегда делает конного моряка величественным и прекрасным, как всадника, изваянного великим ваятелем.
Они прошлепали по лужам вдоль путей. Воробьев на ходу отмечал в записной книжке необходимые работы по приведению окопов в боеспособное состояние после спада воды. Больших повреждений не было, и, убедившись в благополучии, Александр Семенович с военруком повернули обратно. Весеннее солнце нехотя уходило за сиреневую сетку мокрых веток, зажигая тяжелые капли.
Александр Семенович направлялся домой. Жил он, как и военрук, в домиках китайской деревни. Игрушечные эти постройки, выстроенные для императорских забав, служили теперь квартирами боевой семье укрепрайона.
У поворота на Садовую Александр Семенович широко вдохнул душистую свежесть вечера и вдруг сказал военруку:
— Пройдемся, что ли? Надоело на этом живом заборе болтаться… Вечер хорош!
Густав Максимилианович Воробьев кивнул.
Они слезли с седел, отдали лошадей коноводу и медленно пошли по Садовой к куполам дворца, свежим и омытым. Овальная корма лицейского здания медленно надвигалась на них. За нею темнел садик.
Поравнявшись с лицеем, Александр Семенович, неожиданно для самого себя, свернул вправо, в пролом садовой решетки. Воробьев тоже безмолвно последовал за ним.
После первого разговора, так неудачно закончившегося, военрук больше не заговаривал с комендантом ни о своей, ни о его фамилии. Они говорили друг с другом только о служебных заботах, немногословно и деловито. Но Александр Семенович постепенно привык к спокойному, вежливому и работящему старику. Первые дни он подозрительно наблюдал за ним. Прошлое военрука заставляло коменданта держаться настороже. Он инстинктивно не доверял всему, что имело корни в прошлом. Но старик работал безукоризненно, как хорошо выверенный механизм, и недоверие Александра Семеновича рассеивалось. Укрепрайон подтянулся. Часовые больше не курили на постах, и

красноармейцы гарнизона перестали появляться на улицах в раздерганном виде, со спадающими штанами. Александр Семенович получил закалку образцовой морской дисциплины и не переносил разнузданности и беспорядка. Военрук приложил много труда к налаживанию военного организма города, и Александр Семенович высоко оценил этот труд.
Сквозь стволы деревьев засерел гранит. Солнце обливало бронзу памятника влажной лаковой патиной. Александр Семенович вышел на центральную аллею и присел на скамью против памятника.
Александр Сергеевич Пушкин сидел в неизменившейся позе и незаметно дышал апрельским медом.
Александр Семенович Пушкин откинулся на спинку скамьи, невольно и незаметно для себя приняв позу бронзового двойника. После долгого молчания сказал с коротким смешком:
— Чудно все-таки… Он Пушкин, и я Пушкин. Он Александр, и я тоже. А между прочим, в общем, никакого сходства.
Военрук осторожно повернулся к Александру Семеновичу, наблюдая за ним искоса и нерешительно. Александр Семенович продолжал:
— Жил вот тоже тут… Может, на этой самой скамье сидел и не имел в думке, что мы тут сядем и на него смотреть будем…
Густав Максимилианович сухо кашлянул в усы.
— Разрешите доложить, товарищ Пушкин, что в этом вы заблуждаетесь. Он отлично знал, что будет тут сидеть и смотреть на нас.
Александр Семенович взглянул на военрука с сомнительным любопытством:
— Турусы на колесах! Как это человек может знать, где его после смерти посадят? Поди, иной не знает даже, на каком кладбище похоронят. А тут не кладбище, а сад. Здесь одних садов в неделю не обойдешь. Угадай, в каком…
— И все-таки, уверяю вас, Александр Семенович, что Александр Сергеевич это знал… То есть он не рассчитывал, конечно, что поместят его именно на этом месте. Но вообще знал, что дождется памятника, и даже сам предсказал.
Александр Семенович порылся в кармане и вытащил кисет.
— Ну-ну, — произнес он врастяжку, заворачивая цигарку, — уверенный, значит, человек был. Он, что ж, кроме как стихи писать, гаданьем занимался?
— Нет, — ответил Воробьев без улыбки, — он в стихах именно и предсказал.
Александр Семенович выпустил изо рта голубой клуб дыма, на мгновение закрывший бронзового двойника.
— Занятно это вы говорите, Густав Максимилианович. Выходит, угадал свою судьбу?
— Да. Это замечательные стихи. Они будут жить, пока на земле будут жить люди. Хотите, я вам прочту? — неожиданно предложил Воробьев.
— Валяйте! — равнодушно согласился Александр Семенович. — Какое такое предсказание?
Воробьев сцепил пальцы рук, сложенных на колене, и поднял глаза к верхушкам деревьев. В его суховатом чистом стариковском лице словно проступил внутренний свет, помолодивший его.
Голос его был надтреснут и тих, почти робок:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Александр Семенович слушал, куря.
Он не отрывал взгляда от Александра Сергеевича. Положительно, отлитое из бронзы худощавое юношеское лицо жило своей таинственной жизнью, и это озадачивало Александра Семеновича. Вероятно, мерцание закатного света сквозь ветки создавало эту иллюзию жизни и движения, но Александр Семенович готов был поклясться, что при

первых звуках стихов двойник на резной скамье слегка подался вперед и как будто стал прислушиваться. Но голос военрука отвлек внимание от памятника.
Знакомое ощущение музыки уже охватывало Александра Семеновича. Стихи текли, как волна. Как и эти, врезанные в камень памятника, они доходили до сознания Александра Семеновича музыкой, напевом, а не словами.
В них было много чуждых слуху звукосочетаний, как будто другого, нерусского языка. Или не того русского языка, какой знал Александр Семенович, на каком привык разговаривать. «Столп», «лира», «пиит», «сущий» — это мешало уследить за смыслом и раздражало.
Только на четвертом периоде мерного качания стиха Александр Семенович повернул голову к Воробьеву, и глаза сузились. Лицо его стало напряженно внимательным.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Тот же внутренний ясный свет, которым сияли глаза военрука, пробежал теперь в глазах Александра Семеновича.
Он ближе подвинулся к Воробьеву и в неподвижности дослушал до конца.
Минуту оба молчали.
Первым пошевелился Воробьев.
— Что скажете, товарищ Пушкин?
Александр Семенович поднял руку и пошевелил в воздухе пальцами, будто ловил другие, не привычно-ежедневные, а новые и волнующие слова.
— Здорово! — сказал он наконец, так и не найдя этих слов, и вдруг потускнел и нахмурился.
Воробьев выжидательно смотрел на него.
— А вот божье веленье ни при чем! Начал про свободу, и вдруг богом всю музыку испортил!
Густав Максимилианович Воробьев разнял сцепленные пальцы и всплеснул руками в воздухе.
— Александр Семенович, товарищ Пушкин! Вы же поймите, в какое время он писал! Сто лет назад! В то время Маркс только родился и во всем мире была только одна республика, в Америке. Кроме отдельных передовых личностей, люди без оглядки на бога пальцем боялись пошевельнуть.
— Разве что так, — протянул Александр Семенович, пристально смотря на бронзового Александра Сергеевича. — Только если он стихи писал знаменитые, следственно был передовой личностью, как вы говорите. Вот тут и не сходится. Выходит — бог в нем крепко сидел, вроде глиста. И царь тоже.
Густав Максимилианович мгновенно помигал ресницами и вдруг захохотал дружелюбным басовым смешком.
— А знаете, Александр Семенович, мне нравится ваша логика. Твердая, организованная и последовательная.
— Чего это за ягода «логика»? — спросил Александр Семенович. — Опять непонятно заговорили?
— Ну, образ мыслей. Вас не собьешь с линии.
— Это верно. Я хоть серый и дальше азбуки не пошел, а свою думку держу крепко.
— Это мне в вас и нравится. Во всех вас, во всех большевиках, — ясная целеустремленность и боевая непримиримость мысли.
Оба замолчали. Солнце скатывалось к горизонту. Последние лучи, прорвавшись сквозь невод ветвей, вспыхнули вокруг кудрявой головы Александра Сергеевича Пушкина, окружив ее трепетным ореолом.
— Пора идти! — сказал Александр Семенович.

— Хотите, товарищ Пушкин, у меня чайку попить? — предложил Воробьев. — А я вам еще Пушкина дома почитаю. Там уже бога не будет. А вам нужно же узнать как следует своего однофамильца. Неужели вы его совсем не знаете?

— Чудак вы, Густав Максимилианович, — ответил Александр Семенович, — я же вам говорил! Моего всего образования — первый класс в деревенской школе. А после некогда было. Моешь в аптеке бутылки с восьми и до двенадцати — спину и руки до того ломит, что не знай, как до лежака дорваться. Я до флота и газет почти не читал. Только на корабле, уже в организации, глаза открыл на книгу. Но все политическое. На другое времени не хватало. А вы — Пушкин! Куда мне! А насчет чаю — согласен. Потопали!

В комнате Воробьева гостеприимно гудела буржуйка.

Такая же чистенькая и аккуратная, как муж, вся в белых букольках, жена военрука приветливо встретила гостя. Расставила на столе холодную баранину, нарезанную воблу, черную патоку в вазочке, заварила в чайнике яблочную крошку.

Густав Максимилианович вынул из стола перевязанные ниточкой очки, ловко приладил их к носу. Достал с полки коленкоровый томик.

Электричество горело тускло. Нити лампочки едва накалялись красноватым сиянием. Воробьев зажег керосиновую лампу и присел к ней.

В этот вечер и состоялось первое настоящее знакомство Александра Семеновича с Александром Сергеевичем.

Воробьев прочел Александру Семеновичу посвященное декабристам «Послание в Сибирь», послание «Чаадаеву», «Деревню», «Анчар», «Кинжал».

К каждому прочитанному стихотворению Воробьев давал короткое пояснение, рассказывал Александру Семеновичу внутренний, тайный смысл стихов, переводя высокий язык символов и образов на понятную для слушателя будничную речь.

Музыка стихов начинала звучать для Александра Семеновича осмысленно. Юноша из лицейского садика вставал перед ним в ином облике. Он исподволь становился своим.

Комендант и военрук засиделись долго за полночь. Жена Воробьева тихой мышью ушла в спальню.

Густав Максимилианович закончил вечер эпиграммой на Аракчеева, предварительно рассказав об Аракчееве и Александре Первом. Он прочел эпиграмму в ее неприкосновенном, предельно вызывающем тексте, понизив слегка голос. От яростной брани по адресу царя и его клеврета Александр Семенович привскочил на стуле.

Это был совсем неожиданный для него Пушкин, заговоривший языком кочегарного кубрика! Тут пахло не отечеством Царского Села и не божьим веленьем. Александр Семенович понимал, что за такие слова гоняли на каторгу.

Матрос Геннадий Ховрин на «Штандарте», неудачно поддержавший царицу под руку на трапе и посаженный в карцер, со зла обозвал ее величество коротким женским словцом и получил пять лет за оскорбление царственной особы.

Через темные дали столетий Александр Сергеевич Пушкин подавал дружескую руку матросу первой статьи Геннадию Ховрину. Между ними устанавливалась нежданная связь.

Поздно ночью простился Александр Семенович с военруком.

Ночь томилась в теплой и влажной бане весеннего тумана.

Александр Семенович постоял у крыльца военрука, вдыхая тепло и тишину, Потом он сам разбил эту тишину, произнеся вслух непроизносимый конец эпиграммы. Прислушиваясь к затихавшему эху, как бы взвешивая убийственные слова, он засмеялся и пошел к себе.

5

Спустя несколько дней Александр Семенович зашел под вечер к Воробьеву и попросил почитать чего-нибудь про жизнь своего знаменитого тезки.

Густав Максимилианович в нерешительности покрутил усы.

— Вы меня извините, товарищ Пушкин, — сказал он, конфузясь и говоря несколько книжно, — но ваша просьба несколько затрудняет меня. Мне хочется, чтобы вы узнали настоящую жизнь Александра Сергеевича Пушкина, без прикрас и выдумок, со всеми его муками и страданиями, всеми неудачами этого беспокойного человека. Жизнеописание же его, приложенное к моему изданию, предназначалось для средней школы в дореволюционное время и написано лживо, изуродовано. Я просто боюсь его вам давать. Вы получите совершенно неправильное представление.

Александр Семенович на мгновение задумался.
— А может, вы сами мне расскажете как надо? — сказал он, найдя выход.
Но Воробьев покачал головой:
— Трудно, Александр Семенович! В данном случае мне особенно трудно. Я, как всякий более или менее грамотный русский, знаю и люблю Пушкина. Мое знание удовлетворительно для меня. Но я не могу принять на себя ответственность за передачу этих знаний вам. Они слишком скудны для этого. Пушкину необходимо знать Пушкина, как брат знает брата. — Старик улыбнулся.
— Экая незадача! А я разохотился, — с досадой сказал Александр Семенович. — Хочу познакомиться вдосталь. Теперь он меня за живое забрал.
— Вы не отчаивайтесь, Александр Семенович! Делу помочь можно. Тут есть бывший преподаватель словесности здешней гимназии Матвей Матвеевич Луковский. Он всю литературу как свои пять пальцев знает. Он, наверное, не откажет. Очень обязательный и приятный человек.
— Смеяться не будет? — спросил Александр Семенович, нахмуриваясь.
— Что вы! Зачем? Наоборот, думаю, он будет очень рад помочь вам.
— Ну, ладно, — согласился Александр Семенович, — амба! Пусть так!
— Так я сейчас и зайду к нему, — сказал Воробьев. — Все равно мне нужно книжки отдать, которые я у него брал.
Они вышли вместе. Александр Семенович проводил Воробьева до жилища Луковского и неторопливо пошел обратно.
Подходя к садику, он еще издали заметил на аллее против памятника человеческий силуэт. Странные жесты этой фигуры привлекли внимание Александра Семеновича. Человек нагибался к земле, потом выпрямлялся, делал размашистое движение в сторону памятника и снова нагибался, шаря.
Александр Семенович прибавил шагу и подошел к незнакомцу незамеченный.
Здоровый парень в бутылочных сапогах, с красным лицом в прыщах, выковыривал из почвы кусочек камня и, наметясь, метнул его в поэта.
Камень звонко ударил в плечо статуи и скатился к ногам, оставив на металле беловатый след. Парень удовлетворенно захрюкал и нагнулся за новым камнем.
Жаркий туман залил глаза Александру Семеновичу.
В одно мгновение он превратился из коменданта укрепленного района, большевика, стойкого командира матросского батальона, заслужившего доверие в Октябрьские дни боевой выдержкой и врожденными командирскими качествами, в первогодка-кочегара Сашку Пушкина, горячего парнишку, бездумно кидавшегося в любую уличную драку в Кронштадте, круша направо и налево каменными кулаками.
От свинцового удара в левую скулу парень перевалился через решетку, ткнувшись лицом в побеги молодой травы. Фуражка его откатилась к постаменту. Он вскочил и, зарычав, бросился на обидчика, но, не дойдя на шаг до Александра Семеновича, остановился и испуганно разжал кулаки.
Военмор с ярко-желтой кобурой, повисшей на бушлате, был врагом, которого трогать не стоило. Вместо удара парень заморгал глазами и слезливо спросил:
— Ты что в ухо бьешь, сволочь?
Туман неожиданной ярости уже схлынул с Александра Семеновича. Он взял себя в руки. Но лицо и губы его были белы от злобы, и голос стал низким и хриплым.
— Катись! — сказал он угрожающе. — В следующий раз застану — голову оторву, хулиганское отродье!
— А что я тебе сделал, сукиному сыну? — еще слезливей спросил парень.
Он не понимал и не мог даже заподозрить, что удар со стороны военмора был вызван невинным бросанием камешков в чугунного человека на скамейке, посаженного здесь неизвестно к чему.
— Поговори еще! — сказал Александр Семенович, надвигаясь, и парень опасливо попятился, подняв руку перед лицом. — Поговори! Ворон тебе мало, болвану, каменья кидать? Для твоего удовольствия тут памятник поставили?
Парень захлопал ресницами. Теперь он понял, но то, что он понял, было выше его понимания, и он обозлился:

— А ты кто такой? Ты ему дядя? А раз это старорежимный статуй, ты какое такое право имеешь за его вступаться? Может, ты сам старого режиму? Форму морскую нацепил и народ обманываешь. А вот пойдем в чеку! Там тебя разденут.
Парень уже ободрился и снова махал сжатыми кулаками.
Но ударить он не успел. Александр Семенович, извернувшись, ухватил его за ворот куртки и поднял на воздух. Натужившись, он протащил парня на весу до выхода из садика и, опустив, с размаху поддал подошвой в крепкий зад, обтянутый ватными штанами.
Парень отлетел шагов на пять, ткнулся руками в уличную грязь. Александр Семенович спокойно повернулся и пошел. За его спиной парень кричал во весь голос обидные слова:
— Матрос-барбос! Гидра контровал!.. Ходи мимо, а то поймаем — мы тебе салазки загнем!
Но Александр Семенович шел быстро и не оборачиваясь.
Поравнявшись с памятником Александру Сергеевичу, он бросил на него быстрый и раздраженный взгляд. Памятник показался ему прямым виновником неожиданной и неприятной вспышки гнева, о которой Александр Семенович уже сам жалел и которой стыдился.
6
Луковский разговаривал на ходу.
Он стремительно шагал из угла в угол по диагонали огромной, почти лишенной мебели комнаты.
Письменный стол. Кресло возле него. В углу другое кресло, из разорванной обивки которого клочьями висела шерсть и на котором сидел Александр Семенович. Больше ничего.
Но все четыре стены, от плинтусов до потолка, были заняты книжными полками. Книги лежали грудами на подоконниках, на столе, на полу. От них в комнате стоял пыльный и странно хмельной, кружащий голову запах.
Луковский носился на фоне этих книг в длинном старомодном сюртуке. Его тонкие угловатые руки взлетали перед лицом Александра Семеновича, похожие на общипанные крылья, и весь он был как необыкновенная птица.
Летая по диагонали комнаты, Луковский захлебывался словами:
— Когда товарищ Воробьев рассказал мне о вас, я буквально оцепенел от изумления, я не мог опомниться, я не хотел верить. Какое необыкновенное стечение обстоятельств! Прошло столетие, и в месте, освященном именем Александра Пушкина, появляется другой Александр Пушкин. Мне это показалось сначала ужасающей профанацией, кощунством, издевательством…
— Послушайте, — перебил Александр Семенович, привстав с кресла и рукой загораживая путь Луковскому, — чего вы все ходите? Этак и вам неудобно, и мне глядеть на вас беспокойно. Сели бы!
Луковский растерянно посмотрел на Александра Семеновича, мигнул и сразу послушно сел на груду книг посреди комнаты.
— Вот так лучше, — одобрил Александр Семенович и, усмехнувшись, продолжал: — Чего это вы много наговариваете? До чего с вами, учеными людьми, трудно, — будто мешки носишь!.. Чего же на меня обижаться, что я тоже Пушкин? Уж тогда вы с моих батьки и мамки спрашивайте…
— Да нет же, — Луковский привскочил на своем книжном сиденье, и облако пыли вскурилось над ним из потревоженной бумаги, — да нет! Это было мгновенное первое впечатление. Инстинктивный протест… Пушкин неповторим в этом городе, и кто может, кто смеет называться его именем здесь? Но это тотчас же прошло… И я увидел в вашем появлении здесь некую историческую закономерность, если хотите. Круг завершен, и на рассвете нового исторического периода в прежнее место приходит новый Александр Пушкин, в новом качестве. Это диалектика истории…
Александр Семенович насупился и свел брови.
— Эх ты, мать родная, — сказал он с досадой, — вы все свое мудрите! Мне от вас чего нужно? Чтоб вы мне про Пушкина, про всю его полную жизнь объяснили, про то, как он стихи складывал, об чем думал, с кем дружил… Я в этом направлении человек темный и ничего про вашего Пушкина не смыслю. А вы мне все мудреное несете, такое, что мозги

набекрень сворачиваются. Уж тогда лучше дайте книжку какую-нибудь, попроще. Авось поднатужусь и как-нибудь сам разберусь, — закончил он с внезапной тоской.
Луковский вскочил и, как порыв вихря, пронесся по комнате.
— Простите, Александр Семенович! — закричал он, хватая обе руки коменданта худыми, цепкими пальцами. — Ради бога, простите… Эта дрянная привычка к высокопарным разглагольствованиям в интеллигентском болотце!.. Вы пришли ко мне за простым ржаным хлебом знания, а я кормлю вас изысканными пряностями… Простите! Ведь вам хочется ближе узнать и почувствовать вашего живого тезку… Понятно!.. Понятно! Я постараюсь удовлетворить ваше желание… Я так рад… Может быть, впервые в моей педагогической практике ко мне приходит так жадно ищущий знания ученик… И я сделаю все, что в моих силах… Сейчас… Сейчас!
Он выпустил руки Александра Семеновича и ринулся к одному из книжных шкафов. Распахнул дверцу так порывисто, что стекла жалобно задребезжали. Худые пальцы Луковского промчались по корешкам книг, как пальцы пианиста по клавишам в трудном пассаже, и выдернули одну из книг в коленкоровом синем переплете.
— Вот! — Луковский высоко поднял книгу над головой. — Вот! Здесь, Александр Семенович, вся жизнь Александра Сергеевича Пушкина. В эту рукопись я вложил двадцать три года любовного труда. Она не могла надеяться увидеть свет потому, что в ней я рассказал правду о Пушкине и предал позору его убийц. Я не знаю, увидит ли она свет при моей жизни…
Луковский нежно погладил переплет книги. Некрасивое лицо его с растрепанной бороденкой просияло внутренним огнем вдохновения. Гордо вздернулась голова. Он раскрыл книгу и, держа ее в вытянутых руках, сказал торжественно и сурово:
— Вы услышите сейчас о Пушкине!.. Не о том Пушкине, о котором я был принужден рассказывать много лет в гимназии ленивым олухам и шалопаям. Это не народный Пушкин. Это нарумяненный мертвец. Те, кто убил его, затянули его после смерти в тугой раззолоченный мундир придворного, подкрасили румянами казенного патриотизма, уродовали его мысли и чувства. Они хотели украсть его у народа и навсегда похоронить в лакейской царского дворца… Но час расплаты пришел, и они сами умерли в этой лакейской… Народ воскресит своего поэта, своего Пушкина…
Внезапно Луковский схватился за грудь и закашлялся. Несколько минут сухой, судорожный кашель сотрясал с головы до ног его тощее тело. Он прижал ко рту платок, и, когда отнял его, Александр Семенович увидел расплывающееся по полотну розовое пятно.
— Пустое! — тихим извиняющимся голосом ответил Луковский на тревожный взгляд Александра Семеновича. — У меня профессиональная болезнь русского педагога… Чахотка!.. Мне не очень много осталось жить, но это совершенно не важно.
Он спрятал платок в карман, пригладил рукой взбившиеся над лбом взмокшие волосы и, полузакрыв глаза, спокойно начал рассказ:
— Александр Сергеевич Пушкин, величайший русский поэт, наша национальная гордость на веки веков, стоящий наравне с величайшими гениями мировой поэзии, родился в Москве двадцать шестого мая тысяча семьсот девяносто девятого года…
Александр Семенович подался вперед в кресле, оперся подбородком на сжатый кулак и с жадным вниманием слушал.

7

В пустынных и покинутых парках эти две фигуры стали привычной и неотделимой частью пейзажа. Они каждый день прогуливались в зеленом сумраке вечереющих аллей.
Шагали рядом. Тяжелый и спокойный, кажущийся чугунным от тусклого блеска постаревшей кожаной куртки, Александр Семенович Пушкин. И нервно приплясывающий, забегающий вперед на развинченных ногах, Матвей Матвеевич Луковский. Его танцующая походка, отставленные от тела угловатые локти делали его схожим с большой галкой, жалостно подпрыгивавшей по аллее, волоча перебитые крылья.
Александр Семенович шел молча, изредка роняя несколько слов. Луковский говорил неугомонно и порывисто. В уголках его синеватых губ накипала пена. Тогда он тщательно вытирал рот платком и продолжал говорить.
Они стали неразлучны — комендант укрепленного района, военный моряк, бывший кочегар Александр Семенович Пушкин и чахоточный энтузиаст Матвей Матвеевич Луковский. Их

накрепко связала история жизни другого Пушкина, Александра Сергеевича, о котором, пылая чахоточным жаром и восторгом, рассказывал Александру Семеновичу Луковский.
Теперь, проходя мимо своего бронзового тезки, отдыхающего на резной скамье, Александр Семенович Пушкин видел уже не беспечного мальчика. За этой беззаботной юношеской тенью вставала перед ним страшная страдальческая жизнь человека, родившегося в мае, чтобы маяться до конца. Человека, которого угораздило родиться с умом и талантом в душной гауптвахте николаевской казарменной России и жизнь которого шла под глухой рокот гвардейских барабанов, под мокрый хлест шпицрутенов по окровавленным спинам, под звон цепей, заковавших лучших друзей и товарищей.
Жизнь, каждый живой росток которой обрезался тупыми ножницами цензуры!
Жизнь, ежедневно и бесконечно унижаемая «отеческой» опекой царя и оскорбительным покровительством Бенкендорфа! Отравляемая клеветой и обидами!
Жизнь, ставшая игралищем посторонней, страшной и необоримой воли! Шедшая по чужой указке и оборванная с жестоким равнодушием в час, когда она стала помехой титулованному лакейству.
Александр Семенович останавливался перед памятником и подолгу всматривался в задумчивые юношеские черты Александра Сергеевича. Теперь ему казалось, что в них проступает уже начало той истребительной тоски и отчаяния, которые сопровождали эту жизнь своей черной могильной тенью.
Александр Семенович тяжело дышал, и пальцы его, засунутые в карманы кожаной куртки, сминались в кулаки с такой силой, что синели ногти. Лицо его темнело и становилось каменным. Редкие прохожие, пересекавшие в такие минуты лицейский садик, опасливо обходили его точно вросшую в землю фигуру.
В ежедневных прогулках с Луковским он узнавал каждый раз новое о своем тезке. Он открывался Александру Семеновичу, как открывается моряку неизвестная земля. Сначала в голубоватом блеске морской дали встает чуть заметная темная полоска. Она медленно растет. Она поднимается из океана, окруженная белыми всплесками прибоя. Из общего контура начинают выделяться отдельные вершины. Зеленеют леса. Золотящимися просторами ложатся поля, пересеченные светлыми лентами дорог. Белеют здания. С грохотом рушится якорь, и с мостика остановившегося корабля развертывается перед пришельцами жизнь на берегу, кипящая и полнокровная.
Стихи Александра Сергеевича зазвучали для Александра Семеновича во всей силе их неотразимого могущества. Густав Максимилианович Воробьев, первый посредник между Александром Семеновичем и Александром Сергеевичем, читал стихи внятно, но не умел оделять их полнотой звучания, волшебной жизнью. В жарком, взволнованном чтении Луковского стихи преображались. Александр Семенович не только слышал — он видел теперь каждую строчку. Стихи становились физически ощутимыми в его непосредственном и жадном восприятии. Он по-разному воспринимал их.
Будоражащий холодок восторга охватывал его от дерзких политических выпадов поэта. Он понимал уже теперь, какое героическое мужество нужно было для этих одиноких уколов лезвием стиха в железную броню николаевской монархии.
Его очаровывали сказки. Из «Золотого петушка» он многое запомнил наизусть с голоса Луковского. «Поп и Балда» привел его в исступленное восхищение.
Стихи, написанные в подражание древним классикам, с трудными мифологическими именами и непонятными намеками и символами, оставляли Александра Семеновича равнодушным и даже поднимали в нем злость.
— Ну, чего это? — говорил он тоскливо Луковскому. — Это ненужное, Матвей Матвеевич! Пустая игра! Вроде как самого себя под мышками щекотать. Только даром время тратил Александр Сергеевич. Сам же говорил, что нужно сердца человеческие пламенем жечь, а вместо того спичками балуется.
Стихи Александра Сергеевича становились для Александра Семеновича неотделимыми от его жизни. Они врастали в нее, как корни в землю. Они связывались незримыми, но неразрывными связями с этим городом, с парками, дворцами, памятниками, с Россией, с человечеством.

И однажды, после такой прогулки, прощаясь при выходе из парка под матовым светом встающей из-за деревьев луны, Александр Семенович, крепко стиснув руку Луковского, сказал с внезапной тоской:
— Эх, Матвей Матвеевич! Человек для всего народа писал. Кровью, можно сказать, писал, надрывался. А многие ли его знают? И проклятая же жизнь наша была, если девять десятых России в такой серости жили, как я вот! Обязательно, Матвей Матвеевич, надо, чтоб каждому человеку Александра Сергеевича прочитать насквозь. Как вы полагаете?
Худые пальцы Луковского слабо дрогнули в здоровой ладони Александра Семеновича и, откашлявшись, он конфузливо ответил надломленным голосом:
— Замечательный вы человек, Александр Семенович, и радостно думать, сколько таких людей освободила из тьмы наша страна.
8
Александр Семенович совещался у себя в кабинете с Воробьевым о проведении объявленной мобилизации нескольких годов, когда в распахнувшуюся без стука дверь ворвался Матвей Матвеевич Луковский.
Он подошел к столу и остановился, задыхаясь. На его зеленовато-землистых щеках передвигающимися кирпичными пятнами плавал румянец.
Александр Семенович и Воробьев удивленно смотрели на него. Луковский был явно и чрезмерно взволнован.
— Что такое случилось? — спросил, вставая и подвигая Луковскому стул, Александр Семенович. — Вы на себя, Матвей Матвеевич, не похожи! Словно черти за вами гнались. Садитесь, отдышитесь и рассказывайте!
Луковский сел. Спустя минуту, болезненно скривив рот, сказал:
— Извините, что я ворвался к вам, Александр Семенович, без предупреждения! Но, думаю, кроме вас, никто не поймет и не поможет.
— А в чем помочь нужно?
Луковский нервно забарабанил пальцами по краю стола:
— Я сейчас был в совдепе, Александр Семенович. Узнал, что председатель распорядился снести Чесменскую колонну.
Александр Семенович, не сводя глаз с Луковского, приподнял плечи:
— Зачем?
— Как памятник старого режима. Видите ли, он мозолит глаза товарищу председателю.
Александр Семенович сощурил ресницы и пристально взглянул на Луковского.
— А может, и правильно, Матвей Матвеевич? — спросил он после долгой паузы. — Кому он на радость, этот столб? Для потехи его поставили, чтоб турецкую нацию унизить и генерала Орлова прославлять. Пожалуй, что и не к месту он сейчас!
Луковский стремительно отшатнулся на спинку стула и поднял перед собой раскрытые ладони, как будто закрываясь от удара.
— Александр Семенович! — вскричал он жалобно. — Неверно же это! Может быть, на сегодняшний день это так. Но нужно же уметь смотреть и вперед. Сейчас нам нужнее всего черный хлеб, но ведь боретесь-то вы не за черный хлеб, а за то, чтобы каждый имел белую булку. Детское Село — это сокровищница искусства для будущих поколений, которую мы обязаны сберечь даже в самых тяжких испытаниях. Все здесь связано с памятью Александра Сергеевича Пушкина. Эта колонна им воспета, она бессмертна, как Пушкин! Что вы ответите вашим детям, когда они вырастут и спросят: где Чесменская колонна, о которой мы читали, которую хотим видеть? Ее разрушили в год, когда в Детском Селе жил другой Пушкин, Александр Семенович, и он не захотел помешать этому бесцельному поступку…
Луковский захлебнулся словами, достал платок и вытер розоватую пену в углах губ.
Александр Семенович тяжело молчал, опустив глаза на изодранную клеенку стола. Неожиданный оборот, приданный делу Луковским, поразил и смутил его. Он раздумывал и колебался. Наконец поднял глаза и сказал с усмешкой:
— Нашел чем взять, Матвей Матвеевич! Хитрость это ваша, конечно. Черепушка у вас интеллигентская, разные ходы умеете пользовать. Ну ладно! Вместе в ответе будем. Попытаюсь… Вы, Густав Максимилианович, тут займитесь за меня, а я в совдеп пройдусь.

Александр Семенович застегнул куртку и вышел на улицу. Шел он медленно, в хмуром раздумье, а Луковский больной галкой ковылял сзади. У подъезда совдепа Александр Семенович вдруг резко повернулся и повелительно сказал спутнику, обращаясь на «ты»:
— Ты, Матвей Матвеевич, лучше иди домой и жди! Мы между собой скорей договоримся. А ты навредить можешь. Ступай!
И, махнув рукой, поднялся на крыльцо совдепа.
Председатель сидел в кабинете, осажденный десятком разозленных, обтрепанных баб, наступавших на него и кричавших зараз непонятные, но обидные слова.
Александр Семенович протиснулся сквозь бабью толпу, встал рядом с председателем и спокойно, сурово приказал:
— А ну, бабочки, повалите отсюда на минутку! Тут у нас дело экстренное, а вы прогуляйтесь на верхнюю палубу, прохладитесь ветерком!
В его тоне было такое не допускавшее возражений спокойствие и сила, что женщины сразу стихли и, одна за другой, гуськом вытиснулись из председательского кабинета.
Председатель вытер вспотевшую шею и растерянно сказал:
— Просто замучили… Откуда я им возьму? И как это ты их выпер, просто понять не могу!
— Уметь надо с людьми обращение иметь, — ответил Александр Семенович, садясь на промятый диван и закуривая. — Нет в тебе, председатель, престижа! Егозишь, а народ этого не любит.
— Ты престиж! — обидчиво протянул председатель и спросил: — Зачем пришел?
Александр Семенович выпустил дым и неторопливо ответил:
— Дело есть… Ты мне скажи, с чего это ты с камнями воевать вздумал?
— Это то есть как понимать? — насторожился председатель.
— А вот прослышал я, что ты распорядился Чесменскую колонну завтра сносить. Так, что ли?
— Ну? — Председатель еще больше насторожился.
— Глупость делаешь! Ни к чему это!
Председатель втянул в себя воздух и встал.
— Спасибо, конечно, товарищ Пушкин, за совет. Только ваше дело военное и внутреннего городского хозяйства не касается. Памятник старорежимный, торчит ни для чего, а камень первого качества. Мы его на братскую могилу употребим для жертв.
— Не выйдет, — мотнул головой Александр Семенович. — Задний ход, братишка! Не позволю я тебе этого, — сказал он спокойно и как бы вскользь.
Председатель выскочил из-за стола и остановился перед Александром Семеновичем. Глаза его блеснули злостью.
— Ты с каких пор хозяин? — спросил он угрожающе. — Чего путаешься? Или тебе люб памятник Катькиному мерину?
Александр Семенович усмехнулся.
— Если бы мерин был, Катька бы его в постель не взяла, тебя подождала бы, — отрезал он, обретая былую военморовскую неотразимость языка.
Удар подействовал, и председатель завертелся на месте от обиды и невозможности найти подходящий ответ. Не найдя, озлился и грубо буркнул:
— Иди, товарищ Пушкин, по свои дела! Я человек занятой. Мне некогда с тобой препираться. Решение проработано — и крышка. Памятник снесем, а если мешаться будешь, я на тебя управу найду.
Александр Семенович встал и поправил пояс.
— Ладно! Будь здоров! — сказал он равнодушно, протягивая руку. — Сноси! Только не забудь завтра с собой артиллерию прихватить. Без артиллерии не выйдет, братишка! Потому я сейчас у колонны охрану поставлю, пока тебя, дурака, разуму не научат.
И, не слушая председателя, хлопнул дверью.
Рано утром Луковский, снабженный пропуском и командировочным удостоверением, уехал в Петроград с подписанным Александром Семеновичем письмом в Комитет по охране памятников искусства и старины.
Через час вереница детскосельских буржуев, мобилизованных совдепом на общественные работы, мрачно потянулась через солнечный Екатерининский парк с кирками и веревками под предводительством заведующего городским благоустройством. Они подошли к

игрушечному краснокирпичному Адмиралтейству, где был приготовлен паром для переправы к колонне, и начали грузиться.
Но, едва паром оттолкнулся от берега, на обочине постамента колонны словно чудом вырос часовой и, недвусмысленно щелкнув затвором винтовки, направил ее на паром, прокричав во весь голос:
— Ворочай назад! Стрелять буду!
Среди буржуев, набивших паром, вспыхнула паника. Бывший гофмейстер двора его величества, толкавший паром шестом по правому борту, бросил шест и, прыгнув в воду, не оглядываясь заспешил к берегу.
Операция сорвалась.
Вечером из Петрограда приехал уполномоченный Петроградского исполкома с грозной бумагой председателю совдепа — прекратить самочинные действия и не трогать ни одного камня в Детском Селе без разрешения из Петрограда.
Александр Семенович, гуляя вечером с Луковским, остановился на берегу против колонны и, прищурясь, лукаво кивнул головой в сторону ее тонкой гранитной свечи:
— Ввел ты меня, Матвей Матвеевич, в грех! Не по сердцу мне эта дубина. Только ради Александра Сергеевича спас. И не знаю, что ему в ней приглянулось.
9
Осень подходила в багрянце листвы, в холодке утренних хрустальных заморозков. Потом хлынули скучные, мелкие осенние бусенцы, заливая окрестности. По болотам пошли пузыри, гонимые ветрами и разлетающиеся брызгами. А под Псковом вспух и наливался гноем злобы генеральский пузырь Юденича.
Ночи и дни стали тревожными.
Гонимый ветрами интервенции, генеральский пузырь переползал по болотам, близясь к Петрограду.
К полночи, когда воздух становился плотным и звонким от холода, издалека доносилось тяжелое и глухое погромыхивание орудий. С каждым днем оно надвигалось, становилось громче и весомее.
Ежедневные прогулки Александра Семеновича с Луковским оборвались.
Начиналась иная, пахнущая мокрым ветром и кислотою пороха боевая жизнь, и Александр Семенович расстался с Александром Сергеевичем. Он не забыл о нем. Но события отодвинули Александра Сергеевича за страницы боевых и политических сводок, за проволочные заграждения, за ломаные ряды свежевырытых окопов.
Александр Семенович не покидал управления. Он засиживался с Воробьевым до поздней ночи и оставался ночевать там же, расстилая кожаную куртку на столе и подкладывая под голову связку старых газет.
В управлении наступала тревожная тишина. Потрескивала мебель, и в углу шуршали бумагой расшалившиеся мыши. Александр Семенович лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к нарастающему грохоту. Сон не приходил. Тогда из кармана куртки вынимался томик, и Пушкин читал Пушкина.
Он похудел, осунулся, зарос шершавой бородой.
В ноябрьское утро его тревожный и чуткий предутренний сон был прерван внезапными, сотрясающими дом раскатами. Он привскочил на столе, торопливо стал натягивать сапоги. И сейчас же в комнату вошел озабоченный Густав Максимилианович, держа в руках серую бумажку.
— В чем дело? — спросил Александр Семенович, прыгая на одной ноге.
— Юденич прорвал фронт. Белые у Павловска, в пятнадцати километрах южнее. Вам телеграмма из Петрограда, Александр Семенович!
Александр Семенович взял серый клочок. По нему тянулись лиловые, расплывшиеся на оберточной бумаге буквы:
«Коменданту детскосельского укрепрайона точка предлагается принять командование боевым участком точка принять меры недопущению противника в город точка исполнении донести наштафронт».
Александр Семенович бережно сложил бумажку и сунул ее в карман куртки. Повернулся к военруку, серьезный и строгий.

— Ну, Густав Максимилианович! Подошла наша пора. Не сдадим Детского Села пузатому таракану!
Густав Максимилианович вытянулся:
— Какие будут распоряжения по участку, товарищ Пушкин?

10

Было еще темно.
Фонарь стрелочника, стоявший на столе, расплывался по стенам будки мутными пятнами света, но в окно уже начинал сыпаться синеватый пепел рассвета.
Александр Семенович поднял голову от распластанной на столе двухверстки, протянул руку и, отломив краюху от буханки черного хлеба, вгрызся в нее.
— Сладкая пища — черный хлебец! — сказал он военруку. — Лучше нет еды.
Медленно, со вкусом, прожевал хлеб, утер губы ладонью, посмотрел на светлеющий квадрат окна и вдруг засмеялся.
— Что вы, Александр Семенович? — спросил военрук.
Александр Семенович потянулся так, что хрустнули плечи.
— Свою жизнь вспомнил, Густав Максимилианович. И даже странно мне стало, как иногда жизнь человеческая оборачивается. Сколько места в России; одних городов не сосчитать сразу, а надо ж было мне попасть в Детское, к Александру Сергеевичу в гости! И пошла от этого моя тревога…
— Тревога? — удивился военрук.
— Ну, как это сказать правильней?.. Не знаю. Только от него я другим человеком стал. Многое мне через него захотелось. И понял я, какие мы жили темные, словно слепые щенки. Возьмем меня, к примеру. Я ведь ничего, кроме революции, не смыслил. Да и к ней чутьем тянулся одним, вот как щенок ощупью титьку находит. А вот с Александром Сергеевичем повстречался, и ныне ясно мне стало, как много человеку знать нужно, и края тому знанию нет. В две жизни и то всего нужного не осилишь. Как это у Александра Сергеевича про разум сказано: «Да здравствуют музы, да здравствует разум…»
Александр Семенович замолчал и посмотрел в окно.
Тусклый фонарь на столе жалко мигал, уступая комнатушку холодной синеве морозной зари.
— Смешно мне теперь вспомнить, — продолжал Александр Семенович, — как я впервые перед памятником Александра Сергеевича стоял, как баран перед новыми воротами. Силюсь вспомнить: что такое? Знакомо как будто, а мозги еле ворочаются. И как я Александра Сергеевича насчет приверженности к царю заподозрил. Дура лопоухая! Ну, а теперь, Густав Максимилианович, как генералишек доконаем — многое нам откроется. Только успевай!
За окном, раскатившись дребезгом в закопченных стеклах, гулко ударил пушечный выстрел и забили сухим треском винтовки.
Александр Семенович нахлобучил бескозырку.
— Вы здесь оставайтесь, Густав Максимилианович, распоряжайтесь, а я пройду по окопам. Начинается, а бойцы молодые, необстрелянные!
В дверях Александр Семенович повернулся на мгновение.
— Вот, загадываю я, Густав Максимилианович: настанет ли такое время, когда не будет по всей России человека, который бы не знал Александра Сергеевича? И так полагаю, что настанет. Владимир Ильич недаром дело начинал, он обо всем додумал заранее, — и об том, чтоб народу свет разума дать, додумал.
Дверь захлопнулась.
Густав Максимилианович Воробьев несколько секунд смотрел вслед ушедшему, часто мигая воспаленными от бессонницы веками. Потом сдвинул на лоб очки и платком протер глаза, внезапно заволокшиеся влажной мутью.

11

Бой гремел и грохотал над унылой осенней равниной.
Боевой участок отбивал третью яростную атаку ударных частей полковника Родзянко.
В будку, где сидел, управляя механикой боя, Густав Максимилианович Воробьев, только что явился связной с левого фланга участка с донесением командира роты.

Командир жестокими каракулями сообщал, что белые лезут напролом, и просил резервов.
Густав Максимилианович посмотрел на связного бесконечно усталым взглядом.
— Передайте ротному, что никаких резервов больше нет. Пусть держится до последнего патрона и до последнего человека. Отступать нельзя и некуда, — нарочито сурово сказал он, сейчас же отводя глаза, зная, что этим приказом он обрекает на смерть сотню людей.
Связной вздохнул и взялся за ручку двери. Но дверь раскрылась сама, неожиданно и стремительно, ударив связного в плечо и отбросив его к стене.
На пороге стоял, задыхающийся и бледный, незнакомый красноармеец.
— Откуда?.. — начал Густав Максимилианович.
Но красноармеец предупредил вопрос.
— Товарищ военрук, — сказал он, и губы его запрыгали в неудержимой судороге, — товарища Пушкина… убили… Несут его сейчас.
Забыв на мгновение обо всем, Воробьев выскочил наружу.
Четверо красноармейцев, хлюпая бутсами по подтаивающей грязи, несли на шинели вытянувшееся тело. Свисали сапоги, задевая землю при каждом шаге несущих.
Густав Максимилианович подбежал. Он увидел бледное лицо Александра Семеновича, восково-прозрачное и без кровинки. Полуоткрытый рот обнажал ровные молодые зубы.
Густав Максимилианович нагнулся над телом.
— Александр Семенович! Товарищ Пушкин!
Веки Александра Семеновича слабо дрогнули. Он открыл глаза и поглядел на военрука странным, отсутствующим взглядом. Облизнул побелевшие губы и с бессильной и мучительной улыбкой сказал:
— Не сдавай Детского, Густав Максимилианович! А я сыграл…
Густав Максимилианович выпрямился.
— Ребята! Мигом на патронную двуколку — и в город!
Красноармейцы подхватили шинель и быстрым шагом пошли за будку.
Густав Максимилианович машинально снял папаху. Плечи его ссутулились. Но сейчас же он обернулся на конский топот за спиной.
Подскакавший красноармеец оскалился торжествующей улыбкой:
— Товарищ военрук! Отбили! Бегут, сволочи, как зайцы! Наклали их полно болото.

12

Александр Семенович умирал.
Он лежал в крошечной лазаретной палате. Голова его, со спутанными волосами, росинками пота на лбу и запавшими глазами, глубоко ушла в подушки. Он часто и хрипло дышал.
У кровати, не сводя глаз с заострившегося лица, сидели Густав Максимилианович и Луковский.
— Пить! — сказал Александр Семенович, и Воробьев поднес к его губам кружку с холодным чаем.
Застучав зубами о край кружки, Александр Семенович отпил два глотка и опять опустился на подушки.
— Скоро кончусь, — произнес он ясно и спокойно, и от этого голоса Воробьев едва не выронил кружку.
— Ерунда, Александр Семенович! — сказал он лживо бодрым голосом. — Поправитесь.
По губам умирающего скользнула жалкая улыбка.
— Себя утешаете, — сказал Александр Семенович. — Не нужно это. Я знаю… Пуля кишки прорвала, с этого не выживают.
Он еще мучительней усмехнулся и тихо добавил:
— Как Александр Сергеевич, помру! И рана такая же!
Луковский отвернулся к стене и странно засопел. Александр Семенович вытянул руку и коснулся его колена.
— Не горюй, Матвей Матвеевич! Видишь, как судьба обернулась. Думал ты, что помрешь раньше меня, а выходит наоборот.
Он закусил губы и беспокойно пошевелился от надвинувшейся боли.
— Жалко, — продолжал он через минуту, — не доживу до хороших времен. Переменится жизнь, дети подрастут, а я…
Он помолчал. Пальцы правой руки судорожно сжали одеяло.

— Ну что ж… Не всем жить! Кому-нибудь и умирать надо, чтобы другим жилось по-человечески. Не даром умру. Было за что… Не дойдет Юденич до Петрограда… Не пропустим… Верно?
— Не пропустим, Александр Семенович, — сдавленным голосом ответил Воробьев, стараясь говорить твердо.
Наступила долгая смутная тишина.
Внезапно Александр Семенович широко открыл глаза и схватил Воробьева за руку.
— Похороните меня, — голос Александра Семеновича стал чистым и звонким, — похороните в парке, там, где братская могила…
Он замолк, поднял руку, провел по лбу и с извиняющейся улыбкой тихо закончил:
— Вздор это, конечно… Лежать все равно в какой яме… Только припомнилось мне…
Александр Семенович вдруг приподнялся на локте и медленно, протяжно проговорил, как в бреду:

…Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Вытянулся, словно прислушиваясь к этим звукам, и, опускаясь на подушки, прошептал:
— Слова какие, друзья! Какие слова!
Он закрыл глаза и как будто задремал.
Больше он не произнес ни слова до рассвета. Когда в палате посветлело, легкая дрожь прошла по его телу. Он пошевелился и уже неповинующимися губами прошептал что-то непонятное. Нагнувшемуся к нему Луковскому не удалось разобрать ничего.
Бульканье в горле оборвало речь умирающего.
Александр Семенович впал в забытье.
Через полчаса он глубоко вздохнул и затих.
Густав Максимилианович и Луковский исполнили его просьбу. Александр Семенович Пушкин похоронен в братской могиле Александровского парка.

1936

Валентин Катаев

Сон

Сон есть треть человеческой жизни. Однако наукой до сих пор не установлено, что такое сон. В старом энциклопедическом словаре было написано:
«Относительно ближайшей причины наступления этого состояния можно высказать только предположения».
Я готов был закрыть толстый том, так как больше ничего положительного о сне не нашел.
Но в это время я заметил в соседней колонке несколько прелестных строчек, посвященных сну:
«Сон искусством аллегорически изображается в виде человеческой фигуры с крыльями бабочки за плечами и маковым цветком в руке».
Наивная, но прекрасная метафора тронула мое воображение.

Мне хочется рассказать один поразительный случай сна, достойный сохраниться в истории. Тринадцатого июля 1919 года расстроенные части Красной Армии очистили Царицын и начали отступать на север. Отступление это продолжалось сорок пять дней. Единственной боеспособной силой, находившейся в распоряжении командования, был корпус Семена Михайловича Буденного в количестве пяти с половиной тысяч сабель. По сравнению с силами неприятеля количество это казалось ничтожным.
Однако, выполняя боевой приказ, Буденный прикрывал тыл отступающей армии, принимая на себя все удары противника.
Можно сказать, что был один бой, растянувшийся на десятки дней и ночей. Во время коротких передышек нельзя было ни поесть как следует, ни заснуть, ни умыться, ни расседлать коней.
Лето стояло необычайно знойное. Бои происходили на сравнительно узком пространстве — между Волгой и Доном. Однако бойцы нередко по целым суткам оставались без воды. Боевая обстановка не позволяла отклониться от принятого направления и потерять хотя бы полчаса для того, чтобы отойти на несколько верст к колодцам.
Вода была дороже хлеба. Время — дороже воды.
Однажды, в начале отступления, им пришлось в течение трех суток выдержать двадцать атак.
Двадцать!
В беспрерывных атаках бойцы сорвали голос. Рубясь, — они не в состоянии были извлечь из пересохшего горла ни одного звука.
Страшная картина: кавалерийская атака, схватка, рубка, поднятые сабли, исковерканные, облитые грязным потом лица — и ни одного звука…
Вскоре к мукам жажды, немоты, голода и зноя прибавилась еще новая — мука борьбы с непреодолимым сном.
Ординарец, прискакавший в пыли с донесением, свалился с седла и заснул у ног своей лошади.
Атака кончилась.
Бойцы едва держались в седлах. Не было больше никакой возможности бороться со сном.
Наступал вечер.
Сон заводил глаза. Веки были как намагниченные. Глаза закрывались. Сердце, налитое кровью, тяжелой и неподвижной, как ртуть, затихало медленно, и вместе с ним останавливались и вдруг падали отяжелевшие руки, разжимались пальцы, мотались, головы, съезжали на лоб фуражки.
Полуобморочная синева летней ночи медленно опускалась на пять с половиной тысяч бойцов, качающихся в седлах, как маятники.
Командиры полков подъехали к Буденному. Они ждали распоряжения.
— Спать всем, — сказал Буденный, нажимая на слово «всем», — приказываю всем отдыхать.
— Товарищ начальник… А как же… А сторожевые охранения? А заставы?
— Всем, всем…
— А кто же?.. Товарищ начальник, а кто же будет…
— Буду я, — сказал Буденный, отворачивая левый рукав и поднося к глазам часы на черном кожаном браслете.
Он мельком взглянул на циферблат, начинавший уже светиться в наступающих сумерках дымным фосфором цифр и стрелок.
— Всем спать, всем, без исключения, всему корпусу, — весело повышая голос, сказал он. — Дается ровно двести сорок минут на отдых.
Он не сказал четыре часа. Четыре часа — это было слишком мало. Он сказал: двести сорок минут. Он дал максимум того, что мог дать в такой обстановке.
— И ни о чем больше не беспокойтесь, — прибавил он. — Я буду охранять бойцов. Лично. На свою ответственность. Двести сорок минут, и ни секунды больше. Сигнал к подъему — стреляю из револьвера.
Он похлопал по ящику маузера, который всегда висел у него на бедре, и осторожно тронул шпорой потемневший от пота бок своего рыжего донского коня Казбека.

Один человек охранял сон целого корпуса. И этот один человек — командир корпуса. Чудовищное нарушение воинского устава. Но другого выхода не было. Один — за всех, и все — за одного. Таков железный закон революции.
Пять с половиной тысяч бойцов, как один, повалились в роскошную траву балки.
У некоторых еще хватило сил расседлать и стреножить коней, после чего они заснули, положив седла под голову.
Остальные упали к ногам нерасседланных лошадей и, не выпуская из рук поводьев, погрузились в сон, похожий на внезапную смерть.
Эта балка, усеянная спящими, имела вид поля битвы, в которой погибли все.
Буденный медленно поехал вокруг лагеря. За ним следовал его ординарец, семнадцатилетний Гриша Ковалев. Этот смуглый мальчишка еле держался в седле; он клевал носом, делал страшные усилия поднять голову, тяжелую, как свинцовая бульба.
Так они ездили вокруг лагеря, круг за кругом, командир корпуса и его ординарец — два бодрствующих среди пяти с половиной тысяч спящих.
В ту пору Семен Михайлович был значительно моложе, чем теперь. Он был сух, скуласт, очень черен, с густыми и длинными усами на почти оранжевом от загара, чернобровом крестьянском лице.
Объезжая лагерь, он иногда, при свете взошедшей луны, узнавал своих бойцов и, узнавая их, усмехался в усы нежной усмешкой отца, наклонившегося над люлькой спящего сына.
Вот Гриша Вальдман, рыжеусый гигант, навзничь упавший в траву, как дуб, пораженный молнией, с седлом под запрокинутой головой и с маузером в пудовом кулаке, разжать который невозможно даже во сне. Его грудь широка и вместительна, как ящик. Она поднята к звездам и ровно подымается и опускается, в такт богатырскому храпу, от которого качается вокруг бурьян. Другая богатырская рука прикрывала теплую землю, — поди попробуй отними у Гриши Вальдмана эту землю!
Вот спит как убитый Иван Беленький, донской казак, с чубом на глазах, и под боком у него не острая казачья шашка, а меч, старинный громадный меч, реквизированный в доме помещика, любителя старинного оружия. Сотни лет висел тот меч без дела на персидском ковре дворянского кабинета. А теперь забрал его себе донской казак Иван Беленький, наточил как следует быть и орудует им в боях против белых. Ни у кого во всем корпусе нет таких длинных и сильных рук, как у Ивана Беленького. И был такой случай. Пошел как-то Иван Беленький в богатый хутор за фуражом для своей лошади. Просит продать сена. Хозяйка говорит:
— Нету. Одна копна только и осталась.
— Да мне немного, — говорит жалобно Иван Беленький, — мне только коняку своего покормить, одну только охапочку.
— Ну что же, — говорит хозяйка, — одну охапочку, пожалуй, возьми.
— Спасибо, хозяйка.
Подошел Иван Беленький, донской казак, к копне сена, да и взял всю в одну охапку. Ахнула хозяйка: сроду не видела она таких длинных рук. Однако делать нечего. А Иван Беленький крякнул и понес копну к себе в лагерь. Что с ним по дороге случилось, неизвестно, только вдруг прибегает он без сена в лагерь ни жив ни мертв. Руки трясутся, зуб на зуб не попадает. Ничего сказать не может…
— Что с тобой, Ваня?
— Ох… и не спрашивайте. До того я перепугался… ну его к черту!..
Остолбенели и бойцы: что же это за штука такая, если самый неустрашимый боец Ваня Беленький испугался?..
А он стоит и прийти в себя не может.
— Ну его к черту!.. Напугал меня проклятый дезинтер, чтобы ему сгореть на том свете!
— Да что такое? Кто такой?
— Да говорю ж — дезинтер… Как я взял тое проклятое сено, чтоб оно сгорело, как понес, а оно в середке как затрепыхается… туды его в душу, дезинтер проклятый!
Оказалось, в сене прятался дезертир. Его вместе с копной и понес Иван Беленький. По дороге дезертир затрепыхался в сене, как мышь, выскочил и чуть до смерти не напугал неустрашимого бойца Беленького.
Ну и смеху было!

И опять нежно и мужественно усмехнулся Буденный, осторожно проезжая над головой бойца своего Ивана Беленького, над его острым мечом, зеркально отразившим полную голубую луну.
Шла ночь. Передвигались над головой звездные часы степной ночи. Скоро время будить бойцов.
Вдруг Казбек остановился и поднял уши. Буденный прислушался. Буденный поправил свою защитную фуражку, подпаленную с одного бока огнями походных костров.
По верху балки пробиралось несколько всадников. Одна за другой их тени закрывали луну. Буденный замер. Всадники спустились в лагерь. Ехавший впереди остановил коня и нагнулся к одному из бойцов, который, немного не доспав до положенного срока, уже переобувался перед сумрачно рдеющим костром. У всадника в руке была папироса. Он хотел прикурить.
— Эй, — сказал всадник, — какой станицы? Подай огня!
— А ты кто такой?
— Не видишь?
Всадник наклонил к бойцу плечо. Полковничий погон блеснул при свете луны. Все ясно. Офицерский разъезд наехал впотьмах на красноармейскую стоянку и принял ее за своих. Значит, белые близко. Терять время нечего. Буденный осторожно выехал из темноты и поднял маузер. В предрассветной тишине хлопнул выстрел. Полковник упал. Бойцы вскочили. Офицерский разъезд был схвачен.
— По коням! — закричал Буденный.
Через минуту пять с половиной тысяч бойцов уже были верхом. А еще через минуту вдали в первых лучах степного росистого солнца встала пыль приближавшейся кавалерии белых. Семен Михайлович приказал разворачиваться. Заговорили три батареи четвертого конно-артиллерийского дивизиона. Начался бой.
…Вспоминая об этом эпизоде, Семен Михайлович сказал однажды, задумчиво улыбаясь:
— Да. Пять с половиной тысяч бойцов, как один человек, спали вповалку на земле. Вот стоял храп так храп! Аж бурьян качался от храпу!
Он прищурился на карту, висевшую на стене, и с особенным удовольствием повторил:
— Аж бурьян качался!
Мы сидели в кабинете Буденного в Реввоенсовете. За окном шел деловитый московский снежок.
Я представил себе замечательную картину. Степь. Ночь. Луна. Спящий лагерь. Буденный на своем Казбеке. И за ним, в приступе неодолимого сна, трясется чубатый смуглый мальчишка с пучком вялого мака за ухом и с бабочкой, заснувшей на пыльном горячем плече.

1933

Леонид Соболев

Перстни

Пообедав, сытости не ощутили. Политой холодным подсолнечным маслом пшенной каши пришлось по пяти столовых ложек на человека. Оттого, что ели ее с больших фарфоровых тарелок, украшенных императорским гербом и андреевским флагом, сытнее она не стала. Зашумев стульями, встали из-за стола и разбрелись по кают-компании.

Она хранила еще комфортабельную роскошь былых дней. Кресла-слоны, пухлые и огромные, важной толпой обступили круглый стол, утерявший уже темно-синюю бархатную свою скатерть. Зеркальные грани аквариума, безводного и пустого, уныло пускали на подволок чахоточных, малоподвижных зайчиков. Рояль блестел черной своей крышкой, привыкшей отражать золото погон и пуговиц. Ноты на нем, в голубых атласных переплетах с флюгаркой корабля на корешке, пронесли сквозь оба года революции вечную страсть Кармен, чистую любовь Маргариты и греховную томительность ресторанных танго. Старший инженер-механик Бржевский откинул голову на спинку кресла, отыскивая ямку, к которой его седой затылок привык за последние шесть лет.

— Юрочка, приступайте к вашим обязанностям, — сказал он с тем отеческим добродушием, которое было признано всеми: Бржевский, старейший член кают-компании, теперь принял на себя почетную обязанность председателя ее, с тех пор как в «старшие офицеры» неожиданно выскочил бойкий прапорщик по адмиралтейству, позволявший вставать из-за стола без спроса.

Шалавин подошел к нему с огромным стаканом в руках.

Такие стаканы, сделанные из бутылок, были почти у всех бывших офицеров линейного корабля. От безделья и полной непонятности, что с собой делать, кают-компания периодически охватывалась эпидемиями массового подражательства. Стоило второму артиллеристу, неизвестно почему, сделать себе стакан из бутылки, как все начали лихорадочно отыскивать бутылки и обрезать их ниткой, смоченной в бензине, изощряясь в причудливости форм и размеров. Победителем вышел младший штурман линкора Юрий Шалавин. Его стакан, сработанный из аптекарской склянки, которую он выменял у старшего врача за два крахмальных воротника, вмещал ровно литр и требовал восемь ложек сахара. Сахара, впрочем, хватало: недавно с Украины вернулся продотряд, потеряв одного матроса убитым и двух ранеными, и общим собранием линкора было решено раздать на руки по пуду сахара и по две сотни яиц.

Это тотчас породило новую эпидемию: гоголь-моголь.

Ежедневно после обеда из всех кресел раздавался дробный стук вилок, сбивающих белки, и жужжанье растирающих желтки ложек. Крутили все, кроме «женатиков», свезших яйца и сахар домой. Эти сидели возле крутивших и без устали рассказывали анекдоты, надеясь на деликатность: казенный обед, как сказано, не насыщал. В героях нынче ходил командир второй роты Стронский, свободно съедавший гоголь-моголь из восьми яиц.

> — Нечего играть, Мстислав Казимирович, — сказал Юрий лениво. — «Новых я песен совсем не
> играю
> , старые же ж надоело…» И вообще все надоело. Скюшно чивойто. Приспнуть, что ли, минуточек триста?..

Бржевский набил прокуренную английскую трубку махоркой. В махорку он подбавлял сушеный вишневый лист, и от этого она приобретала острый и сладкий аромат и горела в трубке, как дрова: с треском и взрывами.

— Да, — сказал он значительно, — скучная жизнь пошла… А вы все же сыграйте… Вот это.

Сквозь жужжанье и перестук вилок полонез загремел пышными и четкими аккордами. Играл Шалавин хорошо, с блеском.

Бржевский откинулся в кресле, и выпуклые его глаза медленно прикрылись сухими, стареющими веками: скучная жизнь, это правда, — жизнь в постоянном страхе, подавляемом гордостью, жизнь, полная ежеминутных компромиссов, замалчиваний, оскорблений, неверных ожиданий, нерадующих надежд на какие-то перемены. Корабль бесполезен, как бревно, машины молчат. Матросов нет — есть холопы, наглые враги, упивающиеся властью. Вчера комиссар приказал выдать бензин, с таким трудом вырванный из порта, каким-то делегатам какого-то экспедиционного отряда. Не в бензине дело, черт с ним, пусть все сгорит вместе с бензином и спиртом! Дело в унижении. В усмешечке машинного содержателя: «комиссар приказал…» В Питер съездить (все же — берег!) — и тут унижение: увольнительный билет, как матросу второй статьи. Да и в чем

поедешь? В пальто, на плечах которого черные невыцветшие следы от царских погон, а на рукавах — такие же, чуть побледнее, следы от керенских нашивок, как двойная каинова печать: бывший капитан второго ранга, бывший механик, — короче, бывший Мстислав Бржевский… Да, раз в жизни он ошибся, но ошибся жестоко и непоправимо: надо было прошлой весной оптироваться, принять польское подданство. Вот мичман Мей оптировался же в Эстонию, а Постников — в Лифляндию… Подумаешь, нашлись латыши и эстонцы! А он — кровный поляк и католик — поленился найти документы, как-то не выбрался из Кронштадта, пропустил время, — старость, старость, потеря чутья!.. А теперь — война сразу со всеми новыми и старыми государствами, и оптация лопнула…
Полонез резко оборвался, и в тишине неживого корабля опять с бесполезной деловитостью застучали вилки. Бржевский открыл глаза. Шалавин, упершись локтями в клавиатуру, читал газетный лист, как-то попавший в Шопена. Газета была позавчерашней, по серой грубой бумаге тянулся через всю страницу лозунг:
ОТДАДИМ ПРОЛЕТАРСКИМ ДЕТЯМ
ОСАЖДЕННОГО ПИТЕРА

ЧЕТВЕРТЬ ФУНТА ХЛЕБА

— Играйте, Юрий Васильевич, — сказал Бржевский, морщась. — Хлеб уже урезали на весь август, и вопрос исчерпан…
— Кстати, насчет хлеба, — послышался голос из соседнего кресла. — Шалавин, вы собираетесь платить по старым векселям?
Юрий, не оборачиваясь, покраснел и стал ненужно перелистывать ноты. Голос принадлежал командиру второй роты Стронскому, а долг был действительно двухмесячной давности. Он относился к тому — увы, безвозвратному — времени, когда Юрий сам был «хлебным королем». Тогда, в спешке экстренных переводов командного состава, вызванных восстанием на Красной Горке, провизионка штурманских классов выдала Юрию месячный паек хлеба мукой и забыла оговорить это в пищевом аттестате. На линкоре же, готовившемся к бою с изменившим фортом, было не до формальностей. Таким образом, тридцать шесть фунтов муки неожиданно свалились с неба, как наследство американского дядюшки, и Шалавин стал жить хорошо. За двенадцать фунтов он приобрел тут же в Кронштадте велосипед — совсем хороший велосипед, только без насоса. Фунтов десять ушло на блины с артиллеристами, располагавшими пушечным салом, вполне годным для смазывания сковороды, если его перетопить с луком и лавровым листом. Остальные же запасы перешли к Стронскому.
Стронский, бывший мичман гвардейского экипажа, попавший на линкор еще до Юрия, принес с собой в кают-компанию тот особый душок, которым отличались миноносцы, зимовавшие в Петрограде. Он первый ввел в обиход нагловатую формулу: «за соответствующее вознаграждение». Всякого рода одолжения, оказываемые друг другу офицерами в порядке приятельской услуги, с появлением Стронского приобрели коммерческую базу. Сперва формулой этой пользовались с шуточкой, с улыбочкой, а со временем она вошла в быт расчетливо и жестоко. Шалавин, располагавший, как ему казалось, неограниченным капиталом, не раз и не два ленился выходить на вахту в дождь или ночью на «собаку», и Стронский стоял за него «за соответствующее вознаграждение»: полфунта муки за вахту, полтора — за караул. Тариф казался приемлемым, и все шло прекрасно, пока однажды, после большого блинного кутежа, Юрий не проснулся банкротом. Пришлось понемногу урезать от себя хлеб и выплачивать Стронскому. Теперь же с отдачей четвертки детям, из пайка оставалось только три четверти фунта, и из них платить долг было никак невозможно.
Самое обидное во всем этом было то, что Шалавин отлично знал, какое употребление делает из его хлеба Стронский: достаточно было взглянуть на его накрахмаленный китель (единственный в кают-компании), чтобы понять, что этот хлеб идет прачке, — для личного питания Стронский имел особые источники.
— Ну, ну, вы, Гарпагон, — сказал Юрий с неудающейся жизнерадостностью. — Мне же самому жрать нечего! Потерпите… Или хотите: отдам натурой, согласен на две «собаки» и одну дневную. В дождь.

— Атанде-с, Юрочка, гоните хлеб, — отрезал Стронский равнодушно.
Шалавин не знал, куда деваться. Сейчас Стронский станет нагло утверждать, что он сам голодает и что он не пудель — стоять за других вахты. Юрий приготовился к крупному разговору, решив высказать, наконец, Стронскому, что ему известно, сколько кур и масла получает тот с матросов в благодарность за просрочку отпуска, и что очень стыдно (недостойно!) грабить своих же товарищей по кают-компании, — но, на счастье, к роялю подошел трюмный механик Басов, ходивший нынче в «сахарных королях», ибо в поездке с продотрядом он сумел, сверх розданного, запастись сахаром в количестве изрядном.
— Штурманец, кататься поедете? — спросил он деловито.
— Нет, — сказал Юрий, радуясь перемене разговора, — ветер чертов, с колес сшибает.
— Жаль… А я хотел попросить вас яиц купить.
— Неужто все слопали? — изумился Юрий.
— Долго ли. Домой полсотни свез. А с этого обеда в животе мировая скорбь. Смотались бы, а?
— За соответствующее вознаграждение, — сказал Юрий, улыбаясь.
— Само собой. Беру в пай: харч мой, доставка ваша. Заметано?
— Постойте, — сказал Юрий, поворачиваясь к Стронскому. — Алло, вы, мироед! Идет сахар за хлеб?
Стронский подумал.
— По шесть ложек за вахту, — сказал он твердо и поспешно добавил: — С горбом.
Начался торг. Спорили долго, со вкусом, в крик. Смеялись, острили, отворачивали полу кителя и хлопали на ней по рукам, божились, кричали: «Себе дороже!» — или: «Помилайте, овес-то ныне почем?» — и со стороны это казалось веселой забавой, игрой в рынок.
Но кончилась эта шутливая торговля вполне реально, сложной банковской операцией: Шалавин привозит яйца и обязуется сделать еще один рейс по требованию Басова (но не в дождь!) и за это получает десять ложек сахару, переходящих Стронскому в погашение векселя вместе с хлебом младшего минера, который подошел к бирже в поисках желающих отстоять за него вахту и тут же нанял на это Шалавина. Басов отсчитал четыреста рублей и передал их Юрию на десяток яиц, попросив купить их не у той бабы, что сидит у самых Петроградских ворот, а у рябой, что ближе к госпиталю. Юрий зашел в каюту, захватил портфель и пошел искать по кораблю старшего офицера, чтобы спросить разрешения сойти на часок на берег.
В этом не было никакой нужды, потому что давно уже все члены кают-компании уходили на соседние корабли или в Кронштадт без спроса, ни в грош не ставя прапорщика по адмиралтейству. Но Шалавину нравилось всем своим поведением подчеркивать, что он никак не может отвыкнуть от поступков и слов, якобы ставших его второй натурой. Именно поэтому он называл прапорщика «старшим офицером», неизменно приподымал над головой фуражку, всходя по трапу на палубу, обнажал голову при спуске и подъеме флага, гонял на вахте от правого трапа шлюпку, если в ней не было командира или «старшего офицера». Поэтому же в Петрограде он надевал под пальто флотский сюртук с блестящими обручами мичманских нашивок и, играя портсигаром с эмалевым андреевским флагом, тоном приглушенной скорби жаловался знакомым дамам, в частности хорошенькой Аглае Петровне, что флот гибнет, и что им — флотским офицерам — служить все труднее, и флота уже не спасти.
Все это было липой — и скорбь, и традиции, и самый сюртук, который Шалавин весной выменял у бывшего мичмана Ливрона за пуд картошки. «Флотским офицером» ему быть не удалось, ибо полтора года назад морское училище без лишнего шума развалилось. В один мартовский день те из гардемаринов, которые за это время не смылись к Каледину на юг или к Миллеру на север, вышли на набережную с буханкой хлеба и фунтом масла, отпущенными комитетом на первое время, и разделились на две неравные части: большая подалась по семьям, где их через родных пристроили по продкомиссиям, по службам или по университетам — доучиваться, а меньшая, бездомная и не имеющая в Петрограде теток, скромно пошла по судовым комитетам «наниматься в бывшие офицеры». Так нанялся и Шалавин на эсминец, откуда его сразу же направили в штурманский класс. Но война не дала доучиться и тут, и он стал младшим штурманом линкора, впервые попав на настоящий корабль. И здесь, подавая командиру рапорт о приеме штурманского имущества, он с

гордостью подписал: «б. мичман Ю. Шалавин», видя в этой явной лжи необходимый пароль и пропуск в тесный круг «благородного общества офицеров», как именовалась в морском уставе кают-компания. Ему казалось, что он нашел, наконец, свое место в жизни, ясность и отдых от всеобщей непонятности, продолжавшейся второй год.

Но ни ясности, ни отдыха в этом «тесном кругу» не обнаружилось. Все шло в пропасть, треща и кренясь. Флотская служба, о которой он мечтал и до которой, наконец, дорвался, разваливалась на глазах, и было совершенно непонятно, кому подражать и за кого держаться. Офицеры старательно избегали всяких серьезных разговоров, но было видно, что почти каждый из них что-то понял и что-то решил глубоко внутри себя, но не допускал до своих тайных и скрытых мыслей Шалавина, несмотря на то, что тот всеми силами старался доказать им, что он «свой» и, ей-богу, «бывший». С затаенной ревностью он следил, как Бржевский звал к себе в каюту Стронского и они часами там о чем-то говорили. Впрочем, с той же завистью он смотрел, как просто и весело обращается с матросами младший инженер-механик Луковский, которого Бржевский с презрительной улыбочкой называл: «наш большевичок», — но ни Бржевский, ни Луковский с ним всерьез не говорили и не шептались. В этом мирке, прочно сложившемся еще до его прибытия и теперь разваливающемся, он был совершенно один. Поэтому он и хватался с отчаянием за «традиции», как за падающие стены, чтобы хоть и упасть в бездну, но упасть не одному.

И если бы нашелся человек, который показал бы Шалавину какой-нибудь определенный и ясный путь, — все равно какой, — он ринулся бы за ним очертя голову, безразлично куда — на белогвардейские корабли в Мурманск или в экспедиционный матросский отряд на Волгу, только бы уйти от этой неясности, от полной неизвестности, что же делать с самим собой, — вот с этим веселым, молодым, сильным Юрочкой Шалавиным, желающим жить, а не недоумевать. Но офицеры отмалчивались, прикрываясь анекдотами и шуточками, как броней, а идти к Луковскому и с ним вместе — к матросам Шалавин не мог: улыбочка Бржевского была страшнее всего, ибо она означала приговор. И хотя Юрий отлично понимал, что Бржевский всего-навсего сухой и неумный стареющий фат, но что-то в осанке его, в ровном ироническом тоне, в небрежном презрении ко всему, что творится вокруг, в красивом и, как казалось Юрию, измученном лице невольно влекло к себе и заставляло сочинять из Бржевского романтическую фигуру последнего хранителя офицерской чести. И в разговорах с ним Юрий всегда старался держаться такого же иронического и спокойного тона. Так и сейчас, встретившись с ним в коридоре, Шалавин спросил:

— Не из комитета, Мстислав Казимирович? Старшой там не митингует с матросиками?

— В комитет не ходок, и вам, мичман, не советую, — ответил Бржевский так, что Юрий вспыхнул. — А вы на бережишко? Валитесь, юноша, самостийно, корабль без вас не утонет.

Оба они прекрасно знали, что никакого комитета нет уже больше полугода, но сказать «бюро коллектива» для Шалавина означало — не выдержать небрежного тона «бывшего офицера», знающего только свои компасы и не интересующегося никакой политикой, а для Бржевского — признать, что для него есть какая-то разница между комитетом и бюро коллектива: не все ли равно, как называется сборище матросов, захвативших власть на корабле?

И оба они, пересмеиваясь с некоторой, впрочем, натянутостью, прошли мимо дверей кондукторской кают-компании, где до появления на флоте комиссаров помещался судовой комитет, а теперь — бюро коллектива, деятельность которого каждый из них представлял себе по-разному.

Бржевский ненавидел эту дверь как очаг неизлечимой болезни, охватившей страну и флот, и каждый раз, проходя мимо этой двери, чувствовал противный заячий страх, не прекращающийся два с лишним года, — страх, который нельзя было прикрыть ни иронией, ни остротами. Шалавину же бюро коллектива представлялось чем-то вроде кабинета инспектора классов в училище, куда вызывали нерадивых, чтобы читать нудные нравоучения или просто раздолбать по первое число и отправить в карцер. Самому ему здесь бывать еще не приходилось, но выражение лица, с которым выходили отсюда или от комиссара бывшие офицеры, вполне подтверждало эту смутную догадку. Поэтому и теперь он с некоторой опаской проскочил мимо этой двери, как бы ожидая, что оттуда выглянет суровое матросское лицо и грозно спросит: «А ну-ка, военмор Шалавин, предъявите

шлюпочный компас номер ноль тридцать четыре!» — и тогда придется сознаться, что компас этот однажды под веселую куру он побеспокоил и разведенный спирт, в котором плавает картушка, употребил для цели, штурманскому делу чуждой: распил вместе со вторым артиллеристом под блины… В сотый раз Шалавин поклялся себе, что в ближайшую же поездку в Петроград он купит там стакан спирту, чтобы подлить его в хранящуюся сейчас в компасе обыкновенную воду, — и, внезапно покинув Бржевского, юркнул в первый попавшийся люк, чтобы выскочить на палубу.

В бюро коллектива было сейчас полно народу, но никто не собирался допытываться, что случилось с компасом № 034, как опасался того Шалавин, и никто не ставил на повестку дня вопрос, как бы почувствительнее унизить старшего механика, как думал это Бржевский. Здесь решались дела важнее и значительнее: корабль оставался без угля.

В тот самый послеобеденный час, когда в кают-компании бывшие офицеры деятельно стучали вилками, сбивая гоголь-моголь, матросы собрались в бюро коллектива, чтобы подумать о том, о чем должны были думать бывшие офицеры: как и где найти угля, чтобы тренироваться в управлении орудиями, чтобы проветривать вентиляцией погреба с боезапасом, чтобы держать корабль в боевой готовности, и если уж нельзя ходить по морю, то хоть стрелять из гавани. И хотя уголь прямо касался Бржевского, но думал об этом не он — старший инженер-механик, и не Шалавин, который так жаждал боевых походов на первом своем боевом корабле, и не артиллерист Стронский, занятый сейчас вовсе не мыслью о вентиляции погребов, а о том, как бы скрыть от комиссара опоздание комендора Попова, который, подлец, надул и просрочил уже семь суток отпуска, а не пять, как договаривался «за соответствующее вознаграждение». И все те образованные и обученные командовать люди, которые по-своему искренне были убеждены, что флот гибнет и все разваливается, так и не зашли в бюро коллектива помочь матросам в деле, касающемся корабля и всего флота: одни — из прямой ненависти, другие — из злорадства, третьи из ложного самолюбия, боясь, что их холодно спросят: «А что вам здесь нужно?», четвертые — из глубокого и усталого безразличия ко всему, пятые — потому, что предполагали, будто в «коллективе» только выдумывают лозунги, спорят о революции в Мексике и устанавливают очередность отпусков для команды. Из тридцати шести бывших офицеров линкора в кондукторской кают-компании было сейчас только двое: тот, кого Бржевский презрительно называл «наш большевичок» — механик Луковский, и командир линкора — скромный и молчаливый человек, бывший старший лейтенант.

Перед обедом он был в штабе флота, где ему сказали, что уголь, шедший в адрес Кронштадта, был по распоряжению Москвы оставлен в Петрограде для Путиловского завода, получившего срочный заказ для нужд фронта (которого — он так и не разобрался). Флоту же предлагалось пока обходиться собственными ресурсами, что означало просто стоянку в гавани. Ему предложили прекратить пары, включить корабль в городскую электросеть и подумать, нельзя ли варить обед на стенке в походных кухнях на дровах. Командир пытался сказать, что в городской сети ток переменный и что тогда придется отказаться от вентиляции погребов с боезапасом и от артиллерийских учений, и попросил разрешения держать под парами хоть один котел для динамо-машины. Но начальник оперативной части замахал руками и сказал, что уголь нужен и для фортов, и для водокачки, и для завода, что все кронштадтское топливо подсчитано штабом до фунта угля и до ведра нефти и что тратить его будут только для неотложных операций миноносцев. Потом он спросил, не собирается ли командир к семье, и любезно предложил пойти вместе с ним на штабном катере прямо в Петроград, потому что на пароходе по случаю воскресенья будет, наверное, ужасная теснота. Впрочем, в четыре часа, если этот собачий ветер не разведет сильной волны, пойдет на другом катере начальник штаба, который, конечно, не откажет прихватить с собой командира линкора.

Командир хотел было с горечью сказать, что если б поднять на стенку все восемь штабных катеров и прекратить это роскошное катанье штаба, то линкору вполне хватило бы угля на один котел, но, по привычке своей к скромности, промолчал и пошел на корабль. Зато здесь, увидев у трапа катер номер два, он сейчас же приказал прекратить на нем пары, чем вызвал крайнее неудовольствие пяти-шести принаряженных по-городскому матросов, дожидавшихся у трапа помощника командира, который собирался на этом катере прямо в

Ораниенбаум. Один из них, гладкий и бойкий парень с выпущенным из-под фуражки чубом, ловко припомаженным на лбу, догнал командира.
— Товарищ командир, куда ж с такими вещами? — сказал он, показывая на два чемодана. — На Усть-Рогатке долмат застопорит, ему пропуск подавай, — а пока комиссара найдешь, пока что, так и пароход уйдет…
Командир посмотрел на чемоданы. Они были большие и, видимо, тяжелые. Но уголь, уголь?..
Чубатый, заметив его колебание, тотчас заскулил:
— Думал жене отрядный сахар свезти да робу постирать, — уж, видно, оставить придется… До Петровской бы, товарищ командир, тогда хоть пропуска не надо!..
— До Петровской пристани можно — и сейчас же катер назад, — морщась, сказал командир, и чубатый пошел к трапу.
— На своем на корабле да катером стесняться, эх, командиры господа бога малахольные… — заворчал он по дороге, и командир это услышал и хотел было его вернуть, чтобы объяснить, что угля нет, что его надо беречь всеми мерами. Но, представив себе, что таких, как чубатый, на корабле около тысячи и каждому объяснять невозможно, он прошел прямо к комиссару, чтобы попросить его собрать бюро коллектива для важного сообщения. Комиссара он застал за необычным занятием: тот укладывал в чемоданчик яйца, очевидно тоже собираясь к семье. И командир, глядя, как осторожно и бережно заворачивают его огромные толстые пальцы каждое яйцо в обрывок газеты, вдруг с облегчением почувствовал, что уголь обязательно будет. Ведь сумели же матросы в голодной стране найти сахар и эти яйца? Так же сумеют найти и уголь…
И уголь, точно, нашелся. На бюро коллектива из чьей-то горькой шутки, что линкору придется теперь ходить на дровах, сама собой возникла верная догадка: перевести на дрова не линкор, а береговые кочегарки, а их уголь отдать кораблям. Механик Луковский взялся поговорить об этом в штабе и добиться того, чтобы в береговых кочегарках колосники переделали под дрова, и комиссар, отложив поездку домой, стал собираться вместе с ним к комиссару штаба.
Все это осталось неизвестным Шалавину, и, поспешив поскорее смыться от страшной двери, он вывел из кормовой рубки велосипед и сошел по трапу.
Штормовой ветер ударил его в бок сразу же, как он выехал из-за железного сарая у стенки. Юрий вильнул рулем и выругался: прогулка превращалась в труд. Ветер дул с севера, не меньше как на семь баллов, — флаги на кормовых флагштоках стояли, как картонные, и, трепеща, трещали непрерывным тревожным треском. Дым дежурного миноносца у ворот стлался почти по воде. Пыль летела горизонтально.
У ворот Усть-Рогатки «долмат» — портовый сторож, дремучий старец в черной шинели, похожей на рясу, — остановил Шалавина.
— Пропуск, — сказал он сурово.
Юрий, перекосившись на седле, уперся ногой в камень.
— Не узнал, дед? Два велосипеда на всю гавань, пора бы знать.
Старик равнодушно поправил на ремне берданку.
— Не ласапет. Ласапет нас не касаемо. На вещи пропуск.
Юрий оглядел себя — какие вещи? — и улыбнулся: на руле висел портфель. Сказав «пустой же», он открыл его. Старик деловито заглянул внутрь.
— Пропуск надо. Там стружки каки-то. Казенные стружки?
Шалавин полушутя, полусердито объяснил, что стружек этих у железного сарая, где работают плотники, хоть завалиться, что хотя они и казенные, но бросовые и что взял он их, чтобы не побить в портфеле яйца, за которыми едет. Переругивались минут пять, пока у Шалавина не лопнуло терпение. Внезапно для старика он снял с камня ногу, ветер тотчас подхватил его в спину, и крики старика мгновенно заглушились шумящими деревьями Петровского парка. Кажется, старик засвистел вслед, — ну и черт с ним, не стрелять же станет, долмат!..
Усмехнувшись, Юрий привычно свернул на самую середину улицы, так как возле панелей то и дело сверкали битые оконные стекла — следы недавних разрывов бомб. Ветер дул здесь еще сильней, машина, гонимая им, катилась сама, как мотоцикл, и ощущение быстрой езды сгладило раздраженность, вызванную унизительным разговором со сторожем, —

выдумали эти пропуска, как для воров… Выпуклый узор чугунной мостовой, рокоча, стлался под шины, широкая и безлюдная улица мчалась навстречу. Могучие, как форты, стены артиллерийских мастерских мертво и безмолвно смотрели на Юрия пустыми глазницами выбитых стекол. Козы, щипавшие поросшую на мостовой траву, шарахались в стороны. Мелькнуло зеркало канала, равнодушного к ветру за гранитной защитой своих стенок, крутой мостик заставил велосипед взмыть вверх, — и тут Юрий едва поспел затормозить и объехать глубокую и широкую яму в мостовой. Новость! Очевидно — вчерашний налет…

Бомбы вошли в быт Кронштадта естественно и просто, как разновидность дождя или снега: второй месяц почти ежедневно они падали с неба на город. Их плотный и глухой взрыв предварялся пронзительными воплями горнов, игравших на кораблях воздушную тревогу, и потом — резким и беспорядочным стуком зениток. Небо покрывалось легкими розовыми пушками шрапнели, и где-то возле них мальчишки, выбегавшие из домов на призыв горнов, находили один или два аэроплана: сверкая, они плыли в высоте со странной медлительностью, заставлявшей замирать сердце. Задрав головы и расставив босые ноги, мальчишки встречали их звонким и радостным гвалтом. Наконец тот из них, кто потом гордился целую неделю, кричал: «Бросил, бросил!» Блистающая, быстрая слеза скатывалась с желтых крыльев, спадая дугой на город, и сразу пропадала из виду. Потом доносился пронзительный короткий свист (будто воздух рассекли цирковым бичом), и откуда-то долетал приятный, бодрый и плотный звук взрыва. Ребята, вертя головами, искали черно-желтый клуб дыма, встающий за крышами домов, чтобы, найдя его, вперегонки мчаться к месту падения бомбы. Азарт этот не мог быть прекращен ничем, даже гибелью двух девочек и грех женщин, убитых в Летнем саду во время гулянья с музыкой в прошлое воскресенье. Впрочем, жертвы были редкостью: бомбы падали, как правило, в пустопорожнее место — в воду гавани, посреди улицы, в заводские пустыри.

Однако при каждом новом налете Шалавин испытывал все более неприятное ощущение. Это было чем-то вроде лотереи: чем больше билетиков вынуто, тем больше шансов вытащить из остатков тот, что с крестиком. И каждый промах по линкору не радовал, а тревожил. Казалось, что в следующий налет вся порция попаданий, отпущенная теорией вероятности, обязательно ляжет на палубу, — когда-нибудь должны же попасть?.. Игра эта начала уже утомлять, и поэтому сегодняшний ветер, гарантирующий невозможность налета, казался кстати.

Но на повороте этот ветер со всей силой обрушился прямо в грудь. Пригнувшись к рулю, работая ногами до сердцебиения, Шалавин с трудом выгребал против него. Пыль летела ему навстречу, слепя и забивая рот. Чертовы яйца!..

Самым обидным оказалось то, что, когда Юрий, взмокший и задыхающийся, довез, наконец, себя до Петроградских ворот, яиц там не оказалось. Старухи, правда, сидели, но одна торговала лепешками из жмыхов, другая — яблоками, мелкими и твердыми, как репа, а рябая, повесив на локоть пустую корзинку, собиралась уже уходить.

Прокляв все — и старух, и Стронского, и ветер, Юрий присел отдохнуть и тут же выругался вновь: портсигар был пуст. Он поднял голову, присматриваясь, у кого из проходящих на пристань можно было бы попросить папиросу.

На пристань шли главным образом матросы. Их небрежно накинутые на плечо бушлаты, тщательно заглаженные брюки с преувеличенным клешем, почти скрывающим на диво начищенные ботинки, непринужденность жестов, белые зубы и громкий разговор действовали на Юрия угнетающе. Он сидел на скамье в возможно независимой позе, вертя в пальцах бесполезный спичечный коробок, но против воли прислушивался к их шуткам, все время ожидая чего-то, что вот-вот должно произойти.

Что именно должно случиться — он сам не знал. Но такое ощущение настороженности никогда не покидало его при встрече с матросами. Это властное и сильное племя, решительное в поступках и счастливо уверенное в себе, делилось им отчетливо на две неравные части: свои и чужие. «Своими» была команда линкора, «чужими» — все остальные. Но и среди «своих» он так же отчетливо различал два подкласса. Те, кого он знал по фамилии — матросы его роты, сигнальщики, рулевые, — были совсем не страшными, обыкновенными людьми, от которых он не ожидал никаких внезапностей и с которыми можно было разговаривать, шутить и даже на них сердиться. Прочие «свои»

были менее ручными, но все же не вызывали в нем того страха, который органически связывался с «чужими». Страх этот кидал его в две крайности: или в заискивающую фамильярность, когда он попадал в их среду один, или в презрительно-насмешливую холодность, когда он бывал среди них в компании офицеров. Великое это чувство — локоть соседа! Вот и сейчас, — если б он сидел здесь рядом с Бржевским или с тем же Стронским, разве он ежился бы так, ожидая грубой шутки по своему адресу, оскорбления, наконец, просто — насилия? Вероятно, они острили бы наперебой, рассматривая принаряженных матросов, собравшихся к своим питерским дамам, вроде вот этого, с чубом, выпущенным из-под бескозырки…

Шалавин вздрогнул. Чубатый, точно угадав его мысли, вдруг всмотрелся в него и, сказав что-то, на что громко засмеялись шедшие с ним матросы, отделился от них и пошел прямо на него. Юрий внутренне весь сжался, сердце его заколотилось, а губы непроизвольно улыбнулись навстречу улыбке чубатого матроса. Тот подходил вразвалку, размахивая двумя чемоданами и оглядываясь порой на поджидавших его матросов… Вот оно, вот оно, сейчас… Шалавину захотелось прикрыть глаза и сползти под скамейку.

— Огоньку одолжите, товарищ штурман, — сказал, подойдя, матрос, и Юрий с облегчением узнал в нем «своего», но никак не мог вспомнить ни его специальности, ни фамилии. Кажется, раз стоял с ним ночную вахту…

— Пожалуйста, товарищ, — протянул он коробок с излишней торопливостью, которую тут же брезгливо отметил внутри себя, и, не узнавая своего голоса, продолжал с ненужно-циничной бранью: — Дайте и мне папироску, забыл, чтоб им…

Чубатый поставил чемодан на траву, раскрыл коробку «Зефира № 400», закурил сам и, ловко укрывая от ветра огонь ладонями, поднес к Юрию спичку. На коротких пальцах матроса сверкали два золотых перстня, на безымянном — с большим рубином, на мизинце — длинная маркиза, едва налезшая на второй сустав.

— В Питер? — спросил Юрий, опять против воли закончив вопрос циничным предположением.

— Погулять охота, — сказал чубатый матрос весело. — А как вы на корабль доберетесь, ишь дует как? Мы с братками и то смеялись: кто кого везет — вы машину или она вас?

Он поблагодарил за огонь и быстро пошел вдогонку за матросами. Юрий смотрел ему вслед с неопределенным чувством гадливости, не понимая, откуда оно: от собственной ли его унизительной торопливости со спичками и подлаживающейся брани или от матроса с его чубом, уверенностью и кольцами. Вдруг он понял и с омерзением швырнул недокуренную папиросу.

Кольца!.. Конечно, гадливость была вызвана ими. Кольца! Бржевский говорил, что на одном из фортов на днях расстреливали заложников-офицеров и что для этого собирали с кораблей охотников матросов, будто бы и с линкора кто-то пошел. Неужели чубатый был там?.. Расстреливал?.. Потом снял кольца и носит, сволочь!

> Юрий яростно кинул спичечный коробок в портфель, вскочил на велосипед и завертел ногами, борясь с ветром, чтобы как можно скорее оставить место этой страшной встречи, — и чубатый преследовал его еще квартала три, жестоко улыбаясь и играя кольцами,
> теми
> кольцами… И он еще на прощанье пожал ему
> эту руку
> !..

То, что одно из колец было явно дамское, а второе отдавало такой купеческой безвкусицей, что и Бржевский не смог бы подтвердить им свое мрачное сообщение, никак не могло рассеять кошмарной грезы, гнавшей Юрия от пристани. «Матросы, расстреливая, снимают перстни» — такова была легенда, хотя колец никто из бывших офицеров давно не носил по той простой причине, что за два с лишним года революции все, кто имел «перстни», или смылись с ними за границу, или просто перегнали их на муку и масло. Но легенда жила, ужасала и гнала Юрия от пристани в другой конец города.

Когда ветер и физическое усилие успокоили его, он сообразил, что заехал к Северным казармам. Отсюда в гавань можно было попасть или через город, или вдоль крепостной стены. Второй путь показался ему выгоднее: под стеной не так будет дуть ветер, а там — на фордевинд, по ветру…

Он повернул на Северный бульвар.

Необыкновенное движение на нем поразило его. Из казармы выскакивали солдаты — кто без винтовки, кто, наоборот, вооруженный до зубов. Слева из переулка вышел быстрым шагом матросский отряд и, повернув вдоль бульвара, пустился дробным и беспорядочным бегом. Кто-то кричал. Выла где-то сирена.

Юрий недоверчиво поднял голову: неужели налет? В такой ветер? Но небо бежало в быстрых белых облаках, и ни одного розового шрапнельного пушка на нем не было. Вдруг огромная черпая лошадиная голова дыхнула ему в щеку, звон и грохот пожарного обоза откинули его к панели. Пожар?..

— Где горит? — спросил он, подбавляя ходу и нагоняя солдата, бежавшего вдоль панели.

— Таможня! — крикнул тот на бегу. — Подвези, эй! На ось стану!

Но Шалавин, не слушая, нажал на педали, заражаясь общим стремлением людей. У конца бульвара в шум бегуших толп, в грохот солдатских сапог по камням и в свист ветра врезался новый странный шум. Это был вой и треск огромного костра. Юрий, задыхаясь, свернул за угол и соскочил с велосипеда.

Грязно-желтый воющий смерч стоял над Купеческой гаванью. Он вздымался выше корабельных мачт, огромный, колеблющийся, пригибаемый к воде порывами ветра. Искры играли в нем, вздымаясь и падая. Длинные языки пламени скрещивались в дыму, как шпаги. Неравномерный жар — от теплого до обжигающего лицо — обдавал Юрия даже здесь. По стенке гавани метались люди, крича, ругаясь, хватаясь за бревна, за тросы, за руки соседей, помогая и мешая друг другу, не слыша своего голоса в реве и треске пламени. Здесь было чему гореть.

Десятками лет накопленное богатство Кронштадта — доски, рангоутные деревья, бревна, дрова, строительный лес, горбыли, фанера, длинные сосны, дранка, чудовищной толщины дубы — все хозяйство лесопильного завода, порта и города лежало здесь на искусственном островке в Купеческой гавани, соединенном с городом узким мостом. Лес лежал тут в огромном количестве, аккуратно сложенный в гигантские штабеля, похожие на дома без окон и дверей. Это была Лесная биржа Кронштадта.

Высушенные многолетней сменой солнца и мороза, звонкие на удар, сухие, как порох, и, как порох, жадные на огонь — доски и бревна эти горели все сразу. Нельзя было понять, откуда начался пожар. Не горели только каменная кладка островка и окружающая его вода. Все остальное пылало свободно и могуче, воя, взвихриваясь, раскачиваясь дымным смерчем, выбрасывая гибкие пламенные руки, чтобы ухватить ими дома на берегу, мачты лайб, самую воду, которая вскипала от головней, летавших по воздуху, как длиннотелые огненные птицы. Крыша таможни уже занялась от их жгучих клевков, тонкие струи воды били в нее снизу, и черные фигуры пожарных мелькали на карнизе. Двухмачтовая лужская лайба, которую на шестах проводили вдоль стенки, вдруг заволоклась качнувшимся к ней смерчем, и, когда он опять взвился к небу, Юрий увидел, что лайба уже пылает и люди прыгают с нее в воду. Портовый пожарный катер тремя струями шлангов поливал стоявшую дальше баржу, покорно ожидавшую огненных объятий. На стенке матросы оттаскивали какие-то ящики, — тушить было бесполезно, оставалось только спасать то, что еще не пылало.

С высокой насыпи уличной набережной, где остановился Шалавин, молено было охватить взглядом всю эту страшную картину. И вдруг он заметил, что железная баржа, которую поливал буксир, была полна снарядами. Тупорылые, блестящие, они лежали в неглубоком ее трюме, а на палубе, на баке, стояли деревянные ящики, — вероятно, с сорокасемимиллиметровыми зенитными снарядами. У Юрия захватило дух. Он мгновенно представил себе, что будет, когда снаряды накалятся или огонь охватит ящики и когда все это ахнет у самой стенки, засыпая огромную толпу осколками. Бросив на насыпи велосипед, он спрыгнул с откоса и побежал к воде. Но там уже стояла цепь матросов, останавливая сбегавшихся.

— Давай, давай назад! — кричал усатый матрос с ленточкой «Гавриил» на бескозырке, отпихивая лезших на цепь людей, и больно толкнул Юрия в грудь. — Ну куда, куда? И так толкучка!..
Другой, тоже с «Гавриила», высокий и плотный, видимо взявшийся командовать, кричал охрипшим голосом, поворачивая подбегавших за плечи:
— На крыши! Головни скидывай! Ваись, вались на крышу!
— Куда к черту крыши, снаряды рванет, не видишь? — в азарте повернулся к нему Шалавин, отталкивая усатого. — Отвести баржу надо, а не поливать!..
Высокий обернулся к воде и, вдруг сказав: «Дело!», ухватил за рукав трех матросов из цепи.
— Пошли на буксир, живо! Антипов, гони тут всех к чертовой матери на крыши, чего глазеют? — крикнул он на бегу усатому, и тот с новой яростью уперся в грудь Шалавина.
— Да меня-то пустите, ведь я же приказал о барже! — взмолился Юрий в отчаянии, но усатый, не слушая, заладил свое:
— Катись, катись на крышу! Комиссар сказал, всем на крыши!..
Люди отхлынули, и Юрий, сталкиваясь с другими, побежал обратно к насыпи. Лезть на крышу ему не было никакой охоты, да и обида на матросов, забывших о нем, кто первый увидел опасность, как-то сразу выключила его из игры. Не хотят, ну и черт с ними! Пусть сами справляются… Он забрался на насыпь, с завистью смотря, как те четверо спрыгнули на буксир, как высокий матрос с «Гавриила» о чем-то перебранивался со шкипером, потом тем же привычным жестом взял его за плечи и проворно повернул к переговорной трубе в машину. Правильно… Конечно, шкипер струсил, и Юрий сделал бы точно так же или сам крикнул бы в машину: «Малый вперед!..» Буксир дал ход и, поливая из шлангов, осторожно и боязливо подошел вплотную к барже. Матрос с «Гавриила» и с ним еще двое выскочили на нее, быстро завернули трос за кнехты. Но тут высокий смерч огня, поваленный ветром, качнувшись, лег на снаряды и на матросов. Люди на корме буксира кинули шланги и побежали на бак, и вода из шлангов бесполезно забила в воду. Толпа на берегу ахнула и отшатнулась. Юрий весь сжался в ожидании взрыва, но ветер взметнул огненно-дымный столб вверх, и на барже вновь стали видны фигуры матросов. Теперь они выкидывали за борт ящики со снарядами, занявшиеся огнем, одновременно сбрасывая в воду ногами пылающие головни, принесенные на палубу смерчем. Люди на буксире, опомнившись, побежали на корму, и три струи шлангов вновь забили на палубу баржи, на снаряды, на головни и матросов, — и так, дымя черным дымом, страшная баржа медленно стала отходить в дальний конец гавани.
Толпа снова заговорила, и Шалавин с новой злобой подумал, что, если б не этот усатый дурак, говор шел бы теперь о нем, о Шалавине, ринувшемся в огонь к снарядам. Но, прислушавшись, он понял, что говорят о другом. То, что он смог уловить в тревожном и нервном говоре вокруг, вполне совпадало с его собственным мнением: это был, конечно, поджог! И надо же было выбрать именно такой ветер!
— Поймать бы супчика да за ноги и в огонь, — сказал кто-то рядом с ним. Юрий обернулся. Золотушный солдат в шинели внакидку и в зимней продранной шапке смотрел на пожар, сплевывая через нижнюю губу. Лицо его неприятно поразило Юрия: малоподвижное, одутловатое, с вывороченными толстыми губами, на которых прилипла подсолнечная шелуха, оно было невыразительно и жестоко. Маленькие кабаньи глазки, глядевшие из щелок под белесыми бровями, были особенно неуютны. Он опять сплюнул перед собой шелуху, и она попала Юрию на рукав кителя.
— Что вы плюетесь, товарищ, осторожнее, — сердито сказал он, брезгливо смахивая ногтем шелуху. Солдат глянул на него и ничего не ответил. Кислый запах шинели шел от него, и Юрий двинулся было в сторону, но дикая сила играющего перед ним огня остановила его, приковывая внимание. Не шевелясь, забыв о солдате, Шалавин очарованно глядел в грандиозный костер. Черные клубы дыма вздымались, как пена вскипающего молока, срывались ветром, опадали, — и тогда вихрь пламени, видного и при солнечном свете, вырывался вверх, и становились заметнее очертания черных штабелей леса. Их было еще очень много.
Зрелище всякого разрушения всегда приводило Юрия в какой-то жестокий восторг… Ломались ли с треском стойки поручней и трапы при неудачной швартовке даже своего

корабля, взрывалась ли рядом мина, пусть грозившая осколками, разбивались ли волной шлюпки о камни, — всем этим он наслаждался как проявлением огромной слепой силы, которая рушит, ломает, крошит и не может быть остановлена. Страшась ее и восхищаясь ею, Юрий внутренне молил: «Ну еще, ну, пожалуйста, еще…» — и невольно крякал, когда привычно неподвижные и крепкие вещи сдвигались с мест и ломались. Так и сейчас смотря на горевшую биржу, он ни секунды не думал о том, что здесь гибнут огромные запасы дерева, могущего быть полезным в форме домов, шлюпок, саней, весел, мачт, столов, что здесь сгорали дрова, которых хватило бы для согревания всего города на добрых две зимы, что это зрелище, так его захватившее, — результат чьей-то злой воли, направленной в конце концов против него самого, и что этот спектакль дорого обойдется и флоту и крепости. Все это заслонялось жестоким восторгом разрушения.
На огненном острове погибал сейчас не только строительный материал и дрова для квартир. Там гибли тепловые калории — миллиарды калорий, без которых одинаково остро будут страдать зимой и человеческие тела, лишенные жиров, и стиснутый блокадой, ослабленный организм осажденной крепости, в складах которой уголь уже не пополнялся, а в цистернах нефть опускалась все ближе ко дну. Колоссальные запасы тепловой энергии, консервированные природой в звонкой клетчатке сухого дерева, уходили сейчас в нагретое солнцем летнее небо, как уходит в землю из широкой раны кровь: бесповоротно и неудержимо. Так и не превратившись в разнообразные формы энергии, необходимой Кронштадту и флоту для жизни и отчаянной борьбы за эту жизнь, калории гибли бесцельно. Электростанция, пароходный завод, водокачка, минная лаборатория, бетонные форты, хлебопекарни, артиллерийские мастерские, литейные и прачечные Кронштадта оставались без топлива.
И, может быть, чувствуя это прежде людей, они потому так и кричали всеми своими гудками и сиренами, сзывая со всего Кронштадта людей, умоляя спасти это погибающее, нужное им тепло. Их кочегарки — первые звенья в сложной цепи превращений тепла в вещи, в поступки, в чувства, в победу — чуяли уже то близкое время, когда, отдав драгоценный уголь и нефть боевым кораблям, сами они будут сжигать в своих голодных недрах кронштадтские заборы, ломаные баржи, мусор и мокрый ельник, подобно тому как на дрейфующем корабле кидают в топку обшивку кают, столы и шахматные доски. Они чуяли это — и густой рев гудков стоял над крепостью отчаянным, тревожным призывом.
И матросы бежали к пожару. Они вручную отводили от гигантского костра лайбы и баржи, взбирались на крыши, скидывая летающие головни, тушили занявшуюся таможню. Но никому не приходило в голову, что сейчас для многих из них здесь начинался уже страдный путь постелям Донбасса, по волжским плесам, по сибирским лесам. В этот жаркий от солнца и пламени день призрак зимы, когда каждая щепка, способная к горению, будет расцениваться так же, как равнообъемный кусок хлеба, не мог еще показать стылое свое и мертвое лицо, — и матросы, спасая то, что можно было спасти, не знали еще, что многие из них скоро отдадут свою жизнь где-нибудь далеко, в Донбассе или в Сибири, в долгих и отчаянных боях за уголь для кронштадтских кораблей, которые будут вынуждены делиться его скудными запасами с береговыми кочегарками, чье топливо сгорало сейчас на островке Лесной биржи.
Высокий штабель бревен, обнажившийся на момент в капризном метании дыма, вдруг рухнул — частью в воду, частью на стенку. Шипящий столб искр взлетел фейерверком, и на тяжелый удар обвала берег разом отозвался гулом человеческих голосов. Солдат рядом смачно обматерился.
— Ах, здорово, черт его дери! — восхищенно крякнул Юрий и тотчас пожалел об этом. Золотущный солдат повернул к нему голову и осмотрел его с головы до ног.
— Народное достояние, а вы радуетесь. Нашли смешки.
— Да я и не радуюсь, откуда вы взяли? — поспешно ответил Шалавин, ощущая привычную неуютность. — Стою и смотрю.
— Вижу, что стоите и смотрите. Тителек беленький боитесь запачкать?
Солдат вдруг обозлил Шалавина.
— Вы-то много помогаете, — сказал он насмешливо. — Не семечками ли? Понатужьтесь, может, весь пожар заплюете.
Кругом засмеялись. Молодой матрос хлопнул солдата по плечу:

— Эй, скопской, поднатужься, качай, коломенская!
Солдат откинул его руку и обернулся к Шалавину.
— Чего делаю, то мое дело! — закричал он вдруг, и маленькие глазки его сразу стали злыми. — Тебе какое дело? Протопоп нашелся проповеди читать! Я, может, стою и плачу, а тебе смешки-смехунчики!
— Не его горит, вот и смешки, — сказал еще чей-то голос.
— Ему каюту не дровами топить, чего жалеть? — нараспев поддержала женщина справа.
Юрий вспыхнул.
— Понадобится, я в этой каюте тонуть буду, — сказал он, чувствуя, что говорит совсем ненужное, — вас же защищаю…
— Подумаешь, защитник нашелся, — подхватила другая женщина привычной к перебранкам скороговоркой. — Ручки в брючки, на лисапете приехал, что в театр, матросы за снарядами в огонь полезли, а он тут баб защищает…
Это было до того обидно, что все в Юрии закипело и слезы бессильной злобы выступили на глазах, но он смолчал: отругиваться было бесполезно. Он повернулся и молча стал протискиваться.
— Не пондравилось, видно, — хихикнула вслед бойкая.
Солдат сплюнул перед собой.
— Дворянские сынки, офицера, — только погончиков не хватает… Возятся с ими флотские, и чего возятся? У нас таких еще в Февральскую передавили… В белом тителе, то-оже… Раскомандовался… Да я ему покажу христа-бога и семнадцатый годочек! — опять закричал он и стал, ругаясь, протискиваться вслед за Шалавиным.
Шалавин торопливо пробирался к оставленному велосипеду. Не хватало еще, чтобы его сперли. Тоже, подумаешь, полез помогать и бросил машину! Вот и помог, нарвался на оскорбления… «Ручки в брючки!» — вот же вредная дура! И этот демагог, кабаньи глазки… Хорошо еще, что так кончилось, могли и избить за милую душу… И черта его понесло в эту толпу, надо скорее на корабль, к «своим»… Толпа! Страшная вещь — такое сборище, да еще на пожаре…
Велосипед лежал там, где он его оставил. Правда, двое мальчишек, предпочтя далекому зрелищу близкое, сидели уже около него на корточках: один звонил в звонок, другой крутил колесо, наслаждаясь быстрым мельканием спиц. Юрий сердито их отогнал и рывком поднял велосипед. Портфель, висевший на руле, сорвался и упал, раскрывшись. Шалавин неловко подобрал его, придерживая велосипед. Стружки и спички посыпались на землю. Торопясь, он сунул спички в карман и, разгибаясь, вдруг увидел в десяти шагах от себя знакомые кабаньи глазки. Они глядели на него с такой торжествующей злобой, солдат так поспешно бежал к нему, что Юрий, охваченный непонятным ужасом, весь похолодел и, вскочив на велосипед, безотчетно ринулся вперед. Ветер опять помог ему, но сразу же он услышал позади отчаянный и долгий крик:
— Держи-и!
Продолжать бегство было непоправимо глупо. Люди, стоявшие по улице вдоль откоса к гавани, уже начали оборачиваться на этот крик. Его, несомненно, задержат. Но кабаньи глазки, горевшие непонятным торжеством, были страшнее всего. Все что угодно, только не встреча с ними. Он пригнулся к рулю и бешено завертел педалями, едва поспевая задевать зубчаткой разогнавшуюся ось.
— Держи-и! — кричал сзади высоким и страшным голосом солдат.
Хлопнул выстрел — один, другой. Юрий увидел перед собой стену людей и врезался в нее. Чьи-то руки стянули его с седла. Он сильно ударился коленкой, но в следующий момент его подняли, и он почувствовал, что ему скручивают за спину руки. Десятки людей окружили его, чей-то наган остро уперся в спину.
— Товарищи, товарищи, постойте! — кричал он, стараясь перекричать общий гул.
Его нагнули. Кровь прилила в голову.
— Обожди, не бей, — сказал над ним чей-то хриповатый голос. — Пусть подбегут, того ли словили.
Мгновенная надежда мелькнула перед ним. Сейчас все выяснится, ему дадут рассказать, все станет ясно… Это было похоже на сон.

Ему позволили выпрямиться, и тотчас между головами он увидел подбегавших людей и впереди них — золотушного солдата. Тот потерял на бегу шапку, стриженая его голова блестела на солнце, в высоко поднятой руке были зажаты в горсти стружки.
Юрий почувствовал, как у него подгибаются колени и как кровь отхлынула от сердца. Мгновенная тошнота заполнила рот сладкой слюной. Его чуть не вырвало.
Стружки! Боже мой! Стружки — сейчас, здесь… Кто поверит?..
— Кажи портфель! — прохрипел, задыхаясь от бега, солдат, и Юрий ужаснулся, что тот сказал именно портфель, а не портфель. В этом было самое страшное, бесповоротное и окончательное.
Кто-то поднял над головами портфель. В черной, растянутой руками пасти его желтели остатки стружек.
— Вот, товарищи, стружки в портфеле и спички! — отчаянно кричал солдат, кашляя и стараясь отдышаться. — Спички он в карман сунул, как меня увидал… Чего это значит, товарищи? Коли не сам поджигал, так запасной?
Юрий метался взглядом по толпе. Крики улеглись, и теперь молчаливые враждебные люди смотрели на него. И ни одного — с «Петропавловска»…
— Что ж, отвечайте, гражданин, раз спрашивают, — сказал сбоку тот же хриповатый голос, что советовал обождать, того ли словили. — Стружки и в самом деле не к месту, зачем у вас в портфеле стружки?
Юрий снова почему-то отметил ударение, на этот раз неверное. И, как будто это имело решающее значение, он почувствовал невыразимое облегчение.
— Яй-яйца, — сказал он, слыша с отвращением, что заикается.
Тот, кто держал его руку сзади, выкрикнул грубую и полную грозного смысла шутку.
— Обожди, не трепись, — сказал спрашивающий. — Вы с какого корабля?
Теперь Юрия несколько отпустили, и он смог повернуться к нему. Это был матрос с «Гавриила», тот, который побежал на буксир. Красивое его лицо было теперь измазано и черно, ладный бушлат прогорел на животе, левая рука была обмотана тряпкой, весь он был мокрым, и от него пахло дымом. Он посмотрел на Шалавина внимательно, будто припоминая, и закончил:
— С эсминцев вы, что ли?
— С «Петропавловска», младший штурман, — опять заикаясь, сказал Шалавин.
Матрос обернулся к толпе:
— Кто здесь с «Петропавловска», товарищи? Есть кто?
Из толпы отозвались два голоса, как на перекличке:
— Есть с «Петропавловска».
— Ходи сюда.
Матрос с «Гавриила» распоряжался деловито и властно. Двое протиснулись к нему, и Юрий с тоской увидел, что оба они незнакомые. Один со штатом кочегара на рукаве, другой в грязном рабочем без всяких признаков специальности.
— Ваш?
Оба матроса осмотрели Шалавина, как осматривают опознаваемую утерянную вещь.
— Кто его знает? — сказал кочегар. — Может, и наш, — всех не упомнишь.
— Чего за трибунал? Веди прямо к воде! — закричал солдат, торопливо протискиваясь к Шалавину. — Ты чего, матрос, раскомандовался? Гляди — стружки. Чего чикаться, в самом деле!..
— Обожди, — опять властно отвел его руку матрос и снова повторил: — Ваш?
Тот, кто был в грязном рабочем, вгляделся. Это был один из тысячи матросов линкора, который мог видеть Юрия на корабле только случайно — на вахте или на мостике. Видел или не видел? От этого сейчас зависела жизнь Юрия, и решал вопрос один из тех, кого в кают-компании безлично и презрительно обобщали коротким словом «команда». И что для них Юрий Шалавин? Один из тех, кого матросы, в свою очередь, обобщали безличным и презрительным словом «офицера». Видел или не видел?
Матрос молчал, и Юрий с завистью подумал, что Луковского тот не рассматривал бы с таким равнодушием, а признал бы сразу, — и тут же с горечью обвинил себя, что неделю назад не послушался Луковского и отказался заниматься с матросами на выдуманных тем общеобразовательных курсах. Может быть, этот, в грязной робе, был бы его учеником, и

все сейчас обошлось бы хорошо… Но вдруг он с ужасом понял, что все уже кончено, что никаких курсов для него больше не будет, что жизнь, так глупо и неверно начатая, сейчас оборвется… Сейчас опять пригнут к земле или потащат к стенке, и этот солдат с кабаньими глазками возьмет его портсигар… Впрочем, нет, берут не портсигары, а кольца… И не солдаты… Бржевский говорил: матросы снимают кольца… Кто же снимет, — вот этот?
Он открыл глаза и взглянул опять на матроса, и мысль о том, что матрос этот не найдет на нем никаких колец, показалась ему такой забавной, что он усмехнулся.
— Наш, — вдруг сказал матрос облегченно, как человек, решивший трудную головоломку. — Наш. На велосипеде все гоняет. — И, подумав, добавил: — Веселый.
— Фамилия как? — спросил матрос с «Гавриила», и Шалавин не сразу понял, что тот обращается к нему. Он назвался.
— Где-то я вас видел, не припомню, — спросил матрос, всматриваясь. — На эсминцах раньше плавали?
— На барже, — почти беззвучно сказал Юрий, не веря надежде. Неужто выручит? Этот?.. «Чужой»?..
— Я на баржах не плавал, — усмехнулся матрос, и Юрий заторопился:
— Нынче… Я вам о барже со снарядами крикнул, а вы побежали… Там усатый еще был, он не пустил за вами…
— Еще о чем спроси, каланча, с кем на крестинах пили! — опять закричал солдат и повернулся к толпе. — Товарищи, что за шашни? Они тут снюхаются, а мы гляди? Заступа какая нашлась! Тебя бы с ним вместе к стенке!.. Товарищи, становись за революционный закон, эх, нагана нет, не рассусоливал бы!..
— Зато у меня есть, — сказал высокий матрос жестко и вдруг закричал так, что загудевшая было вместе с солдатом толпа притихла: — Заткнись, орово господа бога и трех святителей, — таких не одного сшибал! Закон!.. Да что ты о законе слыхал, ты…
И матрос закончил таким словцом, которое было как точный и злой портрет солдата. Тот смешался, а кругом засмеялись. Матрос опять повернулся к Юрию.
— Так какие же яйца, не пойму? — спросил он опять спокойно и негромко, словно это и не он сейчас кричал и бранился.
Шалавин, путаясь и все еще заикаясь, рассказал. Кое-кто улыбнулся, остальные рассматривали его недоверчиво и неприязненно. Солдат втихомолку сбивал вокруг себя кучку сторонников. И уже не он, а кто-то другой насмешливо крикнул:
— Сказочки! Там офицера подтвердят, одна шатия!
Матрос с «Гавриила», не слушая, повернулся к кочегару с «Петропавловска».
— Беги, браток, к пожару, найди в охранной цепи кого с «Гавриила», двоих с винтовками. Скажи, комиссар зовет… Товарищи, отпустите ему руки.
Комиссар?.. Так вот какие бывают комиссары! Вот же орел-мужчина, — и патруль вызвал, чтобы проводить его до корабля. Шалавин приободрился и, растирая красные пятна на кистях рук, улыбнулся, будто ничего не случилось.
— Спасибо, товарищ комиссар, что выручили. Я и не знал, кто вы, — сказал он развязно.
— А это не обязательно. Не царствующий дом, — ответил тот и оглянулся. — Расходитесь, товарищи, в Чека выяснят. Вы арестованы, военмор Шалавин.
— Есть, — сказал Юрий упавшим голосом.
Чека! У него опять засосало внутри — на этот раз медлительно и тускло, но сейчас же он опять улыбнулся: это же отвод глаз! Надо же как-нибудь комиссару спасти его от самосуда толпы…
Но комиссар уже действовал дальше.
— Обожди, товарищ, — остановил он солдата, собравшегося уходить и смотревшего на него злыми глазами. — Пройди-ка вместе, там расскажешь, что видел.
Солдат с удовольствием взял протянутый ему из толпы портфель, вложил в него стружки, которые он так и держал в руке, и злорадно посмотрел на Юрия. Тот повернулся к комиссару.
— Товарищ комиссар, — сказал он умоляюще, — все же ясно. Ну, справьтесь на корабле… Зачем же в Чека, неужели вы мне не верите? О барже поверили, а тут…
Комиссар посмотрел на него внимательно.

— Всему нынче верить не приходится, — сказал он медленно и потом улыбнулся, белые зубы сверкнули на замазанном сажей его лице успокоительно и мирно. — И чего вы так Чека боитесь? Не съедят вас там, а разобраться надо. Да, машина ваша… — Он поймал за рукав петропавловского матроса в грязной робе: — Отведи, товарищ, машину на корабль, сдай комиссару. Скажи, комиссар «Гавриила» прислал, Белосельский. И о штурмане расскажи, чего он тут со стружками начудил, пусть в Чека позвонит и сам разберется, понятно? Не сломай дорогой…

Первое, что увидел Шалавин, когда после двухчасового томления в темпом коридоре их ввели в комнату дежурного следователя, был накрытый газетой стол. На нем стояли банки с мясными консервами (о которых на линкоре давно забыли и которые хранились в неприкосновенном запасе), бутылки с янтарным подсолнечным маслом, цибик чаю, синие пакеты сахара — старого, царского сахара. Желтым чудом сиял у чернильницы большой кусок сливочного масла. Пожалуй, Бржевский был прав: в Чека не голодают…

За столом сбоку стоял матрос, видимо, следователь. При входе их он обернулся, и Юрий узнал в нем чубатого матроса с Петроградской пристани. Перстни на его пальцах сверкнули Юрию в глаза страшным предостерегающим блеском: цепь замкнулась, и кошмар воплощался в жизнь… Слабая надежда, которая блеснула ему в белозубой улыбке гаврииловского комиссара и помогла спокойно ждать в коридоре, — теперь исчезла. Комната поплыла перед его глазами, он прислонился к косяку.

Вероятно, он пошатнулся, потому что конвойный с «Гавриила» поддержал его за локоть, и Юрию стало стыдно. Что ж, если умирать, так умирать красиво! Он будет острить, издеваться, смеяться в лицо этому чубатому палачу, обжирающемуся здесь и снимающему с трупов кольца!.. Он покажет ему, как умирают офицеры, и жаль, что Бржевскому никто об этом не расскажет…

Чубатый не начинал допроса. Он стоял молча, и только кольца на его пальцах зловеще сверкали. Открылась дверь в глубине комнаты, вошел пожилой матрос и, мельком глянув на Шалавина, протянул чубатому какую-то бумагу. Неужели уже приговор?.. Чубатый, даже не глядя на Юрия, подписал, и тогда пожилой матрос сказал хмуро и категорично:

— Сымай перстни.

Чубатый, всхлипнув, стал стаскивать кольца, бормоча жалкие и умоляющие слова, и Юрий внезапно все понял. Легенда Бржевского о матросах, снимавших кольца с расстрелянных офицеров, глупо, но убедительно обернулась спекулянтом-артельщиком третьей роты, имевшим доступ в провизионку. Кошмар таял на глазах, и жгучая, острая ненависть к Бржевскому вдруг вспыхнула в Юрии, как будто Бржевский был той причиной, которая вызвала весь сегодняшний ужас. Он сам еще не понимал, что в нем произошло, но чувствовал огромное облегчение, словно с плеча его сняли чью-то тяжелую и липкую руку, которая настойчиво и властно вела его против воли. Веселое спокойствие овладело им, и, когда чубатого увели, он подошел к столу смело и охотно. Пожилой матрос спросил солдата и повернулся к Юрию. Тот рассказал следователю о стружках и яйцах, о барже со снарядами и Белосельском, о перебранке с солдатом и о семечках. Следователь позвонил на корабль комиссару, долго хмыкал в трубку в ответ на то, что там говорилось, и Юрию стало ясно, что все идет как нельзя лучше. Следователь повесил трубку и спросил, придвигая к себе бумагу, может ли кто-нибудь подтвердить, что Юрий действительно сошел с корабля только после обеда и что он поехал за яйцами.

— Механик Луковский может, — сказал Юрий.

— Тоже офицер? — спросил пожилой матрос, и Юрий обиделся.

— Он, по-моему, большевик, — сказал он с гордостью.

Следователь потянулся опять к трубке, но Шалавин вдруг торопливо сказал:

— Вызовите сюда еще командира второй роты Стронского и старшего механика Бржевского, они тоже свидетели.

— Не надо, — сказал следователь. — Дело ясное.

— Я вас очень прошу, — умоляюще сказал Юрий. — Пожалуйста… Все-таки трое, а не один…

— Ну, хорошо, — сказал следователь, пожав плечами, и завертел ручку звонка.

Шалавин представил себе, как замечется сейчас на корабле Стронский, как медленно побледнеет красивое лицо Бржевского, когда ему скажут, что его вызывают в Чека, — и

мысль об этом доставила ему такую блаженную радость, что он повернулся к солдату, все еще державшему в руках портфель, и сказал с широкой улыбкой:
— Закурим, что ли? Папиросы есть?
Солдат удивленно посмотрел на него маленькими своими глазками. Но лицо Шалавина сияло такой заразительной веселостью, что он сам невольно усмехнулся и полез в карман.
— Давай закурим, — сказал он и качнул головой. — Чудной. В Чека сидит — и зубы скалит…

1934

Сергей Сергеев-Ценский

Платаны

I

«Строить планы на отдаленное будущее — значит быть явным сумасшедшим» — это изречение часто можно было услышать от Воробьева.
И все, что он делал на земле за свою жизнь, сводилось только к тому, чтобы сделанное тут же вышутить, сказать с ядовитой улыбочкой: «Эхма-хма… Делаем, делаем что-то там такое, а зачем?» — вздернуть плечами, махнуть правой рукой, а левой осторожно пригладить височки.
Между тем это был плотный, вполне благополучный физически человек, с совершенно не дающим о себе знать каменно-здоровым сердцем, с большой угловатой головою. И нельзя сказать, чтобы взгляд его был недобрый, как бывают взгляды исподлобья, искоса и вскользь; нет, голову он держал прямо, смотрел на всех светло, любил каламбуры, что же касается анекдотов, то признавал их величайшими произведениями словесного творчества.
В молодости он был врачом на золотых приисках в Сибири и там разбогател как-то, может быть и не слишком желая разбогатеть. Во всяком случае, он остановился в накоплении богатства, на крупных, правда, деньгах, но остановился, не пошел дальше, как сделал бы на его месте кто-либо другой. Он приехал в Харьков, где учился когда-то, здесь защитил магистерскую и докторскую диссертации — работы по гистологии — и в другом провинциальном университете получил кафедру.
Однако уже через шесть-семь лет он решил, что не рожден профессором. Между тем он женился на одной из своих учениц, благоговевших перед гистологией и его в этой области работами. Она была скромная, трудолюбивая женщина, одна из первых женщин-врачей в России. Ей было около тридцати лет, ему было сорок в то время, когда он решил связать свою жизнь с ее жизнью; но он сделал и это без большого увлечения, как делал все вообще, за что ни брался.
Без увлечения же, всегда спокойно и ровно читал он и свои лекции студентам. Он говорил им: «Помните, что когда бы вы ни взялись за микроскоп изучать строение ткани растительной или животной, вы будете иметь дело с мертвою тканью. И что бы ни сказала вам наука о процессе жизни вообще, самый акт зарождения жизни навсегда останется вне сферы ее компетентности…»
В 1878 году, имея всего сорок пять лет от роду, Воробьев вышел в отставку, приехал с женою на Южный берег Крыма; у самого моря, в том месте, где речка, почти пересыхающая летом, впадала в море, купил он большой участок земли с садом и виноградником, прельстивший его больше всего тем, что росли на нем три мощных

платана, по-местному — чинары. Был очень жаркий день, когда гулял Воробьев по берегу моря, а под платанами лежала густая прохладная тень.
Воробьев продекламировал (без увлечения) две строчки из Лермонтова:

У берега моря чинара стоит молодая,
С ней шепчется ветер, зеленые ветки качая… —

оглядел сад, виноградник, а дня через два после того совершил купчую, не торгуясь.
И в это же лето в саду своем поставил он домик для сторожа, а весь участок обнес прочной железной оградой на фундаменте из местного гранита двух цветов — синего и красного — вперемежку. Искусные каменщики — греки терпеливо обтесывали каждый кусок и пригоняли камень к камню так, чтобы аккуратно скрепленные цементом куски дали бы самую красивую мозаику, какая только возможна в подобном деле.
Те же каменщики-греки на следующий год из того же гранита сложили двухэтажный обширный дом около трех платанов. Отделкой же дома в мавританском стиле были заняты целое лето выписные мастера. Занимала ли вычурная резьба по дереву и гипсовая лепка самого Воробьева? Нет, он относился к этому без заметного пристрастия, но научный склад его ума требовал от мастеров выдержанности стиля, точности рисунка и чистоты отделки.
Искренне любовались этим невиданным в их деревне чудом строительного искусства только местные жители. В своих круглых черных смушковых шапках они толпились около железной ограды и восхищенно щелкали языками: «Це-це».
И, называвший явным сумасшествием всякие вообще планы на отдаленное будущее, еще сорок лет прожил в этом своем доме Воробьев Николай Ефимович. Будучи врачом, он ожидал страшных и непреодолимых медициной болезней, как рак внутренних органов, или злокачественная саркома, или прочее подобное, но ничего такого с ним не случилось. Он же, по создавшейся уже привычке, продолжал заниматься гистологией.
Он прекрасно обставил свой рабочий кабинет приборами; он следил за всем, что появлялось в его науке на языках наиболее культурных народов; росла с каждым годом его библиотека. Но в то же время росло и его хозяйство.
Так как виноград его оказался винных сортов, а не столовых, и такой же винный виноград был на трех других смежных виноградниках, прикупленных им впоследствии, то он завел виноделие, и портвейн Воробьева получил даже некоторую известность среди тонких знатоков и любителей.
С годами установилось, что сад, виноградник, и винный подвал около дома, и рабочий кабинет в доме сосредоточили на себе все интересы жизни Воробьева. Тот строгий режим, который он завел, не то чтобы был им обдуман заранее и неукоснительно проводился в жизнь, нет, он просто вылился сам собою из той случайной обстановки, в какую пришлось попасть, и из тех случайных знаний, какими удалось запастись. Отнюдь не прибегая к злой над собой шутке, Воробьев любил говорить: «Когда нет ни к чему особенной склонности, отчего не заняться и гистологией? Чем не наука?..»
И все-таки жена его Александра Павловна, у которой было кроткое круглое лицо с участливыми глазами, была убеждена в том, что он шутит, что он ценит свои научные труды, как ценила их выше всего она сама, заведя строжайший порядок в десятке строгих по виду высоких книжных шкафов из красного дерева, украшенных резьбою. Резные дубовые, в стиле немецкого ренессанса, были и сервант, и стенные часы, и дюжина стульев в столовой. На дверцах серванта были вырезаны две сцены из Библии: вран, приносящий кусок хлеба пророку Илии, и пророк Самуил, помазанием ставящий молодого Саула на царство.
Так протекала под тремя платанами, распростершими толстые, как стволы вековых деревьев, свои сучья шатром над крышей дома Воробьева, размеренная и не допускающая никаких осложнений и потрясений бездетная воробьевская жизнь.
Платаны стали уже в три обхвата, их даже и Воробьев ценил и уважал за безболезненность, могучий рост, непроглядное зеленое облако широких листьев, наконец, и за нежный

телесный оттенок их гладкой желтой коры, кое-где тронутой, как веснушками, пятнами других, более густых тонов.
Правда, около дома он насажал и других южных деревьев: магнолий, мимоз, лавров, тиссов, — и весь дом обвила пышно цветущая лиловыми кистями пахучая глициния, но платаны все-таки оставались как бы хозяевами здесь, а остальные были как скромные гости. Кстати, редким, правда, гостям своим в первую голову показывал со всех сторон Воробьев именно эти платаны, под которыми стояли широкие зеленые скамейки.
Размеренно живущие супруги Воробьевы звали друг друга на «вы» и по имени-отчеству. Однако и всю многочисленную прислугу свою называли они тоже по имени-отчеству и на «вы», и даже тринадцатилетняя девочка Даша, дочь ночного сторожа, была у них Дарья Степановна.
Впрочем, в глубокой старости, до которой дожили они оба, в них пробудилась нежность друг к другу, и она называла его «Милочкой», он ее «Дитечкой».
На семьдесят восьмом году жизни Воробьев заметил, что ему изменяет правый глаз, тот самый, которым он наблюдал в микроскоп строение тканей. Он сказал об этом жене:
— Дитечка, плохо дело! Подает в отставку глаз.
— Как же так? Как же так? — встревожилась Дитечка. — Вы бы полечились, Милочка.
— Бесполезно, Дитечка… В моем возрасте это законно… и неизлечимо. Нет, абшид, абшид правому глазу… Потом, по симпатии, и левому, конечно, будет отставка, но я все-таки напишу о зарождении жизни. Я уже близок к решению этого вопроса, и я успею.
Это случилось в 1911 году летом, когда особенно мила была густая над домом тень платанов. И всплеснувшая руками от ужаса седенькая Дитечка увидела, что она все-таки была права, что у Милочки была затаенная, глубоко запрятанная цель жизни: постигнуть эти таинственные законы зарождения живой жизни в самой глубине их, в первооснове.
Потеряв способность видеть что-нибудь правым глазом, Воробьев тем усерднее налег на левый. Он стал гораздо больше писать теперь, он сделался оживленнее, он сделался суетливей.
А в доме по-прежнему поддерживался порядок, заведенный давно-давно Александрой Павловной, и скатерти и салфетки были белоснежны, и если редкий гость неосторожно делал чем-нибудь пятнышко на скатерти, это вызывало смятение на добром личике Дитечки, она хваталась за сердце сухонькой ручкой и хотя лепетала привычно: «Ничего, ничего, не беспокойтесь, пожалуйста!» — но гость видел, что его неловкость поражала ее, как внезапный громовый удар над самым домом.
И однажды — это было вскоре после начала мировой войны — один старый уже тоже бывший ученик профессора Воробьева, а ныне сам известный профессор, случайно заехавший в эти места, горячась по поводу подлости и зверства немцев в Калище, нечаянно задел обшлагом и разлил по белоснежной скатерти стаканчик бордо.
Оказалось, что не зверства немцев в Калище, не мировая война вообще, а вот это, что сделал со скатертью неосторожный гость, и было то самое ужасное, чего не могла перенести Дитечка, которой шел уже восьмой десяток. Она ахнула подстреленно и вдруг поникла на стол седенькой головкой. Она умерла от разрыва сердца. Сам же Воробьев умер лет шесть спустя совершенно ослепший. Родных у него не оказалось. Ухаживала за ним Дарья Степановна. Только в предсмертные годы выявилось в полной мере, что он всю свою зрелую жизнь был одержим манией отгадки тайны зарождения жизни. Даже и плохо грамотной Дарье Степановне надоедал он, слепой, требованиями записывать его мысли и выводы по этому вопросу.
Библиотеку и микроскопы его передали после его смерти в один из вузов; рассмотренные биологами труды его последних лет были найдены или отсталыми, или отнюдь необоснованными, или полными мистики, вообще не имеющими научной ценности; а дом его, осененный тремя огромными платанами, перешел в ведение Курупра и через несколько лет стал домом отдыха инженерно-технических работников Союза.

II

Черт знает, в какую дальнюю даль ушел горизонт моря!
Там где-то, очень высоко, мреет какое-то лиловое, но горизонт, должно быть, еще выше, вообще — спрятался, не найдешь… И молодому инженеру Фокину отсюда, с пляжа, не хочется его разыскивать. Во всем голом теле его колючее тридцатиградусное, однако

ласковое, солнце; пятки его — в теплой щекочущей кромке чуть-чутошного прибоя; недалеко от берега колышется ленивое стадо медуз; сзади, прямо, на голубом гравии, разостлал и чинит красную сеть загоревший до черноты папуаса рыбак из местной артели Абла Тахтаров, а со стороны женского пляжа, как ни старается туда совсем не смотреть Фокин, назойливо лезет в глаза полосатый купальный костюм лаборантки металлургического завода Шемаевой, о которой известно, что ей удалось получить непосредственно из руды губчатое железо, и именно за это премирована она путевкой сюда в дом отдыха на месяц.
Этот полосатый купальный костюм вот уже почти две недели беспокоит Фокина; он тоже кажется ему вызывающе задорным, как вся Шемаева вообще с ее мальчишескими ухватками. За столом в столовой они сидели друг против друга, и не проходило дня, чтобы не начинали жестоко спорить. Между тем работали они на одном и том же заводе, но там он как-то не замечал ее, не присмотрелся к ней.
Фокин всегда считал себя удачно сработанным, хвастал своим действительно крепким телом и теперь на море перед собою глядел, как глядят на него хорошие пловцы. Но он видел, что Шемаева на свои густые рыжеватые волосы — за что он прозвал Лисичкой — надела ею же самой сшитый чепчик из белой клеенки и завязала этот чепчик под круглым подбородком. Это значило, что она собралась далеко плыть.
Фокин подобрал под себя ноги и в два прыжка был снова в воде, из которой недавно только вышел посущиться. А когда Шемаева действительно поплыла, то поплыл шагах в двадцати от нее и Фокин, туда, где мрело лиловое и совсем не было горизонта.
И первые двести — триста метров Фокин только взглядывал на Шемаеву, насмешливо следя за тем, как по-мальчишечьи выбрасывает она свои красные от загара руки. Он видел, что несколько человек еще сорвались с пляжа и желтыми пятнами замелькали сзади в голубой воде за ними вслед, но скоро боязливо вернулись к берегу. Остались далеко в море только они двое, и Фокин пустил в ее сторону густой шаловливый окрик:
— Ли-сич-ка, на-зад!.. Утопнешь!
— Ду-ра-ак! — отозвалась Лисичка.
Он обогнал было ее сначала, но задержался и заботился только о том, чтобы она не выдвигалась вперед. Теперь они были уж гораздо ближе друг к другу, чем вначале, и когда она поворачивалась лицом к солнцу, совершенно незаметно для себя ловил он в искристых брызгах участливыми глазами бойкую линию ее задорно вздернутого носа и твердый рисунок губ.
Метров полтораста проплыли они еще, и Фокин беспокойно уже крикнул снова:
— Сонька, смотри! Утонешь ведь, — куда ты?
— Сам скорее утонешь! — отозвалась Сонька.
И когда плыли они уже рядом дальше, Фокин все с нарастающим волнением представлял очень живо, что вот выбьется из сил эта упорная Шемаева (благодаря упорству, конечно, добывшая каким-то там способом непосредственно из руды губчатое железо и упорно мечтающая упразднить домны), вот-вот судорога схватит ее руки и ноги, и вот она тонет на его глазах, тонет рядом с ним, и что может он сделать, чтобы спасти эту упорную?.. Схватить ее за рыжие волосы и тащить на берег? А если не дотащит?.. И лодки на берегу нет!
И, испугавшись этой возможности, Фокин сказал ей прямо в нахмуренные забрызганные карие глаза:
— Соня, милая! Давай-ка назад, а?
— Ты — первый! — отозвалась Соня и хотя бы улыбнулась, — нет… А может быть, устала до такой степени, что даже и улыбнуться не в состоянии?
И Фокин круто повернул к берегу.
Когда доплыли они каждый к своему пляжу, им кое-кто из лежавших на песке похлопал, а когда спросили Фокина:
— Кто же из вас победил все-таки?
Он ответил небрежно:
— Разве мы состязались? Это простая физкультурная зарядка.
За обедом в этот день, глядя на Шемаеву, сидевшую напротив, говорил Фокин:

— У кого-то из наших классиков я читал и запомнил: «Все хорошо в природе, но вода — красота всей природы, потому что вода жива…» Что правда, то правда: вода жива!.. Это я потому говорю, что вспоминаю море… Вода жива, потому что она движется, а вот о камне никак не скажешь, что он жив.
— Ну, набуровил! — презрительно сказала Соня, принимаясь за уху из морских петухов, которая была на первое, и глядя на него исподлобья карими с искорками глазами, от которых иногда он не мог оторваться.
— Почему же это так вдруг «набуровил»? — скорее удивился, чем обиделся Фокин. — Вода плещется, вода льется, вода бежит — вообще способна менять место и всем помогать жить на свете, например, вот этим самым морским петухам, каких мы с тобой сейчас станем кушать.
— И зачем ты только приставлен к домне, — не понимаю! Чтобы беллетристику тут какую-то разводить? — возразила Соня.
— Лисичка, разве тебе не известно, что я шестнадцать рационализаторских предложений внес на завод, и все они признаны очень ценными, и я за них получил премии? — серьезным уже тоном отозвался Фокин.
— А что же ты явную чепуху мелешь о камне? — так и вскинулась Лисичка. — Не плавишь ты разве руду, то есть тот же камень, и у тебя не льется, не бежит — и как там еще — чугун по изложницам?.. Да и камень базальт тоже можно расплавить и делать из него что тебе угодно, а ты говоришь так, как будто ты и не инженер, а какой-то словесник!
Соседи их по столу с любопытством ожидали, как вывернется из-под такого наскока Фокин, — он был весьма ловкий спорщик; но Фокин сказал вдруг примирительно:
— Так что, по-твоему, выходит, что вода только слабое сцепление частиц, а камень более плотное, а все прочее — только голая беллетристика? Ну что же — пусть беллетристика, против этого не возражаю.
Составлялся волейбол вечером, после ужина, когда заходило солнце там, за верхушками гор, а здесь была уже зеленая прохлада и море сплошь стало оранжевым.
Фокин приоделся, пригладил свои короткие темные волосы, аккуратно завязал шнурки на туфлях — хотел пойти на почту сдать заказное, так как почта уходила отсюда рано утром, но его остановила Шемаева с черным мячом в руках и сказала значительно:
— Куда это?.. У нас не хватает одного, и как раз тебя.
— Мне некогда, нет! Письмо сдавать!
— Завтра сдашь!.. Подумаешь, дело какое: письмо… Становись!
И она взяла его за руку.
Он искоса глянул на ее слегка вздернутый нос и твердые губы, пожал левым плечом и стал играть в волейбол. И никогда раньше не играл он настолько удачно, как в этот вечер.
А когда совсем стемнело и пришлось бросить игру, Фокин тихо сказал Шемаевой:
— Соня! Третий раз я тебе уступаю сегодня… Когда это было раньше?
— Что из того, что никогда не было? — спросила Соня так же тихо.
— А почему это? Объясни, потому что я, признаться…
— Ты сам должен знать почему, — перебила его Соня и пошла от него, и у него сладко заныло сразу все тело от ее легкой походки, и белевшего в темноте ее платья, и шуршащих по гравию дорожки ее сандалий.
К ночи пошел дождь. В парке было совсем темно. В доме отдыха укладывались спать. Фокин и Соня Шемаева, крепко прижавшись друг к другу, сидели на одной из широких скамеек под платанами.
Они не спорили теперь ни о чем, они даже и шепотом не говорили ни о чем друг с другом. Под облаком плотных, как из кожи вырезанных, платановых листьев было сухо, но дождь шумно пробивался сквозь листья к земле, упорно не желая оставить сухим ни одного на ней листа, и они обоими своими телами, как одним, понимали теперь, что вода действительно жива и подлинный смысл ее в том, чтобы оживлять землю.
И в эти долгие-долгие и значительные по содержанию, при всей своей немоте, минуты под платанами, видевшими бесплодную сорокалетнюю жизнь двух других людей, бесполезно думавших над сутью вопроса о зарождении жизни, совершилось такое естественное и простое безмолвное зарождение новой жизни.

1934

Лидия Сейфуллина

Таня

I

Таню обидел отчим. Девочка его любила. Всякая размолвка с ним отягощала ее недетской, сокровенной печалью. Сегодня, как всегда, они вдвоем пили ранний утренний чай. Александр Андреевич сумрачный пришел к столу. Таня этого не заметила, потому что она встала весело. Спеша есть, двигаться, говорить, она сбивчиво рассказывала события вчерашнего дня и свои утренние мысли:

— Ленин — основоположник марксизма.

Александр Андреевич прервал ее:

— Прежде, чем сказать, люди думают. А ты?

Бывали случаи, когда он грубей обрывал Таню, но сегодня она учуяла в его тоне особое, неопровержимое презренье к себе, невыросшей, несамостоятельной. У нее от обиды захватило дух. Заносчиво, но неверным голосом девочка ответила:

— Я всегда говорю вещи, в которые я убеждена.

Александр Андреевич сердито передвинул стакан и, вставая, уронил стул:

— В которых, а не в которые. Нет у тебя убеждений, потому что нет знаний. И говоришь ты черт знает каким языком!

Он ушел, не простившись. В комнате, кроме нее, никого уже не было, но Таня запрокинула голову через спинку стула, чтобы слезы не выкатились из глаз. Как же у нее нет убеждений, когда она пионерка? Если бы ему, партийцу, кто-нибудь такую вещь сказал, он бы небось озверел!

По дороге в школу Таня не отмечала ни улиц, ни людей. Ноги шли, глаза смотрели, тело привычно уклонялось от трамваев, извозчиков, автомобилей, но мысль ее была поглощена обидой. Девочка думала со стесненным сердцем:

«Если взрослые так будут, то в конце концов можно и умереть… Глотнуть чего-нибудь и вообще взять да умереть. Нет, не «взять», а просто умереть. Если «взять», то есть самоубийство, то, конечно, скажут, никаких убеждений. Есенинщина, скажут, заела… «Не такой уж горький я пропойца, чтоб, тебя не видя, умереть», — мысленно пропела Таня.

У нее защипало в горле, и слез проглотить уже не удалось. Они оросили щеки. Таня, всхлипнув, стерла их перчаткой, но они набегали снова и снова.

«Ну, «Письмо к матери» — вообще упадническое… Не признаю. А все-таки здорово трогательно. Как это? «Мр-а-а-ке часто видится одно и то ж…» Да, умру, так пожалеют. Вот я умерла нормально, от скарлатины… Папа стоит у гроба… Нет, если нормально, то не все пожалеют. А вот умри я на посту… Вот случилось нападение на Москву…»

Глаза у Тани высохли, щеки разгорелись. Она придумывала и переживала различные возможности доблестной смерти за СССР, за революцию. Перед ней ясно вставали подробности замечательных похорон:

«…даже вожди у моего гроба в почетном карауле. Из нашей школы все будут рассказывать: «У нас она училась, у нас».

Но когда в представлении встала долговечная урна с ее собственным, Таниным, прахом в час, когда все живые ушли от нее, Тане очень захотелось жить.

«Можно идейно пострадать, но не до смерти. Даже пускай ранят, но не до смерти. Вот, предположим, я в тюрьме, в капиталистической стране. Да, я в Америке, агитирую… Да, побег был исключительно смелый…»
Когда Таня входила в школу, она в воображении прожила не одну прекрасную, героическую жизнь. Все эти жизни были схожи в основном. Каждая из них уходила на победоносное страданье за утверждение Таниного мира. Танин мир был определен. Он в совершенстве четко делился всего на два лагеря: своих и чужих. Свои — те, с кем выросла Таня. Чужие, никогда еще не обнаруженные в личном Танином существовании, но общеизвестные враги «своих» — капиталисты Европы и Америки, вредители в СССР. Для нее, как в старых убедительных трагедиях, «свои» были без единого изъяна, всегда во всем правы, враг жесток в чернейшей, без просвета, неправде. И пережитые девочкой в мечтанье любовь и ненависть были подлинны. Победа любви потрясла ее душу восторгом. Отсветы его легли на существующий повседневный мир. Они сделали его счастливей, добрей. Вот хотя бы Ким. Он вовсе не закоренелый бузотер и грубиян. Он страдал, раскаивался в Таниных мечтах, когда ее мучили в американской тюрьме. Он сознавался с настоящей большевистской самокритикой:
«Недооценивал я, товарищи, Таню Русанову».
Поэтому Таня сегодня подошла к нему сама и заговорила с ним таким пленительным тоненьким голосом, что Ким отверг разговор:
— Ах, не влюбляй меня навеки, покрасивей найдем!
Таня багрово покраснела, но в перебранку не вступила.
Она только мстительно подумала:
«Горько тебе будет. Очень горько!»
Весь школьный день девочка была с товарищами уступчива, на уроках прилежна. Но в конце дня с ней снова приключилась неприятность. Собственно, никакой неприятности не было. Все понимают, что Таня ответила правильно, а все-таки… В школе побывала сегодня Надежда Константиновна. Вышло, что у входа она поговорила с Таней, а на прощанье протянула ей руку. Девочка ответила, как надо:
— В нашей организации мы руки не подаем.
Лицо Надежды Константиновны просветлело от хорошего смеха, но в глазах как будто мелькнуло смущенье. Так показалось Тане. Это ее расстроило. Она размышляла:
«Надо было руку пожать. Не из подхалимажа, а из уважения. Нет, не надо. Она понимает, что у нас в организации не зря выдумывают».
Но чем больше Таня убеждала себя, что поступила правильно, тем смутней становилось ее душевное состояние. На обратном пути домой она тягуче говорила Игорю Серебрякову:
— Мне уже двенадцать лет, а я все не решила, кем я буду. Как ты думаешь, кем я буду?
— А я откуда знаю? Вот я буду летчиком или моряком. Море или небо, без никаких!
— А я ни на чем еще не остановилась. В прошлом году я хотела быть киноактрисой. Очень заманчиво! Ну, а потом решила — это занятье несущественное. У них там какие-то кулисы да закулисы, вообще что-то, интриги. А я еще не знаю, есть ли у меня талант. Вообще мне многие занятия не нравятся. Вот, например, зубным врачом — ни за что. Всю жизнь смотреть в чужие, дурно пахнущие рты!
— Да-а, невесело. Когда зубы болят, все воют. Я один раз так взвыл, что зубодерка убежала.
— Конечно, и зубные и другие врачи — очень полезные люди, но об себе тоже надо подумать. Я думаю, Игорь, все-таки я буду горным инженером.
— Горняком? Валяй. Одобряю.
— А все-таки я еще сомневаюсь.
— А ты собиралась еще композитором.
— Ну его, нет! У меня мама — композитор…
— Ну что ж, у нее, кажется, позиция правильная.
— А что с того? Она свой человек, хоть и беспартийщина. Но все невеселая да невеселая. Со своими никогда не смеется. Нет, я маму люблю, но жить с ней — спасибо, не надо. Она хорошо придумала, что за третьего замуж вышла.
— Уж за третьего?

— А как же? Первый муж — мой отец. Ну, мама его чего-то отшила, записала меня на себя, я его не знаю. Второй — Александр Андреевич, мой теперешний отец. Ты знаешь, он очень доволен, что я его сама выбрала. Когда мама уходила, я кричала, плакала, что не уйду. Он и Соня меня усыновили, оттого я Русанова, а мамина же фамилия — Балк. Только у нас бывают с ним разногласия.
Таня глубоко вздохнула и неожиданно для себя рассказала Игорю утреннюю сцену. Рассказав, рассердилась на себя за это, покраснела и нахмурилась. Игорь оживленно подхватил:
— Удивительно наши предки любят придираться к словам. Впопыхах что-нибудь неясно скажешь, пойдут разутюживать. На меня отец взъелся, когда мы из лагеря вернулись. Я прекрасно вел работу в деревне. Ну, докладываю отцу, матери: «Я три колхоза организовал». Он говорит: «Ты организовал?» И начал меня унижать.
— Игорь, ты «Отцы и дети» читал?
— Чье сочиненье? А, да, этого, как его… Нет еще.
— Я тоже еще нет. Соня с чего-то советует проработать…
— Наверно, сама недавно прочитала. Им как что понравится, сейчас и мы прорабатывай.
— Там как будто дело в том, что Базаров — марксист, а родители его — наоборот. А после плачут на могилке.
— Расстраиваться они умеют и без могилки. Особенно матери. Слушай-ка, ты вот что, — прочитай «Войну и мир». Художественное сочинение. Я летом читал. Только несколько длинно. И охота узнать, что дальше, и прямо устаешь. Замучился, но прочитал. Интересно.
— Игорь, а я иногда страницы пропускаю.
Игорь поправил на голове шапку, отвел глаза в сторону:
— Я тоже кое-что несущественное промахнул, а вообще — нет, не следует. Я не пропускаю. Ну, пока.
— А ты мне обещал по математике объяснить.
— Я к тебе вечерком загляну. Вообще не расстраивайся.
Игорь свернул в боковую улицу. Зажигались огни. Они возникали четко, будто являлись на дозор, следить, куда уходит отслуживший день. Воздух — во власти ни света, ни темноты, а странного их соединенья — казался зыбким. Громкое дыханье машин, везущих людей или многообразную для них кладь, истеричное, всегда неожиданное взваниванье трамваев, отдаленное зычное оханье паровозов, заводские гудки, неизмеримо слабый в сравнении с ними, но повсеместный, непрерывный человеческий голос — весь этот слитый шум большого города стлался далеко и гулко окрест, как запуганный рев сильного чудовища. В утробе города в эти сумеречные часы самодовлеюще жили только маленькие дети и необрачившиеся влюбленные. Люди другой поры, подвластной воспоминаньям, испытывали тоскливое чувство разобщенности с миром. Отчетливо ложились перед ними грани своей, отдельной человеческой судьбы. И Таня показалась себе самой всеми забытой, утомленной. Девочка плелась, пришаркивая на ходу подошвами. На крышах лежал некрасивый снег. Встречные тоже не нравились Тане.

II

Дверь Тане открыл Александр Андреевич. У него было измученное лицо. Тане он улыбнулся устало. Но все же улыбнулся. Значит, забыл и «основоположника», и все другие ошибки. Милый отец! Таня подпрыгнула и крепко обняла его за шею.
— Ну-ну, хорошо! Что ты так поздно?
— У нас была Надежда Константиновна… По нашему советскому обычаю, пошли сниматься.
В дверях столовой показалась Соня:
— Иди, иди! Есть хочу, обедаем.
— Все вместе сегодня? Вот роскошное житье!
Семья собиралась за столом не часто. У каждого был свой труд, свои заседания, друзья и встречи. Соня уходила на работу раньше всех. Бывали дни, когда Таня совсем не видела ее. Может быть, поэтому девочка жила с молоденькой мачехой в большом согласье. Но чувство любви к ней было совсем иным, чем к отчиму. Если б тоненькая Соня, с ее милым лицом, простой, неяркой шутливостью, с ее неуменьем долго страдать или сердиться, вдруг исчезла из Таниной жизни, девочка горевала бы сильно. Утрату Сони она перенесла бы

трудней, чем исчезновенье из совместной жизни родной матери. И все же горе не было бы столь глубоко, не образовало бы такой, всю жизнь ощутимой недостачи, как при утрате Александра Андреевича. Сама Таня об этом никогда не думала. Александр Андреевич вдруг понял это сейчас, встретив доверчивый, сияющий взгляд дочери.
— Папа, что такое «грех»?
Он машинально переспросил:
— Грех? Разве ты не знаешь?
И вдруг осознал всю значительность этого незнанья. Таня выросла без религии, как и без родителей по плоти. Она совсем новый человек в новой стране.
— Разве в книжках ты не читала?
— Я как-то не замечала в них такого слова. А сегодня Нинка говорит — грех тебе будет.
Подыскивая выраженья, Александр Андреевич не очень ясно объяснил:
— Грех — понятие религиозное. По установкам нашей морали, грех — это преступленье перед революцией, перед классом.
— Эта Нинка — просто злая дрянь! Тварь я буду, если мне когда-нибудь можно будет сказать: грех тебе.
Соня сморщила маленький чистый лоб.
— Таня, выбирай выраженья…
Александр Андреевич перестал слышать их разговор. Он думал:
«Мы совершили не только физическую и экономическую революцию. Мы совершили уже психологическую. Этих детей трудно возвратить в мир капиталистических понятий». Он подумал и о том, что в его привязанности к девочке была доля самопохвалы, высокая оценка способности любить чужого ребенка, как своего собственного.
Вот именно этого понятья «собственный» для девочки не существовало никогда. Она не знала не только собственных домов, она не знала даже долголетних квартир. Она не знала времени, когда семья, свой род служил противопоставленьем чужому. Она не знала, что такое кровные узы. Она многого не знала, что считалось естественным или неестественным еще так недавно. Но чувствует она совершенно естественно и цельно. Этот человек охранял мое детство, воспитывает, учит, живет со мной, я его люблю, — он мой отец. Тем труднее будет ей объяснить, что если он и ошибся, то не враг он ей. Большая область старого бытия, отложившего на нем свой пленительный и злой груз, ей непонятна. Как всякий совершенно новый человек, она мыслит прямолинейно. И вообще, черт знает, как трудно теперь с детьми! Присущий всему молодому эгоцентризм, конечно, действителен и для них, как был присущ самому Александру Андреевичу в отрочестве и юности. Но они его как-то сочетают с непререкаемым авторитетом родителей и учителей. Да, если эти родители и учителя — их единомышленники. Таня в некоторых отношениях — ребячливая двенадцатилетняя девочка прошлого. Но именно во внутренних своих установках она устойчива не по-детски. Чувство ответственности перед коллективом у них велико. Пресловутое чувство локтя! Раньше дети были другими, несомненно. Ему тяжело оскорбить ее любовь к нему не только потому, что привык он к этой любви. Ему тяжело оскорбить в ней именно этого нового человека. Александр Андреевич отодвинул тарелку и закурил. Соня укоризненно потянула его за рукав.
— Что это ты? Почему не ешь?
— Не хочу, дайте чаю. Голова болит.
Жена просительно улыбнулась:
— Если можно, вызови машину, прокатимся на часок за город. Тебе надо освежиться.
Александр Андреевич нахмурился, скулы его чуть порозовели. Он подумал со страшным злорадством:
«Вот завтра вам покажут машину!»
Но вслух сдержанно сказал:
— Не могу. Я буду работать. А Сычева не пускайте ко мне, если придет.
Таня покачала головой:
— Да, его не пустишь! Он упрямый, как наш Кимка Шмидт. Папа, ведь Второй съезд РСДРП состоялся в Лондоне, в тысяча девятьсот третьем году! А Кимка засыпался, в тысяча девятьсот втором, из самолюбья так на своем и стоит.

— А ты вот из самолюбья хвастаешься шпаргалочными сведеньями. Ведь истории прошлого совсем не знаешь. Ну-ка, скажи, про крепостное право ты что-нибудь знаешь?
— Знаю. Это когда Петр Великий…
Александр Андреевич усмехнулся:
— Из всего прошлого ты, кажется, про Петра Великого только слышала.
Таня покачала головой:
— Как не так!.. А еще Николай, которого мы свергли. Еще какие-то были… крестьянам волю без земли. Нет, вообще, папа, я неплохо учусь. Но, конечно, про всех про Николаев да Людовиков устанешь читать. Нам нужно партитурное чтенье. Так нам сказал…
Соня засмеялась. Александр Андреевич ласково смазал Таню рукой по лицу:
— Глупа ты еще, девица! Партитурное.
И, как будто в Таниных смутных знаниях по истории таилось для него какое-то облегченье, он взглянул на девочку светлей. Он встал, чтобы уйти, но невольно задержался. Сегодня он боялся одиночества. Домашняя работница, Елена Михеевна, принесла чай. Соня услужливо освободила конец стола. Она всегда немного робела перед этой сухощавой светло-русой женщиной с темными, горячими глазами. А Таня ее не любила. Она переносила присутствие Елены Михеевны, как неизбежную непогоду. Поворчит да скроется. И Елена Михеевна враждовала с Таней. Она никак не могла сердцем принять, что «чужеродное дитя» занимает столь большое место в семье. Но недружелюбье свое начала проявлять открыто недавно, после одного горячего спора с девочкой о боге. Тогда Александр Андреевич недовольно посоветовал дочери:
— Ну ты, воинствующая безбожница, учись подходить к людям…
В их быту и еда, и чистота, и целость одежды зависели от большой старательной работы Елены Михеевны. Александр Андреевич говорил, что, если она их покинет, им останется одно: переселиться в асфальтовый котел, на иждивенье к беспризорникам. И Елена Михеевна ценила его бережное отношение к себе. Она увидела, что сегодня он чем-то огорчен, устал, чувствует себя больным. Подавая ему стакан крепкого горячего чая, как он любил, Елена Михеевна ласково сообщила:
— Сычев приходил, я в комнаты не допустила. Вам отдохнуть надо. Я сказала: «Хозяев нет, и не пущу».
Таня враждебно, хотя стараясь выговаривать не особенно внятно, проговорила:
— «Не допустила», «хозяев». Скоро у нас будет, как в «Крокодиле» напечатано: «Барин на ячейку ушли».
Щеки у Елены Михеевны вспыхнули:
— Меня, Танечка, переучивать поздно. Я старый человек. И довольно некрасиво с вашей стороны.
Таня постаралась смолчать, но, встретив сухой взгляд нелюбимых глаз, не смогла:
— И старой вы себя не считаете. Как собираетесь куда, так сколько времени перед зеркалом… Потом и старее люди есть, а бога им не надо.
Соня с упреком спросила:
— Таня, это что такое?
Александр Андреевич крикнул сердито:
— Замолчи сейчас же!
Елена Михеевна шумно собирала со стола грязные тарелки. В глазах у нее выступили слезы, голос пресекался:
— Они еще жизни не знают. Попрекают меня, что не могу от веры в бога отказаться. Ну, не могу и не могу! Их еще на свете не было, когда мне, кроме бога, некому было пожаловаться. Я за Советскую власть хоть на смерть пойду, а вот бога не могу отрицать… Они думают, что, если я кухарка…
— Да разве я про это говорю? Я про вашего бога. Про кухарку Ленин сказал…
— Ленин всякого трудящегося человека уважал, а вы на готовенькое пришли, а домашних работниц считаете все равно что грязь…
— Неправда! Неправда же!
— Таня!
Александр Андреевич выговорил устало:
— Елена Михеевна, успокойтесь. Все это пустяки.

— Для меня не пустяки. Хоть и бог для меня — не пустяки, но и Советская власть не пустяки! Я при этой власти вторую ступень на курсах кончаю, а прежде…
— А я про что говорю? Вы теперь больше меня, может быть, прошли, а все богу молитесь…
— Я не знаю, что вы в школе прошли, а дома трудящихся презираете. Я вас просила на пол карандаши не очинять и бумажки не раскидывать…
— Да я подберу, сама подмету! Я сама себе все должна… Елена Михеевна! Ну, если я за ней побегу, она еще больше запсихует.
Александр Андреевич удержал ее за плечо:
— Ладно, сиди. Откуда, действительно, у тебя такой тон? А?
Соня неожиданно улыбнулась.
— Уж очень ты ее зеркалом обидела. И, главное, зря. Она не кокетка. Недавно представлялся случай выйти замуж, никак не хочет. Терпеть не может мужчин!
Таня упрямо покачала головой:
— Лучше бы она бога не терпела, а завела себе пятерых мужьев. От мужьев только ей забота, а от бога кругом — предрассудки.
Соня уже не сдержала звонкого смеха:
— Пятерых! Таня!
Сумрачно усмехнулся и Александр Андреевич, но девочка, глотая слезы, поперхнулась. Подняв на отчима блестящий от слез, но твердый взгляд, она сказала:
— У меня, может быть, грипп. Что-то глаза слезятся. И вообще весь день неудачный.
Таня быстро выбежала из комнаты. Соня пошла за ней. Александр Андреевич забарабанил пальцами по столу. Какие неудачные дни еще ждут бедную девочку! Он вспомнил первую встречу с ребенком, Тане шел от роду третий год. С ее матерью, Натальей Сергеевной, тогда его женой, он в первый раз пришел к ним на квартиру. Электричество было испорчено. Комнату освещал слабый свет оплывшей свечи, воткнутой в бутылку. Нянька готовила в кухне чай. Девочка сидела в большом кресле одна. Большими безбоязненными глазами она следила за темными тенями в глубине комнаты. Ее часто оставляли одну, иона привыкла не бояться ни темноты, ни тишины. Мать взяла ее на руки, осыпала горячими виноватыми поцелуями и поднесла к Александру Андреевичу:
— Вот твой отец.
Девочка покачала непричесанной головкой и заявила степенно:
— У меня отца нет.
Наталья Сергеевна засмеялась и всхлипнула, снова принялась ее целовать.
— Не было! А теперь есть! Мы будем жить втроем, жить очень, очень хорошо!
В дверь постучали. Пришел монтер. Мать опустила девочку на пол и заговорила с ним. Вдруг Таня дернула ее за платье. Наталья Сергеевна наклонилась к ней:
— Что, детка, что?
Ребенок спросил спокойно и громко, указывая на монтера:
— Мама, это тоже отец?
Очевидно, ей казалось естественным, что из необычной сегодняшней темноты должны являться неведомые отцы. Александр Андреевич посадил ее к себе на колени. Она долго внимательно смотрела ему в рот, когда он говорил с ней. Потом девочка потрогала своим пальчиком его губы и спросила:
— А где ты был, когда тебя не было?
При этом воспоминании сердце Александра Андреевича сжалось от нежности и тоски. Он сам не понял, что сказал в ответ вошедшей Соне.
III
Прошла неделя. Пионеры писали письмо Максиму Горькому. Как во всех ответственных письменных выступлениях организации руководил Игорь Серебряков. Широко расставив руки, он почти лежал на столе. Правая щека у него была запачкана чернилами. Левой рукой он разглаживал наморщенный потный лоб. Долго стоял спор о том, как обращаться к Алексею Максимовичу: на «ты» или на «вы». Игорь убеждал:
— Он для нас все равно партиец. А потом даже у буржуазного поэта не пустое «вы», а сердечное «ты».

Из-за спины Игоря тоненьким, рассудительным голоском Леонтина Кочергина поправила его:
— Так это же романс, он еще обидится.
Игорь с сердцем отодвинул ее локтем:
— Не дыши в ухо, романс! Зачем вчера кудри завила?
Темноволосая девушка, из-за стройности казавшаяся выше своего среднего роста, строго придержала его за локоть:
— Что за грубости в пионерской среде, Игорь?
— Ничего не грубости, а дайте же посоветоваться! Если на «вы», то как же выйдет: «Мы вас любим, потому что верим…» Гораздо тверже выходит: «Мы тебя любим, потому что верим тебе целиком и полностью».
Таня громко крикнула:
— Нет, нет! Слишком интеллигентски: любим, верим. Может, лучше выйдет: «Мы прислушиваемся к каждому твоему слову…»
Игорь сердито пробормотал:
— Что тут прислушиваться, уж зря не скажет!
Ким ядовито спросил:
— А ты разве его не любишь?
Таня, зардевшись сердитым румянцем, встала со своего места и подошла к мальчикам. Она не любит самого большого пролетарского писателя, своего писателя!
— Как ты смеешь меня оскорблять?
Ким не был по натуре злым, но ему доставляло удовольствие дразнить Таню. Она, во всем искренняя, сердилась горячо. Сейчас он и не подумал о том, какую боль он причинит девочке.
Он потянул ее за платье и сказал насмешливо и громко: — Ничего удивительного! У тебя с папочкой, кажется, другие вкусы.
Чувствуя, что над ней сбывается какое-то несчастье, Таня испугалась этого внезапного напоминанья о «папочке». Пожалуй, в первый раз за свою сознательную жизнь она не решилась потребовать объяснения. Она стояла около Игоря, постепенно бледнея и не зная, что ей делать. Та же высоконькая, темноволосая девушка Лиза, что запретила Игорю грубить Леонтине, подошла к Тане. Она стала перед ней почти вплотную, как бы желая закрыть ее от глаз детей.
— Товарищи, Таня Русанова — наш ничем не опороченный товарищ. Она сама сделает нужные выводы. Она сама сообщит нам о деле своего отца. Ким, травить отцом не только преждевременно, а вообще…
Таня переспросила почти беззвучно:
— Травить моим отцом?
Девушка повернула ее за плечи, сердито шепча:
— Ты не читала сегодня «Правды»?
Хрупкая, оттого сладчайшая, надежда на короткое время облегчила сердце Тани: «Ребята берут меня на пушку, чтоб я ежедневно газеты читала». Проходя около Кима, она даже сказала ему неуверенно задорным голоском:
— А ты знаешь, отчасти ты дурак.
— То есть как же это?
— Вообще.
Вспомнив об этом, теперь она еще ниже опустила голову. Игорь хмуро подал ей «Правду». Они заперлись в маленькой комнате, где обычно работала редакция школьной газеты. Их было пятеро. Пионервожатый Лиза, Игорь, Таня и братья Крицкие, очень похожие друг на друга близнецы, оба активисты. Игорь увидел, что Таня от волненья плохо разбирает строки. Он почему-то пониженным голосом рассказал ей содержание:
— В ущерб государственным интересам он стремился сохранить свое хозяйство. Ну, понятно, не свое личное! Совхозы своего треста. Вообще, я полагаю, трестовиков надо почаще проверять. Работа такая… хозяйственная. Ну, понятно, не растратчик он! Личная корыстная заинтересованность не отмечается в постановлении. Но, видишь, он оставил в совхозах скрытый хлеб. На прокорм для своего трестовского совхозного скота. А

государство? Понимаешь, тут всякие могут быть мотивы! Вообще, понимаешь, явный оппортунист.
Внешне Таня казалась спокойной. Руки ее сразу перестали дрожать. Серые глаза смотрели в лица товарищей сурово и прямо. Только сквозь тонкую кожу лица не видно стало ни кровинки, побелели и губы. Но ей казалось, что она дрожит, так беспокойно приливала к сердцу кровь. Все волновавшие девочку разнообразные чувства в мыслях выливались в одно:
«Уцелеет или не уцелеет?»
И ни на одно мгновение, ни в каком темном инстинкте ни разу не сказалась эта мысль как боязнь за служебное положение отца или страх грозящей материальной необеспеченности. Таня естественным считала, что ее, невзрослую, кормят и одевают. Она была убеждена, что всегда накормят и оденут. Начальнические и неначальнические ранги для нее были равны. Александр Андреевич с малолетства не позволял ей пользоваться его общественными преимуществами. Он доходил в этом до мелочности. Девочку, как и жену его, никогда и никуда не возили на его трестовской машине. Лишь иногда, когда он слишком уставал и на какой-нибудь час ездил сам за город, он брал их с собой. Однажды Таня попросила у него для школы из треста фанеры. Отец сильно рассердился:
— Не разыгрывай из себя ответственной дочери! Таким путем твоя школа от меня никогда ничего не получит.
В этом сказывалась и показная строгость к себе как к начальнику. Но для Тани такие правила были благотворны. Она знала, что не все живут хорошо в бытовом отношении. Но, не испытав нужды, не думала о ней и не боялась даже ее. Свое «уцелеет» она относила лишь к одному: «Оставят ли отца членом партии». Большее число часов своей жизни девочка проводила в коллективе. И семья их не была замкнутой в тесном мире личного сообщества. Беспартийный представлялся ей каким-то хилым единоличником в общественной жизни. Как же отец, папа, станет таким? Не может быть, не бывает! Нет, нет, не будет так! Разве это можно? Вообще все происходило как во сне. И дома, и улицы, и дверь в квартиру, такая знакомая, показались ей нереальными. Молодое, свежее сердце отказывалось верить тоске. Впустив Таню, Елена Михеевна укоризненно сказала ей:
— Что это у вас чулки спустились, как у тетки? Подтяните.
Ворчливое замечание Елены Михеевны, столь привычное в ее обращении с девочкой, вызвало у Тани впервые в жизни тоску о прошедшем. Даже малоприятное показалось ей милым в нем. Пускай бы только все осталось, как было! Вечно женственным движеньем она туго натянула чулки, держась очень прямо, вошла в комнату; Александр Андреевич, серый лицом, с беспокойными глазами, зачем-то встал ей навстречу, потом торопливо и ненужно сел на другой стул. Соня плакала у окна. Обычно слезы у ней высыхали быстро, а теперь нос распух. Давно плачет. По комнате, легко нося длинное тело, ходила Танина мама, Наталья Сергеевна. Как-то всегда случалось так, что приходила она к Русановым во дни неприятностей или с собой приносила печаль. Она не чувствовала себя удовлетворенной ни личной жизнью, ни искусством. Оттого часто страдала искренне и тяжело для окружающих. От нее и пахло всегда печальными духами и вином, как от увядающих в стакане цветов. На ходу она поцеловала дочь. Ощутив этот знакомый запах, Таня совсем сникла. Бледненькая и очень усталая, она прижалась к дверному косяку. Александр Андреевич спросил ее несколько хрипло:
— Ну?
Таня, потупившись, молчала. Простым, добрым сердцем Соня поняла, какое большое крушение доверия, надежд и понятий происходит сейчас в душе девочки. Эти внезапно бледнеющие, потускневшие детские лица, что может быть горше! Она быстро подошла, хотела обнять и увести девочку, но Таня еще судорожнее уцепилась за косяк. Александр Андреевич неловко закурил и заговорил неохотно, нервно:
— Будет разыгрывать из себя малютку. Если ты хочешь что-нибудь сказать или спросить, так спрашивай.
Наталья Сергеевна рассердилась:
— Да что вы, действительно? О чем с ней разговаривать? Она же, конечно, еще малютка. Иди, Таня, умойся и полежи. Не твое дело — судить отца.
Таня резко повернулась к матери:

— Как не мое? Я ему никогда не говорила неправды! И все ребята наши знают, что я немедленно засыплюсь, если солгу. А ты зачем же мне все неправду говорил?
Сердито откашлявшись, Александр Андреевич постарался говорить возможно ровней и суше:
— Я учил тебя всегда говорить правду, я! И тебе я не лгал и вообще не лживый человек… Но ты меня поймешь только тогда, когда к тебе придут свои сложности.
Долго сдерживаемые слезы вдруг прорвались у Тани. Они сразу обильными струями потекли по лицу. Она торопливо вытерла их о плечо и обеими руками.
— А… у меня разве их нет? Лиза Борщенкова… от пионеров вызвала отца на соревнование. Он слесарь и плохо работал. А он взял да изругался, нехорошо ругался, и лист не подписал, а изорвал. И даже ударил ее. Она и говорит: «Товарищи, как же я с ним буду жить?» А если б… ты лучше меня ударил, а ты сам всадился… в оппортунисты.
Наталья Сергеевна всплеснула руками:
— Это чудовищно! Взрослые отвечают за вас, а не вы за них. Как ты смеешь?
Громко всхлипнув, Таня отозвалась уже спокойнее и строже:
— Мы все друг за друга отвечаем. Мы не капиталисты, чтобы вразброд…
IV
Эти два месяца были тяжелыми для Тани. Отца не лишили партийного билета. Ему дали безвыездный и неизвестно на какой срок отпуск. На собраниях, в учреждениях и в профсоюзах обсуждали его поведение. В газетах почти ежедневно было укоризненное упоминание о Русанове. Александр Андреевич похудел. В волосах его выступила явная седина. Но, узнав, что из партии его не исключат, он значительно успокоился. Чтоб как-нибудь убить тяжкий досуг, он усиленно занимался английским языком, математикой и много читал даже из беллетристики. Многое он и передумывал за это время. Особенно после разговора с Таней, когда он старался ей объяснить известное его возрасту положение, что не ошибаются только равнодушные. Девочка его не поняла. Он размышлял, почему не поняла. И, будучи честным, увидел, что корни его ошибки глубже, чем в словесных объяснениях. Таня чует это. Она чувствует, что все же он считает себя по существу правым. А ее закон — прям. Если ты уличен в неправоте и все-таки считаешь себя правым, — значит, ты враг. В чем же его неправота? Он искал и находил в себе многое, уже ненужное и даже вредное этому новому, Таниному миру. Оно таилось иногда в мелочах: в еле уловимых оттенках славянофильства; в любви к дико тоскливым проголосным русским песням, нагнетающим вялую скорбь, в том, что ему нравился мужик типа толстовского Платона Каратаева, иногда становилось жалко прежней, невозделанной русской шири, оттого, что иногда взгляд его становился радостным при виде кривой, маломощной ветряной мельницы на опушке заросшего леса. Все эти обвинения, выраженные в словах, звучали тупо. Казалось, даже снижали красочность мира и жизни. Тем не менее он понял, что пионерам совершенно нового бытия являются врагами иногда и простой мирный пейзаж, и высокое в своей первооснове чувство любви ко всем людям. С Таней об этом не говорил. Сложность всех этих переживаний была, конечно, еще недоступна ей. Отношенья у них установились ровные, но как будто между ними встала прозрачная, а все же перегородка. Отчетливо это сказывалось в том, что Таня теперь скупо рассказывала ему о делах своей пионерской организации, а раньше надоедала ими. И вообще она сделалась как-то сразу взрослее. Мир уже вставал перед ней не четко разграниченным, а в сложном переплете света и теней. Случай с отцом научил ее видеть многое, чего девочка раньше просто не замечала.
Наконец, через два месяца, Александр Андреевич получил направление на новую работу. Его послали за границу на торговую работу. Соню не отпустил Московский комитет партии, и Александр Андреевич уезжал один. В день отъезда пришла проводить и Наталья Сергеевна. Она размахивала каким-то листком:
— Знаешь, твое назначение очень удачно. Там пойдет моя опера. И ты мне поможешь. Я — советский композитор. Придется выступать и с речами.
Таня замахала руками:
— Ой, мама, не надо! Брякнешь еще что-нибудь мелкобуржуазное. Ты лучше здесь поговоришь, мы поправим.
Все засмеялись, а Александр Андреевич сказал:

— Ну, вот и приезжай ее там поправлять. Приедешь, а? Ты ведь меня не забудешь?
Таня подняла на него свои искренние глаза и сказала совсем тихо:
— Я бы тебя и тогда не забыла, папа. Только моя жизнь тогда стала бы несчастливая.
Он понял, что она хотела сказать этим «тогда», и как оно еще страшит ее в воспоминаниях. Он крепко поцеловал ее, с влажно блеснувшими глазами. Когда девочка зачем-то вышла из комнаты, он попросил старших женщин:
— Берегите девочку. А ты особенно, Наталья Сергеевна, иногда уж очень к ней неумело подходишь. Ты не права, они имеют право судить нас, им жить по нашим установкам. Для них мы возводим леса…
Увидев возвратившуюся Таню, он весело закончил:
— Вот и вознаграждают нас они то красным галстуком почетного пионера, то рогожным знаменем.
Летом Таня поехала к отцу за границу. Накануне вечером они гуляли с Игорем по Москве. Игорь наставительно говорил:
— Без дела не вылезай, там пионеры в жестких тисках. Но все-таки не забывай и об организации. А то ведь вы, женщины, там шляпки, тряпки, ах, крепдешин дешевый.
Таня укоризненно покачала головой:
— Ну, что ты, Игорь, разве я такая?
Игорь взглянул искоса на чистую, ровную линию лба и носа, увидел сразу и легкую походку, и яркий серый глаз. Сердце у него учащенно забилось. Девочка остановилась. Они пришли к ее дому. Игорь крепким пожатием взял ее руку и сказал взволнованно и хмурясь:
— Нет, ты не такая. Ты хорошая. И вообще для меня — самая хорошая из женщин. И всегда будешь самая лучшая…
Таня покраснела и осторожно потянула свою руку. Игорь круто повернулся и пошел. Не оглядываясь, он крикнул:
— Так завтра, на вокзале! С дороги обязательно напиши мне!
Он скрылся за углом. Девочка постояла, посмотрела ему вслед и ушла. Только что скрылась она в дверях подъезда, из-за угла снова вышел Игорь. Он посмотрел на опустевшую панель с ощущением сладостной боли, с тем чувством, которое осознается лишь в зрелости, а в первоначальной своей чистоте никогда не повторится.
Игорь получил письмо от Тани с дороги. Множество кривых, написанных карандашом строк лепилось на небольшом листе. Содержание его тоже было беспорядочно. Между прочим, она писала:
«Игорь, обязательно учи языки, хорошенько учись, всех ребят заставляй! У меня какой нехороший случай вышел. Дипкурьер, с которым я еду, не захотел завтракать. Я пошла с билетиком в ресторан одна. Села, понимаешь, а ихний подавальщик в форме не подает мне есть, а все чего-то говорит, говорит. Я сижу, а все на меня смотрят, хоть провалиться. Сижу, краснею, краснею и не знаю, что делать. Потом какой-то заграничный дядька, немножечко знающий по-русски, объяснил мне, что у меня билетик на второй завтрак. А то сижу, сердце ноет, мучительно вспоминаю дер офен, дас фенстер, ди диле, а у самой даже спину ломит. Пожалуйста, учитесь! Зачем давать мировой буржуазии возможность смеяться над нами?!»
Совсем сбоку мелкими буковками было приписано: «Ты для меня тоже очень хороший».

1934

Андрей Платонов

Фро

Он уехал далеко и надолго, почти безвозвратно. Паровоз курьерского поезда, удалившись, запел в открытом пространстве на расставание: провожающие ушли с пассажирской платформы обратно к оседлой жизни, появился носильщик со шваброй и начал убирать перрон, как палубу корабля, оставшегося на мели.

— Посторонитесь, гражданка! — сказал носильщик двум одиноким полным ногам.

Женщина отошла к стене, к почтовому ящику, и прочитала на нем сроки выемки корреспонденции: вынимали часто, можно писать письма каждый день. Она потрогала пальцем железо ящика — оно было прочное, ничья душа в письме не пропадет отсюда.

За вокзалом находился новый железнодорожный город; по белым стенам домов шевелились тени древесных листьев, вечернее летнее солнце освещало природу и жилища ясно и грустно, точно сквозь прозрачную пустоту, где не было воздуха для дыхания. Накануне ночи в мире все было слишком отчетливо видно, ослепительно и призрачно — он казался поэтому несуществующим.

Молодая женщина остановилась от удивления среди столь странного света: за двадцать лет прожитой жизни она не помнила такого опустевшего, сияющего, безмолвного пространства; она чувствовала, что в ней самой слабеет сердце от легкости воздуха, от надежды, что любимый человек приедет обратно. Она увидела свое отражение в окне парикмахерской: наружность пошлая, волосы взбиты и положены воланами (такую прическу носили когда-то в девятнадцатом веке), серые глубокие глаза глядят с напряженной, словно деланной нежностью, — она привыкла любить уехавшего, она хотела быть любимой им постоянно, непрерывно, чтобы внутри ее тела, среди обыкновенной, скучной души, томилась и произрастала вторая, милая жизнь. Но сама она не могла любить, как хотела, — сильно и постоянно; она иногда уставала и тогда плакала от огорчения, что сердце ее не может быть неутомимым.

Она жила в новой трехкомнатной квартире; в одной комнате жил ее вдовый отец — паровозный машинист, в двух других помещалась она с мужем, который теперь уехал на Дальний Восток настраивать и пускать в работу таинственные электрические приборы. Он всегда занимался тайнами машин, надеясь посредством механизмов преобразовать весь мир для блага и наслаждения человечества или еще для чего-то — жена его точно не знала.

По старости лет отец ездил редко. Он числился резервным механиком, заменяя заболевших людей, работая на обкатке паровозов, вышедших из ремонта, или водя легковесные составы ближнего сообщения. Год тому назад его попробовали перевести на пенсию. Старик, не зная, что это такое, согласился, но, прожив четыре дня на свободе, на пятый день вышел за семафор, сел на бугор в полосе отчуждения и просидел там до темной ночи, следя плачущими глазами за паровозами, тяжко бегущими во главе поездов. С тех пор он начал ходить на тот бугор ежедневно, чтобы смотреть на машины, жить сочувствием и воображением, а к вечеру являться домой усталым, будто вернувшись с тягового рейса. На квартире он мыл руки, вздыхал, говорил, что на девятитысячном уклоне у одного вагона отвалилась тормозная колодка или еще случилось что-нибудь такое, затем робко просил у дочери вазелина, чтобы смазать левую ладонь, якобы натруженную о тугой регулятор, ужинал, бормотал и вскоре спал в блаженстве. Наутро отставной механик снова шел в полосу отчуждения и проводил очередной день в наблюдении, в слезах, в фантазии, в сочувствии, в неистовстве одинокого энтузиазма. Если, с его точки зрения, на идущем паровозе была неполадка или машинист вел машину не по форме, он кричал ему со своего высокого пункта осуждение и указание: «Воды перекачал! Открой кран, стервец! Продуй!», «Песок береги: станешь на подъеме! Чего ты сыплешь его сдуру?», «Подтяни фланцы, не теряй пара: что у тебя — машина или баня?» При неисправном составе поезда, когда легкие пустые платформы находились в голове и в середине поезда и могли быть задавлены при экстренном торможении, свободный механик грозил кулаком с бугра хвостовому кондуктору. А когда шла машина самого отставного машиниста и ее вел его бывший помощник Вениамин, старик всегда находил наглядную неисправность в паровозе — при нем так не было — и советовал машинисту принять меры против его небрежного

помощника: «Веньяминчик, Веньяминчик, брызни ему в морду!» — кричал старый механик с бугра своего отчуждения.
В пасмурную погоду он брал с собой зонт, а обед ему приносила на бугор его единственная дочь, потому что ей было жалко отца, когда он возвращался вечером, худой, голодный и бешеный от неудовлетворенного рабочего вожделения. Но недавно, когда устаревший механик, по обычаю, орал и ругался со своей возвышенности, к нему подошел парторг депо товарищ Пискунов; парторг взял старика за руку и отвел в депо. Конторщик депо снова записал старика на паровозную службу. Механик влез в будку одной холодной машины, сел у котла и задремал, истощенный собственным счастьем, обнимая одной рукой паровозный котел, как живот всего трудящегося человечества, к которому он снова приобщился.
— Фрося! — сказал отец дочери, когда она вернулась со станции, проводив мужа в дальний путь. — Фрося, дай мне из печки чего-нибудь пожевать, а то как бы меня ночью не вызвали ехать…
Он ежеминутно ожидал, что его вызовут в поездку, но его вызывали редко — раз в три-четыре дня, когда подбирался сборный, легковесный маршрут, либо случалась другая нетрудная нужда. Все-таки отец боялся выйти на работу несытым, неподготовленным, угрюмым, поэтому постоянно заботился о своем здоровье, бодрости и правильном пищеварении, расценивая сам себя как ведущий железный кадр.
— Гражданин механик! — с достоинством и членораздельно говорил иногда старик, обращаясь лично к себе, и многозначительно молчал в ответ, как бы слушая далекую овацию.
Фрося вынула горшок из духового шкапа и дала отцу есть. Вечернее солнце просвечивало квартиру насквозь, свет проникал до самого тела Фроси, в котором грелось ее сердце и непрерывно срабатывало текущую кровь и жизненное чувство. Она ушла в свою комнату. На столе у нее была детская фотография ее мужа; позже детства он ни разу не снимался, потому что не интересовался собой и не верил в значение своего лица. На пожелтевшей карточке стоял мальчик с большой, младенческой головой, в бедной рубашке, в дешевых штанах и босой; позади него росли волшебные деревья, и в отдалении находились фонтан и дворец. Мальчик глядел внимательно в еще малознакомый мир, не замечая позади себя прекрасной жизни на холсте фотографа. Прекрасная жизнь была в самом этом мальчике с широким, воодушевленным и робким лицом, который держал в руках ветку травы вместо игрушки и касался земли доверчивыми голыми ногами.
Уже ночь наступила. Поселковый пастух пригнал на ночлег молочных коров из степи. Коровы мычали, просясь на покой к хозяевам: женщины, домашние хозяйки, уводили их ко двору — долгий день остывал в ночь; Фрося сидела в сумраке, в блаженстве любви и памяти к уехавшему человеку. За окном, начав прямой путь в небесное счастливое пространство, росли сосны, слабые голоса каких-то ничтожных птиц напевали последние, дремлющие песни, сторожа тьмы, кузнечики, издавали свои короткие мирные звуки — о том, что все благополучно и они не спят и видят.
Отец спросил у Фроси, не пойдет ли она в клуб: там сегодня новая постановка, бой цветов и выступление затейников из кондукторского резерва.
— Нет, — сказала Фрося, — я не пойду. Я по мужу буду скучать.
— По Федьке? — произнес механик. — Он явится: пройдет один год — и он тут будет… Скучай себе, а то что ж! Я, бывало, на сутки, на двое уеду — твоя покойница мать и то скучала: мещанка была!
— А я вот не мещанка, а скучаю все равно! — с удивлением проговорила Фрося. — Нет, наверное, я тоже мещанка…
Отец успокоил ее:
— Ну, какая ты мещанка!.. Теперь их нет, они умерли давно. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были…
— Папа, ступай в свою комнату, — сказала Фрося. — Я тебе скоро ужинать дам, я сейчас хочу быть одна…
— Ужинать сейчас пора! — согласился отец. — А то кабы из депо вызывальщик не пришел: может, заболел кто-либо, запьянствовал или в семействе драма-шутка, мало ли что. Я тогда должен враз явиться: движение остановиться никогда не может!.. Эх, Федька твой на курьерском сейчас мчится, зеленые сигналы ему горят, на сорок километров вперед ему

дорогу освобождают, механик далеко глядит, машину ему электричество освещает — все как полагается!
Старик мешкал уходить, топтался и бормотал свои слова дальше: он любил быть с дочерью или с другим человеком, когда паровоз не занимал его сердца и ума.
— Папа, ступай ужинать! — велела ему дочь, она хотела слушать кузнечиков, видеть ночные сосны за окном и думать про мужа.
— Но, на дерьмо сошла! — тихо сказал отец и удалился прочь.
Накормив отца, Фрося ушла из дому. В клубе шло ликование. Там играла музыка, потом слышно было, как пел хор затейников из кондукторского резерва: «Ах, ель, что за ель! Ну что за шишечки на ней!» «Ту-ту-ту-ту: паровоз, ру-ру-ру-ру: самолет, пыр-пыр-пыр-пыр: ледокол… Вместе с нами нагибайся; вместе с нами подымайся, говори, ту-туру-ру, шевелися каждый гроб, больше пластики, культуры, производство — наша цель!..»
Публика в клубе шевелилась, робко бормотала и мучилась, ради радости, вслед за затейниками.
Фрося прошла мимо; дальше уже было пусто, начинались защитные посадки по сторонам главного пути. Издали, с востока, шел скорый поезд, паровоз работал на большой отсечке, машина с битвой брала пространство и светила со своего фронта вперед сияющим прожектором. Этот поезд встретил где-то курьерский состав, бегущий на Дальний Восток, эти вагоны видели его позже, чем расставалась Фрося со своим любимым человеком, и она теперь с прилежным вниманием разглядывала скорый поезд, который был рядом с ее мужем после нее. Она пошла обратно к станции, но, пока она шла, поезд постоял и уехал; хвостовой вагон исчез во тьму, забывая про всех встречных и минувших людей. На перроне и внутри вокзала Фрося не увидела ни одного незнакомого, нового человека — никто из пассажиров не сошел со скорого поезда, не у кого было спросить что-нибудь про встречный курьерский поезд и про мужа. Может быть, кто-нибудь видел его и знает что!
Но в вокзале сидели лишь две старушки, ожидавшие полуночного поезда местного сообщения, и дневной мужик опять мел ей сор под ноги. Они всегда метут, когда хочется стоять и думать, им никто не нравится.
Фрося отошла немного от метущего мужика, но он опять подбирался к ней.
— Вы не знаете, — спросила она его, — что курьерский поезд номер второй, он благополучно едет? Он днем уехал от нас. Что, на станцию ничего не сообщали о нем?
— На перрон полагается выходить, когда поезд подойдет, — сказал уборщик. — Сейчас поездов не ожидается, идите в вокзал, гражданка… Постоянно тут публичность разная находится, лежали бы дома на койках и читали газету. Нет, они не могут — надо посорить пойти…
Фрося отправилась по путям, по стрелкам — в другую сторону от вокзала. Там было круглое депо товарных паровозов, углеподача, шлаковые ямы и паровозный круг. Высокие фонари ярко освещали местность, над которой бродили тучи пара и дыма: некоторые машины мощно сифонили, подымая пар для поездки, другие спускали пар, остужаясь под промывку.
Мимо Фроси прошли четыре женщины с железными совковыми лопатами, позади них шел мужчина — нарядчик или бригадир.
— Кого потеряла здесь, красавица? — спросил он у Фроси. — Потеряла — не найдешь, кто уехал — не вернется… Идем с нами транспорту помогать!
Фрося задумалась.
— Давай лопату! — сказала она.
— На тебе мою, — ответил бригадир и подал женщине инструмент. — Бабы! — сказал он прочим женщинам. — Ступайте становиться на третью яму, а я буду на первой…
Он отвел Фросю на шлаковую яму, куда паровозы очищали свои топки, и велел работать, а сам ушел. В яме уже работали две другие женщины, выкидывая наружу горячий шлак. Фрося тоже спустилась к ним и начала трудиться, довольная, что с ней рядом находятся неизвестные подруги. От гари и газа дышать было тяжело, кидать шлак наверх оказалось нудно и несподручно, потому что яма была узкая и жаркая. Но зато в душе Фроси стало лучше: она здесь развлекалась, жила с людьми — подругами — и видела большую, свободную ночь, освещенную звездами и электричеством. Любовь мирно спала в ее сердце; курьерский поезд далеко удалился, на верхней полке жесткого вагона спал, окруженный

Сибирью, ее милый человек. Пусть он спит и не думает ничего! Пусть машинист глядит далеко вперед и не допустит крушения.
Вскоре Фрося и еще одна женщина вылезли из ямы. Теперь нужно было выкинутый шлак нагрузить на платформу. Швыряя гарь за борт платформы, женщины поглядывали друг на друга и время от времени говорили, чтоб отдыхать и дышать воздухом.
Подруге Фроси было лет тридцать. Она зябла чего-то и поправляла или жалела на себе бедную одежду. Ее сегодня выпустили из ареста, она просидела там четыре дня по навету злого человека. Ее муж служит сторожем, он бродит с берданкой вокруг кооператива всю ночь, получает шестьдесят рублей в месяц. Когда она сидела, сторож плакал по ней и ходил к начальству просить, чтоб ее выпустили, а она жила до ареста с одним полюбовником, который рассказал ей нечаянно, под сердце (должно быть, от истомы или от страха), про свое мошенничество, а потом, видно, испугался и хотел погубить ее, чтоб не было ему свидетеля. Но теперь он сам попался, пускай уж помучается, а она будет жить с мужем на воле: работа есть, хлеб теперь продают, а одежду они вдвоем как-нибудь наживут.
Фрося сказала ей, что у нее тоже горе: муж уехал далеко.
— Уехал — не умер, назад возвернется! — утешительно сообщила Фросе ее рабочая подруга. — А я там, в аресте, заскучала, загорюнилась. Раньше не сидела, не привыкла, если б сидела, тогда и горя мало. А я уж всегда невинная такая была, что власть меня не трогала… Вышла я оттуда, пришла домой, муж мой обрадовался, заплакал, а обнимать меня боится: думает, я преступница, важный человек. А я такая же, я доступная… А вечером ему на дежурство надо уходить, таково печально нам стало. Он берет берданку: «Пойдем, говорит, я тебя фруктовой водой угощу». А у меня тоска идет, не проходит. Я ему велела сходить в буфет одному, пускай уж сладкой воды он один выпьет, а когда соберутся у нас деньги и отляжет от меня тюремная тоска, тогда мы сходим в буфет вдвоем. Сказала я ему, а сама пошла на пути, сюда работать. Может, думаю, балласт где подбивают, рельсы меняют либо еще что. Хоть и ночное время, а работа всегда случается. Думаю, вот с людьми там побуду, сердцем отойду, опять спокойная стану. И правда, поговорила сейчас с тобой, как сестру двоюродную встретила… Ну, давай платформу кончать — в конторе денег дадут, утром пойду хлеба куплю… Фрося! — крикнула она в шлаковую яму: там работала тезка верхней Фроси. — Много там осталось?
— Не, — ответила тамошняя Фрося, — тут малость, поскребышки одни…
— Лезай сюда, — велела ей жена берданского сторожа. — Кончим скорей, вместе расчет пойдем получать.
Вокруг них с шумом набирались сил паровозы для дальнего пути или, наоборот, остывали на отдых, испуская в воздух свое дыхание.
Пришел нарядчик.
— Ну как, бабы? Кончили яму?.. Ага! Ну, валите в контору, я сейчас приду. А там, — деньги получите, — там видно будет: кто в клуб танцевать, кто домой — детей починать! Вам делов много!
В конторе женщины расписались: Ефросинья Евстафьева, Наталья Букова и три буквы, похожие на слово «Ева», с серпом и молотом на конце, вместо еще одной Ефросиньи, у которой был рецидив неграмотности. Они получили по три рубля двадцать копеек и пошли по своим дворам. Фрося Евстафьева и жена сторожа Наталья шли вместе. Фрося зазвала к себе домой новую подругу, чтобы умыться и почиститься.
Отец спал в кухне, на сундуке, вполне одетый; даже в толстом, зимнем пиджаке и в шапке со значком паровоза: он ожидал внезапного вызова либо какой-то всеобщей технической аварии, когда он должен мгновенно появиться в середине бедствия.
Женщины тихо справились со своими делами, немного попудрились, улыбнулись и ушли. Сейчас уже поздно было, в клубе, наверно, начались танцы и бой цветов. Пока муж Фроси спит в жестком вагоне вдалеке и его сердце все равно ничего не чувствует, не помнит, не любит ее, она точно одна на всем свете, свободная от счастья и тоски, и ей хотелось сейчас немного потанцевать, послушать музыку, подержаться за руки с другими людьми. А утром, когда он проснется там один и сразу вспомнит ее, она, может быть, заплачет.
Две женщины бегом добежали до клуба. Прошел местный поезд: полночь, еще не очень поздно. В клубе играл самодеятельный джаз-оркестр. Фросю Евстафьеву сразу пригласил на тур вальса «Рио-Рита» помощник машиниста.

Фрося пошла в танце с блаженным лицом: она любила музыку, ей казалось, что в музыке печаль и счастье соединены неразлучно, как в истинной жизни, как в ее собственной душе. В танце она слабо помнила сама себя, она находилась в легком сне, в удивлении, и тело ее, не напрягаясь, само находило нужное движение, потому что кровь Фроси согревалась от мелодии.
— А бой цветов уже был? — тихо, часто дыша, спросила она у кавалера.
— Только недавно кончился, почему вы опоздали? — многозначительно произнес помощник машиниста, точно он любил Фросю вечно и томился по ней постоянно.
— Ах, как жалко! — сказала Фрося.
— Вам здесь нравится? — спросил кавалер.
— Ну конечно, да! — отвечала Фрося. — Здесь так прекрасно.
Наташа Букова танцевать не умела, она стояла в зале у стены и держала в руках шляпу своей ночной подруги.
В перерыве, когда отдыхал оркестр, Фрося и Наташа пили ситро и выпили две бутылки. Наташа только один раз была в этом клубе, и то давно. Она разглядывала чистое, украшенное помещение с кроткой радостью.
— Фрось, а Фрось! — прошептала она. — Что же, при социализме-то все комнаты такие будут ай нет?
— А какие же? Конечно, такие! — сказала Фрося. — Ну, может, немножко только лучше.
— Это бы ничего! — согласилась Наталья Букова.
После перерыва Фрося танцевала опять. Ее пригласил теперь маневровый диспетчер. Музыка играла фокстрот «Мой бебе», диспетчер держал крепко свою партнершу, стараясь прижаться своею щекою к прическе Фроси, но Фросю не волновала эта скрытая ласка, она любила далекого человека, сжато и глухо было ее бедное тело.
— Ну, как же вас зовут? — говорил кавалер среди танца ей на ухо. — Мне знакомо ваше лицо, я только забыл, кто ваш отец.
— Фро! — ответила Фрося.
— Фро? Вы не русская?
— Ну конечно, нет!
Диспетчер размышлял.
— Почему же нет? Ведь отец ваш русский: Евстафьев!
— Не важно, — прошептала Фрося. — Меня зовут Фро!
Они танцевали молча. Публика стояла у стен и наблюдала танцующих. Танцевало всего три пары людей, остальные стеснялись или не умели. Фрося ближе склонила голову к груди диспетчера, он видел под своими глазами ее пышные волосы в старинной прическе, и эта ослабевшая доверчивость была ему мила и приятна. Он гордился перед народом. Он даже хотел ухитриться осторожно погладить ее голову, но побоялся публичной огласки. Кроме того, в публике находилась его сговоренная невеста, которая могла ему сделать потом увечье за близость с этой Фро. Диспетчер поэтому слегка отпрянул от женщины ради приличия, но Фро опять прилегла к его груди, к его галстуку, и галстук сдвинулся под тяжестью ее головы в сторону, а в сорочке образовалась ширинка с голым телом. В страхе и неудобстве диспетчер продолжал танец, ожидая, когда музыка кончит играть. Но музыка играла все более взволнованно и энергично, и женщина не отставала от своего обнимающего ее друга. Он почувствовал, что по его груди, оголившейся под галстуком, пробиваются щекочущие капли влаги — там, где растут у него мужественные волосы.
— Вы плачете? — испугался диспетчер.
— Немножко, — прошептала Фро. — Отведите меня к двери. Я больше не буду танцевать.
Кавалер, не сокращая танца, подвел Фросю к выходу, и она сразу вышла в коридор, где мало людей.
Наташа вынесла шляпу подруге. Фрося пошла домой, а Наташа направилась к складу кооператива, который сторожил ее муж. Рядом с тем складом был двор строительных материалов, а его караулила одна миловидная женщина, и Наташа хотела проверить, нет ли у ее мужа с той сторожихой тайной любви и симпатии.
На другой день утром Фрося получила телеграмму с сибирской станции, из-за Урала. Ей писал муж: «Дорогая Фро, я люблю тебя и вижу во сне».

Отца не было дома. Он ушел в депо: посидеть и поговорить в красном уголке, почитать «Гудок», узнать, как прошла ночь на тяговом участке, а потом зайти в буфет, чтобы выпить с попутным приятелем пивца и побеседовать кратко о душевных интересах.
Фрося не стала чистить зубы; она умылась еле-еле, поплескав немного водой в лицо, и больше не позаботилась о красоте своей наружности. Ей не хотелось тратить время на что-нибудь, кроме чувства любви, и в ней не было теперь женского прилежания к своему телу. Над потолком комнаты Фроси, на третьем этаже, все время раздавались короткие звуки губной гармонии; потом музыка утихала, но вскоре играла опять. Фрося просыпалась сегодня еще темным утром, потом она опять уснула, — и тогда она тоже слышала над собой эту скромную мелодию, похожую на песню серой рабочей птички в поле, у которой для песни не остается дыхания, потому что сила ее тратится в труде.
Там, наверху, жил маленький мальчик, сын токаря из депо. Отец, наверно, ушел на работу, мать стирает белье, — скучно, скучно ему. Не поев пищи, Фрося ушла на занятие — на курсы железнодорожной связи и сигнализации.
Ефросинья Евстафьева не была на курсах четыре дня, и по ней уже соскучились, наверно, подруги, а она шла к ним сейчас без желания. Фросе многое прощали на курсах за ее способность к учению, за ее понимание предмета технической науки; но она сама не знала ясно, как это у нее получается, — во многом она жила подражанием своему мужу, человеку, окончившему два технических института, который чувствовал машинные механизмы с точностью собственной плоти.
Вначале Фрося училась плохо. Ее сердце не привлекали катушки Пупина, релейные упряжки или расчет сопротивления железной проволоки. Но уста ее мужа однажды произнесли эти слова, и, больше того, он с искренностью воображения, воплощающегося даже в темные, неинтересные машины, представил ей оживленную работу загадочных, мертвых для нее предметов и тайное качество их чуткого расчета, благодаря которому машины живут. Муж Фроси имел свойство чувствовать величину напряжения электрического тока, как личную страсть. Он одушевлял все, чего касались его руки или мысль, и поэтому приобретал истинное представление о течении сил в любом механическом устройстве и непосредственно ощущал страдальческое, терпеливое сопротивление машинного телесного металла.
С тех пор катушка, мостики Уитстона, контакторы, единицы светосилы стали для Фроси священными вещами, словно они сами были одухотворенными частями ее любимого человека; она начала понимать их и беречь в уме, как в душе. В трудных случаях Фрося, приходя домой, уныло говорила: «Федор, там микрофарада и еще блуждающие токи, мне скучно». Не обнимая жену после дневной разлуки, Федор сам превращался на время в микрофараду и в блуждающий ток. Фрося почти видела глазами то, что раньше лишь хотела и не могла понять. Это были такие же простые, природные и влекущие предметы, как разноцветная трава в поле. По ночам Фрося часто тосковала, что она только женщина и не может чувствовать себя микрофарадой, паровозом, электричеством. А Федор может — и она осторожно водила пальцем по его горячей спине; он спал и не просыпался. Он всегда был почему-то весь горячий, странный, любил тратить деньги на пустяки, мог спать при шуме, ел одинаково всякую пищу — хорошую и невкусную, никогда не болел, собирался поехать в Южный советский Китай и стать там солдатом…
На курсах Евстафьева сидела теперь со слабой, рассеянной мыслью, ничего не усваивая из очередных лекций. Она с унынием рисовала с доски в тетрадь векторную диаграмму резонанса токов и с печалью слушала речь преподавателя о влиянии насыщения железа на появление высших гармоник. Федора не было; сейчас ее не прельщала связь и сигнализация, и электричество стало чуждым. Катушки Пупина, микрофарады, уитстоновские мостики, железные сердечники засохли в ее сердце, а высших гармоник тока она не понимала нисколько: в ее памяти звучала все время однообразная песенка детской губной гармонии: «Мать стирает белье, отец на работе, не скоро придет, скучно, скучно одному».
Фрося отстала вниманием от лекции и писала себе в тетрадь свои мысли: «Я глупа, я жалкая девчонка, Федя, приезжай скорей, я выучу связь и сигнализацию, а то умру, похоронишь меня и уедешь в Китай».

Дома отец сидел обутый, одетый и в шапке. Сегодня его вызовут в поездку обязательно — он так предполагал.
— Пришла? — спросил он у дочери; он рад был, когда кто-нибудь приходил в квартиру; он слушал все шаги по лестнице, точно постоянно ожидал необыкновенного гостя, несущего ему счастье, вшитое в шапку.
— Тебе каши с маслом не подогреть? — спрашивал отец. — Я живо.
Дочь отказалась.
— Ну колбаски поджарю!
— Нет! — сказала Фрося.
Отец ненадолго умолкал; потом опять спрашивал, но более робко:
— Может, чайку с сушками выпьешь? Я ведь враз согрею…
Дочь молчала.
— А макароны вчерашние!.. Они целы, я их тебе оставил…
— Да отстань ты, наконец! — говорила Фрося. — Хоть бы тебя на Дальний Восток командировали…
— Просился — не берут, говорят — стар, зрение неважное, — объяснял отец.
Он боялся, что Фрося сейчас уйдет в свою комнату, а ему хотелось, чтоб она побыла с ним и поговорила, и старый человек искал повода задержать около себя Фросю.
— Что же ты сегодня себе губки во рту не помазала? — спросил он. — Иль помада вся вышла? Так я сейчас куплю, сбегаю в аптеку…
У Фроси показались слезы в ее серых глазах, и она ушла к себе в комнату. Отец остался один; он начал прибирать кухню и возиться по хозяйству, потом сел на корточки, открыл дверку духового шкапа, спрятал туда голову и там заплакал над сковородкой с макаронами.
В дверь постучали, Фрося не вышла открывать. Старик вынул голову из духовки, все тряпки висели грязные, он вытер лицо о веник и пошел отворять дверь.
Пришел вызывальщик из депо.
— Расписывайся, Нефед Степанович: сегодня тебе в восемь часов явиться. — Поедешь сопровождать холодный паровоз в капитальный ремонт. Прицепят к триста десятому сборному, харчей возьми и одежу, ране недели не обернешься…
Нефед Степанович расписался в книге, вызывальщик ушел. Старик открыл свой железный сундук — там уже лежал еще вчерашний хлеб, лук и кусок сахара. Механик добавил туда осьмушку пшена, два яблока, подумал и запер дорожный сундучок на громадный висячий замок.
Затем он осторожно постучал в дверь комнаты Фроси.
— Дочка!.. Закрой за мной, я в рейс поехал — недели на две. Дали паровоз серии «Ща»: он холодный, но ничего.
Фрося вышла не сразу, когда отец уже ушел, — и закрыла дверь квартиры.
— Играй! Отчего ты не играешь? — шептала Фрося вверх, где жил мальчик с губной гармоникой.
Но он отправился, наверно, гулять — стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сонных, блаженных сосен. Музыкант был еще мал, он еще не выбрал изо всего мира что-нибудь единственное для вечной любви, его сердце билось пустым и свободным, ничего не похищая для одного себя из добра жизни.
Фрося открыла окно, легла на большую постель и задремала. Слышно было, как слабо поскрипывали стволы сосен от верхнего течения воздуха и трещал один дальний кузнечик, не дождавшись времени тьмы.
Фрося пробудилась; еще светло на свете, надо было вставать жить. Она засмотрелась на небо, полное греющего тепла, покрытое живыми следами исчезающего солнца, словно там находилось счастье, которое было сделано природой изо всех своих чистых сил, чтобы счастье от нее снаружи проникло внутрь человека.
Меж двух подушек Фрося нашла короткий волос; он мог принадлежать только Федору. Она рассмотрела волос на свет, он был седой: Федору шел уже двадцать девятый год, и у него росли седые волосы, штук двадцать. Отец тоже седой, но он никогда даже близко не подходил к их постели. Фрося принюхалась к подушке, на которой спал Федор, — она еще пахла его телом, его головой, наволочку не мыли с тех пор, как в последний раз поднялась с нее голова мужа. Фрося уткнулась лицом в подушку Федора и затихла.

Наверху, на третьем этаже, вернулся мальчик и заиграл на губной гармонике — ту же музыку, которую он играл сегодня темным утром. Фрося встала и спрятала волос мужа в пустую коробочку на своем столе. Мальчик перестал играть: ему пора спать, он ведь рано встает — или он занялся с отцом, пришедшим с работы, и сидит у него на коленях. Мать его колет сахар щипцами и говорит, что надо прикупить белья: старое износилось и рвется, когда его моешь. Отец молчит, он думает: «Обойдемся так».

Весь вечер Фрося ходила по путям станции, ближним рощам и по полям, заросшим рожью. Она побывала около шлаковой ямы, где вчера работала, — шлаку опять было почти полно, но никто не работал. Наташа Букова жила неизвестно где, ее вчера Фрося не спросила; к подругам и знакомым она идти не хотела, ей было чего-то стыдно перед всеми людьми — говорить с другими о своей любви она не могла, а прочая жизнь стала для нее неинтересна и мертва. Она прошла мимо кооперативного склада, где одинокий муж Наташи ходил с берданкой. Фрося хотела ему дать несколько рублей, чтобы он выпил завтра с женой фруктовой воды, но постеснялась.

— Проходите, гражданка! Здесь нельзя находиться: здесь склад, казенное место, — сказал ей сторож, когда Фрося остановилась и нащупывала деньги где-то в скважине своей куртки.

Далее складов лежали запустелые, порожние земли, там росла какая-то небольшая, жесткая, злостная трава. Фрося пришла в то место и постояла в томлении среди мелкого мира худой травы, откуда, казалось, до звезд было километра два.

«Ах, Фро, Фро, хотя бы обнял тебя кто-нибудь!» — сказала она себе.

Возвратившись домой, Фрося сразу легла спать, потому что мальчик, игравший на губной гармонике, уже спал давно и кузнечики тоже перестали трещать. Но ей что-то мешало уснуть. Фрося огляделась в сумраке и принюхалась: ее беспокоила подушка, на которой рядом с ней спал когда-то Федор. От подушки все еще исходил тлеющий, земляной запах теплого, знакомого тела, и от этого запаха в сердце Фроси начиналась тоска. Она завернула подушку Федора в простыню и спрятала ее в шкаф, а потом уснула одна, по-сиротски.

На курсы связи и сигнализации Фрося больше не пошла — все равно ей наука теперь стала непонятна. Она жила дома и ожидала письма или телеграммы от Федора, боясь, что почтальон унесет письмо обратно, если не застанет никого дома. Однако минуло уже четыре дня, потом шесть, а Федор не присылал никакой вести, кроме первой телеграммы.

Отец вернулся из рейса, отведя холодный паровоз; он был счастливый, что поездил и потрудился, что видел много людей, дальние станции и различные происшествия; теперь ему надолго хватит что вспомнить, подумать и рассказать. Но Фрося его не спросила ни о чем; тогда отец начал рассказывать ей сам — как шел холодный паровоз и приходилось не спать по ночам, чтобы слесари попутных станций не сняли с машины деталей; где продают дешевые ягоды, а где их весною морозом побило. Фрося ему ничего не отвечала, и, даже когда Нефед Степанович говорил ей про маркизет и про искусственный шелк в Свердловске, дочь не поинтересовалась его словами. «Фашистка она, что ль? — подумал про нее отец. — Как же я ее зачал от жены? Не помню!»

Не дождавшись ни письма, ни телеграммы от Федора, Фрося поступила работать в почтовое отделение письмоносцем. Она думала, что письма, наверно, пропадают, и поэтому сама хотела носить их всем адресатам в целости. А письма Федора она хотела получать скорее, чем принесет их к ней посторонний, чужой письмоносец, и в ее руках они не пропадут. Она приходила в почтовую экспедицию раньше других письмоносцев — еще не играл мальчик на губной гармонии на верхнем этаже — и добровольно принимала участие в разборке и распределении корреспонденции. Она прочитывала адреса всех конвертов, приходивших в поселок. Федор ничего ей не писал. Все конверты назначались другим людям, и внутри конвертов лежали какие-то неинтересные письма. Все-таки Фрося аккуратно, два раза в день, разносила письма по домам, надеясь, что в них лежит утешение для местных жителей. На утренней заре она быстро шла по улице поселка с тяжелой сумкой на животе, как беременная, стучала в двери и подавала письма и бандероли людям в подштанниках, оголенным женщинам и небольшим детям, проснувшимся прежде взрослых. Еще темно-синее небо стояло над окрестной землей, а Фрося уже работала, спеша утомить ноги, чтобы устало ее тревожное сердце. Многие адресаты интересовались ею по существу жизни и при получении корреспонденции задавали бытовые вопросы: «За девяносто два рубля в месяц работаете?» — «Да, — говорила Фрося. — Это с вычетами».

Один получатель журнала «Красная новь» предложил Фросе выйти за него замуж — в виде опыта: что получится, может быть, счастье будет, а оно полезно. «Как вы на это реагируете?» — спросил подписчик. «Подумаю», — ответила Фрося. «А вы не думайте! — советовал адресат. — Вы приходите ко мне в гости, почувствуйте сначала меня: я человек нежный, читающий, культурный — вы же видите, на что я подписываюсь! Это журнал, он выходит под редакцией редколлегии, там люди умные, вы видите, и там не один человек, и мы будем двое! Это же все солидно, и у нас, и у вас, как у замужней женщины, авторитета будет больше!.. А девушка — это что, одиночка, антиобщественница какая-то!»
Много людей узнала Фрося, стоя с письмом или пакетом у чужих дверей. Ее пытались угощать вином и закуской, и ей жаловались на свою частную, текущую судьбу. Жизнь нигде не имела пустоты и спокойствия.
Уезжая, Федор обещал Фросе сразу же сообщить адрес своей работы: он сам не знал точно, где он будет находиться. Но вот уже прошло четырнадцать дней со времени его отъезда, а от него нет никакой корреспонденции и ему некуда писать. Фрося терпела эту разлуку, она все более скоро разносила почту, все более часто дышала, чтобы занять сердце посторонней работой и утомить его отчаяние. Но однажды она нечаянно закричала среди улицы — во время второй почты. Фрося не заметила, как в ее груди внезапно сжалось дыхание, закатилось сердце, и она протяжно закричала высоким, поющим голосом. Ее видели прохожие люди. Опомнясь, Фрося тогда убежала в поле вместе с почтовой сумкой, потому что ей трудно стало терпеть свое пропадающее, пустое дыхание; там она упала на землю и стала кричать, пока сердце ее не прошло.
Фрося села, оправила на себе платье и улыбнулась, ей было теперь опять хорошо, больше кричать не надо.
После разноски почты Фрося зашла в отделение телеграфа, там ей передали телеграмму от Федора с адресом и поцелуем. Дома она сразу, не приняв пищи, стала писать письмо мужу. Она не видела, как кончился день за окном, не слушала мальчика, который играл перед сном на своей губной гармонии. Отец, постучавшись, принес дочери стакан чая, булку с маслом и зажег электрический свет, чтобы Фрося не портила глаз в сумраке.
Ночью Нефед Степанович задремал в кухне на сундуке. Его уже шесть дней не вызывали в депо: он полагал, что в сегодняшнюю ночь ему не миновать поездки, и ожидал шагов вызывальщика на лестнице.
В час ночи в кухню вошла Фрося со сложенным листом бумаги в руке.
— Папа!
— Ты что, дочка? — Старик спал слабо и чутко.
— Отнеси телеграмму на почту, а то я устала.
— А вдруг — я уйду, а вызывальщик придет? — испугался отец.
— Обождет, — сказала Фрося. — Ты ведь недолго будешь ходить… Только ты сам не читай телеграммы, а отдай ее там в окошко.
— Не буду, — обещал старик. — А ты же письмо писала, давай заодно отнесу.
— Тебя не касается, что я писала… У тебя деньги есть?
У отца деньги были; он взял телеграмму и отправился.
В почтово-телеграфной конторе старик прочитал телеграмму. «Мало ли что, — решил он, — может, дочка заблуждение пишет, надо поглядеть».
Телеграмма назначалась Федору на Дальний Восток: «Выезжай первым поездом твоя жена дочь Фрося умирает при смерти осложнение дыхательных путей отец Нефед Евстафьев».
«Их дело молодое!» — подумал Нефед Степанович и отдал телеграмму в приемное окно.
— А я ведь видела сегодня Фросю! — сказала телеграфная служащая. — Неужели она заболела?
— Стало быть, так, — объяснил машинист.
Утром Фрося велела отцу опять идти на почту — отнести ее заявление, что она добровольно увольняется с работы вследствие болезненного состояния здоровья. Старик пошел опять, ему все равно в депо хотелось идти.
Фрося принялась чинить белье, штопать носки, мыть полы и убирать квартиру и никуда не ходила из дома.
Через двое суток пришел ответ «молнией»: «Выезжаю беспокоюсь мучаюсь не хороните без меня Федор».

Фрося точно сосчитала время приезда мужа, и на седьмой день после получения телеграммы она ходила по перрону вокзала, дрожащая и веселая. С востока без опоздания прибывал транссибирский экспресс. Отец Фроси находился тут же, на перроне, но держался в отдалении от дочери, чтобы не мешать ее настроению.

Механик экспресса подвел поезд к станции с роскошной скоростью и мягко, нежно посадил состав на тормоза. Нефед Степанович, наблюдая эту вещь, немного прослезился, позабыв даже, зачем он сюда пришел.

Из поезда на этой станции вышел только один пассажир. Он был в шляпе, в длинном синем плаще, запавшие глаза его блестели от внимания. К нему побежала женщина.

— Фро! — сказал пассажир и бросил чемодан на перрон.

Отец потом поднял этот чемодан и понес его следом за дочерью и зятем.

На полдороге дочь обернулась к отцу.

— Папа, ступай в депо, попроси, чтобы тебе поездку дали, — тебе ведь скучно все время дома сидеть.

— Скучно, — согласился старик. — Сейчас пойду. Возьми у меня чемодан.

Зять глядел на старого машиниста.

— Здравствуйте, Нефед Степанович!

— Здравствуй, Федя! С приездом!

— Спасибо, Нефед Степанович…

Молодой человек хотел еще что-то сказать, но старик передал чемодан Фросе и ушел в сторону, в депо.

— Милый, я всю квартиру прибрала, — говорила Фрося. — Я не умирала.

— Я догадался в поезде, что ты не умираешь, — ответил муж. — Я верил твоей телеграмме недолго…

— А почему же ты тогда приехал? — удивилась Фрося.

— Я люблю тебя, я соскучился, — грустно сказал Федор.

Фрося опечалилась.

— Я боюсь, что ты меня разлюбишь когда-нибудь, и тогда я вправду умру…

Федор поцеловал ее сбоку в лицо.

— Если умрешь, ты тогда всех забудешь, и меня, — сказал он.

Фрося оправилась от горя.

— Нет, умирать неинтересно. Это пассивность.

— Конечно, пассивность, — улыбнулся Федор; он любил ее высокие, ученые слова. Раньше Фро даже специально просила, чтобы он научил ее умным фразам, и он написал ей целую тетрадь умных и пустых слов: «Кто сказал «а», должен говорить «б», «Камень, положенный во главу угла», «Если это так, а это именно так» — и тому подобное. Но Фро догадалась про обман. Она спросила его: «А зачем после буквы «а» обязательно говорить «б», а если не надо и я не хочу?»

Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундук харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра.

На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Ома делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную, постороннюю нужду время своей любви. Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше. Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты — о передаче силовой энергии без проводов, посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в сто километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку, — поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена, — многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей.

Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались — они хотели быть счастливыми немедленно, теперь же, раньше, чем их

будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека… Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь.

По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствия для себя и мужа, у них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили не разлучаясь уже четверо суток. Отец до сих пор еще не возвратился из поездки: наверно, опять повел далеко холодный паровоз.

Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься.

— Завтра же или послезавтра мы начнем с тобой жить по-настоящему! — говорил Федор и обнимал Фро.

— Послезавтра! — шепотом соглашалась Фро.

На восьмой день Федор проснулся печальным.

— Фро! Пойдем трудиться, пойдем жить, как нужно… Тебе надо опять на курсы связи поступить.

— Завтра! — прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки.

Он улыбнулся ей и смирился.

— Когда же, Фро? — спрашивал Федор на следующий день.

— Скоро, скоро, — отвечала дремлющая, кроткая Фро; руки ее держали его руку, он поцеловал ее в лоб.

Однажды Фрося проснулась поздно, день давно разгорелся на дворе. Она была одна в комнате, шел, наверно, десятый или двенадцатый день ее неразлучного свидания с мужем. Фрося сразу поднялась с постели, отворила настежь окно и услышала губную гармонию, которую она совсем забыла. Гармония играла не наверху. Фрося поглядела в окно. Около сарая лежало бревно, на нем сидел босой мальчик с большой детской головой и играл на губной музыке.

Во всей квартире было тихо и странно, Федор куда-то отлучился. Фрося вышла на кухню. Там сидел отец на табуретке и дремал, положив голову в шапке на кухонный стол. Фрося разбудила его.

— Ты когда приехал?

— А? — воскликнул старик. — Сегодня, рано утром.

— А кто тебе дверь отворил? Федор?

— Никто, — сказал отец, — она была открыта… Меня Федор на вокзале нашел, я там спал на лавке.

— А почему ты спал на вокзале, что у тебя — места не-ту? — рассердилась Фрося.

— А что! Я там привык, — говорил отец. — Я думал —.мешать вам буду…

— Ну уж ладно, ханжа! А где Федор, когда он явится?..

Отец затруднился.

— Он не явится, — сказал старик, — он уехал…

Фро молчала перед отцом. Старик внимательно глядел на кухонную ветошку и продолжал:

— Утром курьерский был, он сел и уехал на Дальний Восток. Может, говорит, потом в Китай проберусь — неизвестно.

— А еще что он говорил? — спросила Фрося.

— Ничего, — ответил отец. — Велел мне идти к тебе домой и беречь тебя. Как, говорит, поделает все дела, так либо сюда вернется, либо тебя к себе выпишет.

— Какие дела? — узнавала Фрося.

— Не знаю, — произнес старик. — Он сказал, ты все знаешь: коммунизм, что ль, или еще что-нибудь.

Фро оставила отца. Она ушла к себе в комнату, легла животом на подоконник и стала глядеть на мальчика, как он играет на губной гармонии.

— Мальчик! — позвала она. — Иди ко мне в гости.
— Сейчас, — ответил гармонист.
Он встал с бревна, вытер свою музыку о подол рубашки и направился в дом, в гости.
Фро стояла одна среди большой комнаты, в ночной рубашке. Она улыбалась в ожидании гостя.
— Прощай, Федор!
Может быть, она глупа, может быть ее жизнь стоит две копейки и не нужно ее любить и беречь, но зато она одна знает, как две копейки превратить в два рубля.
— Прощай, Федор! Ты вернешься ко мне, и я тебя дождусь!
В наружную дверь робко постучал маленький гость. Фрося впустила его, села перед ним на пол, взяла руки ребенка в свои руки и стала любоваться музыкантом: этот человек, наверно, и был тем человечеством, о котором Федор говорил ей милые слова.

1935

Иван Катаев

В одной комнате

Московские зимы, московские зимы затишья! Военный гул, ставший торговым рокотом улицы, мелькание сухой вьюги в белом ореоле фонаря на Тверской, первый загляд в свою судьбу, начало наших семей и предутренний плач ребенка…
Это была комната матерей, последняя дверь направо в коридоре общежития. Двенадцать студенток — тулячки, осетинки, полтавки, тюрчанки — стояли, склонившись над плетеными кроватками, кипятили на примусах кастрюли, кормили грудью. За столом, заткнув уши, вживались в чопорные абстракции Богданова. Здесь, возле окна, у пышащего жаром радиатора, спала под шахматным одеяльцем его, Степана Кулакова, годовалая Агнесса, а рядом, в углу, прикорнув на узкой железной койке, листала пухлого Краевича Арзик Вартанян, жена, кандидатка партии.
Он приходил сюда поздно вечером, бездомный и несдающийся отец. По коридору нужно было пройти побыстрей и с оглядкой, чтобы не попасться на глаза коменданту или уборщицам. Ундервудное косноязычие правил внутреннего распорядка неумолимо воспрещало ночевки посторонних. Но как только Степан без стука открывал желанную дверь с номером 23, теплый, пеленочный визг встречал его домашне и дружественно. Он вешал пахнущую морозом и прифронтовыми вокзалами шинель на оконную ручку, выкладывал на одеяло перед женой пакет с яблоками, целовал ее жесткие темные губы и подсаживался на краешек постели. В тихом союзническом шепоте — о дне, о деньгах, о первых ботинках для Агнессы — сидели они до той минуты, когда веселый грубый голос Анны Дубыни, третьекурсницы и старожилки, возвещал о том, что коммунальный чайник вскипел.
Все пересаживались за длинный некрашеный стол, пили чай, отдающий жестью, косясь в развернутый рядом учебник. Кулаков был единственный мужчина за этим столом, один среди двенадцати матерей, таких различных лицами, очертаньями станов, тонами кожи, и все же единых перед ним, чужаком в косоворотке и брюках, — единых легкостью своих простеньких блузок (на кнопках, чтобы легче вынуть грудь), круглотой оголенных рук, всем теплом и нежностью зрелой женственности.

За полтора месяца, что он проночевал в этой комнате, они привыкли к нему, не стеснялись кормить, говорить о поносах и молокоотсасывателях. Степан примелькался им, стал внутренней частью обихода, слился с тревогами материнства, с расчисленным течением академической зимы. И все же он был неосознанно заметен. Созерцание его крупных скул в белом крестьянском пуху, толстых плеч, басистый, с запинкой, говор какими-то неясными путями приводили мысль к одному, важному для всех, — к тому, от чего они так недавно оторвались и чем, кормя, пеленая, убаюкивая, продолжали напряженно жить.
Прихлебывая чай по-кухарочьи, с блюдечка на трех пальцах, и невидяще глядя на Степана, Дубыня спрашивала Сану Багоеву, осетинку:
— Твой парень теперь уже скоро приедет, Санка?
— Он будет конец января на съезде. — И Багоева, тихая, с румяными щеками, чуть тронутыми слепым прикосновением оспы, добавляла застенчиво: — Еще двадцать шесть дней.
Санин, рыжеусый парень, вырастал перед нею живым и телесным, — как он введет ее за руку в номер Дома Советов, запрет дверь на ключ и глянет прямо в душу смеющимися горячими глазами.
Их парни почти у всех были далеко, за горами окраин, в недрах губерний. Еще беспредельными казались расстояния, еще все было зыбко и, как в утро после грозы, курилось молодым туманом. Страна только еще подбирала одну к одной свои разметанные земли, перетягивала их вечными связями. Но чудесное сближение ранее чуждых племен, возникшее в буре, уже подавало свой голос из плетеных кроваток, где лежало поколение с диковинной кровью и невообразимой судьбой. Тулячка ждала вестей с Дальнего Востока, от еврея, а тюрчанка, свесив тонкие косы, писала письма латышскому стрелку. И Степан Кулаков, — как отец и дед его, заволжские молокане, своим широким бабам, — говорил, зевая, синекудрой, подсушенной солнцем Алагеза жене:
— Ну, Арзик, спать, что ли…
Они укладывались вдвоем на своей тесной койке, любовно помогая друг другу подбить под бока одеяло. Вся комната целомудренно и мгновенно падала в сны, несхожие, окрашенные каждый в цвета иной родины, ее одежд и неба. Только младенцам снилась одинаковая молочноманная мгла, в которую по временам врывались страшные черные пятна, волочащие хвост из близкого небытия. Они просыпались поочередно, тоскующе кричали, выгибаясь в своих пеленочных коконах. Матери даже спросонья по голосу признавали своего, подходили, пошатываясь, укачивали, уговаривали разноязычными шепотами. И ни одна даже не оглядывалась на угловую койку, где на смутной подушке темнели две головы, доверчиво сблизившиеся висками. У всякой было полно своего: вчерашних мечтаний, завтрашних хлопот, простого и несомненного, как хлеб. Столица гасила фонари улица за улицей, кооперативные рестораны бурчали что-то последнее, присмиревшее, и проститутки разъезжались от Страстной на извозчиках, лениво беседуя с кавалерами о Николае Курбове и «Луне с правой стороны».
Степан вставал раньше всех, уходил в чайную, потом студентки, стащив ребят в ясли, бежали под Девичье на лекции. Комната оставалась пустой, с открытыми форточками, откуда валил московский утренний воздух, напоминающий о теплом калаче с маслом; изредка залетали сухие снежинки.
К середине второго месяца администрация общежития проведала о Степановых ночевках. Его позвали к коменданту. Комендант, к удивлению, оказался женщиной, очень высокой, с длинным скорбным лицом и девичьими волосяными плюшками над ушами. Она встала из-за стола, заложив руки за спину, смерила взглядом обширную фигуру Кулакова и спросила негромко:
— Вы читали правила внутреннего распорядка?
— Читал, — уныло моргнул Степан.
— Значит, вам известно, что проживание посторонних в общежитии строго воспрещается. На каком же основании…
— Я не посторонний, — несмело перебил Степан. — Я хожу к товарищу Вартанян, своей жене, и дочь тут у меня…

— Это совершенно безразлично, — отрезала комендантша. — Вы не студент и вообще человек с улицы. Ночуя в детской комнате, вы приносите туда всякую заразу. Извольте немедленно…
— Почему же матери не приносят заразы, а отец непременно должен принести? — находчиво ввернул Степан, решивший защищаться до последнего.
— Ах, вы еще спорите! — вспыхнула комендантша и вся порозовела и даже помолодела лицом. — Я думала, вы сами понимаете, и не хотела говорить… Ведь это же вопиющее безобразие! Вы, мужчина, ночуете в одной комнате с двенадцатью женщинами!.. Мне даже передавали, — она отвернулась, — что вы спите с женой на одной кровати… Вокруг вас студентки, матери… Это не что иное, как половая распущенность. Во вверенном мне общежитии я этого не допущу. Никогда.
— Какая же тут распущенность? — смутился Степан. — Тут ничего такого нет… И студентки не возражают, чтобы временно… Мы их спрашивали.
— Мало ли что студентки. За порядок в общежитии отвечаю я. И я требую, чтобы вы сегодня же удалились.
— Да мне, понимаете, удалиться-то некуда. Вся штука в том, что у меня жилплощади нету… И потом, жену и девочку должен же я видеть?..
— Вы отлично знаете из правил внутреннего распорядка, что навещать семью разрешается по четвергам, от шести до восьми с половиной. Это пустая отговорка. А ваши жилищные дела меня совершенно не касаются.
Степан почесал стриженое темя, посмотрел на носки своих сапог, на потолок, на комендантшу. Та стояла за своим столом, ожидая его ухода, прямая, тонкая и черная, вырезываясь, как тень, на плоскости беленой стены с казенной синей полоской. Он сказал задушевно:

> — Знаете что, товарищ… комендант. Я вас вот что попрошу. Разрешите мне еще хотя бы недельку у вас пробыть. — И, испугавшись, что сейчас откажет, заторопился: — Я, понимаете, демобилизованный краском, и в руни
> [1]
> мне обещали площадь в первую очередь. Тут как раз навертывается одна комнатушка… А до этого мне просто податься некуда. Я бы, конечно, мог у себя в учреждении на столе, да там тоже не разрешается… Уж вы позвольте недельку… Ведь не на улицу же…

Комендантша молчала, глядя в темное голое окно, за которым едва белел из синевы снежный замороженный сад.
Постукивала по столу карандашиком. Потом медленно обернулась.
— Хорошо, — сказала она сухо. — Из уважения к вашему званию красного командира я разрешаю вам ночевать в двадцать третьей комнате еще одну неделю. Вы даете мне обещание, что ровно через неделю, то есть в субботу, десятого января, вас тут не будет. В противном случае я без всякого предупреждения вызову милицию. А также поставлю перед ректором вопрос о пребывании самой Вартанян в общежитии.
— Погодите, — остановила она Кулакова, радостно закивавшего и пустившегося в заверения. — Еще одно условие. Вы должны завтра же приобрести какую-нибудь ширму.
— Ширму? — удивился Степан. — Это зачем же?
— Ну вот! — опять вспыхнула комендантша. — Я еще раз буду вам объяснять!.. Вы должны достать ширму и оградить ею… постель вашей жены.
— Ага! Понял! — совсем взвеселился Кулаков. — Есть такое дело, товарищ комендант. Ширма будет! — И, благодаря на ходу и сияя, он ринулся в коридор.
На другой день было воскресенье. Степан решил смастерить ширму сам. Он все умел делать своими руками — столы, сапоги, чемоданы и даже вязал носки.
— Только крышу бы мне дали в Москве, — мечтательно говорил он, — остальное я сам приделаю: стены, двери…
Но и крыши не находилось.
С утра он сбегал на Трубный и весь день провозился в дворницкой сторожке, мерил, пилил, стругал и к вечеру соорудил деревянный остов, раздвижной, на петлях, честь честью. Арзик

обила его розовым глазастым ситчиком. Ширму расставили вокруг кровати. Она была прочна и тяжела, как молоканские ворота.
…В эту ночь никто не мог заснуть в двадцать третьей комнате. Одиннадцать женщин прислушивались к каждому шороху, к каждому скрипу, доносившемуся из-за ширмы. Они приподнимались на локте, смотрели в темноту, снова ложились, вздыхали. Муж и жена тоже ловили все звуки, все шепоты, боясь пошевелиться. И младенцы, словно переняв волнение матерей, просыпались поминутно и голосили всю ночь напролет.

1933

Борис Пильняк

Рождение человека

Из Москвы позвонили: приедет и пробудет в доме дней десять, недели две прокурор Антонова. Она приехала вечером. Автомобиль свернул с гудрона на гравий, ехал лесом, в совершенном мраке. Огни дома показались возникшими в пустыне и в лесных дебрях одиночества. Дом был стар, оставшийся от помещиков и прибранный по-помещичьи. Ее провели наверх, в угловую комнату, сказали, что ужин будет через двадцать минут, затем можно пойти погулять. Ванна будет в десять, в одиннадцать погаснет электричество. Ей улыбнулись и оставили ее одну. Она разложила вещи. В недрах дома прозвучал гонг. Внизу, в пустых комнатах, за стеной от гостиной щелкали бильярдные шары. Встретила хозяйка и провела гостиной и библиотекой в полутемную сводчатую комнату.
— В этой комнате у помещиков собирались масоны, эта комната была масонской ложей.
Людей в доме было очень мало, они уже сдружились. После ужина к ней подошли сожители, перезнакомились, пережали руку, сказали:
— У нас традиция, каждый приехавший вновь делает доклад. Вы должны рассказать о советской прокуратуре.
Она ответила, — хорошо.
Опять защелкали бильярдные шары. Она пошла гулять. Ночь была очень темна, все кругом казалось пустыней и дебрями. В парке кричали совята. За парком из пустого мрака подул ветер и заморосил мелким дождем. Когда она вернулась, в доме не слышны были даже бильярдные шары. Рядом с гостиной в пустой библиотеке у столиков горели ненужные лампы. Она стала рассматривать книги и выбрала себе несколько книг. Два наугольных старинных окна наверху в ее комнате упирались во мрак. Она разложила бумагу, конверты, тетрадь, придвинула к печке кресло. По стеклам окон из пустоты мрака ветер ударил дождевыми каплями. Книги были стары, как дом, от них пахло тлением. Постучали, сообщили, что ванна готова, положили простыни. Зеркало отразило очень сосредоточенное лицо, внизу, в ванной, женщина очень внимательно, сосредоточенно, почти печально и все же счастливо рассматривала в зеркале свое тело, свой новый живот. На момент зрачки провалились, женщина улыбнулась и, как живое и ласковое, погладила свой живот. И она неловко и осторожно стала опускаться в воду. Она не управилась к одиннадцати, на ночном столике долго горела свеча. И долго ветер бил по стеклам дождевыми каплями под шелест страниц. В восемь утра по недрам дома прозвучал гонг. За окном сияло солнце, синее небо, просторный пейзаж. Дом стоял на горе, в лесу, в соснах. Под горою протекала синяя река. Опустошенные осенью, за рекой лежали поля, деревня, лиловый лес, синее небо, просторно, совсем обыденно. Эта золотая осенняя обыденность и этот обыденный русский

пейзаж оказались прекрасными. В старину помещики, отрываясь от масонских дел, гоняли борзыми по чернотропу в такие дни лисиц и волков. Ветер исчез. Заморозок подсушил землю. Под ногами шуршали опавшие листья. Лиственный лес поредел. Клены догорали запекшейся кровью. Воздух в легком морозце был просторнее леса. Надо было думать о журавлях, и на самом деле на юг пролетали журавли, треугольником, печальные, курлыкающие. А к вечеру опять заморосил дождь. Опять долго ночью горела свеча, шелестели страницы книг, и книга замирала в руках, когда там внутри, совсем под сердцем, начинал двигаться ребенок.

В мертвый час, уже к закату она встретила сожителя. Он шел, опустив голову, старательно выбирая места, где больше лежало опавших листьев, и он смутился, увидав ее.

— Странное дело, — сказал он, оправдываясь, — с детства люблю этот шорох. Он успокаивает или ободряет, — не знаю уж, как сказать, — лучше, чем Большой театр или какая-нибудь лирическая поэма Пастернака. Могу часами ходить по листьям.

Они помолчали. Он отрекомендовался — Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. Пошли рядом по листьям. Он сказал и опять смутился:

— Простите, надо полагать, что вы скоро будете родить.

Она ответила без смущения, даже с гордостью:

— Да, через двенадцать дней. Я приехала сюда отдохнуть перед родами. Здесь есть телефон с городом, все организовано, — и я прямо отсюда поеду по путевке в родильный дом имени Клары Цеткин.

Станкостроитель заговорил о станкостроении, — все время в делах, на природу вырываешься даже не каждый год, даже забываешь ее вместе с детством. И станкостроитель усердно подгребал под ноги опавшие листья.

Вечером лил дождик. Она писала письма в ту пустую тетрадь в тисненом венецианском кожаном переплете, которую она несколько лет тому назад привезла из Турции, из Константинополя, где она работала однажды на ревизии.

Она написала двоюродной сестре в Саратов:

«…Дела тетки Клавдии обстоят следующим образом. Я встретила ее на вокзале и отвезла в институт. У нее — рак, запущенный и неизлечимый. Встретилась она со мною, заплакала и стала целоваться, и тут же рассказала о кровотечении, о болях, о запахе. И заговорила, — «ты прокурор, ты все можешь, устрой меня обязательно стационарно». Тетка и врачам сказала, что я — прокурор. После осмотра я осталась наедине с врачами. Лечение лучами радия дает лишь уменьшение боли и, может быть, отодвинет смерть на два-три месяца, но смерть неминуема. Тетка настаивала на стационарном лечении, — врач мне сказал: «Если мы дадим койку, тем самым отнимем возможность лечить человека, который может выздороветь». Я сказала тетке Клавдии, что хлопотать о стационарном лечении я не буду, потому что считаю неприемлемым для себя отнимать койку у человека, который может на ней вылечиться. Тетка заявила, что она позовет главного врача к себе на дом, хорошо ему заплатит и он ее поместит в институт. Меня она сочла за выродка из рода. Я понимаю ее, она живет моралью, когда род был на самом деле основой, защитой, помощью. С ее точки зрения, я, конечно, не права, человек из средневековья, конечно б, добивался для нее самых лучших, даже бессмысленных, условий, потому что она и он — одной крови, и, не заботясь о ней, он обескровливал бы себя. Я не живу этой моралью. Помочь тетке Клавдии я ничем не могу. Ты возразишь, — смерть, мучения, родная тетка, — понимаю, страдания видеть мучительно, — принимаю, как оно есть. Так же поступила бы я и с родною своей матерью. На ближайший месяц я выпадаю из жизни. Я не писала тебе: через десять дней я рожу ребенка, сейчас перед родами я в доме отдыха. И, стало быть, на этот месяц даже бытовых забот я не могу выполнять для тетки. Спишись с другими родичами…»

Она написала в Москву, в прокуратуру, товарищу по работе:

«Товарищ Томский!

Я уехала, не переговорив с тобою. Дела, не законченные мною, будешь вести ты. Меня беспокоит дело об убийстве одесского врача Френкеля. Кацапову грозит высшая мера. Посмотри внимательно».

За домом капал дождик. Ветер шелестел по стеклам дождевыми каплями. За окнами шелестел лес. В черных стеклах отражались — стол, книги и бумаги на столе, женщина за

столом, лампа. Автомобиль потащил письма во мрак ночи. И она записывала в пустую тетрадь:

«Вчера мне показали в этом доме комнату, где собирались масоны, а в библиотеке я нашла масонские книги, оставшиеся от помещиков, как и весь этот дом. Я читала книгу, посвященную «гроссмейстеру, мастерам, надзирателям и братьям древнейшего и почтеннейшего братства франкмасонов Великобритании и Ирландии», стран, в которых, как оказывается, вообще родилось масонство, книгу о «соли земли, свете мира, огне вселенной», как некий Филалет называет масонов, мастеров «великих тайн», новых розенкрейцеровских братий. В этой книге очень много таинственных слов и намеков, половина слов пишется с больших букв: Братья, Он, Совесть, Свет, Ночь, Небо. Должно быть, все это было очень страшно и казалось премудрым. А мне все это кажется просто глупостью и набором неумных слов… Все это пусто, мертво, шлак. Но все это — жило. Сто лет тому назад в этот дом, может быть, приезжала какая-нибудь женщина для уединения перед родами. Ее на пороге встретили хлебом-солью, — или как там еще… С нею приехал законный муж. Какие-нибудь драные рабыни бегали по всей усадьбе, разгоняли черных котов и петухов, чтобы они не перешли дороги. Местный поп, надо полагать, целый день сидел дома, чтобы невзначай не встретиться барыне, причем барыня была не просто барыня, а княгиня, графиня или баронесса. Зеркала в доме, наверное, переукреплялись наново, чтобы не упали и не разбились. Те же драные рабыни, наверное, по всему дому гоняли мышей, чтобы княгиня не увидала мыши и чтобы эта мышь не отпечаталась на тельце будущего ребенка. Комната масонских заседаний в этом доме — комната как комната, отделана мореным дубом, надо полагать, «под готику», как я вычитала в масонской книжке, темная, в фашистских свастиках, ничего особенного, пыльно, а эту комнату барыня обходила со страхом, в трепете и ужасе, — помилуйте, в этой комнате проживает сам масонский разум с большой буквы!.. Демоны, приметы демонов, дела демонов окружали барыню со всех сторон, лезли из темных углов, из-под кровати, из окон, даже в самой барыне обязательно помещались двое — бог и дьявол, прописанные, как паспорт прописывается в отделении милиции. Барыня жила, придавленная этими вершителями судеб. Она даже во сне не имела покоя, — потому что — вдруг во сне она увидит черную кошку. А при барыне — барин, масон, полковник и, пока барыня беременна, спит с горничной.

Да, да. Все это так! Все это умерло!..»

Постучали, сказали, что ванна готова, положили простыни. Дорога в ванну проходила мимо бильярдной. В бильярдной собрались все живущие, двери были открыты. Она прошла мимо дверей, стараясь быть незамеченной. И опять в одиннадцать нельзя было заснуть. Свечи горели за полночь. Шелестели лес, ветер и дождь. Она лежала без книги, с руками под головой, с неподвижными глазами.

Шофер привез из Москвы от приятелей вместе с книгами в портфеле — водку. После одиннадцати любители выпить забрались в масонскую ложу. Их было трое. Они пришли со свечами и в халатах. Они принесли с собою водку, свежих огурцов и соль. О масонстве и о месте собутыльничанья они не обмолвились ни словом, место избрано было потому, что здесь не было окон и, стало быть, ночной сторож не мог подглядеть с улицы и нажаловаться. Пили стоя и сплетничали шепотом, благодушествовали и мальчишествовали.

— Прокурорша Антонова, — сказал собутыльник, — гроза-бабочка, и пожалуйте — с животиком. Я о ней слышал в Москве, на самом деле твердокаменная, дочь рабочего, бывшая работница, в партию пришла из комсомола, партия послала на учебу и в прокуратуру, прокурорша на самом деле свирепая и самое главное — красивая женщина, молодая, а никакой потачки. Ее и за женщину не считали. И вдруг пожалуйте — с животом. Сегодня мимо бильярдной в ванну прошла, — стесняется.

— А кто ее муж? — спросил второй собутыльник.

— Неизвестно. Нету мужа.

Третьим собутыльником был станкостроитель, он разговорился лирически:

— Какая она там прокурор, — не знаю. Ничего о ней не слыхал. И какая у ней была жизнь, тоже не знаю. А тем не менее понятно, что что-то у нее неблагополучно. Неблагополучие я вывожу из следующего. Если бы у нее была семья, ее хоть кто-нибудь проводил бы. Если бы у нее был дом, уж никак она не поехала бы из дома на это время. А вывод я делаю тоже

следующий. Мы все партийцы, надо быть с ней поласковей, оказать ей внимание и дружбу… Прелестная она и одинокая…
— Опрокинем по следующей? — спросил второй собутыльник.
— Будьте уверены, — сказал первый. — Станкодел уже в лирике.
Выпили. Выпивали. Затем потихоньку, чтобы не скрипнули лестничные половицы, прокрадывались наверх, по комнатам. Всю ночь лил дождь, и шумел ветер, и шумел лес. Она долго лежала с руками под головой, с неподвижными глазами. Свечи отекли, мигали. Ночь была очень глуха.
И весь день поливал дождик.
Все утро она писала в константинопольскую тетрадь.
«Да, да. Все это так. Все это умерло!..
Моя жизнь прошла так, что, может быть, сейчас впервые я думаю, — как сказать? — о человеческих инстинктах и о моих собственных. Мне некогда было о них думать. И это уже на самом деле, что только сейчас я поистине свободна, потому что на самом деле мне было некогда все время. Как ни стыдно признаться, но и ребенок, для которого я пишу сейчас, у меня будет потому, что мне было некогда. Серьезно я задумалась о ребенке только тогда, когда он начал двигаться!.. И это заставило меня думать именно об инстинктах, и эти мысли привели меня к воспоминаниям детства. Мне было десять лет, когда началась революция и отец с двумя наганами ушел обстреливать Кремль. Наш дом на Пресне превратился в районный штаб, где говорилось и делалось только для революции и где мы все голодали. В двенадцать лет я была комсомолкой и на общественной работе, я училась в семилетке, мои мысли были заняты учебой, очередными уроками и комсомольской работой, читать я не успевала ничего, кроме «Комсомолки», и то урывками, мне все время хотелось отоспаться. В двадцатом году под Перекопом был убит отец, я пошла на работу, очень глупо, к соседям в няньки, пока меня не приняли на «Трехгорку». Там я училась в фабзавуче. И опять у меня не было ни одной лишней минуты. Комсомол снял меня от станка. Бюро райкома превратилось в мою квартиру, «Комсомолка» вычитывалась от корки до корки, потому что то, что писалось в «Комсомолке», было справочником всего, что касалось моей жизни и моих дел. И опять у меня не было ни одной свободной минуты. Можно не писать дальше, — так было всю жизнь. Я всегда уходила с головою в мои дела, — будь ли это ударная неделя по мобилизации в деревню, будь ли это расследование о комсомольской пьянке, будь ли это — теперь — ревизия в Константинополе.
Я не случайно написала вчера о барыне с богом, с чертом и с масонами. Мне неловко перед моим будущим ребенком, но я должна написать сейчас, — ну да, о собаке товарища Б. Ребенок зашевелился во мне ночью, я проснулась. Это нельзя передать словами — это ощущение жизни и смерти одновременно, эту радость, доходящую до физического ощущения, — этот стыд, доводящий до слез и одновременно такой, что мне хотелось вскочить с постели и позвонить по любому телефону, чтобы любому рассказать — о том, что сейчас, пять минут тому назад, во мне задвигалось новое человеческое существо, никогда не бывшее, неповторимое, единственное, которое будет жить в новую эпоху, в бесклассовом обществе, без классовых противоречий, борьбе с которыми я, в частности, отдавала свою жизнь. Это было под выходной день, мне позвонили, что я должна ехать по срочному делу с докладом на дачу к товарищу Б., за сорок километров, за мной прислали автомобиль. Я приехала с утра и пробыла до обеда, товарищ Б. просматривал дело, а кроме этого, сердился вместе с домочадцами. Их собака должна была родить через несколько дней, и она мучила хозяев. Они только что устроились на даче, построили сарай и погреб, забор, рассадили цветы и деревья, — и собака подрывалась под дом, под погреб, под забор, под сарай, под клумбы, каждый раз в новом месте, готовя себе берлогу для родов. Собаку все время гоняли с места на место и закапывали ее ямы, собака смотрела на людей прибитыми глазами и вновь начинала рыться. На собаку кричали. И вдруг я вознегодовала на человеческую бесчеловечность, вознегодовала самым серьезным образом, не понимала, откуда у меня такая самая настоящая злоба, — и вот не забываю этой собаки до сих пор, до сих пор я помню ее глаза, и во мне поднимается злоба, когда я думаю об этих зарытых ямах.
О собаке и барыне я записала не случайно. С того времени, как во мне ощутимо появился ребенок, я все время живу в жгучем стыде и в физическом ощущении радости. И еще.

Каждый мой поступок, каждый поступок людей вокруг меня, каждую прочитанную строчку я предваряю вопросом: какими инстинктами стимулируется этот, тот, третий поступок? — Сначала меня задавило осознание этих инстинктов, они навалились на меня горою непонятного и неосознанного в самой себе. Я клала перед собою книги и с карандашом в руках, страницу за страницей, выписывала инстинкты, стимулирующие поступки персонажей. Их очень много, они очень разнообразны, но все же они систематизируются. Я проработала «Войну и мир» Толстого, начиная с первой страницы феодального рассуждения о международной политике и феодальной скупости Куракина. Оказывается, Толстой оперировал главным образом биологическими инстинктами, одетыми в феодальный наряд. Феодалы оставили больше инстинктов, чем капиталисты. И вот что оказывается, ради чего я пишу все это, — оказывается, что социалистических, коммунистических инстинктов еще очень мало. Я проработала одного-другого наших современных писателей, коммунистов, — оказывается, их коммунистические страницы, а стало быть, и они сами стимулируются иной раз такими ветхими, такими каменно-бронзово-пещерными инстинктами, что диву даешься, почему они коммунисты. Мало, мало еще коммунистических инстинктов, которые стимулировали б подлинно коммунистические дела и поступки. Это понятно, мы очень молоды, направо мы живем в демонах моей княгини и масонов и не умеем отличать их от того здорового инстинкта собаки, который попирал товарищ Б., его детишки и жена. Мой сын должен будет жить без демонов и не боясь собак, — нет, точнее, — собачьих инстинктов. На самом деле мне стыдно до слез от непонятного счастья созидания человечка — и мне никак не стыдно крикнуть об этом на весь мир. Я сдерживаюсь по традиции приличий (тоже инстинкты), а на самом деле мне хочется всем, всем (тоже инстинкты) говорить о том непонятном и величественном, что называется рождением человека — и человека, и человечества, пусть эпохи человеческого развития одевают людей в каменный век, в феодальных масонов!..»

Кроме всех прочих случаев, дружбы возникают у людей потому, что в подсознании эти двое, сходящиеся в дружбу, чувствуют не только социальное, но и биологическое соответствие. Кройчмеровская теория, установленная, к слову сказать, до Кройчмера русским профессором Ганнушкиным, конечно, основательна. Дожди лили два дня подряд, все сидели дома, делали друг другу доклады, читали вслух новинки, концертировали, воевали на бильярде. Она, как предписали врачи, гуляла каждый день, не меньше пяти часов, по дождю и по мокрым листьям. Каждый раз ее сопровождал Иван Федорович Суровцев, станкостроитель. У них выработался маршрут, парком по листьям под гору к реке, оттуда вдоль реки полем до деревни и обратно. Пребывала природа в осенней усталости, в одинокой тишине, изредка лишь слышны были в лесу московки да гаечки. Деревня за рекою убралась в избы, в сараи, в овины. Они шли рядом, и говорил главным образом Иван Федорович. Он был лиричен, хотя это никак не соответствовало громадным его плечам, очень сухим скулам и жесткой прическе, когда волосы казались колючими, как еж. Он шутил и никогда ничего не договаривал до конца. Он много рассказывал о станкостроении, о той области индустрии, которой не было в России, которая строит новые заводы, делая промышленность независимой ни от Европы, ни от Америки; он много рассказывал об «умности» станка; он охотнейше рассказывал о своих поездках в Германию и в Америку, где совершенствовал знания, и охотнейше, с шуточкой вспоминал свои встречи с знаменитыми партийцами, передавал разговоры, характеризовал, подшучивал; но о нем самом узналось немного: ему было восемнадцать, когда началась революция, и он был уже на заводе в Сормове; ему было двадцать два, когда он, комдив, демобилизовался из армии и поступил во втуз на рабфак; ему было двадцать четыре, когда он впервые прочитал Пушкина и открыл, что есть искусства литературы, живописи, музыки; ему было двадцать девять, когда партия поручила ему изучить станкостроение, наладить эту промышленность и съездить для этого в Европу; он мельком обмолвился, что дважды был женат и оба раза неудачно. Они гуляли утром и вечером. Очень сиротливо по вечерам погружалась мокрая земля во мрак, когда казалось, что земля опускается в одиночество пустыни. Никаких внешних признаков дружбы не было. Едва ли даже это походило на возникновение дружбы. Сожители настояли, и она делала доклад о советской уголовной политике. Все мероприятия советской власти сейчас же отражались на преступности. По преступности и по ее

эволюции, по ее интенсивности можно проследить, как в кривом зеркале, все развитие Советской власти, всю ее историю. Восемнадцатый год прошел грядой преступлений, когда после национализации земли, фабрик, заводов и банков — купцы, землевладельцы, фабриканты, дворяне — задним числом, датами от 1916-го, от 1915-го годов, подделывая нотариальные записи, продавали национализованные владения различным иностранцам, в том числе даже эстонцам и финнам, и тем, которые имели возможность патриироваться в Польше и Латвии. Введение продотрядов и заградительных пунктов посадило на скамью подсудимых большое количество железнодорожников, которые до тех пор никак мешочниками не были. Доклад слушали в гостиной, после ужина. Просили, после доклада, рассказать какие-нибудь необыкновенные случаи. Она рассказывала о бандитах, об их морали и жизни, об их «справедливости», об их делах, и о том, как жалко было иной раз их расстреливать. Она рассказывала о вредителях, о том, как они воспитаны, грамотны, вежливы, как они говорили о морали и справедливости, — и о том, как совершенно не жалко и не трудно было требовать для них высшей меры.

Она записывала в свою тетрадь:

«…а старые инстинкты — изжиты, как старое платье не по мерке, не по сознанию, потому что их основа — сознание и социальное соотношение человеческих сил — умерла. Мне было девятнадцать лет, когда я впервые сошлась с мужчиной. Раньше женщины говорили о себе — «отдалась». Это слово мертво теперь, не имеет содержания. Я никак не чувствовала какой-либо девичьей или женской специфики, я была человеком, партийцем, работником, я командовала, если это требовалось по делу, и мужчинами, и женщинами одинаково, стариками с бородами и старухами, равно как и товарищами… Я стала женщиной позднее, чем мои подруги. Они мне рассказывали о своих связях. Я понимала, что в основном — это наслаждение и естественно-физическая потребность. Мне было любопытно, и во мне проснулась биология. Я решила сойтись с мужчиной раньше, чем это произошло. Я тогда училась, я была занята учебой и комсомольской работой до одиннадцати вечера. Мне нравился один товарищ, но он был очень занят, я его редко встречала. Он был вторым, с которым я сходилась. Он стал приезжать ко мне, когда я сказала ему, что я не девушка, нам обоим было совершенно понятно, зачем мы встречаемся. Но первым был товарищ по работе, старший по возрасту лет на пятнадцать, районный инструктор. Нам по дороге было домой, я позвала его к себе на минуточку, по делу, взять литературу, у меня все было решено, но три дня я отбивалась от него. Он приходил ко мне после одиннадцати. Три дня я ходила в бессоннице, в мыслях, точно они были облеплены пухом. На третью ночь, уже утром, когда рассвело, это случилось. Это было очень противно. Я его прогнала. И только через полгода я сказала второму, к слову, будто бы случайно, о том, что я — не девушка. Он ни о чем меня не спрашивал. Я ни о чем ему не говорила. Мы, конечно, не сказали никакого — люблю. Мне с ним было хорошо, я его ждала, но он был очень занят, и он приезжал ко мне очень редко. Встречи с ним мне казались естественными. Я скучала без него.

Все это так. Но — вот основное.

Мне очень оскорбительно было за мое человеческое достоинство. Я рассуждала: мужчина в тридцать лет, холост, — стало быть, или он дегенерат, или болен, или у него есть связи с женщиной или с женщинами, и это его частное и никак не общественное дело — легализовать или не легализовать свои отношения с женщинами, дело его морали. Женщина в двадцать или тридцать лет, холоста, — времена женского рабства прошли, — я повторяла рассуждения о тридцатилетием мужчине, — чем она хуже мужчины? — не доводить же себя до того унизительнейшего, оскорбляющего все сознание, что называется … противно написать это слово!.. О ребенке я не думала, принимая за правило, что ребенка быть не должно. Семья со «своими» «собственными» кастрюлями и занавесками у меня вызывала насмешку, — какие еще там клановые «свои» «собственные» углы и супруги, когда весь мир — мой?! Семья, как экономическая единица, — вещь мертвая. Быть в глупой «психологической» зависимости от мужа, как это бывало с моими подругами, быть под глупейшим контролем супруга и считаться с его «индивидуалистическими» особенностями, — это мне казалось ненужным ярмом. Во всех тех романах, которые я прочитала, во всем, что я видела кругом себя в людских семейных отношениях, — я видела в первую очередь — ложь, которую в наследие нам оставила старая семья и мораль,

которые смердят падалью. Я не видела ни одной пары, чтобы они были совершенно правдивы друг к другу, большинство из них клялись в сексуальной верности и — лгали. Я не видела ни одной пары, которая принадлежала бы только друг другу. В лучшем случае они были верны друг другу в те годы, когда жили вместе, но у него или у ней до брака были связи, — а раз были, стало быть, могли быть и вновь. Мораль семьи оказывалась не только мертвой, но смердящей разложением. Ложь, рабство и утверждение того, чего нет, — это главное, что осталось в семье. Ложь и утверждение того, чего нет, — это никак не моя и не коммунистическая мораль. Я не хотела лгать и ставить себя в ложное положение. Потребность половых ощущений иногда приступает с такой силой, что человек делается почти маньяком, — каждый нормальный человек это знает. Жить здоровым телом — это мне казалось естественным. Не лгать — это мне казалось естественным. Не зависеть от другого человека и не ставить в зависимое положение — это мне также казалось естественным. Тот, второй, бывал у меня очень редко. Я сказала ему, когда у меня появился третий, он принял рассказ, казалось, как нормальнейшее явление, но больше ко мне не приезжал ни разу. Я сочла его крепостником и не мучалась. Мне нечего было стыдиться. Конечно, это было наслаждение. Но не надо забывать, что все мы были очень заняты — каждый своим, а вместе — громаднейшим делом революции. Если эти связи были нормальны, они не отрывали много времени и никак не заслоняли собою все. Основное место в моей жизни занимала общественная работа — и потому, что это было естественным моим состоянием, потому что так я хотела, и потому, что я была все время таким винтиком, в большой работе, который нельзя было сразу заменить, не позволяли товарищи и долг коммуниста. Я гордо носила свою голову. Мои сексуальные дела были моим частным делом, в коих я никому не разрешала разбираться. Они занимали у меня мало места. Я помню, еще в начале революции, я была на собрании в Миусском трамвайном парке, организовывала там комсомольцев, — не помню сейчас уж, к чему, но выступал кондуктор с грозной речью и разъяснял мне: «Вот, товарищ организатор, я тебе скажу о нашем горе. Не можем мы жениться на наших женщинах. Уж чего бы лучше и им и нам, живем рядом, одну работу делаем, а не можем. Научились они в трамваях командовать пассажирами, изучили все законы. Наши некоторые женились на кондукторшах и — страдают. Они с мужьями, как с пассажирами, — без малого что — свисток и милиционера!» Я тогда с гордостью подумала, что и я кондукторша, командир, человек!.. Демоны, которые окружили и даже, вроде бога и черта, жили в моей барыне, покинули нас — или, точнее, были выброшены нами. Христианские доблести «левой щеки», истощения «плоти», монашества — не были нашей доблестью. Если барыне было тесно от демонов, то она была свободна от дел, за нее работали мужчины, и она была предоставлена полу. О феодальной рабыне и говорить нечего, — она была задавлена и демонами, и делами, и мужчиной. Инстинкты, конечно, защищают человека. Я видела женщин, которые в годы революции были «защищены» прежними инстинктами. Они не понимали, что, подкрашивая губы, они делали из себя «товар», они не подозревали, что от капиталистических времен в социалистических днях они оказывались предметом товарообмена. Женщины умершего класса в революции, на обломках его морали, боялись потерять жизнь, — по феодальным традициям на первом месте был пол, — и эти женщины спешили полом отстаивать право на жизнь и полом же наслаждаться. Пол, кроме товара, стал для них профессией. Их инстинкты губили их. Мы, женщины революции, никак не были «товаром». Мы были свободны от всяческих демонов. Моя учеба, мои дела мне давали в первую очередь знания, но не ощущения. Ни музыка, ни литература, ни живопись не были необходимыми элементами моего «я». Эстетический и эмоциональный мир мой был очень сужен, точнее — совсем не развит. От литературы по наивности я требовала только политической актуальности, агитации и описательства. От живописи я требовала фабрично-заводских картинок, точно фотографирующих быт. Музыка мне казалась тратой времени. К полу, к моей сексуальной жизни, по существу говоря, я подходила рационалистически, без малого, как к санитарно-гигиеническому занятию. Иные даже из моих подруг и товарищей делали половое чувство предметом развлечений. Я понимала, что это удел женщин умиравшего класса. Этого никогда не было у меня. Прокурор и… не выходило, было ниже моих дел и моего достоинства. Впрочем, я никогда и не думала об этом. И никогда я не думала о ребенке. Я знала, что его не может быть у меня. Я не могла тратить времени на ребенка.

Ребенок был вне моих ощущений. Это была очередная трехдневная болезнь. Это не вызывало особых ощущений. Я брала путевку в больницу и предупреждала товарищей, что выбываю на три дня, ложусь на аборт. Меня никто не расспрашивал. Все было естественно.
…О том, что я забеременела, я догадалась в поезде по дороге в Среднюю Азию, куда я ехала на расследование.
Ташкент, Самарканд, а затем Алма-Ата взяли меня в работу, когда у меня не было ни единой свободной минуты. Я просыпалась в семь, в восемь я была уже на работе среди незнакомых людей, прокурор, — в двенадцать я приходила в номер и сваливалась замертво в сон. Иногда по ночам я вела допросы. Среднеазиатские поезда медленны, и если я отдыхала, то есть отсыпалась до того состояния, когда можно подумать о себе, то это было только в поезде, — под вагоном тогда стучали колеса. Через два месяца я вернулась в Москву. Врачи мне сказали, что аборт уже опоздай, смертелен для жизни. Через месяц во мне задвигался ребенок. Это было взрывом инстинктов, таких инстинктов, которых я и не подозревала в себе. Я стала перепроверять всю мою жизнь. Все, что я делала в моей общественной работе, осталось на месте. Но все, что было в моей половой жизни, или, точнее, — все, чего не было в этой моей жизни, — стало наново, на иные места — все было перебрано памятью. Отец моего ребенка… — никогда я не испытывала большего оскорбления за человечество!.. Это была случайная связь, никого ни к чему не обязывавшая, «деловая», «товарищеская» связь в дни, когда мне особенно мешал пол. Вернувшись из Средней Азии и узнав, что я буду родить, я не позвонила ему. Он не был таким близким человеком, которого я посвящала бы в мои бытовые дела, — ни моральной, ни материальной помощи от него мне не требовалось. Он был очень молод, здоров, даже красив, и этого было совершенно достаточно, чтобы быть спокойной за физическое состояние сына. Но когда ребенок задвигался, когда на меня нахлынули ощущения необыкновенной радости, — я много раз клала руку на телефонную трубку, чтобы поднять ее и позвонить ему. Ведь это мой ребенок! — ведь это его ребенок!.. Я не знала, имела ли я право утаить от него то счастье, какое было у меня. Ребенок для меня был так же случаен, как и для него. Я знаю, что такое смерть, — это ужасно, это противно естеству, я мучилась, видя смерть, и не могла есть — понятно, об этом и написано многими, это и пережито многими в годы революции, — ну, так вот, как смерть противна человеческому естеству, мерзка, — так естественно человеческому естеству, радостно, счастливо — рождение, — радостно, счастливо, — эти слова слишком малы, потому, что рождение — это огромная радость и огромное счастье. Я переносила мои ощущения на отца. Я не знала, имею ли я право скрывать от него это счастье. Ничего иного мне от него не было нужно. Я позвонила ему. За пустяковыми фразами я хотела услышать его тон, установить, какого тона отношений он ждет от меня, — не догадается ли, не заговорит ли сам о ребенке. Конечно, это было глупо, «по-бабьи». Он взял тон любовника. Тогда я сказала, что я беременна. Я видела через телефонные провода, как он растерялся. Он не сразу, чужим голосом, сказал, что он сейчас же приедет. Он приехал, деловито поздоровался и стоял, расставив ноги и чуть покачиваясь, весь наш короткий разговор. Разговор наш был очень короток. Он почти злобно спросил, почему я так долго не звонила ему, три месяца тому назад аборт возможно было бы сделать совсем безболезненно, он спросил, на самом ли деле я беременна и точно ли я подсчитала, что отец — именно он. Он уже звонил какому-то знакомому медицинскому знахарю, и знахарь по дружбе брался делать аборт. Я поняла, что наша двойная смерть — смерть моего ребенка и моя — ему удобнее, чем рождение человека. Всей моей кровью, первый и последний раз в моей жизни с такою ненавистью, я сказала только три слова: «Пошел вон, мерзавец!» Никогда в жизни меня не оскорбляли и не обижали так, как оскорбил и обидел он меня, и не только меня, но все человечество, так воспринимала я, — в лице того маленького, который еще не родился, но которому он — отец. Ведь его-то мать родила на свет!.. Слова «святой», «святыня», — дряхлые слова, — не нахожу других. Не потому, что это мое, — но потому, что во мне растет человек, я ощутила мое тело — да, именно святым. Но я-то, я — чем я лучше?! — в какую краску, в какой стыд, в какую боль непоправимости бросали меня воспоминания о «санитарно-гигиеническом»!.. Мое тело было чище, справедливее и мудрее моих дел, — и было, и есть, ибо оно готовилось и готовится родить человека. Мне стыдно было за мои мысли и за мою память. Пол — это наслаждение? — да, рождением человека. Пол — это рождение

человека. Не потому, что мне нужна материальная поддержка или поддержка разумным советом, не в клановом, не в феодальном порядке, — но мне нужен мужчина, муж, отец моего ребенка, который поймет все то, что я чувствую, которому одному я могу об этом рассказать, пол которого для меня будет так же свят, как и мой для него. Не может быть, чтобы для мужчины было безразлично рождение его ребенка!.. Собака подрывалась под все сараи, чтобы сделать себе логовище для родов. Именно потому, что у меня нет мужа, нет «логовища», я и приехала сюда на эти дни перед родами в чужой дом, чтобы быть совершенно одной, чтобы не быть обремененной бытовыми заботами, никого не обременять и быть на людях, — которые чужды, но все же товарищи. Это больше, чем наказание. Это природа мстит за себя. Как нужен, как нужен близкий, руку которого я могла бы положить на мой живот, без стыда и радостно, чтобы он ощутил, как двигается мой ребенок, и порадовался бы со мною, который любил бы этого будущего человечка вместе со мною. Я приехала в этот дом потому, что я совершенно одна перед лицом рождения того маленького, который двигается во мне. Я приехала, чтобы продумать себя, чтобы наказать себя…»
Погода переменилась. Из-за дождей вышли очень просторное и голубое небо, золотые поля скошенных жнитв, киноварь рябины и осин, тишина и покой. Ночи звездились громадными просторами неба. Лист шуршал под ногою, слышный на много шагов.
Она писала записки в город:

Первая:
«Катя, я себя чувствую очень хорошо, много гуляю, хорошо сплю, каждый день принимаю ванну, много ем фруктов, врач меня осматривает через день. Пожалуйста, напиши мне, готовы ли чепчики, такие, как мы говорили с тобой. Объявление в «Вечерней Москве» о коляске — читала, — ты уже купила коляску или еще нет? — если купила, напиши, какую».

Вторая:
«Катя, я чувствую себя очень хорошо, гуляю, сплю, ем фрукты, принимаю ванну, нахожусь под надзором врача. Здесь очень тихо и хорошие товарищи. Делала доклад. Прослушала два доклада — о съезде писателей и о советском станкостроении. Ты не писала мне, готово ли одеяло? — оно мне будет нужно, когда я буду выходить из больницы. Имя директора я оставила на записке. Не забывай почаще звонить мне в больницу и передачи делай только такие, какие разрешат врачи».

Третья:
«Товарищ Юрисова, милая, я все время отрываю Вас от работы, простите, пожалуйста. Я пишу Кате каждую почту о моем здоровье. Все книги, которые я взяла с собою, о материнстве и младенчестве я перечитала и выучила. Список этих книг остался в моем письменном столе, в правом ящике наверху. Зайдите, пожалуйста, в Ленинскую, как мы говорили, если нельзя купить».

Четвертая:
«Товарищ Юрисова, милая, Вы написали, что маляры наконец приступили к работе. Я все-таки думаю, пусть это дороже, но мою спальню надо выкрасить масляной краской, в белый цвет. Это будет наилучшим для ребенка. О родах я думаю совершенно спокойно. Боли я не представляю, совершенно не думаю о ней и не боюсь. До родов осталось пять дней, но мне хочется, чтобы это было хоть сегодня. Я совершенно готова. Я очень люблю моего будущего сына!.. Извините за то беспокойство, которое я доставляю Вам. Катюша ничего не пишет о няне…»

После доклада о советской преступности однажды произошел у нее следующий разговор с Иваном Федоровичем Суровцевым. Это был день, когда вернулось солнце, утром, в легком морозце. Они ходили по очерствевшим листам, в просторном лесу. Он наломал «татарских сережек», плод бересклета, и подарил ей. Для себя он сорвал гроздь рябины и ел, морщась. Он бросил рябину.

— Вы говорили о влиянии наших социальных изменений на преступность, — сказал он. — Попомните об одном обстоятельстве, знаменательном для нашей эпохи. Почти все наше мужское поколение было на войне и видело смерть. Тот кто был под пулями и стрелял, когда стреляли в него, никогда этого не забудет. Когда человек стоит под пулями, он испытывает такое одиночество, какого нигде в другом месте нет. Память об этом одиночестве он затем приносит в жизнь. Это у целого поколения. — Он помолчал и спросил неожиданно: — У вас нет мужа?
— Нет, — ответила она.
— Очень милая вы и хорошая, вы простите меня, трогательная вы, — сказал Суровцев и смутился.
Они были у опушки леса. Она круто повернула обратно, на шуршащие листы. Он пошел за нею.
— Я два раза был женат… — сказал тихо Суровцев.
Было понятно, что он готов рассказать большую и длинную историю. Она шла, опустив голову, казалось, не слушая. Он смолк. Шелестели листья под ногами.
И роды пришли неурочно, за четыре дня до срока.
Схватки начались в одиннадцать вечера, сейчас же, как она легла в постель и потухло электричество. Она спустилась вниз и позвонила в Москву, чтобы прислали машину. В доме, куда она звонила, никто не подходил к телефону. Она позвонила к товарищу Юрисовой, там сказали, что Юрисова в театре. Она вновь позвонила в пустой дом и долго ждала у телефона, никто не отвечал. Она пошла к дежурной няне, попросила разбудить заведующую. Заведующая жила во флигеле, няня ушла. Полураздетый с лестницы сбежал Иван Федорович Суровцев и зазвонил в Москву, он кричал в трубку, голос его был грозен:
— Давай, давай срочно, без промедления, дорога каждая минута, срочно!..
Он позвонил в другой телефон, говорил непререкаемо:
— Василий Иванович, друг!.. Я вытребовал свою машину, она уже пошла, нужно совершенно срочно, умоляю, пришли свою, срочно, моментально! Спасибо, жду! Если моя придет раньше, я верну твою с дороги, она пойдет следом!.. Спасибо!..
Он сказал ей:
— Машина будет через двадцать минут. Идемте одеваться.
Он говорил, распоряжаясь. Левой рукой он взял ее за левый локоть и правой обнял за талию, помогая идти.
— Я на минуту, собрать свои вещи, — сказал он, — я сейчас приду помочь.
Он совал свои вещи в чемодан, как попало, галстук его был повязан набок. Он вошел в ее комнату, поднял с пола ее чемодан, собрал со стола книги и бумагу, положил их на дно чемодана, открыл шкаф и ящики ночного столика, — не забыла ли чего. Он бросился к ее ногам и надел туфли, завязал их. Он подал пальто и пытался его застегнуть. Заведующая и нянька оказались не у дел. Он взял свой и ее чемоданы. Прожектор автомобиля издалека бросил свет на дом. Они вышли на крыльцо. Он сунул чемоданы к шоферу. Он обнял ее за плечи и прислонил ее голову к своей груди, гладил ее шапочку.
Он крикнул шоферу:
— В Москву, к Таганке, живо!.. О, черт!..
Шофер бросился на темноту, машину тряхнуло канавой. Он крикнул шоферу:
— Тише!.. О, черт!..
Всю дорогу они не молвили ни слова. Когда он видел, что она мучится, он прижимал ее голову к своей груди, бестолково, растерянно и нежно гладил ее шапочку. В вестибюле родильного дома ко всему на свете привычный, а главным образом к родам, степенный дед распорядился, сказал Суровцеву:
— Жену пока посадите на скамеечку. Сейчас скажу дежурному доктору, он ее возьмет в смотровую, а вы погодите здесь, я ее вещи вам верну. Давайте путевку.
Она протянула Суровцеву свою сумочку, он раскрыл и стал рыться в бумагах. Дед ушел. Дед вернулся и молвил сурово:
— Пожалуйте.
Суровцев помог ей подняться со скамейки, обнял ее и поцеловал в лоб. Она обняла его. Она положила голову ему на плечо. Она подняла голову. Глаза ее светились слезами. Она

поцеловала его. Дед повел ее по ступенькам вверх. Через полчаса дед вынес узелок с бельем и платьем, сумочку с документами и с деньгами, отдал пальто, сказал:
— Поместили в предродилку. Завтра ждите сынка или дочку. Позвоните по телефону или приезжайте часам к одиннадцати.
Суровцев позвонил в восемь часов утра. Ему сказали, чтобы он позвонил через час. Через час ему сказали, что родился сын, четыре килограмма сто сорок граммов весом. После больницы Суровцев приехал в большую свою, только что отстроенную квартиру, пустую и необжитую. Был уже третий час ночи. Суровцев разбудил свою старуху мать, отдал ей чемоданы, сказал:
— Тут в одном чемодане женские вещи, просмотри, что надо, почисти, постирай, погладь.
Он отнес чемодан в комнату матери. Вскоре мать принесла стопку книг о материнстве и младенчестве. Среди них была тетрадь в тисненом венецианском переплете. Суровцев положил книги себе на письменный стол. Он открыл венецианскую тетрадь, прочитал строчку — и бережно спрятал тетрадь в ящик. На кухне он заварил себе кофе, ждал, когда он вскипит. Затем в кабинете он сел к столу и читал книги о младенчестве, курил и тут же пил кофе. Затем он писал. И не заметил, как наступило утро, рассвело. Было восемь. Он позвонил в больницу. В одиннадцать часов он был в больнице и передавал уже новому деду, помоложе возрастом, но столь же степенному, корзину цветов и сверток с маслом, яйцами, хлебом, печеньями, яблоками и грушами, объяснив, что все это предназначено для роженицы Антоновой. Дед степенно сказал — «обождите» — и скрылся за дверями. По коридору в это время, за стеклом двери, вереница нянек пронесла новорожденных детей, каждая нянька по два человеческих существа. Дед вернулся нескоро и принес записку. Она была написана на клочке бумаги, неразборчиво, больными буквами: «Милый, конечно, промучилась, сейчас счастлива. Сын, хоть и не дочь; все-таки мой явно! — черный. Люблю его. Спасибо за передачу».
И на другой стороне листка совсем детскими крупными буквами:
«Как только переведут из родилки в палату, напишу большое письмо обо всем. Привезите мыло, пасту, зубную щетку, бумаги…
Ваша Мария».
Суровцев приезжал еще раз, в четыре часа. Кроме мыла, пасты, бумаги, он привез термос с горячим кофе, по своей инициативе. Она ответила письмом:
«Спасибо, спасибо! я не знаю, куда девать всю эту гору еды. Сын и я побили рекорд — 10 ф. 140 гр. Такого за эту ночь никто не родил. О родах не рассказываю. Это совершенно бесчеловечное рождение человечества. Но сын есть, и он оправдывает все. Сегодня в двенадцать ночи буду кормить. Он красный с черными волосами. Термоса не возвращаю, потому что некуда перелить. Желаний у меня тысячи, лечь на бок, сесть, петь. Сына — обожаю, хотя он еще некрасивый, смешной и живет только семь часов и тридцать пять минут. Хочу домой и видеть Вас! отпустят только через восемь дней, как долго!..»
Суровцев приехал домой, опять заварил кофе, выпил целую кастрюлю, сел к столу, чтобы писать, и — заснул. Сонный перешел на диван, спал до пяти утра. В пять он сел за бумагу. Он писал со многими поправками, марая бумагу, много страниц он переписал набело:
«Товарищ Антонова, дорогой человек!
Всего о жизни своей не расскажешь сразу, да, наверное, и никогда не расскажешь, потому что, чтобы рассказать, надо жить заново. А кроме этого, очень многое в жизни, и даже самое главное, не узнается человеком посредством слов и словами никак не передается. Прожито много, ух, как много прожито, оглянешься назад, тысячелетия позади!.. И каждый из нас, погляжу кругом, — патриархи. Всю прошлую ночь, вы уж извините меня, читал я ваши книги о воспитании детей. Почему полюбились вы мне, а сын ваш мне дорог, как родной, — этого словами сказать я не могу. Две вещи, два обстоятельства были мне страшны в жизни. Об одном я обмолвился, разговаривая с вами, — об одиночестве. Как его объяснить? — я коммунист, то есть человек коллектива, все понятно, — а вот как только я остаюсь один в четырех стенах и даже в лесу, когда под ногами опавшие листья, мне одиноко и мне страшно от моего одиночества. Мне без людей страшно, а я знаю, что человеку надобно иной раз побыть и одному, и одному чувствовать себя полно. И надо не чувствовать одиночества вдвоем с женщиной, потому что вдвоем с женщиной возникает то, что дает человеку ощущение бессмертия. Вдвоем с женщиной я тоже чувствовал

одиночество, потому что я не чувствовал — верности. И вот ощущение неверности и есть второе обстоятельство, — вот что очень страшно было мне всю жизнь: ощущение неверности — вдвоем с женщиной, а отсюда — одиночество. Я был женат дважды. Первая моя жена была товарищем, партийкой, мы дрались с ней вместе на гражданских фронтах. Вторая моя жена была осколком прошлого, музыкантша, вкрадчивая, как кошка. Первая оказалась красноармейцем и мужчиной больше, чем я, а вторую я заставал в различных постелях вместе с поэтами. Ни та, ни другая не хотели иметь детей, и обе были больны, и мне было скучно с ними, мне было одиноко, и я чувствовал только неверность. Неверность. Неверность была фундаментом семьи, — у первой неверность перед биологией и рождением человека, а у второй и перед биологией, и перед человеком, и перед элементарной семейной честью. Обелять себя не собираюсь, — то, что я пишу сейчас, я знаю только теперь. Что касается меня самого, то по отношению к первой жене я оказался в том положении, в каком по отношению ко мне была вторая, а со второй женой произошло то, что произошло со мною по отношению к первой жене. Вот и все. Я наблюдал за вами и видел самого себя. Ребенок!.. Обе мои жены всегда абортировали.
У меня к вам конкретные предложения. Вы живете одна. У меня со мною живет мать, хорошая старуха. Я напрашиваюсь в отцы вашего ребенка. Детская комната у меня глядит на солнце. Мать будет помогать вам. Я возьму на себя бытовые заботы. Мы оба коммунисты. У меня нет детей. Я совсем один. Не осудите за дерзость, но я люблю вашего сына, равно как люблю и вас — мать. Повторяю, что словами я всех моих чувств объяснить не могу. Вы со мною совсем не говорили о себе самой, я только видел и ощущал вас. Именно поэтому я и думаю, что я не ошибаюсь, обращаясь к вам с этой просьбой.
Ваш Иван Суровцев».
Иван Федорович запечатал это письмо в конверт, переписав его без единой описки в девять часов утра. Он поехал в больницу. Он вез с собою мыло, зубную щетку, бумагу, автоматическое перо, чернила — и этот конверт. Он отдал деду — мыло, пасту, бумагу, пищу, — но конверт три дня пролежал нераспечатанным в его кармане. И только на четвертый день, так же нераспечатанным, он вручил его деду для передачи товарищу Антоновой. Эти три дня Иван Федорович ставил вверх дном свою квартиру. За эти три дня на бумаге, привезенной Суровцевым, товарищ Антонова записывала:
«Родить повезли ночью. Впрочем, времени не было. Сначала были только ночь и впервые в жизни мужские по-человечески ласковые руки, а затем белые круги циферблатов на каждой площади, которые говорили: скорей! скорей!.. Где-то далеко, уже совсем в прошлом остались старый дом, угловая комната, шум леса. Сейчас только одно слово «скорей», ощущение неловкости перед шофером и желание войти в те большие двери, которые должны открыться без минутного промедления и около которых какими-то тупыми буквами составлены слова «для рожениц».
Потом все идет просто, и никому, никому не видно, что жизнь раскалывается на две, уже до конца, может быть, не совпадающие, самостоятельные человеческие половины. Да, именно распадение человека на две индивидуальности, на две судьбы, на два человека, один из коих сейчас — я, побеждает смерть.
Какой-то молодой человек, врач, которому все равно, который не думает, что он присутствует при уничтожении смерти, при бессмертии, при рождении человека, щупает пульс и живот. Какая-то девущка записывает анкету, греет воду. Впрочем, они не «какие-то», потому что запоминаются до последних подробностей, до мелочей, до интонации. Запоминается все! — но и только. Потому что об этом не думаешь, этого не чувствуешь, это вне тебя, далеко, чужое и холодное. Слышно только свое «я», которое раздваивается, — слышно, как внутри, спрятанное от всех и от всего, вырастает с каждой минутой, что сейчас случится, о чем никто не знает, что не расскажешь никому, но что заполняет собою весь мир, — реальное ощущение человека, который сейчас родится, которого никто, даже я, не знает, но которого я люблю и буду любить всю жизнь, который сменит меня.
Боли было мало. Боль началась в предродилке. На девяти кроватях кричали девять женщин. Девять женщин пришли со своими радостями, горестями, мыслями, своими прошлыми годами, своим бытом. И от каждой выросли в эту ночь новые люди, новых эпох, новых поколений.

Давно в детстве (сейчас кажется, что это было в детстве), в дневнике, в записной книжке, и я, как и все, мечтала о человеке, это было тогда, когда я еще могла влюбляться, и о товарище, и о мужчине. Товарищей было много. У меня почти не было того девичьего периода, когда человек искался, находился и воплощался в какой-либо профиль, в какое-либо имя, которое писалось сплошь большими буквами. У меня не было, как у других девушек, когда этот человек распылялся и когда в дневниках появлялись фразы: «Человека нет, и самое бессмысленное занятие в мире — думать, что его можно найти». Такой «человек» мною никогда не искался. У меня были товарищи. Такой «человек» — за бытом, за встречами, за работой — проходил кусочками и так же кусочками терялся. Ничто не казалось удивительным, хотя и у меня в детстве были эти дневниковые страницы о «человеке», которые остались недодуманными и неопытными. Должно быть, это плохо, что у меня почти не было девичества. Я думала об этом в метаниях о железные прутья кровати, о безразличие сестры, обходившей всех нас по очереди. Мне хотелось одной, совсем одной справиться с болью и страхом. Тянуло книзу, к спине, подступило к сердцу. Как волна, нарастала боль, накатывалась и потом так же медленно уходила для того, чтобы опять подойти с большей силой, схватить, скорчить. И такая же скорченная вылезла в сознание остатком эстетики, от суден, от рвоты, от раскоряченности самой себя и соседок, ненужная фраза — «в муках рождения» — и застревала в мозгу, повторяясь, как стук поезда, и обрываясь на полубукве, когда обессиленный мозг терял сознание, — на полсекунды, чтобы опять скорчиться, заметаться, — «в муках…» — и уже без слов, одним и двумя звуками: «О-х! о-о-о!..» — и сама себе: «Покойней! покойней!» Ночь казалась вечностью. Рассвет пришел безразличием. При свете было больней и стыдней за свою боль, за беспомощность в этой, ставшей большой, комнате, — кровати пустели, увозили все чаще и уже увезли почти всех, и уже казалось, что ты одна во всем мире, и даже кричать одной было страшно и нелепо… и надулась шея, сошлись челюсти, потянуло книзу все тело, руки вцепились в кровать, стало страшно до безумия, до тупости. Крикнула: «Сестра!» И уже не могла удержаться от крика, пока не подошли, не открыли, не посмотрели, пока не услышала покойные слова: «Молодец! хорошо, показалась головка, — ну мамаша, черные волосики показались!» И вдруг поняла, что сейчас и только сейчас нужны силы, нужна уверенность, — и сама легла на каталку и видела потолок коридора, сходящий к синей стене, больничный лист на груди, высокие, неуклюжие столы родильной палаты, — и уже совсем спокойно и совсем собранно сказала акушерке: «Самое главное, чтобы ребенок был здоров!» И уже не помню боли с этого момента, чувствуя ее только лишь как необходимость, чтобы помочь ребенку вывести эту глупую волосатую головку, не торопясь, не слушая, что делалось кругом, своей волей командуя началом и силой схватки, собирая силы и дыша полной грудью, чтобы ребенку было покойнее. И вдруг потянуло так, что казалось, сорвет, выкинет со стола, разорвет на части. Застучало в висках, в сердце, все превратилось в напряженную массу, — и потянуло, легко скинулся живот, и еще через закрытые глаза, через сжатые до беззвучия зубы, прорезался крик, резкий, здоровый, и я увидела маленький, сморщенный красный комочек, еще привязанный ко мне, еще сохранивший на себе пятна моей крови, моего тела. И первое понятие было, что из самого нечеловеческого родился человек, тот самый человек с большой буквы, не найденный в детских дневниках, а сейчас конкретно ощутимый — мой и — Человек. Если бы это видел отец! — если бы это ощущали отцы!..

И тогда, когда понялась широта рождения, или, может быть, раньше, когда было больно и страшно, или позже, когда слишком сильно кричали женщины, — справившись физически, не справилась с нервами, шумело в висках, вскакивал пульс, высыхали глаза, — тогда ночами, в нескончаемых криках женщин, путалось понятие времени, путалось понятие самой себя, и казалось, что все это я, и вчера, и сегодня, и завтра, всегда все я рожаю, кричу, — все повторялось, повторяется и будет повторяться из века в век, всю жизнь человечества. И этот нечеловеческий крик — не крик, а вой, визг, мычанье, и боль и страх, — и родившиеся маленькие, одинаковые, крикливые, — мне казалось, что все это — я. Я кормлю всех этих крикунов, мальчиков, девочек, черненьких, беленьких, и не уйти, не справиться, и не хватит сил. И по ночам сохли глаза, и постель вымокла моим молоком. И встал по-новому образ женщины, человека, рождающего человека, и возникало ощущение несправедливости, — почему социальна война, а рождение человека, человечества — мало

достойный внимания физиологический акт или, по определению идиота, «физиологическая трагедия женщины»!
И еще. За жизнью, за бытом, за нашей эпохой ущло и потерялось феодальное ощущение рода, крови, корней. Я боролась с ними. У феодалов женщина приходила к мужу, ее принимали в род. У меня этого не было. У меня нет рода, который своими корнями давал бы мне жизнь. И оказывается, — мой род не продолжается, — но — начинается, на-чи-на-ет-ся. Он замкнут узким, очень узким и очень тесным кругом, — моим сыном, у которого даже нет отца, — но у этого рода есть преимущество, — он смотрит — не назад, а — вперед!..

Иван Федорович Суровцев отослал свое письмо товарищу Антоновой. В загс, регистрировать ребенка, дать ему юридическое бытие советского гражданина будущего бесклассового общества, они ездили вдвоем, товарищи Антонова и Суровцев. Они ждали в очереди. Суровцев читал объявления. Загс состоял из двух кабинетов и ожидальной. В одном из кабинетов регистрировали рождения и браки, в другом — разводы и смерти. Дома однажды, в глубокую ночь, покормив сына, товарищ Антонова пересматривала свои записки. Она вырвала из венецианской тетради все, написанное в доме отдыха, и сожгла эти листы. Написанное ж в больнице на бумаге, принесенной Суровцевым, она переписала в венецианскую тетрадь.

1934

Юрий Олеша

Три рассказа

1. Эжен Даби

Ко мне обратились из Союза советских писателей с просьбой участвовать во встрече тела французского писателя Даби, которое должно было прибыть из Севастополя.
Писатель Даби сопровождал в числе других французских писателей Андрэ Жида в его поездке по СССР. Он заболел в Крыму скарлатиной, болел несколько дней и умер.
Я вышел на перрон Курского вокзала. Это было утром, в девятом часу. Никого из писателей я не увидел. Я пришел первым. Потом появилась группа французов. С ними была знакомая мне девушка. Я знал, что она инженер-химик, и меня удивило, почему она с писателями. Я подумал, что теперь она работает переводчицей, но потом увидел, что лицо и глаза у нее такие, как бывают после плача. Очевидно, смерть Даби была для нее смертью близкого человека.
Она представила меня французам.
Я услышал:
— Мазерель.
Передо мной стоял высокий человек приятного и свободного вида. В его фигуре было что-то общее с нашими художниками.
Оказалось, что он может говорить по-русски.
Я никогда не видел человека, который теперь был мертвым и лежал в гробу. Я не видел его ни живым, ни мертвым.
Поезд опоздал. Мы пошли в ресторан, там нас посадили за особый стол, и мы пили кофе.
Наша группа привлекла общее внимание. Нас разглядывали.

Потом подошел поезд. Мы пошли к хвосту и ждали перед товарным вагоном, на дверях которого висела пломба. Мазерель стоял с «лейкой» в руках. Девушка плакала, не стесняясь, на нее смотрели.
Вагон открыли. В темноте вагона, на полу, стоял закрытый цинковый гроб. Передо мной был длинный цинковый гроб, который спускался из дверей вагона узким концом по направлению к ожидавшим его внизу людям.
Мы приняли гроб на плечи и понесли.
Мы несли гроб по перрону. Люди, останавливаясь группами, пропускали нас мимо себя. Мы пересекли рельсы и через особое помещение вынесли гроб на площадь, где стоял грузовик, обтянутый красными и черными полотнищами. Гроб был поставлен на грузовик. Два больших венка были подняты на грузовик и поставлены возле гроба.
Грузовик двинулся. Мы ехали в двух автомобилях сзади.
В одном из кабинетов Дома писателя гроб был установлен, и товарищи Ставский, Лахути, Аплетин и я стали в почетный караул. Потом нас сменили Мазерель и три француза. Я услышал, что принесли венок от французского посольства. Потом я ушел, и все это событие для меня окончилось.
Даби был одним из представителей той западной интеллигенции, которая становится на нашу сторону.
На ленте венка Даби был назван другом Советского Союза.
Некогда нас считали варварами и разрушителями культуры. Теперь мы привлекаем к себе наиболее умных и чутких людей Запада. Они поняли, что будущее мира строится у нас.
Я стоял в почетном карауле у гроба человека, который признал это, видел только цинковые грани гроба и силуэты листьев и цветов. Впереди я видел плачущее лицо девушки. Она видела то, чего я не видел. Она его помнила, и в памяти ее стоял живой человек. Она не могла бы показать его мне, мне невозможно было бы увидеть этого живого человека глазами ее памяти, — то, что она плакала, было для меня единственным изображением его жизни.
Я посмотрел на гроб и впервые подумал о его размерах. Друг девушки был рослый мужчина. Я представил его себе похожим на одного из тех испанцев, которые дерутся сейчас с фашистами, — широкоплечим человеком в берете и с ружьем в руках.

1935

2. Полет
Я приехал в аэропорт. Мне предстояло лететь из Одессы в Москву.
Я увидел поле, на котором стояло два самолета. Позади них было светлое пространство неба, они казались мне силуэтами, но я видел синий цвет крыльев. Самолеты стояли головами ко мне. Возле них суетились люди.
Я сидел в буфете на диване. Это было очень маленькое помещение со стойкой и несколькими столиками. За стойкой возвышалась гора арбузов зеленой кружевной окраски. Я заказал себе стакан чаю.
Потом вошел и сел за столик человек в тужурке и фуражке — летчик. Он снял фуражку и положил ее на стол. Я подумал, что это летчик, который будет вести мой самолет. Я стал рассматривать его и следить за тем, что он делает. Ему подали два вареных яйца, хлеб и стакан чаю. Когда он заказывал хлеб, он сказал: «Дайте сто граммов».
Я вышел на крыльцо и смотрел некоторое время на самолеты. Спросили: «Кто на Москву?»
Я пошел за дежурным по аэропорту. У него в руке был белый флажок. Со мной шел еще один пассажир — молодой человек в кепке и с портфелем. Он направлялся в Ростов. Со мной он должен был лететь до Днепропетровска. Я из города ехал с ним в автобусе; и тогда уже в его поведении было заметно желание показать, что он летит не в первый раз и что для него это дело привычное.

Когда мы подходили к самолетам, мотор одного из них уже работал. Быстро, но еще оставаясь видимым для глаза, вращался пропеллер. Вращение это создавало серый диск. Очертания пропеллера, подобно тени, то появлялись в этом диске, то исчезали.
Я прошел довольно далеко от места, где происходило это вращение, но оно отозвалось во всем моем теле. Почва тряслась под ногами. Я, сгибаясь, влез в маленькую, как бы вырезанную в декорации дверку.
Сел на заднее место.
В самолете было шесть мест, в этом я убедился позже. При отлете из Одессы внутренность кабины была заполнена почтой — мешками и тюками.
Молодой человек сел впереди меня. Но вдруг бортмеханик, чья спина виднелась впереди, в окне, оглянулся и сказал, что надо сесть сзади. Молодой человек запротестовал. Тогда бортмеханик сказал тоном приказания:
— Так надо.
Пассажир сел рядом со мной. Я понял, что сидеть на передних местах, очевидно, в каком-то отношении лучше.
— Они перегрузили почтой, — сказал мой спутник. Опять он показал свою опытность.
Кабина самолета приподнята. Я сидел в глубине, и почта возвышалась надо мной, и казалось, что она на меня наваливается. Еще выше над этой грудой была видна спина бортмеханика. Другой человек, сидевший рядом с бортмехаником, — пилот — был скрыт чем-то вроде занавески.
Вдруг дверь закрылась, и нас отрезало от мира. Все для меня сосредоточилось в круглом окне, в которое я смотрел. Человек с флажком стоял на серой земле. Потом он отбежал и, опять остановившись, взмахнул флажком. До этого я успел заметить, что выражение его лица несколько секунд было осматривающее.
Шум мотора усилился в неисчислимое количество раз. В нем появился звон.
В окне потемнело. Это было похоже на резкую перемену погоды. Мы сдвинулись с места. Это движение по земле — когда самолет не летит, а едет — продолжается более долго, чем предполагаешь. Момент отрыва неощутим. Я не почувствовал, а увидел, что мы уже летим. И сразу же мы оказались летящими над рекой.
Я переживал удовольствие, радость и торжество.
В окне я видел движение ландшафта, над которым мы летели. Движение кажется круговращательным. Какие-то начинающиеся и незавершающиеся повороты огромных пространств. Впечатление такое, что самолет висит в воздухе неподвижно. На желтой, ярко освещенной солнцем поверхности полей движется тень самолета.
Спутник мой заснул. Я один пережил полет. Прижимаясь к окну, я видел колесо самолета, и было странно видеть висящей в пространстве эту земную вещь.
Вдруг шум мотора прекратился. Вместо высокого напряженного звука послышались глухие ритмические удары: такх-тах-тах. Я ощутил тяжесть самолета и то, что он движется, и именно вперед.
Это была посадка.
Я ощущаю полет, направляющийся вниз, ощущаю, почти вижу, наклон самолета. Мне кажется, что в кабину залетают тени.
Земля приближается. Эволюции, которые самолет проделывал, прежде чем сесть, остались для меня непонятными и неуловленными, меня только поразило, что с выключенным мотором самолет летит так долго.
Затем в окне стремительно несется навстречу поле. Затем толчки, и с грохотом, подпрыгивая, мы едем по земле.
Выйдя из самолета, я спросил:
— Что это?
— Николаев, — ответили мне.
Передо мной было поле, ничем не отличавшееся от того поля, с которого мы улетели в Одессе. Оно было нагрето и пахло. Я пошел курить. Я чувствовал себя очень хорошо. Это было чувство деловитости, подъема. Приятно было со стороны смотреть на самолет, в котором ты только что летел. Хотелось как можно скорее продолжать полет.
И мы летели дальше.
Посадки производились в Кривом Роге, в Днепропетровске, в Харькове и в Орле.

В Харькове мы пересели в другой самолет, той же системы: «Сталь-3».
На последнем этапе, Орел — Москва, я заснул. Проснулся я, когда самолет летел над цветущим краем. Я видел каналы, железнодорожные пути, трубы заводов, здания, блестящие квадраты каких-то бассейнов. Это была Московская область.
Я никогда не забуду всего того, что составляло этот полет. Это все превосходные вещи — строгий, деловой, мужественный мир. Хочется опять вернуться в него. Человек, совершивший долгий полет, начинает уважать себя. Он переживает чувство победы. Вернувшись домой, я заснул и спал так крепко, как некогда в юности после экзамена или после футбольного матча.
Когда я летел, я думал о наших прославленных летчиках. Мое представление о таких людях, как Чкалов, Леваневский, Молоков, приобрело новые, живые оттенки. Если, пролетев по давно установленной, не грозящей никакими опасностями трассе, — причем летел только лишь в качестве пассажира, — я все же приобщился к чувству победы, то какова же степень этого чувства у тех, кто открывает новые воздушные пути сквозь дикие пространства мира?
Я летел и предвкушал, как я буду рассказывать друзьям о своем полете. Два-три человека ждали моего возвращения. Какими же захватывающими чувствами переполнен летчик, который возвращается после исторического перелета и знает, что его ждет вся Москва?
Я ощутил, как полноценна жизнь этих героев. И, подумав о том, что тысячи молодых людей стремятся подражать их примеру, — а раз стремятся, то, значит, чувствуют уверенность в своих силах, — я с особенной явственностью понял, как полноценна вся жизнь нашей страны.

1936

3. Летом
С первого взгляда он мне не понравился. Он стоял на краю обрыва и смотрел через бинокль в небо. Мне показалось, что он принадлежит к тем людям, которые пользуются благами жизни с чересчур уж заметным увлечением, Я не любил таких людей.
Он смотрел на планету Юпитер.
Он был писатель, как и я. В эту минуту я подумал о себе с превосходством. Он меня раздражал, и я подумал, что ему не придет в голову, как пришло мне, сказать о Юпитере, что это — фонарь неба.
Нас познакомили. Он оказался чрезвычайно почтительным. Он сказал, что знает меня еще с тех пор, когда он был слесарем в железнодорожном депо.
— Я читал ваши фельетоны в «Гудке».
Передо мной стоял молодой рабочий, сделавшийся писателем. Затем я узнал, что он изучает звездное небо. Все изменилось. Я стал иначе относиться к раздражавшему меня биноклю. Оказалось, что это не причуда курортника, а нечто более серьезное.
Первое, что он мне показал, — была звезда Алтаир. Она находится в созвездии Орла. Это созвездие состоит из трех звезд. Они расположены одна над другой по прямой линии. Как будто кто-то прямо в вас целится из лука. Центральная звезда — Алтаир — кажется вершиной направленной в вас стрелы. Она горит очень ярко, синим, полным блеска цветом.
Затем молодой человек сказал:
— А вот Вега.
Он стоял, вытянув руку в высоту. Я поднял голову и увидел прямо над собой, в середине купола, великолепную голубую звезду.
Так это и есть Вега!
Сколько раз я думал о красоте этого слова. Я знал, что это название звезды. Но я не знал какой. Я повторял: «Вега». И в этих звуках была странная протяжность.
Далекая, холодная звезда.
Как поэтически правильно то, что именно вид этой звезды отозвался в уме людей словом «Вега»!

— Она самая яркая в летнем небе, — сказал молодой человек. — Вега, Капелла, Арктур.
— Получается стих, — сказал я.
Он не понял. Лицо его выражало учтивейшее желание понять.
— Вега, Капелла, Арктур. Получается дактиль.
— Совершенно верно! — Он воскликнул это с необычайной радостью. — Совершенно верно! Я не заметил… Вега, Капелла, Арктур! — Потом мы смотрели на звезду Арктур. Она стояла низко над черными очертаниями деревьев. Это беспокойная, быстро мигающая звезда. И ночь в этом месте казалась особенно сгущенной.
— А Капелла? — спросил я.
Молодой человек оглянулся. Дерево в перспективе мешало ему. Он сделал движение вглядывающегося человека.
— Еще нет, — сказал он. — Рано!
Как правило, люди не слишком много интереса проявляют к звездному небу. Каждому известно, что звезды расположены в созвездиях, но различать в небе созвездия умеют далеко не многие. Даже в литературе редко встречаются звезды — с их именами. Просто говорится: звезды — и только. Мало кто знает, что картина звездного неба изменяется с изменением времени года. И уж никому нет дела до того, что над странами, находящимися по ту сторону экватора, стоит совершенно неизвестное нам южное небо.
Когда в летний вечер смотришь на звезды, внимание не задерживается на том, чтобы уловить порядок в их расположении. Воспринимаешь эту россыпь как нечто беспорядочное. Как беспорядочен фейерверк. И легко представить себе, что каждый вечер небо выглядит иначе.
Но вот получено объяснение. Вы знаете — это Стрелец, это Кассиопея, это Дракон, это Персей, это Плеяды, это Андромеда. Небо перестало быть фейерверком. Оно как бы остановилось перед вами. Вы испытываете поразительное, ни с чем не сравнимое ощущение. С тех пор как вы выросли, впервые вы постигаете знание, столь же древнее и столь же естественное, как речь.
— А это… видите? Выше… Кольцо? Вот там! Это Северный Венец. И в нем — Гемма.
Надо было видеть, с каким упоением давал мне свои объяснения этот очаровательный молодой человек. Он водил меня с места на место. Он ставил меня то тут, то там. При этом он легко касался моих плеч. Он становился сзади меня и приподнимал мне голову. Прежде чем показать мне то или иное светило, он сперва прицеливался сам. Я не знал, что он там такое выискивает в небе. Он молчал.
— Подождите, — говорит он. Как будто звезду можно было спугнуть. Это был настоящий энтузиаст. — Вега сегодня хороша! — восклицал он. — Ах хороша!
Потом я ушел к себе. Он сказал, что позовет меня, когда появится она. И через час мы крались вдвоем вдоль кустов. Вдруг он остановился. Я почувствовал, что он ищет — не оглядываясь — моей руки. Я протянул ему руку, и он вывел меня вперед.
В тишине и свете, над уснувшим миром, висела звезда — зеленоватая, полная, свежая, почти влажная.
— Капелла? — тихо спросил я.
Он кивнул головой.
И после паузы шепотом, таинственно произнес:
— В созвездии Возничего.
Когда мы прощались, я его поблагодарил.
Я сказал:
— Спасибо за объяснения.
— Ну что вы! — сказал он. — Это вам спасибо!
— За что?
Я удивился.
— За то, что заинтересовались!
Это было самое удивительное и неожиданное в этом вечере. Человек благодарил меня за то, что я проявил интерес к звездному небу. Как будто это небо было его! Как будто он отвечал за все зрелище! Как будто он доволен, что небо не подвело!
Это был хозяин земли и неба.

Я подумал о том, сколько людей до меня интересовались небом. Астрономы, мореплаватели, открыватели земель и звезд.
«Спасибо, что заинтересовались!»
Он получил эти земли и звезды в наследство. Он получил в наследство знание.

1936

Вячеслав Шишков

Чертознай

— А вот, честна компания, я весь тут: росту огромного, ликом страшен, бородища, конешно, во всю грудь. Я таежный старатель, всю жизнь по тайгам золото искал, скрозь землю вижу, поэтому и прозвище имею — Чертознай.
Ох, и золота я добыл на своем веку — страсть! Мне завсегда фарт был. А разбогатеешь — куда деваться? Некуда. В купецкую контору сдать — обсчитают, замест денег талонов на магазины выдадут, забирай товаром, втридорога плати. А жаловаться некому — начальство подкуплено купцом. Ежели с золотом домой пойдешь, в Россию, в тайге ухлопают, свой же брат варнак пришьет. То есть прямо некуда податься. И ударишься с горя в гулеванье, кругом дружки возле тебя, прямо хвиль-метель. Ну, за ночь все и спустишь. Конешно, изобьют всего, истопчут, с недельку кровью похаркаешь, отлежишься, опять на каторжную жизнь. Да и подумаешь: на кого работал? На купчишек да на пьянство. На погибель свою работал я…
Людишки кричат: золото, золото, а для меня оно — плевок, в грош не ценил его.
Например, так. Иду при больших деньгах, окосевши, иду, форс обозначаю. Гляжу — мужик потрясучего кобелька ведет на веревке, должно — давить повел. У собаки хвост штопором, облезлый такой песик, никудышный. Кричу мужику:
— Продай собачку!
— Купи.
— Дорого ли просишь?
— Пятьсот рублей.
Я пальцы послюнил, отсчитал пять сотенных, мужик спустил собаку с веревки, я пошел своей дорогой, маню:
— Песик, песик! — а он, подлая душа, «хам-ам» на меня, да опять к хозяину. Я постоял, покачался, плюнул, ну, думаю, и пес с тобой, и обгадь тебя черт горячим дегтем… Да прямо в кабак.
А было дело, к актерам в балаган залез: ведь в тайге, сами, поди, знаете, никакой тебе радости душевной, поножовщина да пьянство. А тут: пых-трах, актеры к нам заехали, был слух — камедь знатно представляли.
Захожу, народу никого, кривая баба керосиновые лампы тушит, говорят мне: камедь, мол, давно кончилась, проваливай, пьяный дурак. Я послал бабу к журавлю на кочку, уселся в первый ряд.
— Эй, актеры! — кричу. — Вырабатывай сначала, я гуляю сегодня. Сколько стоит?
Очкастый говорит мне:
— Актеры устали, папаша. Ежели снова — давай двести рублей.
Я пальцы послюнил, выбросил две сотенных, актеры стали представлять. Вот я пять минут не сплю, десять минут не сплю, а тут с пьяных глаз да и уснул. Слышу трясут меня:

— Папаша, вставай, игра окончена.
— Как окончена? Я ничего не рассмотрел… Вырабатывай вторично. Сколько стоит?
— Шестьсот рублей.
Я пальцы послюнил, они опять начали ломаться-представляться. Я крепился-крепился, клевал-клевал носом, как петух, да чебурах на пол! Слышу: за шиворот волокут меня, я — в драку, стал стульчики ломать, конешно, лампы бить, тут набежали полицейские, хороших банок надавали мне, в участок увели.
Утром прочухался, весь избитый, весь истоптанный.
— Где деньги?! — кричу. — У меня все карманы деньгами набиты были!
А пристав как зыкнет:
— Вон, варнак! А нет, мы тебе живо пятки к затылку подведем.
Вот как нашего брата грабили при старых-то правах…
Одначе, что ни говори, я укрепился, бросил пить. Два года винища окаянного ни в рот ногой, золото копил. И облесила меня мысль-понятие к себе в тамбовскую деревню ехать, бабу с робенчишком навестить. Ну, загорелось и загорелось, вынь да положь. Сел на пароход, ду-ду-ду… — поехали. Через сутки подъезжаем к пристани, а буфетчик и говорит:
— Здесь село веселое, девки разлюли-малина. На-ка, разговейся. — И подает мне змей-соблазнитель стакан коньяку, подает другой, у меня и сердце заиграло с непривыку. — Золото-то есть у тя? — спрашивает.
— Есть, Лукич… Много… На, сохрани, а мне выдай на разгул тыщенку. — Отдал ему без малого пуд золота в кожаной суме, суму печатью припечатали: отсчитал он мне пять сотенных, говорит: «На пропой души довольно».
Вылез я на берег, окружили меня бабешки да девчата, одна краше другой, ну прямо из-под ручки посмотреть. А у меня все персты в золотых, конешно, кольцах, четверо золотых часов навздевано, на башке бобрячья шапка, штанищи с напуском, четыре сажени на штаны пошло, из-за голенищ бархатные портянки по земле хвостом метут аршина на два. Как вскинул я правую руку, да как притопнул по-цыгански: «Иэх, кахы-кахы-кахы!» Тут девки-бабы целовать меня бросились… Я расчувствовался благородным обхождением, пальцы послюнил, сотенную выбросил:
— Эй, бабы, парни, мужики, устилай дорогу кумачом! Веди меня к самому богатому хозяину. Айда гулять со мной…
Зачалось тут пьянство, поднялся хвиль-метель. Я требую и требую. А богач мужик и говорит:
— Да чего ты бахвалишься?.. Есть ли у тя деньги-то?
Расчесал я пятерней бородищу, гулебщики под ручки повели меня, я иду, фасон держу, великатно на обе сторонки кланяюсь. А богач мужик пронюхал, низкие поклоны с крылечка отвешивает, пожалуйте, мол, гостенек, разгуляться.
Вот ввалился я с дружками в избу, горланю само громко:
— Редьки, огурцов! Шан-пань-ско-ого!..
Я хлоп по карману — пусто, обобрали. Я — «караул, караул»! Да в драку. Богач мужик одознался, выставил меня на улку. В крапиве проснулся я в одних портках. И пароход ушел, и золото мое вор-буфетчик с собой увез.
С недельку покашлял я кровью, да опять назад в тайгу. Долго после этого я грустил, непутевую жизнь свою стало жалко. Эх, дурак-дурак!.. В одночасье голым стал. Ведь два года маялся. Два года! Хотел на родине доброе хозяйство завести, человеком сделаться. И облилось мое сердце кровью. И озлился я на царские порядки, на купчишек, на мирских грабителей.
И вот прошел в народе слух, будто бы на приисках какая-то Советская власть желает укрепиться. Я опять заскучал. А вдруг, думаю, при новой-то власти хуже будет… Дай, думаю, с горя напьюсь да учиню порядочное безобразие. А уж зима легла.
Велел ребятам воз кринок да горшков купить, велел кольев по обе стороны дороги понатыркать, на каждый кол по горшку, как шапки. Взял оглоблю в обе руки, а сам в енотовой, конешно, шубе, иду, будто воевода к кабаку, да по горшкам оглоблей:
— Раз, раз! Эй, ходи круче! Сам Чертознай гуляет. Бей в мелкие орехи! Раз, раз!
И как закончилось мое гулеванье, очутился я в снегу, весь избитый, весь истоптанный.

Долго ли пролежал я, не знаю, только очухался в чистой горнице, тепло, на кровати на мягкой лежу, как барин, на столике разные банки с лекарствием, и башка моя рушником обмотана. И сидит передо мной душевный человек, и капает капли в рюмку, и подает мне:
— Пей.
Гляжу: лицо человека тихое, благоприятное, бритый весь, по обличью сразу видать — человек ума высокого.
— Пошто ты со мной валандаешься, — говорю ему, — ведь денег у меня нет.
— А мне твоих денег и не надо, — говорит.
— Врешь, врешь, приятель! Я-то знаю, раз у меня денег нет, ты меня выбросишь вон, здесь все так делают, человек хуже собаки здесь.
— Ну, а мы по-другому, — отвечает он. — Советская власть рабочим человеком дорожит, рабочий — брат наш.
— А вы кто такие будете?
— Я секретарь, Советской властью сюда прислан добрые для рабочего люда порядки заводить.
— А где же я, будьте столь добры, лежу?
— В моей комнате. Я тебя, товарищ, в сугробе подобрал, боялся — замерзнешь ты.
— Так пошто же ты подобрал-то меня?! Я ж сказал тебе: денег у меня нет, оглох ты, что ли?..
А он улыбнулся да рукой махнул.
У меня аж борода затряслась, слезы подступили: хотел вскочить, хотел в ноги ему бултыхнуться, да он удержал меня и говорит:
— Только пьянствовать, старик, брось. А то — гроб тебе.
— Брошу! — закричал я. — Честное варнацкое слово — брошу! Да оторвись моя башка с плеч! Ведь умирать-то дюже неохота, робенчишка жалко, робенок у меня на родине остался. Ванькой звать, матка спокинула его, с посторонним человеком снюхалась…
А он мне кротко:
— Поправляйся, ребенка обязательно выпишем.
«Ох, ты, ох, — думаю, — какие добрецкие люди на свете есть». А секретарь мне:
— Вот отдохнешь, становись золото мыть. Я слышал, ты большой к этому делу знатец.
— Нет, — отвечаю, — ослобони, товарищ секретарь. Я на золото шибко сердит теперь, чрез него горе одно видел в жизни. Да будь оно трижды через нитку проклято! Погибель моя в нем.
И оставил меня секретарь при себе: месяц прохворал я, потом стал вроде посыльного, стал струмент выдавать, да на кухне кой-какой обедишко готовить, ну и… по махонькой, конешно, выпиваю в тайности, а иным часом и подходяще дрызнешь. Секретарь придет, принюхается, я рыло в сторону ворочу, дышать норовлю умеренно, а он, миляга, все-таки приметит, что я окосевши, и учнет, дай бог ему здоровья, пропаганд против меня пущать, учнет стыдить меня, политике вразумлять. Да не одного меня, а всех. По баракам ходит, везде пропаганд ведет. От этого вскорости я в ум вошел, начал понимать, кто друг нашему брату трудящемуся, кто враг.
А работы уж развернулись на широкую, купчишки разбежались, везде порядок, пьянство на нет сошло, золото в казну старатели сдают, харч хороший, словом, со старым не сравнишь. И стал я подумывать, как бы мне Советскую власть отблагодарить.
Полгода прошло. Лето наступило. Секретарь и говорит:
— На вот тебе получку, иди погуляй, культурно развлекись.
Я сметил, что секретарь проверку хочет мне сделать… Ох, хитрец… Я пальцы послюнил, пересчитал деньги, иду, не торопясь, поселком, иду, любуюсь: все наше, все советское. Кооператив торгует, десять новых бараков большущих. Народный дом огромаднейший под крышу подводят. Постоял, поглазел, поскреб когтем бороду.
И понесли меня непутевые ноженьки в кабак.
«Ах, — думаю, — что же это я, варнак, делаю. Ведь замест культурности я винищем, конешно, обожрусь». И начал сам с собой бороться. Вот схвачусь-схвачусь за скобку, да назад. У самого слюни текут, а все-таки борюсь. Ну, борюсь и борюсь…
Глядь — бригада комсомольцев идет на работу, батюшки — рогожное знамя у них. На рогоже буквищи: «Позор!» — и дохлая ворона повешена. Приискатели в хохот взяли их:

— Эй, вы, рогожнички! — кричат, присвистывают, изгаляются всяко.
Ах, мать честная! Жалко мне стало молодежь. Парни все работяги, совестливые. Посмотрел на них, подумал: вот робенок мой приедет, подрастет, обязательно в комсомол определю.
Увидели меня ребята, гвалт подняли:
— Дядя Чертознай! Опозорились мы. Бьемся, бьемся, а все впустую… Смекалки еще нет у нас. Помоги! Бригадиром нашим будешь.
А кобылка востропятая, приискатели на смех подняли меня:
— И чего вы, рогожники, к Чертознаю лезете? Он забыл, как и кайло-то в руках держать. Будет землю рыть, ногой на бороду себе наступит.
Задели они меня за живое, осерчал я, выхватил рогожное знамя, взвалил его на плечо и скомандовал:
— Комсомо-о-лия! Айда за мной, малютки.
И повел прямо в тайгу, хотелось мне сразу их на золотое место поставить, было у меня на примете такое местишко сильно богатимое, да с пьянством забыл я — где оно.
Вот придем-придем, начнем шурфы рыть, я покрикиваю:
— Давай-давай-давай, малютки!
Парни до седьмого пота преют, аж языки мокрые. Нет, вижу, что не тут.
— Айда на ново место! — командую.
Так и бродим по тайге, ковыряем породу, а толку ни беса лысого. «Ах, — думаю, — старый дурак, пропил память». И ребята приуныли. Ну, я все-таки подбадриваю их:
— Солому ешь, фасон не теряй, малютки!
И стал я, братцы, с горя сильно пить, у спиртоносов водки добывать. Ой, грех, ой, грех… Так протрепались мы по тайге почем зря боле месяца.
И случилось, братцы мои, вскорости великое чудо чудное. Как-то выпивши лежу ночью под елью, малютки храпят, намаялись, сердешные, а мне не спится. Вдруг, как в башку вложило, вспомнил. Ну, прямо вижу явственно: вершинка Моховой речушки, огромадный камень-валун, да кривая сосна развихлялась в три ствола… Вскочил я, загайкал, как лесовик:
— Го-го-го-го!.. Вставай, малютки, пляши! — И припустился возле костра в пляс.
Комсомолия продрала глаза, спросонья закричала:
— Батюшки! Чертознай с ума сошел.
Одним словом, мы чем свет то место разыскали: вот он, камнище, вот вихлястая сосна.
Я наклонился, рванул мох, — золото!.. Наклонился, рванул, — золото! Ребята принялись, как копнут где — золото!
Вот ладно. Оставил их, говорю:
— Шуруй, малютки. Обогатим Советскую власть. Давай-давай-давай! — А сам, дуй не стой на прииск.
Секретарь повстречал меня:
— Чертознай! Куда ты запропастился? Скоро торжество у нас. Народный дом открываем.
— Молчи, молчи, Петрович, — по-приятельски подморгнул ему и спрашиваю: — А робенчишка-то моего выпишешь?
А он:
— Деньги посланы, ребенок твой едет.
Я возрадовался, да шасть в цирюльню. Командую цирюльнику:
— Бороду долой, лохмы на башке долой!.. Чтобы личность босиком была, как у секретаря… Катай!
Цирюльник усадил меня в кресло, а мальчонке крикнул:
— Петька! Мыла больше, кипятку. Приготовь четыре бритвы!
И начал овечьими ножницами огромаднейшую бородищу мою кромсать да лохмы. Он стрижет, Акулька подметает. Я взглянул, батюшки! — целая корзина, стогом, да из этой шерсти теплые сапоги можно бы свалять. Оказия, ей-богу… И пыхтел цирюльник надо мной с лишком полтора часа. А как воззрился я в зеркало, ну, не могу признать себя и не могу. Дурацкий облезьян какой-то… Ну, до чего жалко стало бороды…
Цирюльник полюбопытствовал:
— Уж не жениться ли задумали?

— Нет, — отвечаю, — не жениться, а молодым хочу быть. Ведь я с комсомолией работаю. Не с кем-нибудь, а с комсомо-о-лией! К тому же скоро робенок должон ко мне прибыть.
— Ваш собственный-с?
— Да уж не твой же. На, подивись. — Тут я вынул, конешно, из кисета карточку.
Цирюльник поглядел, сказал:
— Да это же совсем грудной ребеночек.
А я ему:
— Не, теперь он подрос, конешно. А у тя ладиколон есть? Облей мне лысину, чтобы культурно воняло.
И вот слушайте, братцы мои, начинется самое заглавное. Вот, значит, входим в Народный дом. Кругом флаги, аплакаты, музыка. Народищу — негде яблоку упасть, на сцене за столом — начальство. У меня, конешно, рогожное знамя в руках, я команду подаю:
— Комсомолия, шагом марш! Ать-два, трах-тарарах. Ать-два, трах-тарарах. Ать-два. Стой!
Секретарь взглянул на меня, на облезьяна адиотского, удивился:
— Чертознай! Ты ли это? А где же борода?
Я схватился было за бороду, бороды действительно не оказалось, я сказал:
— Отсохла, Петрович! Ну, товарищ секретарь, а мы к тебе с подарком. Я свое место заветное нашел. Новый богатимый прииск. — Тут обернулся я к робятам: — Комсомолия, вперед! Ать-два! Давай-давай-давай, малютки! Мишка, шуруй золото на стол!
И зачали мои парни золотые самородки на стол валить. Тут все в ладоши забили. А я залез на сцену, само громко закричал:
— Я всю жизнь, робята, хуже собаки маялся, купчишки обсчитывали меня, тухлятиной кормили, начальство по зубам било, и выхода мне из тайги не было. Не было! Я озлобился, пьяницей горьким стал, в сугробе едва не замерз, так бы и подох. А кто спас меня, кто меня в кроватку уложил, кто лекарствием отпаивал, кто уму-разуму учил? А вот кто: секретарь. Он первый… первый… за всю жизнь человека во мне увидел. Советская власть первая… на хорошую дорогу меня поставила. Да что меня — всех!
Опять все в ладоши стали хлопать, а я не вытерпел, скосоротился, заплакал. Утираю слезы кулаком да бормочу:
— Сроду, мол, не плакивал, а вот… от радости, от радости. Всю жизнь с великой печали пьянствовал, дурак… Ребра поломаны, печенки-селезенки отбиты… А вот зарок дал, не пью теперича…
Секретарь заулыбался, вопросил!
— Давно пить-то бросил?
— Вторые сутки не пью! Шабаш.
Народишко засмеялся, а секретарь и говорит:
— Товарищи! Давайте премируем Чертозная хорошей комнатой, шубой да часами, а бригаду комсомольцев знаменем почета. Как звать тебя?
— Чертознаем звать, — отвечаю.
— Это прозвище. А как имя, как фамилия?
— Забыл, товарищ секретарь.
— Как, собственное свое имя забыл?
— Вот подохнуть, забыл. Леший его ведает, то ли Егор, то ли Петруха. Тут слышу: в задних рядах ка-а-ак громыхнут хохотом, как закричат:
— Чертознай! Чертознай! Робенок к тебе прибыл.
И вижу, братцы, диво: посреди прохода прет к сцене лохматый, бородатый мужичище, вот ближе, ближе… Я воззрился на него, да и обмер: ну, прямо как в зеркало на себя гляжу, точь-в-точь — я: бородища, лохмы, рыло, только на четверть пониже меня, сам в лаптях, и на каждой руке по ребенку держит. А за ним краснорожая баба в сарафане… «Батюшки мои, думаю, виденица началась, самого себя вижу, ка-ра-ул…» А он, подлец, к самой сцене подошел да гнусаво этак спрашивает:
— А который здесь Чертознай числится?
— Я самый, — отвечаю. — А вы, гражданин, кто такие будете?
А он, подлец, как заорет;
— Тятя, тятенька! — да ко мне. Я глаза, конешно, вытаращил, кричу:
— Ванька! Да неужто это ты?

— Я, говорит, тятя. Со всем семейством к тебе, вот и внучата твои, Дунька да Розка, два близнечика.
Я от удивления присвистнул: с пьянством все времечко кувырком пошло.
— Вот это так робено-ок! — говорю.
А он, варнак, улыбается во всю рожу да и говорит:
— Вырос, тятя, — и целоваться ко мне полез, ну, я легонько осадил его:
— Стой, робенок! Еще казенные дела не кончены. А не помнишь ли ты, Ванька, как звать меня?
— Помню, тятя, Вавила Иванович Птичкин.
— Верно! Птичкин, Птичкин, — от радости заорал я.
А миляга секретарь зазвонил и само громко закричал:
— Давайте, товарищи, назовем новый прииск именем Вавилы Птичкина, то есть — Чертозная. Почет и слава ему. Ура!
Тут все вскочили, ура-ура, биц-биц-биц, музыка взыграла, барабаны вдарили, а комсомолия качать меня принялась. Я взлетываю, как филин, к потолку да знай покрикиваю:
— Давай-давай-давай, малютки!

1937

Исаак Бабель

Пробуждение

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда, — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.
Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет, мать вела крохотное и хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.
Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешищем города и украшением его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь» деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной

службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингемском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда…

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингемском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне часы пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнял все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C

o

, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно… Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир… Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими… Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены…

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банков, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно…

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.
Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.
Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.
Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.
За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось… С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, он лежал среди нас за волнорезом, как властелин этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.
Он сказал мне:
— Ты не суетись… Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой… Как это так — вода тебя не держит… С чего бы ей не держать тебя?
Видя, как я тянусь, Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.
— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой… Ты все больше никуда не смотришь…
Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.
— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия…
Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.
— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет… Тебе не хватает чувства природы.
Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.
— Это что за дерево?
Я не знал.
— Что растет на этом кусте?
Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?
Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.
— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строчек… Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?..
О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана… Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.
Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.
«Чувство природы, — думал я, — бог мой, почему это не пришло мне в голову… Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями…»
За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.
Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза…
Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бабка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.
— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне…
Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.
— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту… Я убью его… Конец…
Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.
— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме…
Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.
В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия… Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула… Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..
Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

1930

Илья Ильф, Евгений Петров

Граф Средиземский

Старый граф умирал.

Он лежал на узкой грязной кушетке и, вытянув птичью голову, с отвращением смотрел в окно. За окном дрожала маленькая зеленая веточка, похожая на брошь. Во дворе галдели дети. А на заборе противоположного дома бывший граф Средиземский различал намалеванный по трафарету утильсырьевой лозунг: «Отправляясь в гости, собирайте кости». Лозунг этот давно уже был противен Средиземскому, а сейчас даже таил в себе какой-то обидный намек. Бывший граф отвернулся от окна и сердито уставился в потрескавшийся потолок.

До чего ж комната Средиземского не была графской! Не висели здесь портреты екатерининских силачей в муаровых камзолах. Не было и обычных круглых татарских щитов. И мебель была тонконогая, не родовитая. И паркет не был натерт, и ничто в нем не отражалось.

Перед смертью графу следовало бы подумать о своих предках, среди которых были знаменитые воины, государственные умы и даже посланник при дворе испанском. Следовало также подумать и о боге, потому что граф был человеком верующим и исправно посещал церковь. Но вместо всего этого мысли графа были обращены к вздорным житейским мелочам.

— Я умираю в антисанитарных условиях, — бормотал он сварливо. — До сих пор не могли потолка побелить.

И, как нарочно, снова вспомнилось обиднейшее происшествие. Когда граф еще не был бывшим и когда все бывшее было настоящим, в 1910 году, он купил себе за шестьсот франков место на кладбище в Ницце. Именно там, под электрической зеленью хотел найти вечный покой граф Средиземский. Еще недавно он послал в Ниццу колкое письмо, в котором отказывался от места на кладбище и требовал деньги обратно. Но кладбищенское управление в вежливой форме отказало. В письме указывалось, что деньги, внесенные за могилу, возвращению не подлежат, но что если тело месье Средиземского при документах, подтверждающих право месье на могильный участок, прибудет в Ниццу, то оно будет действительно погребено на ниццском кладбище. Причем расходы по преданию тела земле, конечно, целиком ложатся на месье.

Доходы графа от продажи папирос с лотка были очень невелики, и он сильно надеялся на деньги из Ниццы. Переписка с кладбищенскими властями причинила графу много волнений и разрушительно подействовала на его организм. После гадкого письма, в котором так спокойно трактовались вопросы перевозки графского праха, он совсем ослабел и почти не вставал со своей кушетки. Справедливо не доверяя утешениям районного врача, он готовился к расчету с жизнью. Однако умирать ему не хотелось, как не хотелось мальчику отрываться от игры в мяч для того, чтобы идти делать уроки. У графа на мази было большое склочное дело против трех вузовцев — Шкарлато, Пружанского и Талмудовского, квартировавших этажом выше.

Вражда его к молодым людям возникла обычным путем. В домовой стенгазете появилась раскрашенная карикатура, изображавшая графа в отвратительном виде — с высокими ушами и коротеньким туловищем. Под рисунком была стихотворная подпись:

> В нашем доме номер семь
> Комната найдется всем.
> Здесь найдешь в один момент
> Классово чуждый элемент.
> Что вы скажете, узнав,
> Что Средиземский — бывший граф?!

Под стихами была подпись: «Трое».
Средиземский испугался. Он засел за опровержение, решив в свою очередь написать его стихами. Но он не мог достигнуть той высоты стихотворной техники, которую обнаружили его враги. К тому же к Шкарлато, Пружанскому и Талмудовскому пришли гости. Там щипали гитару, затягивали песни и боролись с тяжким топотом. Иногда сверху долетали возгласы: «…Энгельс его ругает, но вот Плеханов…» Средиземскому удалась только первая строка: «То, что граф, я не скрывал…» Опровергать в прозе было нечего. Выпад остался без ответа. Дело как-то замялось само по себе. Но обиды Средиземский забыть не мог. Засыпая, он видел, как на темной стене на манер валтасаровских «мене, текел, фарес» зажигаются три фосфорических слова:
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ, ТАЛМУДОВСКИЙ
Вечером в переулке стало тепло и темно, как между ладонями. Кушеточные пружины скрипели. Беспокойно умирал граф. Уже неделю тому назад у него был разработан подробный план мести молодым людям. Это был целый арсенал обычных домовых гадостей: жалоба в домоуправление на Шкарлато, Пружанского и Талмудовского с указанием на то, что они разрушают жилище, анонимное письмо в канцелярию вуза за подписью «Друг просвещения», где три студента обвинялись в чубаровщине и содомском грехе, тайное донесение в милицию о том, что в комнате вузовцев ночуют непрописанные подозрительные граждане. Граф был в курсе современных событий. Поэтому в план его было включено еще одно подметное письмо — в университетскую ячейку с туманным намеком на то, что партиец Талмудовский вечно практикует у себя в комнате правый уклон под прикрытием «левой фразы».
И все это еще не было приведено в исполнение. Помешала костлявая. Закрывая глаза, граф чувствовал ее присутствие в комнате. Она стояла за пыльным славянским шкафом. В ее руках мистически сверкала коса. Могла получиться скверная штука: граф мог умереть неотмщенным.
А между тем оскорбление надо было смыть. Предки Средиземского всевозможные оскорбления смывали обычно кровью. Но залить страну потоками молодой горячей крови Шкарлато, Пружанского и Талмудовского граф не мог. Изменились экономические предпосылки. Пустить же в ход сложную систему доносов было уже некогда, потому что графу оставалось жить, как видно, только несколько часов.
Надо было придумать взамен какую-нибудь сильно действующую быструю месть.
Когда студент Талмудовский проходил дворик дома, озаренный жирной греческой луной, его окликнули. Он обернулся. Из окна графской комнаты манила его костлявая рука.
— Меня? — спросил студент удивленно.
Рука все манила, послышался резкий павлиний голос Средиземского:
— Войдите ко мне. Умоляю вас. Это необходимо.
Талмудовский приподнял плечи. Через минуту он уже сидел на кушетке в ногах у графа. Маленькая лампочка распространяла в комнате тусклый бронзовый свет.
— Товарищ Талмудовский, — сказал граф, — я стою на пороге смерти. Дни мои сочтены.
— Ну, кто их считал! — воскликнул добрый Талмудовский. — Вы еще поживете не один отрезок времени.
— Не утешайте меня. Своей смертью я искуплю все то зло, которое причинил вам когда-то.
— Мне?
— Да, сын мой! — простонал Средиземский голосом служителя культа. — Вам. Я великий грешник. Двадцать лет я страдал, не находя в себе силы открыть тайну вашего рождения. Но теперь, умирая, я хочу рассказать вам все. Вы не Талмудовский.
— Почему я не Талмудовский? — сказал студент. — Я Талмудовский.
— Вы — Средиземский, граф Средиземский. Вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью люди не лгут. Вы мой сын, а я ваш несчастный отец. Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас.
Но ответного прилива нежности не последовало. Талмудовский вскочил, и с колен его шлепнулся на пол толстый том Плеханова.

— Что за ерунда? — крикнул он. — Я Талмудовский! Мои родители тридцать лет живут в Тирасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Талмудовского.
— Это не ваш отец, — сказал старик спокойно. — Ваш отец здесь, умирает на кушетке. Да. Это было двадцать два года тому назад. Я встретился с вашей матерью в камышах на берегу Днестра. Она была очаровательная женщина, ваша мать.
— Что за черт! — восклицал длинноногий Талмудовский, бегая по комнате. — Это просто свинство!
— Наш полк, — продолжал мстительный старик, — гвардейский полк его величества короля датского, участвовал тогда в больших маневрах. А я был великий грешник. Меня так и называли — Петергофский Дон-Жуан. Я соблазнил вашу мать и обманул Талмудовского, которого вы неправильно считаете своим отцом.
— Этого не может быть!
— Я понимаю, сын мой, ваше волнение. Оно естественно. Графу теперь, сами знаете, прожить очень трудно. Из партии вас, конечно, вон! Мужайтесь, сын мой! Я предвижу, что вас вычистят также из университета. А в доме про вас будут стихи сочинять, как про меня написали: «Что вы скажете, узнав, что Талмудовский бывший граф?» Но я узнаю в вас, дитя мое, благородное сердце графов Средиземских, благородное, смелое и набожное сердце нашего рода, последним отпрыском коего являетесь вы. Средиземские всегда верили в бога. Вы посещаете церковь, дитя мое?
Талмудовский взмахнул рукой и с криком «к чертовой матери!» выскочил из комнаты. Тень его торопливо пробежала по дворику и исчезла в переулке. А старый граф тихо засмеялся и посмотрел в темный угол, образованный шкафом. Костлявая не казалась ему уже такой страшной. Она дружелюбно помахивала косой и позванивала будильником. На стене снова зажглись фосфорические слова, но слова «Талмудовский» уже не было. Пылали зеленым светом только две фамилии:
ШКАРЛАТО, ПРУЖАНСКИЙ
В это время во дворике раздался веселый голос:
— По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там! По морям-ам, морям, морям, морям!
То возвращался домой с карнавала на реке веселый комсомолец Пружанский. Его узкие белые брюки сверкали под луной. Он торопился. Дома ждал его маринованный судак в круглой железной коробочке.
— Товарищ Пружанский! — позвал граф, с трудом приподняв к окну свою петушиную голову. — А, товарищ Пружанский!
— Это ты, Верка? — крикнул комсомолец, задрав голову.
— Нет, это я, Средиземский. У меня к вам дело. Зайдите на минуточку.
Через пять минут пораженный в самое сердце Пружанский вертелся в комнате, освещенной бронзовым светом. Он так суетился, словно на него напали пчелы.
А старый граф, придерживая рукой подбородок, длинный и мягкий, как кошелек, плавно повествовал:
— Я был великий грешник, сын мой. В то время я был блестящим офицером гвардейского его величества короля датского полчка. Мой полк участвовал тогда в больших маневрах у Витебска. И там я встретил вашу мать. Это была очаровательная женщина, хотя и еврейка. Я буду краток. Она увлеклась мною. А уже через девять месяцев в бедной квартире портного Пружанского зашевелился маленький красный комочек. И этот комочек были вы, Пружанский.
— Почему вы думаете, что этот красный комочек был именно я? — слезливо спросил Пружанский. — То есть я хочу спросить, почему вы думаете, что отцом этого красного комочка были именно вы?
— Эта святая женщина любила меня, — самодовольно ответил умирающий. — Это была чистая душа, хотя и еврейка. Она рассказала мне, кто настоящий отец ее ребенка. Этот отец — я. И этот сын — вы. Вы мой сын, Яша. Вы не Пружанский. Вы — Средиземский. Вы граф! А я великий грешник, меня даже в полчку так и называли — Ораниенбаумский Дон-Жуан. Обнимите меня, молодой граф, последний отпрыск нашего угасающего рода.
Пружанский был так ошеломлен, что с размаху обнял старого негодяя. Потом опомнился и с тоской сказал:

— Ах, гражданин Средиземский, гражданин Средиземский! Зачем вы не унесли этот секрет с собой в могилу? Что же теперь будет?
Старый граф участливо смотрел на своего второго единственного сына, кашляя и наставляя:
— Бедное благородное сердце! Сколько вам еще придется испытать лишений! Из комсомола, конечно, вон. Да и надеюсь, что вы и сами не останетесь в этой враждебной нашему классу корпорации. Из вуза — вон. Да и зачем вам советский вуз? Графы Средиземские всегда получали образование в лицеях. Обними меня, Яшенька, еще разок! Не видишь разве, что я здесь умираю на кушетке?.
— Не может этого быть, — отчаянно сказал Пружанский.
— Однако это факт, — сухо возразил старик. — Умирающие не врут.
— Я не граф, — защищался комсомолец.
— Нет, граф.
— Это вы граф.
— Оба мы графы, — заключил Средиземский. — Бедный сын мой. Предвижу, что про вас напишут стихами: «Что вы скажете, узнав, что Пружанский просто граф?»
Пружанский ушел, кренясь набок и бормоча: «Значит, я граф. Ай-ай-ай!»
Его огненная фамилия на стене потухла, и страшной могильной надписью висело в комнате только одно слово:
ШКАРЛАТО
Старый граф работал с энергией, удивительной для умирающего. Он залучил к себе беспартийного Шкарлато и признался ему, что он, граф, великий грешник. Явствовало, что студент — последний потомок графов Средиземских и, следовательно, сам граф.
— Это было в Тифлисе, — усталым уже голосом плел Средиземский. — Я был тогда гвардейским офицером…
Шкарлато выбежал на улицу, шатаясь от радости. В ушах его стоял звон, и студенту казалось, что за ним по тротуару волочится и гремит белая сабля.
— Так им и надо, — захрипел граф. — Пусть не пишут стихов.
Последняя фамилия исчезла со стены. В комнату влетел свежий прохладный ветер. Из-за славянского шкафа вышла костлявая. Средиземский завизжал. Смерть рубанула его косой, и граф умер со счастливой улыбкой на синих губах.

В эту ночь все три студента не ночевали дома. Они бродили по фиолетовым улицам в разных концах города, пугая своим видом ночных извозчиков. Их волновали разнообразные чувства.
В третьем часу утра Талмудовский сидел на гранитном борту тротуара и шептал:
— Я не имею морального права скрыть свое происхождение от ячейки. Я должен пойти и заявить. А что скажут Пружанский и Шкарлато? Может, они даже не захотят жить со мной в одной комнате. В особенности Пружанский. Он парень горячий. Руки, наверно, даже не подаст.
В это время Пружанский в перепачканных белых брюках кружил вокруг памятника Пушкину и горячо убеждал себя:
— В конце концов я не виноват. Я жертва любовной авантюры представителя царского, насквозь пропитанного режима. Я не хочу быть графом. Рассказать невозможно, Талмудовский со мной просто разговаривать не станет. Интересно, как поступил бы на моем месте Энгельс? Я погиб. Надо скрыть. Иначе невозможно. Ай-ей-ей! А что скажет Шкарлато? Втерся, скажет, примазался. Он хоть и беспартийный, но страшный активист. Ах, что он скажет, узнав, что я, Пружанский, бывший граф! Скрыть, скрыть!
Тем временем активист Шкарлато, все еще оглушаемый звоном невидимого палаша, проходил улицы стрелковым шагом, время от времени молодецки вскрикивая:
— Жаль, что наследства не оставил. Чудо-богатырь. Отец говорил, что у него имение в Черниговской губернии. Хи, не вовремя я родился! Там теперь, наверно, совхоз. Эх, марш вперед, труба зовет, черные гусары! Интересно, выпил бы я бутылку рома, сидя на оконном карнизе? Надо будет попробовать! А ведь ничего нельзя рассказать. Талмудовский и Пружанский могут из зависти мне напортить. А хорошо бы жениться на графине! Утром входишь в будуар…

Первым прибежал домой Пружанский. Дрожа всем телом, он залег в постель и кренделем свернулся под малиновым одеялом. Только он начал согреваться, как дверь раскрылась, и вошел Талмудовский, лицо которого имело темный, наждачный цвет.
— Слушай, Яшка, — сказал он строго. — Что бы ты сделал, если бы один из нас троих оказался сыном графа?
Пружанский слабо вскрикнул.
«Вот оно, — подумал он, — начинается».
— Что бы ты все-таки сделал? — решительно настаивал Талмудовский.
— Что за глупости? — совсем оробев, сказал Пружанский. — Какие из нас графы!
— А все-таки? Что б ты сделал?
— Лично я?
— Да, ты лично.
— Лично я порвал бы с ним всякие отношения!
— И разговаривать не стал бы? — со стоном воскликнул Талмудовский.
— Нет, не стал бы. Ни за что! Но к чему этот глупый разговор?
— Это не глупый разговор, — мрачно сказал Талмудовский. — От этого вся жизнь зависит.
«Погиб, погиб», — подумал Пружанский, прыгая под одеялом, как мышь.
«Конечно, со мной никто не будет разговаривать, — думал Талмудовский. — Пружанский совершенно прав».
И он тяжело свалился на круглое, бисквитное сиденье венского стула. Комсомолец совсем исчез в волнах одеяла. Наступило длительное, нехорошее молчание. В передней раздались молодцеватые шаги, и в комнату вошел Шкарлато.
Долго и презрительно он оглядывал комнату.
— Воняет, — сказал он высокомерно. — Совсем как в ночлежном доме. Не понимаю, как вы можете здесь жить. Аристократу здесь положительно невозможно.
Эти слова нанесли обоим студентам страшный удар. Им показалось, что в комнату вплыла шаровидная молния и, покачиваясь в воздухе, выбирает себе жертву.
— Хорошо быть владельцем имения, — неопределенно сказал Шкарлато, вызывающе поглядывая на товарищей. — Загнать его и жить на проценты в Париже. Кататься на велосипеде. Верно, Талмудовский? Как ты думаешь, Пружанский?
— Довольно! — крикнул Талмудовский. — Скажи, Шкарлато, как поступил бы ты, если обнаружилось, что один из нас тайный граф?
Тут испугался и Шкарлато. На лице его показался апельсиновый пот.
— Что ж, ребятки, — забормотал он. — В конце концов нет ничего особенно страшного. Вдруг вы узнаете, что я граф. Немножко, конечно, неприятно… но…
— Ну, а если бы я? — воскликнул Талмудовский.
— Что ты?
— Да вот… оказался графом.
— Ты, графом? Это меня смешит.
— Так вот я граф… — отчаянно сказал член партии.
— Граф Талмудовский?
— Я не Талмудовский, — сказал студент. — Я Средиземский. Я Средиземский. Я в этом совершенно не виноват, но это факт.
— Это ложь! — закричал Шкарлато. — Средиземский — я.
Два графа ошеломленно меряли друг друга взглядами. Из угла комнаты послышался протяжный стон. Это не выдержал муки ожидания, выплывая из-под одеяла, третий граф.
— Я ж не виноват! — кричал он. — Разве я хотел быть графским сынком? Любовный эксцесс представителя насквозь прогнившего…
Через пятнадцать минут студенты сидели на твердом, как пробка, матраце Пружанского и обменивались опытом кратковременного графства.
— А про полчок его величества короля датского он говорил?
— Говорил.
— И мне тоже говорил. А тебе, Пружанский?
— Конечно. Он сказал еще, что моя мать была чистая душа, хотя и еврейка.
— Вот старый негодяй! Про мою мать он тоже сообщил, что она чистая душа, хотя и гречанка.

— А обнимать просил?
— Просил.
— А ты обнимал?
— Нет. А ты?
— Я обнимал.
— Ну и дурак!

На другой день студенты увидели из окна, как вынесли в переулок желтый гроб, в котором покоилось все, что осталось земного от мстительного графа. Посеребренная одноконная площадка загремела по мостовой. Закачался на голове смирной лошади генеральский белый султан. Две старухи с суровыми глазами побежали за уносящимся гробом. Мир избавился от великого склочника.

1930–1931

Михаил Зощенко

Западня

Один мой знакомый парнишка — он, между прочим, поэт — побывал в этом году за границей.
Он объездил Италию и Германию для ознакомления с буржуазной культурой и для пополнения недостающего гардероба.
Очень много чего любопытного видел.
Ну, конечно, говорит, — громадный кризис, безработица, противоречия на каждом шагу. Продуктов и промтоваров очень много, но купить не на что.
Между прочим, он ужинал с одной герцогиней.
Он сидел со своим знакомым в ресторане. Знакомый ему говорит:
— Хочешь, сейчас я для смеху позову одну герцогиню. Настоящую герцогиню, у которой пять домов, небоскреб, виноградники и так далее.
Ну, конечно, наворачивает.
И, значит, звонит по телефону. И вскоре приходит такая красоточка лет двадцати. Чудно одетая. Манеры. Небрежное выражение. Три носовых платочка. Туфельки на босу ногу.
Заказывает она себе шнельклопс и в разговоре говорит:
— Да, знаете, я уже, пожалуй, неделю мясного не кушала.
Ну, поэт кое-как по-французски и по-русски ей отвечает: дескать, помилуйте, у вас а ла мезон столько домов, врете, дескать, наворачиваете, прибедняетесь, тень наводите.
Она говорит:
— Знаете, уже полгода, как жильцы с этих домов мне квартплату не вносят. У населения денег нет.
Этот небольшой фактик я рассказал так вообще. Для разгона. Для описания буржуазного кризиса. У них там очень отчаянный кризис со всех сторон. Но, между прочим, на улицах у них чисто.
Мой знакомый поэт очень, между прочим, хвалил ихнюю европейскую чистоту и культурность. Особенно, говорит, в Германии, несмотря на такой вот громадный кризис, наблюдается удивительная, сказочная чистота и опрятность.

Улицы, они, черт возьми, мыльной пеной моют. Лестницы скоблят каждое утро. Кошкам не разрешают находиться на лестницах и лежать на подоконниках, как у нас.
Кошек своих хозяйки на шнурочках выводят прогуливать. Черт знает что такое.
Все, конечно, ослепительно чисто. Плюнуть некуда.
Даже такие второстепенные места, как, я извиняюсь, уборные, и то сияют небесной чистотой. Приятно, неоскорбительно для человеческого достоинства туда заходить.
Он зашел, между прочим, в одно такое второстепенное учреждение. Просто так, для смеху. Заглянул — верно ли есть отличие, — как у них и у нас.
Оказывается, да. Это, говорит, ахнуть можно от восторга и удивления. Волшебная чистота, голубые стенки, на полочке фиалки стоят. Прямо уходить неохота. Лучше, чем в кафе.
«Что, — думает, — за черт. Наша страна, ведущая в смысле политических течений, а в смысле чистоты мы еще сильно отстаем. Нет, — думает, — вернусь в Москву — буду писать об этом и Европу ставить в пример. Конечно, у нас многие ребята действительно относятся ханжески к этим вопросам. Им, видите ли, неловко писать и читать про такие низменные вещи. Но я, — думает, — пробью эту косность. Вот вернусь и поэму напишу — мол, грязи много, товарищи, — не годится… Тем более у нас сейчас кампания за чистоту — исполню социальный заказ».
Вот наш поэт находится за закрытой дверью. Думает, любуется фиалками, мечтает, какую поэму он отгрохает. Даже приходят к нему рифмы и строчки. Чего-то там такое:

Даже сюда у них зайти очень мило —
Фиалки на полках цветут.
Да разве ж у нас прошел Аттила,
Что такая грязь там и тут.

А после, напевая последний немецкий фокстротик «Ауфвидерзейн, мадам», хочет уйти на улицу.
Он хочет открыть дверь, но видит — дверь не открывается. Он подергал ручку — нет. Приналег плечом — нет, не открывается.
В первую минуту он даже слегка растерялся. Вот, думает, попал в западню.
После хлопнул себя по лбу.
«Я, дурак, — думает, — позабыл, где нахожуся, — в капиталистическом мире. Тут у них за каждый шаг небось пфенниг плати. Небось, — думает, — надо им опустить монетку — тогда дверь сама откроется. Механика. Черти. Кровопийцы. Семь шкур дерут. Спасибо, — думает, — у меня в кармане мелочь есть. Хорош был бы я гусь без этой мелочи».
Вынимает он из кармана монеты. «Откуплюсь, — думает, — от капиталистических щук. Суну им в горло монету или две».
Но видит — не тут-то было. Видит — никаких ящиков и отверстий нету. Надпись какая-то есть, но цифр на ней никаких не указано. И куда именно пихать и сколько пихать — неизвестно.
Тут наш знакомый прямо даже несколько струхнул. Начал легонько стучать. Никто не подходит. Начал бить ногой в дверь.
Слышит — собирается народ. Подходят немцы. Лопочут на своем диалекте.
Поэт говорит:
— Отпустите на волю, сделайте милость.
Немцы чего-то шушукаются, но, видать, не понимают всей остроты ситуации.
Поэт говорит:
— Геноссе, геноссе, дер тюр, сволочь, никак не открывается. Компренешен. Будьте любезны, отпустите на волю. Два часа сижу.
Немцы говорят:
— Шпрехен зи дейч?
Тут поэт прямо взмолился:
— Дер тюр, — говорит, — дер тюр отворите. А ну вас к лешему!
Вдруг за дверью русский голос раздается:

— Вы, — говорит, — чего там? Дверь, что ли, не можете открыть?
— Ну да, — говорит, — второй час бьюсь.
Русский голос и говорит:
— У них, у сволочей, эта дверь механическая. Вы, — говорит, — наверное, позабыли машинку дернуть. Спустите воду, и тогда дверь сама откроется. Они это нарочно устроили для забывчивых людей.
Вот знакомый сделал, что ему сказали, и вдруг, как в сказке, дверь открывается. И наш знакомый, пошатываясь, выходит на улицу под легкие улыбки и немецкий шепот.
Русский говорит:
— Хотя я есть эмигрант, но мне эти немецкие затеи и колбасня тоже поперек горла стоят. По-моему, это издевательство над человечеством…
Мой знакомый не стал, конечно, поддерживать разговор с эмигрантом, а, подняв воротничок пиджака, быстро поднажал к выходу.
У выхода сторож его почистил метелочкой, содрал малую толику денег и отпустил восвояси.
Только на улице мой знакомый отдышался и успокоился.
«Ага, — думает, — стало быть, хваленая немецкая чистота не идет сама по себе. Стало быть, немцы тоже силой ее насаждают и придумывают разные хитрости, чтоб поддержать культуру. Хотя бы у нас тоже чего-нибудь подобное сочинили».
На этом мой знакомый успокоился и, напевая «Ауфвидерзейн, мадам», пошел в гости как ни в чем не бывало.

1933

Беспокойный старичок

У нас в Ленинграде один старичок заснул летаргическим сном.
Год назад он, знаете, захворал куриной слепотой. Но потом поправился. И даже выходил на кухню ругаться с жильцами по культурным вопросам.
А недавно он взял и неожиданно заснул.
Вот он ночью заснул летаргическим сном. Утром просыпается и видит, что с ним чего-то такое неладное. То есть, вернее, родственники его видят, что лежит бездыханное тело и никаких признаков жизни не дает. И пульс у него не бьется, и грудка не вздымается, и пар от дыхания не садится на зеркальце, если это последнее приподнести к ротику.
Тут, конечно, все соображают, что старичок тихо себе скончался, и, конечно, поскорей делают разные распоряжения.
Они торопливо делают распоряжения, поскольку они всей семьей живут в одной небольшой комнате. И кругом — коммунальная квартира. И старичка даже поставить, извините, некуда, — до того тесно. Тут поневоле начнешь торопиться.
А надо сказать, что этот заснувший старикан жил со своими родственниками. Значит, муж, жена, ребенок и няня. И вдобавок он, так сказать, отец, или, проще сказать, папа его жены, то есть ее папа. Бывший трудящийся. Все, как полагается. На пенсии.
И нянька — девчонка шестнадцати лет, принятая на службу на подмогу этой семье, поскольку оба-два — муж и жена, то есть дочь ее папы, или, проще сказать, отца, — служат на производстве.
Вот они служат и, значит, под утро видят такое грустное недоразумение — папа скончался. Ну, конечно, огорчение, расстройство чувств: поскольку небольшая комнатка и тут же лишний элемент.

Вот этот лишний элемент лежит теперь в комнате, лежит этакий чистенький, миленький старичок, интересный старичок, не могущий думать о квартирных делах, уплотнениях и дрязгах. Он лежит свеженький, как увядшая незабудка, как скущанное крымское яблочко. Он лежит и ничего не знает, и ничего не хочет, и только требует до себя последнего внимания.
Он требует, чтоб его поскорей во что-нибудь одели, отдали бы последнее «прости» и поскорей бы где-нибудь захоронили.
Он требует, чтоб это было поскорей, поскольку все-таки одна небольшая комната и вообще стеснение. И поскольку ребенок вякает. И нянька пугается жить в одной комнате с умершими людьми. Ну, глупая девчонка, которой охота все время жить, и она думает, что жизнь бесконечна. Она пугается видеть трупы. Она — дура.
Муж, этот глава семьи, бежит тогда поскорей в районное бюро похоронных процессий. И вскоре оттуда возвращается.
— Ну, — говорит, — все в порядке. Только маленько с лошадьми зацепка. Колесницу, говорит, хоть сейчас дают, а лошадей раньше, как через четыре дня, не обещают.
Жена говорит:
— Я так и знала. Ты, — говорит, — с моим отцом завсегда при жизни царапался и теперь не можешь ему сделать одолжение — не можешь ему лошадь достать.
Муж говорит:
— А идите к черту! Я не верховой, я лошадьми не заведую. Я, — говорит, — и сам не рад дожидаться столько времени. Очень, — говорит, — мне глубокий интерес все время твоего папу видеть.
Тут происходят разные семейные сцены. Ребенок, не привыкший видеть неживых людей, пугается и орет благим матом.
И нянька отказывается служить этой семье, в комнате которой живет покойник.
Но ее уговаривают не бросать профессию и обещают ей поскорей ликвидировать смерть.
Тогда сама мадам, уставшая от этих делов, поспешает в бюро, но вскоре возвращается оттуда бледная, как полотно.
— Лошадей, — говорит, — обещают через неделю. Если б муж, этот дурак, оставшийся в живых, записался, когда ходил, тогда через три дня. А сейчас мы уже шестнадцатые на очереди. А коляску, — говорит, — действительно, хоть сейчас дают.
И сама одевает поскорей своего ребенка, берет орущую няньку и в таком виде едет в Сестрорецк — пожить у своих знакомых.
— Мне, — говорит, — ребенок дороже. Я не могу ему с детских лет показывать такие туманные картины. А ты как хочешь, так и делай.
Муж говорит:
— Я, — говорит, — тоже с ним не останусь. Как хотите. Это не мой старик. Я, — говорит, — его при жизни не особенно долюбливал, а сейчас, — говорит, — мне в особенности противно с ним вместе жить. Или, — говорит, — я его в коридор поставлю, или я к своему брату перееду. А он пущай тут дожидается лошадей!
Вот семья уезжает в Сестрорецк, а муж, этот глава семьи, бежит к своему брату.
Но у брата в это время всей семьей происходит дифтерит, и его нипочем не хотят пускать в комнату.
Вот тогда он вернулся назад, положил заснувшего старичка на узкий ломберный столик и поставил это сооружение в коридор около ванной. И сам закрылся в своей комнате и ни на какие стуки и выкрики не отвечал в течение двух дней.
Тут происходит в коммунальной квартире сплошная ерунда, волынка и неразбериха. Жильцы поднимают шум и вой.
Женщины и дети перестают ходить куда бы ни было, говорят, что они не могут проходить без того, чтобы не испугаться.
Тогда мужчины нарасхват берут это сооружение и переставляют его в переднюю, что вызывает панику и замешательство у входящих в квартиру.
Заведующий кооперативом, живущий в угловой комнате, заявил, что к нему почему-то часто ходят знакомые женщины и он не может рисковать ихним нервным здоровьем.
Спешно вызвали домоуправление, которое никакой рационализации не внесло в это дело.
Было сделано предложение поставить это сооружение во двор.

Но управдом решительно заявил:
— Это, — говорит, — может вызвать нездоровое замешательство среди жильцов, оставшихся в живых, и, главное, невзнос квартирной платы, которая и без того задерживается, как правило, по полгода.
Тогда стали раздаваться крики и угрозы по адресу владельца старичка, который закрылся в своей комнате и сжигал теперь разные стариковские ошметки и оставшееся ерундовое имущество.
Решено было силой открыть дверь и водворить это сооружение в комнату.
Стали кричать и двигать стол, после чего покойник тихонько вздохнул и начал шевелиться.
После небольшой паники и замешательства жильцы освоились с новой ситуацией.
Они с новой силой ринулись к комнате. Они начали стучать в дверь и кричать, что старик жив и просится в комнату.
Однако запершийся долгое время не отвечал. И только через час сказал:
— Бросьте свои арапские штучки. Знаю, вы меня на плешь хотите поймать.
После долгих переговоров владелец старика попросил, чтобы этот последний подал свой голос.
Старик, не отличавшийся фантазией, сказал тонким голосом:
— Хо-хо…
Этот поданный голос запершийся все равно не признал за настоящий.
Наконец он стал глядеть в замочную скважину, предварительно попросив поставить старика напротив.
Поставленного старика он долгое время не хотел признать за живого, говоря, что жильцы нарочно шевелят ему руки и ноги.
Старик, выведенный из себя, начал буянить и беспощадно ругаться, как бывало при жизни, после чего дверь открылась и старик был торжественно водворен в комнату.
Побранившись со своим родственником о том, о сем, оживший старик вдруг заметил, что имущество его исчезло и частично тлеет в печке. И нету раскидной кровати, на которой он только что изволил помереть.
Тогда старик, по собственному почину, со всем нахальством, присущим этому возрасту, лег на общую кровать и велел подать ему кушать. Он стал кушать и пить молоко, говоря, что ом не посмотрит, что это его родственники, а подаст на них в суд за расхищение имущества.
Вскоре прибыла из Сестрорецка его жена, то есть дочь этого умершего папы.
Были крики радости и испуга. Молодой ребенок, не вдававшийся в подробности биологии, довольно терпимо отнесся к воскрешению. Но нянька, эта шестнадцатилетняя дура, вновь стала проявлять признаки нежелания служить этой семье, у которой то и дело то умирают, то вновь воскресают люди.
На девятый день приехала белая колесница с факелами, запряженная в одну черную лошадь с наглазниками.
Муж, этот глава семьи, нервно глядевший в окно, первый увидел это прибытие.
Он говорит:
— Вот, папаня, наконец за вами приехали лошади.
Старик начал плеваться и говорить, что он больше никуда не поедет.
Он открыл форточку и начал плевать на улицу, крича слабым голосом, чтоб кучер уезжал поскорей и не мозолил бы глаза живым людям.
Кучер в белом сюртуке и в желтом цилиндре, не дождавшись выноса, поднялся наверх и начал грубо ругаться, требуя, чтоб ему, наконец, дали то, за чем он приехал, и не заставляли бы его дожидаться на сырой улице.
Он говорит:
— Я не понимаю низкий уровень живущих в этом доме. Всем известно, что лошади остродефицитные. И зря вызывать их — этим можно окончательно расстроить и погубить транспорт. Нет, — говорит, — я в этот дом больше не ездок.
Собравшиеся жильцы, совместно с ожившим старичком, выпихнули кучера на площадку и ссыпали его с лестницы вместе с сюртуком и цилиндром.
Кучер долго не хотел отъезжать от дома, требуя, чтоб ему в крайнем случае подписали какую-то путевку.

Оживший старик плевался в форточку и кулаком грозил кучеру, с которым у них завязалась острая перебранка.
Наконец кучер, охрипнув от крика, утомленный и побитый, уехал, после чего жизнь потекла своим чередом.
На четырнадцатый день старичок, простудившись у раскрытой форточки, захворал и вскоре по-настоящему помер.
Сначала никто этому не поверил, думая, что старик по-прежнему валяет дурака, но вызванный врач успокоил всех, говоря, что на этот раз все без обмана.
Тут произошла совершенная паника и замешательство среди живущих в коммунальной квартире.
Многие жильцы, замкнув свои комнаты, временно выехали кто куда.
Жена, то есть, проще сказать, дочь ее папы, пугаясь заходить в бюро, снова уехала в Сестрорецк с ребенком и ревущей нянькой.
Муж, этот глава семьи, хотел было устроиться в дом отдыха, но на этот раз колесница неожиданно прибыла на второй день.
В общем, тут была, как оказалось, некоторая нечеткость работы с колесницами, временное затруднение, а не постоянное запаздывание.
И теперь, говорят, они исправили все свои похоронные недочеты и подают так, что прямо — красота. Лучше не надо.

1933

Страдания молодого Вертера

Я ехал однажды на велосипеде.
У меня довольно хороший велосипед. Английская марка — БСА.
Приличный велосипед, на котором я иногда совершаю прогулки для успокоения нервов и для душевного равновесия.
Очень хорошая, славная современная машина. Жалко только — колесья не все. То есть колесья все, но только они сборные. Одно английское — «Три ружья», а другое немецкое — «Дукс». И руль украинский. Но все-таки ехать можно. В сухую погоду.
Конечно, откровенно говоря, ехать сплошное мученье, но для душевной бодрости и когда жизнь не особенно дорога — я выезжаю.
И вот, стало быть, еду однажды на велосипеде.
Каменноостровский проспект. Бульвар. Сворачиваю на боковую аллею вдоль бульвара и еду себе.
Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая трава. Грядка с увядшими цветочками. Желтые листья на дороге. Чухонское небо надо мной.
Птички щебечут. Ворона клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот.
Я гляжу на эту осеннюю картину, и вдруг сердце у меня смягчается, и мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь. Милые, понимающие люди. Уважение к личности. И мягкость нравов. И любовь к близким. И отсутствие брани и грубости.
И вдруг от таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее. Захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади. Скоро мы заживем, как фон бароны».
Но вдруг раздается вдалеке свисток.
— Кто-нибудь проштрафился, — говорю я сам себе, — кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях.
Снова недалеко от меня раздается тревожный свисток и какие-то крики и грубая брань.

— Так грубо, вероятно, и кричать не будут. Ну, кричать-то, может быть, будут, но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани.
Кто-то, слышу, бежит позади меня. И кричит осипшим голосом:
— Ты чего ж это, сука, удираешь, черт твою двадцать! Остановись сию минуту.
— За кем-то гонятся, — говорю я сам себе и тихо, но бодро еду.
— Лешка, — кричит кто-то, — забегай, сволочь, слева. Не выпущай его из виду!
Вижу — слева бежит парнишка. Он машет палкой. И грозит кулаком.
Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и орет что есть мочи:
— Хватай его, братцы, держи! Лешка, не выпущай из виду!
Лешка прицеливается в меня, и палка его ударяет в колесо велосипеда.
Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда и стою в ожидании.
Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. Дыханье с шумом вырывается наружу.
— Держите его! — кричит он.
Человек десять доброхотов подбегают ко мне и начинают хватать меня за руки.
Я говорю:
— Братцы, да что вы, обалдели! Чего вы, с ума спятили совместно с этим постаревшим болваном?
Сторож говорит:
— Как я тебе ахну по зубам — будешь оскорблять при исполнении служебных обязанностей… Держите его крепче… Не выпущайте его, нахала.
Собирается толпа. Кто-то спрашивает:
— А что он сделал?
Сторож говорит:
— Мне пятьдесят три года — он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дорожке… Он едет по дорожке, по которой на велосипедах проезду нет… И висит, между прочим, вывеска. А он, как ненормальный, едет… Я ему свищу. А он ногами кружит. Не понимает, видите ли. Как будто с луны свалился… Хорошо, мой помощник успел остановить его.
Лешка протискивается сквозь толпу, впивается своей клешней в мою руку и говорит:
— Я ему, гадюке, хотел руку перебить, чтоб он не мог ехать.
— Братцы, — говорю я, — я не знал, что здесь нельзя ехать. Я не хотел удирать.
Сторож, задыхаясь, восклицает:
— Он не хотел удирать! Вы видели наглые речи. Ведите его в милицию. Держите его крепче. Такие у меня завсегда убегают.
Я говорю:
— Братцы, я штраф заплачу. Я не отказываюсь. Не вертите мне руки.
Кто-то говорит:
— Пущай предъявит документы, и возьмите с него штраф. Чего его зря волочить в милицию.
Сторожу и нескольким добровольцам охота волочить меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает меня восвояси.
Я иду со своим велосипедом покачиваясь. У меня шумит в голове, и в глазах мелькают круги и точки. Я бреду с развороченной душой.
Я по дороге сгоряча произношу пошлую фразу: «Боже мой». Я массирую себе руки и говорю в пространство: «Фу!»
Я выхожу на набережную и снова сажусь на свою машину, говоря:
— Ну ладно, чего там. Подумаешь — нашелся фон барон, руки ему не верти.
Я тихо еду по набережной. Я позабываю грубоватую сцену. Мне рисуются прелестные сценки из недалекого будущего.
Вот я, предположим, еду на велосипеде с колесьями, похожими друг на друга как две капли воды.
Вот я сворачиваю на эту злосчастную аллейку. Чей-то смех раздается. Я вижу — сторож идет в мягкой шляпе. В руках у него цветочек — незабудка или там осенний тюльпан. Он вертит цветочком и, смеясь, говорит:

— Ну, куда ты заехал, дружочек? Чего это ты сдуру не туда сунулся? Экий ты, милочка, ротозей. А ну валяй обратно, а то я тебя оштрафую — не дам цветка.
Тут, тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Эта тихая сценка услаждает мое страдание. Я бодро еду на велосипеде. Я верчу ногами. Я говорю себе: «Ничего. Душа не разорвется. Я молод. Я согласен сколько угодно ждать». Снова радость и любовь к людям заполняют мое сердце. Снова хочется сказать что-нибудь хорошее или крикнуть: «Товарищи, мы строим новую жизнь, мы победили, мы перешагнули через громадные трудности — давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга».

1933

Михаил Кольцов

Иван Вадимович — человек на уровне

Иван Вадимович хоронит товарища

— Пойдемте немного тише. У меня тесные ботинки, а топать придется далеко. Да… тяжелая история. Первого числа мы еще вместе сидели на комиссии по себестоимости. Он нервничал перед докладом — и как обрадовался, что хорошо сошло! Не знал, бедняга, что его ждет через две недели… Кто это впереди, у гроба? Ах, Кондаков, вот как! Он здесь как — от президиума или персонально? Я знаком с ним только по телефону, лично никогда не видел. Молод, однако… В таком возрасте быть членом президиума — это не плохо… В последнее время поперла какая-то совсем новая публика. Неведомые люди. Говорят, из партийного аппарата много переводят на хозяйственную работу. Гонор-то у них большой… Может быть, он и вовремя умер. В коллегии к нему стали относиться очень плохо… С кем трения — со мной? Это чистая ложь. Мне он никогда не мешал. Я был поистине потрясен его смертью! Какая ложь! Я знаю, кто это вам сказал. Это Кругляковский вам сказал. Нет, не спорьте — ясно, Кругляковский. Не понимаю, зачем он распространяет подобные слухи. Я уже от третьего слышу. Придется с ним поговорить… В крематории? Нет, уже в третий раз. Впервые я был — у нас один сотрудник умер, а потом на похоронах Петра Борисовича, разве вас тогда не было? Красивые похороны были. Масса народу, венки, музыка, представитель от президиума, знамена. Ему-то самому, конечно, ничего не прибавилось, он этого уже не видел… На мои столько народу не придет. Хотя — как организовать… Много зависит от отношения товарищей… Да, довольно красиво! Особенно этот момент, когда гроб плавно опускается вниз. А в подвал, к печам, в это окошечко вы ходили смотреть? Я тоже нет. Что за зрелище — не понимаю. Говорят, труп корчится… Недавно слышал — жену одного ответственного работника какие-то дураки уговорили туда взглянуть. Полюбоваться, так сказать, на мужа. Ну, конечно, припадок. Идиоты!.. Я свою жену принципиально ни на какие похороны не беру. Это не для женщин. Тем более у нее отец пожилой… Да, вот так живешь, работаешь, бьешься как рыба об лед, а потом — пожалуйте в ящик, и отвозят. В порядке очереди. Как говорится: «Кто последний, я за вами…» Хотел бы я только, чтобы у меня это быстро случилось. Какое-нибудь крушение поезда — раз и готово… Это сестра его жены. Не правда ли, красивая баба? У нее муж в торгпредстве или что-то в этом роде, потому так одета. Напомните мне потом рассказать анекдот, как к Калинину пришли два еврея. Контрреволюционно, но очень смешно. Интересно, кто все эти анекдоты придумывает? Нет, сейчас неудобно, обратят внимание. Лучше на обратном

пути… Говорят, у него давно уже было расширение сердца. Он не берегся — и вот. Я его отлично понимаю. Со мной то же самое случится… Нет, особых таких болезней у меня нет — но вот, например, в разгаре вечера вдруг начинают страшно чесаться руки. Что-то невероятное! Недавно это у меня в театре началось — так прямо с середины действия хотел уйти. Но потом сразу прошло. Врачи — разве от них добьешься толку! Профессор Сегалович говорит: старайтесь не чесаться, это чисто нервное. Что значит чисто нервное, — я должен знать, куда это ведет, чем угрожает! Мне не важно личное здоровье, но ведь я частица чего-то, у меня на плечах большое учреждение! Я его спрашиваю, какую диету мне соблюдать, чего не есть, чего есть. Говорит: «Это не имеет значения». Ничто для них не имеет значения! Две нелепых профессии — врачи и эркаисты. Должны страховать от болезней, а пользуются ими, чтобы мучить нас. Хорошо еще, что я сам соблюдаю некоторый режим. Берегу выходные дни, негорячая ванна после работы. Потом вот что я вам советую: я принципиально не курю перед едой. Это очень важно. Думаю в этом году пораньше в отпуск. Вы куда собираетесь ехать? Нет, я опять на южный берег. Обязательно напомните рассказать анекдот про трех дам на пляже… Да, печально, печально… Главное, уж очень хороший мужик был. Никто от него зла не видел. Не было в нем, знаете, этого подсиживания, этого желания нажить на ком-нибудь капитал. На его место? Не знаю… Официально не знаю, но строго секретно могу сказать — Свенцянский. Уже решено. Да… я сам был поражен. Я даже влопался немного. Поздравлял Мятникова с новым назначением. А Мятников, главное, не опровергал. Молчал и улыбался… В последнюю минуту все перевернулось. Говорят, потребовали крепкого оперативного человека для непосредственного практического руководства. Но ведь можно было и при Мятникове иметь заместителя специально по практической работе. Мятников как-никак фигура… Вы что делаете послезавтра? Приходите обязательно ко мне… Так, ничего особенного, и товарищи соберутся посидеть. Мы новоселья не устраивали, это будет вроде полуновоселья. Было намечено на сегодня — из-за похорон отложили. Неудобно все-таки. Кто-нибудь сболтнет — скажут: нашли время пьянку устраивать…
Можно прийти и попозже… Будут все свои люди. Сергей Соломонович обещал заехать… Много народу отправляют в политотделы… Я бы и сам с удовольствием уехал — не берут по болезни. Как я развернул им бумажку от врача, как они взглянули, даже толком не прочли — сейчас же прекратили разговор. Я даже пожалел, что принес им эту бумагу… Ботинки меня сегодня доконают! Давай пойдем потише, немного отстанем. У меня там сзади идет машина. Отдохнем, а перед самым крематорием опять бодро зашагаем.

Иван Вадимович на линии огня

— Товарищи, я очень внимательно слушал ваши прения. Если это можно назвать прениями… Слушал — и чуть не заснул. Да, товарищи, чуть не заснул! Я спрашиваю: к чему опять эти бесконечные рассуждения о сырье, о топливе, о рабочей силе, о тарифе? Из них, из этих рассуждений, ясно только одно. План по Лазаревской фабрике не выполнен. Не выполнен, вот и все. Не выполнен на сорок шесть процентов. Вот основной факт! Какой смысл этого факта? Здесь у нас, на правлении, сидят взрослые люди. Я не буду, товарищи, заниматься перед вами демагогией. Не буду шуметь о том, что рабочие сидят без нашей продукции… Что сельская кооперация с немым укором смотрит на нас своими пустыми полками… Что не выполнен заказ для Красной Армии, для наших доблестных бойцов, и так далее. Вы люди взрослые, незачем отнимать время этими общеизвестными вещами. Но я скажу о другом. Сорок шесть процентов невыполнения — вы знаете, что это значит? Вы не читаете газет!! Вы, товарищи, заросли тиной повседневных текущих будней! А я за политикой слежу. Я газеты читаю и могу сообщить: Главснабстрой за одиннадцать процентов невыполнения получил четыре строгих выговора. Одиннадцать процентов — а у нас сколько?! Стекло-силикатный комитет весь распущен за двадцать процентов невыполнения. В Союзколенкорсбыте со строгим выговором снят председатель, исключены из партии заведующий производством и его зам! В Росглинофаянсе из-за трех процентов все правление осталось без отпусков! В Объединении твердых металлов один исключен, четверо сняты, двоим запрещены ответственные должности. Что? Правильно. Антон Фридрихович меня дополняет: там же распущено бюро ячейки и назначена внеплановая чистка аппарата. Внеплановая чистка, товарищи! Вне-пла-но-ва-я чист-ка. В Маслопродуктпроме три члена правления отстранены с преданием суду, зампред снят,

председатель освобожден ввиду перехода на другую работу… Да что Маслопром! Целые наркоматы получают по морде — почитайте газеты. Что же вы думаете — с нами стесняться будут? Стесняться не будут! Не будут. И что же нам тут предлагают? Сменить нашего уполномоченного на заводе? Добиться большей отгрузки сырья? Усилить премирование? Назначить нового директора? Завести красную и черную доску? Наивно, товарищи. Смешно! Бесконечно смешно и наивно. Зачем закрывать глаза? Пусть кто-нибудь из присутствующих поручится, что фабрика вылезет хоть наполовину к концу квартала! Никто такого поручительства из нас дать не может. Положение трудное. Всякие полумеры были бы близорукостью, вдвойне опасной… Надо действовать решительно, смело и притом дальновидно. Что же я предлагаю? Лазаревскую фабрику мы превращаем, переименовываем, ну, словом, претворяем — в комбинат. Да, в комбинат и, если хотите, в трест. Что? Отчего же! Бывают на местах и еще меньшие тресты. Претворяем в трест областного значения. Ольга Максимовна, поищите в архиве, там где-то должна быть бумага от Ивановского обкома. Кажется, начало прошлого года. Они просили тогда передать Лазаревку в ведение области. Тогда мы категорически отказали. А сейчас — сейчас мы категорически согласились. Что? Я вас не перебивал, извольте теперь выслушать своего председателя и тоже не перебивать. Превращаем в областной трест. Отзываем сейчас же уполномоченного — чтобы не мешать местной организации руководить. Предоставляем обкому посадить нового директора или оставить старого. Это их дело, пусть они отвечают! А главное, немедленно выводим Лазаревку из нашего централизованного промфинплана. И этим, как нетрудно догадаться, сразу меняем процент нашего выполнения!.. Отделить больное от здорового — вот смысл мероприятия! Пусть здоровое отвечает за здоровое, а больное за больное! Отсекаем гнилую часть организма и даем ей возможность либо умереть, либо выздороветь в условиях своевременной изоляции… Пусть обком руководит фабрикой, пусть направляет ее всеми имеющимися у него методами воздействия. Пусть исключает людей из партии, пусть хоть режет на кусочки. Мы-то здесь при чем?! Ведь фабрика не в Москве… Сделать надо сейчас, немедленно, мгновенно. Проявить максимальную оперативность. До конца квартала осталось пять недель. Пусть, когда начнут смотреть квартальные итоги — пусть тогда мы будем уже давно в стороне… Что? Не хитро, а мудро, дорогие товарищи! Мозги надо иметь! Моз-ги! Котелок должен варить на плечах. Без котелка мы с вами давно уже пропали бы!..

Иван Вадимович любит литературу

— Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал. Что именно — не помню, но читал. «Тихий Дон» — это разве его? Как же, читал. Собственно, просматривал. Перелистывал… Времени, знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Лично я могу только глянуть на страницу и уже ухватываю основную суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось… Но, в общем, до чего все-таки слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет… Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в какие условия их ставят, если бы вы знали! Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. При этом никакой ответственности, никакого промфинплана. Если бы меня хоть на полгода устроили — чего бы я понаписал! Данные? Что значит — данные! Если тебя партия поставила на определенный участок, на литературу, если тебе дают возможность работать без эркаи, без обследований, без этой трепки нервов — скажи спасибо, пиши роман! Беспартийный — тот должен, конечно, иметь талант. Но ведь и ему партия помогает… Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть только один? Мне казалось, их было двое… Вообще чудаковатый народ. Совершенно какие-то неорганизованные… Я, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с Союзглинпродуктсбытом. Звоню, спрашиваю Маяковского. «Уехал на шесть недель». Спрашиваю, кто заменяет. Говорят — никто. Что значит — никто?! Человек уехал на шесть недель и никого вместо себя не оставил… Или он думает, что незаменим? У нас незаменимых нет! Потом я еще раза два звонил — средь бела дня телефон не отвечает. Ну, в общем застрелился. Это такая публика, что пальца в рот не клади… На днях был я в Моссовете — представьте, кто-то из них заявляется, просит устроить на дачу. И как это с ним разговаривали! «К сожалению, сейчас дачи нет! К сожалению, вам придется обратиться в дачный трест…» Я потом, когда он ушел, спрашиваю: почему «к сожалению»? Что он — через Торгсин не может себе дачу купить? Ведь они кучу золота загребают!.. Издания «Академии»? Я их все подбираю —

какая культура! Все сплошь в сатиновых переплетах, с золотом… Говорят, есть еще особые нумерованные экземпляры — шевро или шагрень, что-то в этом роде. Чудесные книжки! «Золотой козел» Апулея или что-то в этом роде, какая прелесть. Или Боккаччо возьмите. Что за мастер слова! Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, как культурно — не придерешься… «Железный поток»? Конечно. Я его еще до революции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался.

Иван Вадимович принимает гостей

— Ну, что вы, ребята, не понимаю! Куда же вы торопитесь?! Посидели бы еще! Петр Ильич, это ты виновник всему: «Мне рано вставать, мне рано вставать». А за тобой и все потянулись. В конце концов отправили бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Чаю можно опять разогреть. Закуски остались, водка, Абраша-дюрсо две бутылки. Вот только рябиновая вся. Это уж Никита постарался. Ай да Никита, ну, молодец! На работе такой суровый, а тут как нежно стал за рябиновкой ухаживать. Вот она где, комсомольская энергия. Да ты не смущайся, Никита, чудак. Так и надо — решительно и напролом. Жаль, Сергей Соломонович рано ушел — мы бы его попросили учредить у нас особый рябиновый отдел. И заведующим, конечно, Никиту! Разрешите, я вам пальтецо разыщу… Нет, нет, очень даже стоит! Мы, как говорится, ваши хозяевы, вы наши гости. Анюта! Ты не слышишь? Илья Григорьевич с тобой прощается. Измоталась? Кто? Анюта? Да нет, что вы! Анна Николаевна у меня человек боевой, жинка на ять. Ее так легко не измотаешь. Что? А вот давайте пари держать; приходите каждый день. У нас дом хоть простецкий, вас всегда Анна Николаевна накормит, напоит, приласкает… Да нет, Анюта, ведь я в переноском смысле. Добродетель твоя вне подозрений. Хотя… чего это тебе Жертунов все в уголке шептал? Водки просил? Знаем! Жертунов, говори прямо, чего требовал от моей законной супруги?! Вы подумайте! Пришел в гости, воспользовался доверием хозяина и, можно сказать, супругу соблазнил… Нет, товарищи, я серьезно: приходите почаще. Теперь дорогу знаете, для Никитушки рябиновую мы всегда будем держать в резерве… Всего хорошего, Антон Фридрихович! Илья Григорьевич, заходите! Если там внизу дверь закрыта — постучите налево нашему церберу. Всего, всего! Приходите обязательно! Почаще! Всего… ф-ф-у-у! Устал. Засели, однако! Который час? Половина четвертого? Хорошо, что Петр Ильич догадался увести всю ораву за собой. Они бы еще до восьми сидели. Снизу уже два раза приходили, обещали коменданту жаловаться… Как это люди не понимают, что пора уходить. Давай спать ложиться — я хочу им всем назло завтра рано приехать на работу… Ну, как? По-моему, вполне прилично получилось. Свенцянский был очень доволен. Он сказал Антону Фридриховичу, что сидел бы еще, если бы не готовиться к докладу. Конечно, он ушел больше для стиля… Оказывается, можно было свободно пригласить его жену. Она вообще-то имеет свою компанию, но охотно пришла бы сюда. Говорят, жуткая баба… С едой вышло в общем хорошо. Ты была права, я все боялся, что не хватит. Вот Пирамовы сделали очень хитро. На его сорокалетие Пирамиха купила на базаре просто свиных ног, голов и всякого дерьма; наготовили в умывальных тазах обыкновенный холодец — всем очень понравилось… Нет, разве я говорю, что плохо организовано? Очень, очень мило получилось. Особенно с винегретом — это было весьма кстати. Пусть видят, что домашний стол, а не то что у Морфеевых — взяли из Мостропа официантов и посуду — с таким же успехом можно было всех повести в ресторан… Ну, теперь конец. До мая никого больше не приглашаем. Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, жрали, пили — надо было чем-нибудь ответить… Ответили — и точка. Если чаще приглашать, начнут говорить: «На какие шиши он это все устраивает?!» Но как тебе нравится этот щенок, Никитка! Заблевал, сукин сын, весь коридор. С непривычки… Зачем было его звать? А затем, что надо было! У тебя, Анюта, совершенно нет политического чутья. Пойми, что Никита — секретарь комсомольской ячейки. До сих пор он трепал языком насчет всякой семейственности и спайки. Теперь пусть-ка попробует хоть пикнуть. Из этих же соображений я позвал Жертунова и Карасевича… Сволочь Карасевич! Пришел — как будто одолжение сделал. А потом, когда увидел, что Свенцянский здесь, что Свенцянский пьет, — как сразу растаял. Хитрый мужик. А Саломея Марковна — как она смотрела на свои пластинки! «Не разбейте, не разбейте, таких в Москве больше нет». Прямо как змея. Небось когда посуду надо было у нас брать, она разбить не боялась. Пусть Дуняша уберет со стола. Между прочим, что у нее за манера таскать у гостей из-под рук

тарелки с едой. Человек не доел, а она уже хватает! И потом — что это твоя мамаша трепала Жертунову?.. Ведь я тысячу раз просил — пусть не разговаривает с гостями! Или пусть молчит, или пусть уходит ночевать к Наде. Опять, наверное, морочила голову о том, как, бывало, раньше принимала гостей. Пойми, что люди понимают все в дурном смысле! Он ей будет кивать и улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения… Ладно, не будем спорить, это старо, как мир. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне это было только смешно. Но потом Свенцянский очень хотел мандаринов, а их не было, и Петр Ильич тут же сидел — меня прямо зло взяло, я еле сдержался. Зовешь людей, зовешь от души, зовешь по-товарищески. А они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе!..

Иван Вадимович распределяет

— Нет, уж разрешите меня не перебивать! Я повторяю: ко всему надо подходить с подходом. Без подхода вы ни к чему не подойдете. Вы получили с Кудряшевской фабрики первые сорок сервизов из майолита? Хорошо. Это образцы нового производства? Очень хорошо. Они красиво» выполнены? Отлично. Вы хотите их распределить? Блестяще. Вы составили план распределения? Спасибо. Мы заслушали этот план. Никуда не годится. Ни-ку-да. Десять сервизов Всенарпиту, пять Всекоопиту, восемь на РСФСР, четыре Украине, по три Белоруссии и Закавказью, по одному Узбекистану… По два сервиза каждому Цека профсоюзов для премирования лучших столовых и ударников… Что за рутина! Что за скука, что за чушь! Можно ли так смазывать вопросы?! Какие столовые и каких ударников вы будете премировать этими сервизами — спрашиваю я вас! Спрашиваю вас я!.. Вы сами говорите: каждый сервиз имеет двенадцать чашек, двенадцать блюдец, чайник, молочник, сахарницу и полоскательницу. Разве же найдется столовая, для которой хватит двенадцать чашек? Разве же найдется ударник, который может посадить за стол двенадцать человек? Вы рабочего класса не знаете, вот что я вам скажу. Для учреждения ваш сервиз мал, а для отдельного трудящегося слишком велик. Не так распределяют подобные предметы. Я все-таки удивляюсь: три года вы под моим руководством — и совершенно не растете на работе. Каждую вещь надо делать с максимально действенным эффектом. Распределение — это учет, поймите. Распределение — это учет всех тех моментов, которые должны быть учтены при таковом. То есть при распределении. Понятно? Возьмите конкретно: что такое майолит? Это прежде всего каолин. Так. Кто председатель Каолинзаготсбыта? Петухов, правильно. Вот и пишите: в распоряжение товарища Петухова, по его личному усмотрению, пять сервизов. Чтобы знал, чтобы чувствовал, зачем дает нам каолин, на что дает… Вернее, не пять, а восемь. Вернее, шесть. Написали шесть? Сколько осталось? Тридцать четыре. Хорошо. Что такое дальше майолит? Это топливо. Пишите: восемь сервизов персонально руководителям топливных организаций по указанию Петра Ильича. Теперь идет комитет по регулированию черепков. Кладите комитету четыре штуки. Зампреду, двум членам президиума и управделами, чтобы наши бумаги не застревали. Председателю? Ведь он там не бывает, это же не его основная работа… Ладно, клади Союзчерепкому всего пять сервизов. Поехали дальше… Что? Вот у Жертунова всегда практические мысли: откладываем два сервиза для Силикатбанка. Что? Какая общественность? Ах, печать? Правильно. Здраво. Отметьте: редакция газеты «За фарфоризацию» два, нет — три сервиза. Один для самой редакции, другой лично Плешакову, третий лично Окачурьяну… И надо на них что-нибудь выгравировать. «Бойцам самокритики на глинофаянсовом фронте» или что-нибудь в этом роде… «Красный гончар». Не сдохнут без сервиза. Профсоюзный журнальчик, подумаешь… Ладно, отсыпьте одну штучку… Только пятнадцать сервизов?! Куда же они все девались?! Прямо между пальцев уползают!.. Кому, мне? Лично мне сервиз?! Вы с ума сошли. При чем здесь я? На кой черт мне это барахло!.. Нет, бросьте… И почему только мне одному? Антон Фридрихович человек многосемейный, он больше моего нуждается. Вообще все члены правления. Что же, давайте тогда шестерку запишем за правлением. И себе, Ольга Максимовна, себе застенографируйте седьмой. Вы — наш рабочий член коллектива, вы слишком за многое отвечаете своей секретарской работой, чтобы считать вас техническим орудием… Сколько осталось? Восемь? Да… маловато. А не лучше ли, товарищи, не лучше ли во избежание всех склочных разговоров о самоснабжении… Не лучше ли пожертвовать еще парой? Для ячейки и месткома. Ольга Максимовна, запишите два. Дайте им с одинаковым рисунком,

чтобы не перессорились. Вот… А шесть сервизов оставьте в резерве. Мало ли что еще может случиться. Комиссия приедет обследовать, юбилей чей-нибудь или шефство примем… Пусть полежат; нечего разбазаривать ценную продукцию!..

Иван Вадимович лицом к потомству

— Зачем ты заключаешь в скобки весь многочлен? Икс-квадрат плюс два а-икс минус восемь а-квадрат… Что? Я говорю: делишь высший член делимого на высший член делителя… Ну да. Первый член частного умножаешь на делитель и… Постой… И делимое вычитаешь из произведения. То есть наоборот: произведение вычитаешь из делимого. Как я сказал? Совершенно верно! Из делимого. В данном случае высший член остатка не делится на высший член делителя… Мм… так. Какой ответ? В целых? Без дроби? Нет, тут что-то напутано. Возможно, в задачнике. Попробуй, Петька, раздели еще раз. Я бы сам тебе это сделал, если бы хоть секунда свободного времени. Сейчас будет гудеть внизу машина, заедут за мной, на заседание… Вообще, Петька, зря ты капризничаешь. У вас теперь не ученье, а малина. Попробовал бы ты в наше время, в царской школе! Что это был за кошмар, что за ужас… Вы теперь на учителей чуть не плюете. В наше время учителей боялись! Прямо тираны были, Петька… Мы их халдеями называли. Ну, кто у вас по математике — какой-нибудь шкраб в задрипанной толстовке, сто рублей в месяц получает, полдня в очередях стоит… А ты представь себе у нас: Николай Аристархович Шмигельский — статский советник, синий мундир, золотые очки, от бороды одеколоном пахнет! Ведь он, негодяй, по праздникам со шпагой ходил, — мы, мальчики, прямо восторгались. У такого выйдешь к доске бином Ньютона объяснять — чувствуешь, что стоишь на государственной службе! Или по закону божьему — отец Олеандров, до чего тоже гнусная личность. Фиолетовая ряса, приятно так шуршит, тоже борода холеная, голос бархатистый… Я у него, у сукина сына, по катехизису всегда первый был!.. Нет, это книжка такая, сочинение митрополита Филарета. Догма и мораль христианства в сжатой форме, не допускающей недоумений и толкований. Ужасная чепуха — сейчас еще все помню наизусть!.. Я, Петька, несмотря на тяжелые условия царской школы, был во всех классах первым учеником и гимназию кончил с золотой медалью. Это мне дало культурный багаж для революции и сейчас — для созидательной работы. Надо и тебя учить покрепче. «Бьюик»? Какой «бьюик»? Почему у меня нет «бьюика»? Что за манера перескакивать с одного на другое! А на что он мне, «бьюик»! Разве я на плохой машине езжу? Витька? Ну и что же, что хвастался. Витькин папа — член президиума, у них для президиума получено четыре новых «бьюика»… Почему я не член президиума? Да мало ли почему. Это, Петька, не твоего ума дело. Будет время — тоже буду членом президиума… Звал покататься на «бюике»? Не смей, слышишь, я тебе запрещаю. Не навязывайся. Витькин папа рассердится, я вовсе не хочу с ним ссориться из-за тебя. Разве папа тебя приглашал кататься? Ничего у тебя не поймешь! Кто же звал — Витька или Витькин папа? Вынь палец из носа! Я с ним разговариваю, а он полруки пихает в ноздрю! Так и сказал: «Давайте я вас обоих покатаю»? Обязательно поезжай! А еще что говорил? Обо мне не спрашивал? Совершенно не спрашивал? Ну, впрочем, это хорошо. А ты что ему говорил? Так ничего и не говорил? Что же ты, немой? С тобой говорит отец твоего товарища, а ты молчишь, как дубина. Вспомни, может быть, что-нибудь говорил? О какой квартире?.. Так ты и сказал: «У вас паршивая квартира, наша гораздо лучше»? Идиот! Кто тебя просил?! Зачем ты треплешь языком, создаешь неправильное впечатление обо мне? Анюта, ты слышишь, как наш дорогой сыночек разговаривает с людьми?! Нет, очень даже касается! Ребенок растет дегенератом, говорит людям в лицо черт знает что — это должно тебя касаться! Ношусь весь день, как черт, сгораю на работе, ночей не сплю — все думаю, как бы лучше, а тут — из собственного дома мои же дети наносят удары в спину! Я требую — посиди с Петей час, объясни ему элементарно, что он должен и чего не должен говорить, если любит своего отца и дорожит своей семьей. Нет, лучше я сам посижу, ты бываешь не умней Петьки. Когда он тебя будет катать?.. Ну вот, и накануне мы с тобой, Петька, коротенечко потолкуем. Ты уже не маленький, ты обязан отцу в некоторых вещах помогать.

Иван Вадимович рассказывает один случай

— Кто, я? Это вам приснилось. В Камерном театре? Я вообще туда не хожу. Я не знаю, где он помещается! Когда это было?.. В конце марта у меня не могло быть ни одного свободного вечера. Я веду кружок, заключительные занятия. А по советской работе —

окончание годового отчета. Просто физически я не мог там быть… В двух шагах от меня? Или вы обознались, или просто разыгрываете меня. Да, знаем мы эти штучки… В буфете, впереди вас? Я сидел? Маленькая? Я вообще, если уже… то только с высокими. Мой голос? Вы, наверно, были выпивши. Я сказал «испытайте мои силы»? И это похоже, что я мог сказать такую пошлятину?! Ладно, разыгрывайте кого-нибудь другого. Может быть, это был двойник… Ну… хорошо, я расскажу. Но прошу вас совершенно серьезно: гроб. Никому ни звука. Гроб-могила. Для вас это шуточка, а для меня может получиться совсем не смешно… Я уже сам хотел с вами поделиться… Но только умоляю: мо-ги-ла. Она сама? Никогда в жизни она не разболтает. В этом отношении это очень милая баба; не пикнет никому ни слова. Это просто не в ее интересах… Да, на открытом собрании ячейки. Она, оказывается, работает уже второй год, но в плановом отделе — это на другой улице. Какой-то дурак выступил — почему Ковзюков получает в отличие от других шоферов добавочные отпуска и продукты по запискам. Якобы потому, что возит меня… Я жду, чтобы кто-нибудь дал отпор такой демагогии. Никто отпора не дает, все говорят на другие темы. Я уже сам хотел дать фактическую справку — выступает эта самая… ну, словом, Галя. Очень так спокойно, толково. «Я, говорит, сама беспартийная, но удивляюсь, почему здесь товарищи при обсуждении такого большого вопроса, как продовольственное снабжение, приплетают разных шоферов, разные продукты и записки. Зачем, говорит, позволяют себе никчемные выпады против наших руководящих товарищей». Про обезличку, про уравниловку говорила — не совсем, правда, кстати, но ничего. Сказала, что с кого много спрашивается, тому надо больше дать. Поскольку, мол, Ковзюкову доверено ответственное дело возить Ивана Вадимовича, постольку — ну, и так далее… После собрания я ухожу пешком, случайно нагоняю ее. Разговорились — ни слова по поводу инцидента — так, вообще, о том, какая эпоха, как интересно работать. Проводил ее, но не до самого дома, чтобы не слишком воображала. Потом еще как-то пару раз… Ну, вы знаете, я у себя в учреждении даже ни на кого не смотрю. У меня принцип: там, где питаешься, там не… Все-таки вижу, что девушка сама лезет… Я ведь тоже не камень. Затребовал ее личное дело… Я такие вещи не коряво проделываю, чтобы все догадались. В порядке заботы о личном составе пометил на списке сотрудников четырнадцать имен, сказал прислать мне их на просмотр. Между прочим, и ее дело. Вижу, по анкете все прилично, работала ряд лет в детском доме, потом на транспорте, у нас она инструктор-плановик… Ну, жена уехала к родным — мы встретились. Числится замужем, по с мужем не живет. Что в ней замечательно — совершенно отдельная комната! Дверь в коридор — но у самого выхода. Много читает — Цвейга, письма Толстой к мужу. Когана в оригинале. Подписана на Малую советскую энциклопедию. Притом — отличное белье, это тоже, знаете, играет какую-то роль. Ну, я тоже не ударил лицом в грязь. Она мне сказала… это глупо, конечно… я просто даю картину… она сказала, что во мне много первобытной силы… Только, пожалуйста, никому ни слова! Гроб-могила!.. А в Камерном мы были еще до того. Через неделю после ячейки… Она хотела в Большой, но я отказался — вежливо и твердо. В Большом нас каждая собака могла увидеть. Еще важный момент: я боялся, как бы чего-нибудь не поймать. Все-таки семейный человек. Принял даже меры… Оказывается, ерунда. Никаких даже опасений быть не может. Она мне сказала, что до меня у нее четыре месяца вообще абсолютно никого не было; я ей охотно верю… Что в ней приятно: ничего не просит. «Сознаю, говорит, дистанцию между мной и тобой, и пусть, говорит, так всегда и останется». Единственное что — ее перевели секретарем отдела, в общей комнате у нее от шума разбаливается голова… Ну, Ковзюков ей раза два отвозил продуктов; дров обещал я ей послать… Надо же чем-нибудь топить человеку… «Ничего мне от тебя, говорит, не надо, кроме того, чего я сама не могу достать…» Это все-таки приятно, такое отношение… Я вас прошу, не вздумайте хоть слова сказать при Анне Николаевне, даже в шутку! Она никаких шуток не понимает, она все всерьез берет. Ко всем вопросам подобного рода подходит крайне примитивно!

Ивану Вадимовичу не спится

— Какой же может быть теперь час? Анюта не верила, что у нас мыши. Вот бы сейчас разбудить и дать послушать… Не стоит, начнется болтовня, тогда, наверно, не засну… Как паршиво строят эти кооперативные дома! Буквально все слышно. Граммофон… Это, наверно, у Бондарчука — проводы на руководящую работу на периферию… А ведь я тоже

весной чуть не угодил на периферию. Еле уполз… Хотя… и на периферии люди живут. Приезжал бы в Москву на съезды. Верхом по периферии ездил бы… Надо мне верхом ездить — чтобы похудеть. Пирамов полнее меня. У Пирамова настоящий живот, а у меня только начался… А ведь я был совсем худенький… Как я в речку нырял с мостков! Теперь бы так не нырнул… Хотя, пожалуй, нырнул бы. Как называлась речка? Серебрянка… Надо будет Серебрякову ответить завтра на запрос — уже две недели бумага валяется… Серебряков… Еще Серебровский есть. Это в Главзолоте… Странно: Серебровский в Главзолоте… А если наоборот — Золотовский в Главсеребре… Неостроумно. Черт знает что ночью лезет в голову. Надо заснуть!.. Петька во сне стонет. А я ему задачу так и не смог решить. Соврал, что нет времени… Он, кажется, догадался. Но смолчал… Смешно, Петька еще маленький — а уже бережет меня, чтобы не обидеть. К старости дело идет… У Петьки почерк уже похожий на мой. Интересно, какой Петька будет в мои годы… В это время уже должно быть бесклассовое общество… Черт, до чего я запустил марксистский кружок. Срываю уже четвертое занятие… Надо подготовиться, что-нибудь прочесть. Скоро чистка… Нет, об этом не стоит думать. Хотя нет, лучше заранее подготовиться ко всему. Карасевич, наверно, будет выступать против меня. Что, если его перевести в ростовскую контору?.. Догадается, сволочь. Нарочно приедет в Москву на мою чистку! Как это гнусно — чувствовать, что где-то близко живет и дышит враг! Как заноза в теле. У меня их много. Если бы получить отпуск на год. Нет, мало. На десять. Даже на пять лет… Вот как у них там, на Западе: «Заявил, что отходит от политической жизни…» Интересно, как бы я жил, если бы не было революции. Кончил бы юридический, был бы присяжным поверенным. Пожалуй, остался бы в Пензе… Как странно было в прошлом году опять попасть на бульвар, где я когда-то с Олей целовался. Где она сейчас… Во время войны была сестрой. С офицерами гуляла… Со мной почти перестала здороваться. Потом, наверно, удрала за границу. Красивая, черт… Если бы не удрала, я бы на ней женился. Больше не за кого было бы ей выходить, из пензенских я один далеко пошел… Яшка Кипарисов сейчас держится прилично. А еще недавно фамильярничал — на том основании, что мы с ним когда-то гоняли голубей… Мало ли кто с кем чего гонял… Хорошо, что я с ним стал разговаривать по-ледяному… Опять пропустил зиму, только два раза ходил на каток… А ведь давал себе слово — два раза в шестидневку!.. Сколько у меня неисполненных намерений! Каток, не курить, прочесть «Капитал», порвать с Галей, изучить английский, уволить Ковзюкова… Поехать с Петькой за город, ну, это мелочь… Овладеть техникой… Удерживаться, когда Анюта меня раздражает. Как ей не стыдно так со мной хамить! Вот я умру — она узнает, почем фунт лиха. Этот же Антон Фридрихович, который липнет к ней, как банный лист, — он ее даже машинисткой не захочет устроить… Все они друзья до поры до времени!.. Ну, и я хорош… Когда Янушкевича исключили, я не узнал его в приемной. Вот, наверно, зол! Надо будет его чаю позвать пить. Только в одиночку, чтобы не было разговоров… Наверно, скоро восстановят его… Что, если меня исключили бы!.. Я бы застрелился. Нет, пожалуй, нет… А куда бы я девался? Теперь всюду нужно знать технику.
Чем бы я мог быть?! Консультантом разве… Но по каким вопросам?.. Нет, не исключат. Не может быть. А вдруг исключат! Исключают же людей. Неужели они все хуже меня… Если считать до тысячи — говорят, можно заснуть… Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь… Нет, противно… Дуняшка еще домой не приходила… С каким-то комсомольцем живет, корова! Надо ей сказать, чтобы сюда его не водила. Глупо, у меня на кухне комсомолец! Но не в столовую же мне его водить!.. Может быть, книжку взять почитать?.. Нет, Анютка проснется — хуже будет.

1933

Всеволод Иванов

Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов

1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно путались, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит, но он как-то мало верил в мощность своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в американских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в том спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилось понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растрепанные тюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, наполнялось ясностью. Софья Премудрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком, — во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос, — приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он садился у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатушке, и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но

дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко… Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ивановна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных истинах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы было ему тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отметено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отметены деньги, ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло, — разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям дарить вроде железной дороги по восьми комнатам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал, и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от водки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его былого богатства и великолепия уцелели нелепые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шелке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило… В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь молодые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать, — что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать, — он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение: ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с

французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя, только когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного солдата и куда двенадцать улиц непрестанно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными показались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катились в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговаривал сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они обладают отвратительным пищеварением, глянцевитые лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его…

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке недвижно и странно торчала толпа раскрашенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распрощался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не высказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привезти возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Мария Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил стакан плохого и крепкого кофе, от которого он давно отвык, и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидал здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему захотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост, и, если угодно, он может принять господина Лобанова через три минуты. И точно через три минуты его попросили пройти и любезнейше раскрыли перед ним дверь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилюли в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком заплесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:
— Что же хорошего — все равно пропали.
И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:
— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.
Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:
— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.
4
— Семьдесят пять тысяч долларов?
— Да.
Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил и теперь переживает Лобанов. Господин Ристер почувствовал почтение к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленному той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро, скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомни лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно утончался. Мир опять наполнился заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.
Улица шла мимо него, разношерстная и развязная: люди целовались и плакали, — от счастья или несчастья, и никто на них не обращал внимания или притворялись, что не обращают, потому что почти все люди в этом городе постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Париже», и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.
Он вошел в свой номер, оклеенный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и, так как легкое, хотя и тревожное, удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если заказать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов

прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в калошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хворать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унизить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от принятого им уже внутренне решения вернуться скорей домой ему стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и тогда вдруг почувствовал остренький и хрустальный, все расширяющийся холодок у сердца.
Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая…
От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки, автомобили, приобретая теперь истинный необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линяя… Официальная врачебная наука, представленная стареньким и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1930

Константин Паустовский

Золотой линь

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.
Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.
Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.
— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!
— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!
Бабы изводили нас все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:
— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!
Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять процентов».

— Ну как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул.

— Изодран лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клепать у вас не будет, нынче рыба заелась, — шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-роший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, так и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь я тебе пиджак из лыка сплету? Я, милок, из лыка цельную тройку сплел — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет столько самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и волдырях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило не могло пробить.

Перед грозой рыба тоже переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.
Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.
Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.
В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.
Я задремал. Разбудил меня крик перепела.
— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.
Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.
Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте всё и идите сюда».
Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.
Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.
Рувим застыл, — так клюет только очень крупная рыба…
Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.
— Топит, — сказал я. — Тащите!
Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.
Рувим вытер пот со лба и закурил.
Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.
Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.
Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.
Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.
Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:
— Красоту-то какую понесли — глазам больно!
Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:
— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?
Дед «Десять процентов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:
— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.
С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы кричали нам ласково:
— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!
Так восторжествовала справедливость.

1936

Последний черт

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять процентов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять процентов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят во двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять процентов». Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять процентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.
— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.
— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, — говорил, сморкаясь, дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.
— А он черный?
— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.
Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебрались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в коричневых мхах.
Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.
Жара измучила нас. Лес был накален, казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.
Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.
Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.
Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.
Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба.
Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.
Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.
— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.
— Тама, — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, — погодить надо.
На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.
Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.
— Ты чего, дед? — спросил я.
— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!
Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.
— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!
В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:
— Уэк! Уэк!
— Спаси, владычица-троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!
С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.
Я растолкал Рувима.
— Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!
Дед от страха совсем ошалел.
— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нетто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!
— Уэк! — отчаянно кричал черт.
Дед натянул на голову армяк и замолк.
Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.
Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.
— Странно. Что за птица, никак не пойму.
Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.
Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.
— Пеликан! — крикнул Рувим.
— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.
Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.
Тогда я вспомнил о газете — в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:
«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».

— Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.
— Дед сообщит в зверинец, — ответил Рувим. — И, кстати, заработает.
Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргая глазами, и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.
— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!
— И-и-и, милай… — Дед захихикал. — Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.
Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто стараясь что-то припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос. От костра полетели угли и искры.
— Чего это он? — испугался дед. — Чумной, что ли?
— Рыбы просит, — объяснил Рувим.
Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой — клянчить рыбу.
— Пошел, пошел! — ворчал на него дед. — Бог подаст. Ишь размахался!
Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.
К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.
Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.
Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.
— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

1936

Кот Ворюга

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и потащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; в нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три… Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить кота из-под дома.

Ленька взял мелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалось в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые рассмотрели его как следует.
Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.
Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:
— Что же нам с ним делать?
— Выдрать! — сказал я.
— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Лучше попробуйте его накормить как следует.
Кот ждал, зажмурив глаза.
Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.
Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.
После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.
Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.
С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.
На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.
Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.
Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.
Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.
Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.
Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.
После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.
С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.
Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.
Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

1936

Резиновая лодка

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.
Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.
Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с

оглушительным бульканьем; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.
Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.
Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.
Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.
Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.
— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!
После испытания дед, по прозвищу «Десять процентов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:
— Воздуходувная вещь!
После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.
Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.
Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.
Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.
Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.
Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:
— Отвяжись, а то так тебя двину!..
Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался.
Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.
Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три рубля.
Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.
Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.
Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.
Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.
Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.
Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.
Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.
Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.
После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.
Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было очень жаль Мурзика, но он крепился.
На Глухом озере мы пробыли четыре дня.
На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.
Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду. Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.
Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.
Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.
Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.
Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.
Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безымянном озере.
Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит у меня за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.
Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.
Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.
Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую шутку.
После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.
Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-то плеснул воду на раскаленную сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.
Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

1936

Александр Грин

Зеленая лампа

I

В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадилли и одного переулка, остановились двое хорошо одетых людей среднего возраста. Они только что покинули дорогой ресторан. Там они ужинали, пили вино и шутили с артистками из Дрюриленского театра.
Теперь внимание их было привлечено лежащим без движения, плохо одетым человеком лет двадцати пяти, около которого начала собираться толпа.
— Стильтон! — брезгливо сказал толстый джентльмен высокому своему приятелю, видя, что тот нагнулся и всматривается в лежащего. — Честное слово, не стоит так много заниматься этой падалью. Он пьян или умер.
— Я голоден… и я жив, — пробормотал несчастный, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Стильтона, который о чем-то задумался. — Это был обморок.
— Реймер! — сказал Стильтон. — Вот случай проделать шутку. У меня явился интересный замысел. Мне надоели обычные развлечения, а хорошо шутить можно только одним способом: делать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тихо, так что лежавший, а теперь прислонившийся к ограде человек их не слышал.
Реймер, которому было все равно, презрительно пожал плечами, простился с Стильтоном и уехал коротать ночь в свой клуб, а Стильтон, при одобрении толпы и при помощи полисмена, усадил беспризорного человека в кеб.
Экипаж направился к одному из трактиров Гайстрита.
Бродягу звали Джон Ив. Он приехал в Лондон из Ирландии искать службу или работу. Ив был сирота, воспитанный в семье лесничего. Кроме начальной школы, он не получил никакого образования. Когда Иву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дети лесничего уехали — кто в Америку, кто в Южный Уэльс, кто в Европу, и Ив некоторое время работал у одного фермера. Затем ему пришлось испытать труд углекопа, матроса, слуги в трактире, а 22 лет он заболел воспалением легких и, выйдя из больницы, решил попытать счастья в Лондоне. Но конкуренция и безработица скоро показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался, отощал и был, как мы видели, поднят Стильтоном, владельцем торговых складов в Сити.
Стильтон в 40 лет изведал все, что может за деньги изведать холостой человек, не знающий забот о ночлеге и пище. Он владел состоянием в 20 миллионов фунтов. То, что он придумал проделать с Ивом, было совершенной чепухой, но Стильтон очень гордился своей выдумкой, так как имел слабость считать себя человеком большого воображения и хитрой фантазии.
Когда Ив выпил вина, хорошо поел и рассказал Стильтону свою историю, Стильтон заявил:
— Я хочу сделать вам предложение, от которого у вас сразу блеснут глаза. Слушайте: я выдаю вам десять фунтов с условием, что вы завтра же наймете комнату на одной из центральных улиц, во втором этаже, с окном на улицу.
Каждый вечер, точно от пяти до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного и того же, должна стоять зажженная лампа, прикрытая зеленым абажуром. Пока лампа горит назначенный ей срок, вы от пяти до двенадцати не будете выходить из дома, не будете никого принимать и ни с кем не будете говорить. Одним словом, работа нетрудная, и, если вы согласны так поступить, — я буду ежемесячно присылать вам десять фунтов. Моего имени я вам не скажу.
— Если вы не шутите, — отвечал Ив, страшно изумленный предложением, — то я согласен забыть даже собственное имя. Но скажите, пожалуйста, — как долго будет длиться такое мое благоденствие?
— Это неизвестно. Может быть, год, может быть, — всю жизнь.

— Еще лучше. Но — смею спросить — для чего понадобилась вам эта зеленая иллюминация?
— Тайна! — ответил Стильтон. — Великая тайна! Лампа будет служить сигналом для людей и дел, о которых вы никогда не узнаете ничего.
— Понимаю. То есть ничего не понимаю. Хорошо: гоните монету и знайте, что завтра же по сообщенному мною адресу Джон Ив будет освещать окно лампой!
Так состоялась странная сделка, после которой бродяга и миллионер расстались, вполне довольные друг другом.
Прощаясь, Стильтон сказал:
— Напишите до востребования так: «3-33-6». Еще имейте в виду, что неизвестно когда, может быть, через месяц, может быть, через год, — словом, совершенно неожиданно, внезапно вас посетят люди, которые сделают вас состоятельным человеком. Почему это и как — я объяснить не имею права. Но это случится…
— Черт возьми! — пробормотал Ив, глядя вслед кебу, увозившему Стильтона, и задумчиво вертя десятифунтовый билет. — Или этот человек сошел с ума, или я счастливчик особенный! Наобещать такую кучу благодати только за то, что я сожгу в день поллитра керосина!
Вечером следующего дня одно окно второго этажа мрачного дома № 52 по Ривер-стрит сияло мягким зеленым светом. Лампа была придвинута к самой раме.
Двое прохожих некоторое время смотрели на зеленое окно с противоположного дому тротуара; потом Стильтон сказал:
— Так вот, милейший Реймер, когда вам будет скучно, приходите сюда и улыбнитесь. Там, за окном, сидит дурак. Дурак, купленный дешево, в рассрочку, надолго. Он сопьется от скуки или сойдет с ума… но будет ждать, сам не зная чего. Да вот и он!
Действительно, темная фигура, прислонясь лбом к стеклу, глядела в полутьму улицы, как бы спрашивая: «Кто там? Чего мне ждать? Кто придет?»
— Однако вы тоже дурак, милейший, — сказал Реймер, беря приятеля под руку и увлекая его к автомобилю. — Что веселого в этой шутке?
— Игрушка… игрушка из живого человека, — сказал Стильтон, — самое сладкое кушанье!

II

В 1928 году больница для бедных, помещающаяся на одной из лондонских окраин, огласилась дикими воплями: кричал от страшной боли только что привезенный старик, грязный, скверно одетый человек с истощенным лицом. Он сломал ногу, оступившись на черной лестнице темного притона.
Пострадавшего отнесли в хирургическое отделение. Случай оказался серьезным, так как сложный перелом кости вызвал разрыв сосудов.
По начавшемуся уже воспалительному процессу тканей хирург, осматривавший беднягу, заключил, что необходима операция. Она была тут же произведена, после чего ослабевшего старика положили на койку, и он скоро уснул, а проснувшись, увидел, что перед ним сидит тот самый хирург, который лишил его правой ноги.
— Так вот как пришлось нам встретиться! — сказал доктор, серьезный, высокий человек с грустным взглядом. — Узнаете ли вы меня, мистер Стильтон? Я — Джон Ив, которому вы поручили дежурить каждый день у горящей зеленой лампы. Я узнал вас с первого взгляда.
— Тысяча чертей! — пробормотал, вглядываясь, Стильтон. — Что произошло? Возможно ли это?
— Да. Расскажите, что так резко изменило ваш образ жизни?
— Я разорился… несколько крупных проигрышей… паника на бирже… Вот уже три года, как я стал нищим. А вы? Вы?
— Я несколько лет зажигал лампу, — улыбнулся Ив, — и вначале от скуки, а потом уже с увлечением начал читать все, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую анатомию, лежавшую на этажерке той комнаты, где я жил, и был поражен. Передо мной открылась увлекательная страна тайн человеческого организма. Как пьяный, я просидел всю ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотеку и спросил: «Что надо изучить, чтобы сделаться доктором?» Ответ был насмешлив: «Изучите математику, геометрию, ботанику, зоологию, морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т. д.». Но я упрямо допрашивал, и я все записал для себя на память.

К тому времени я уже два года жег зеленую лампу, а однажды, возвращаясь вечером (я не считал нужным, как сначала, безвыходно сидеть дома 7 часов), увидел человека в цилиндре, который смотрел на мое зеленое окно не то с досадой, не то с презрением.
«Ив — классический дурак! — пробормотал тот человек, не замечая меня. — Он ждет обещанных чудесных вещей… да, он хоть имеет надежды, а я… я почти разорен!» — Это были вы. Вы прибавили: «Глупая шутка. Не стоило бросать денег».
У меня было куплено достаточно книг, чтобы учиться, учиться и учиться, несмотря ни на что. Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской щедрости могу стать образованным человеком…
— А дальше? — тихо спросил Стильтон.
— Дальше? Хорошо. Если желание сильно, то исполнение не замедлит. В одной со мной квартире жил студент, который принял во мне участие и помог мне, года через полтора, сдать экзамены для поступления в медицинский колледж. Как видите, я оказался способным человеком…
Наступило молчание.
— Я давно не подходил к вашему окну, — произнес потрясенный рассказом Ива Стильтон, — давно… очень давно. Но мне теперь кажется, что там все еще горит зеленая лампа… лампа, озаряющая темноту ночи… Простите меня.
Ив вынул часы.
— Десять часов. Вам пора спать, — сказал он. — Вероятно, через три недели вы сможете покинуть больницу. Тогда позвоните мне, — быть может, я дам вам работу в нашей амбулатории: записывать имена приходящих больных. А спускаясь по темной лестнице, зажигайте… хотя бы спичку.

1930

Борис Житков

«Погибель»

Так все в порту и звали этот пароход; на него я нанялся поденщиком. Так и сказали мне кричать: «На «Погибели»! Давай шлюпку!» Пароход стоял у стенки волнолома. Наконец шлюпка отвалила. Один человек юлил веслом за кормой. Человек оказался рыжий. Весь в ржавчине и веснушках. Я сказал, что хозяин прислал меня поденщиком.
Рыжий сказал:
— Ну, вались! Юли сам назад.
Он пихнул весло ко мне, а сам сел на банку. Я погнал шлюпку. На полдороге рыжий спросил:
— Ты знаешь, куда поступил?
— Чего мне знать? На поденщину. Ржу обивать.
— На «Погибель» ты поступил. Если там ржу обить, так останется от нас всего, что только нас — четыре поденщика. Ты приставать будешь, так легче — борт пробьешь.
— Заливай! — сказал я.
— Нам, брат, не заливать, а отливать только поспевай. Смеешься? Мы на палубе ночуем, а то как пойдет под заныр — выскочить не успеешь.
Мы подошли к борту. Борт был страшный: рябые ржавые листы местами были закрашены суриком, вмятины обрисовывали ребра, как у голодной клячи. Пока я влезал по

штурмтрапу, я уже измазался ржавчиной. Я вошел в кубрик, поздоровался и поставил на стол две бутылки водки. В кубрике было полутемно, и, когда зажгли лампу, я поразился обстановкой: все, все — и деревянные койки, и стол, и скамейка, — все было черно, и все было изъедено морским червем. Лампа была зеленого цвета, иллюминаторные рамы, медные крючки и замки на дверях — вся медь была густо-зеленого цвета. На потолке приросла засохшая ракушка.

— Что смотришь? — сказал рыжий. — «Погибель» пять лет на боку под берегом лежала. Здесь утопленники в карты дулись. Вот на этом самом столе.

— А до того на ней без ремонту пятьдесят годов кряду мертвых спать возили.

Это сказал другой, маленького роста, седоватый.

Третий все молчал и сидел в углу.

Стали пить водку. Закусывали луком, грызли его, как яблоки. Больше ничего у поденщиков не нашлось. Я знал, что рыжего зовут Яшкой, а старика — Афанасием Ивановичем.

— Маша, Маша! — закричал рыжий. Я оглянулся. — Маша, ты сядь с нами, выпей.

Третий, что сидел в углу, поднялся и подошел. Это был человек высокого роста, с большими черными глазами. «Грек — не грек», — подумал я.

— Да ты не удивляйся; у него бабье имя — Мария. У него с пяток имен, и вот Мария тоже. Так мы его — Маша. Он не русский — испанец. Испаньола! — Тут Яшка ткнул испанца в плечо и показал на жестяную кружку. — Вали!

Испанец немного отпил. Яшка со стариком собирались на берег за третьей бутылкой. Я отдал последние медяки. Мы с испанцем остались вдвоем. Он прихлебывал водку, будто вино, из стакана. Сначала конфузился, потом сел картинно, а потом вскакивал на ноги, когда говорил.

Он рассказал мне, что был тореадором. Я первый раз в жизни видел живого тореадора. Он был в синей куртке, в парусиновых портках, весь измазан ржавчиной, но так бойко вскакивал на ноги и в такие позиции становился, что я забыл, в чем он одет. Казалось, все блестит на нем. Я только боялся, чтобы не вернулись Яшка с Афанасием и не сбили с ходу тореадора. Он говорил, что уже входил в славу. Был на лучшей дороге. Жил в гостинице. Каждый день с утра — цветы. Полно, полно цветов! Руками показывал, сколько, — некуда поставить. Прислуга крала, торговала этими цветами. У него был выпад — удар шпагой — такой, как ни у кого, — молния!

> — Я не становился в позицию, я стоял как будто рассеянно, как будто я сейчас буду ногти чистить. И я следил глазами за быком, я точно знал, что это — последний миг. Нет! пол, четверть мига! — Он звонко щелкнул ногтями. — И вот замерли, всем кажется, что вот поздно уже, — и в это мгновение — молния! — Испанец ткнул в воздух рукой. Я, сидя, отшатнулся. — Вот! И секунду весь цирк молчит, и я слышу шум вздоха. Вы знаете, когда весь цирк вразу вздохнет… Что аплодисменты! — Он небрежно постукал в ладонь. — Или крик. Это что! Но надо знать быка. Надо смотреть на его скок, на его прыть, когда его дразнят, когда бросают бандерильи
> [2]
> , когда он бодает лошадь, — это все надо подметить, тогда можно угадать это мгновение: вот он стоит перед тобой, и вот… и тут молния. Ах! И это все.

Он сел.

И вот раз случилось — на полмгновения раньше ринулся бык. Тореадор стоял небрежно, как всегда. Он не мог отскочить и ткнул шпагой, просто защищаясь, ткнул не по правилам и не туда, за рогами, — ткнул, чтобы попасть в сердце. Он убил быка, спасая свою жизнь. Цирк взревел. Он слышал, что крикнули: «Мясник!» Шпага осталась в быке, а он бежал, как был, в тореадорском наряде, — он знал, что его разорвет толпа. Бежал он больше от стыда, как сфальшививший на поединке трус. Дело было в портовом городе, и он не помнит, как оказался на иностранном пароходе и там забился в какой-то угол. Он не выходил на свет до самого отхода. А потом ему дали переодеться и сунули в руки лопату.

— Теперь я угольщик — карбонеро. Но я сказал себе, что это я испугался первый, но и последний раз. Я теперь всю жизнь ничего не смею пугаться.

Афанасий и Яшка уже стояли в дверях. Они выпили по дороге половину.

— Ничего не должен бояться! — закричал Яшка с порога. — А ну! Ну! Ты плавать, говоришь, не можешь? Нет? Ну, прыгай с борта в воду. Трусишь! Машка, должен ты сейчас прыгать, или ты…
Но испанец уже шел к дверям. Я побежал за ним, но он оттолкнул Яшку и вышел на палубу. Было темно, только далеко на пристани горели фонари. Внизу с высокого борта вода чернела, как мокрый асфальт. Я не успел задержать испанца, он козлом перемахнул через борт и сильно плюхнул внизу. Яшка с Афонькой притопали к борту.
— Круг, круг давай! — кричал я им; но они, свесившись, глядели за борт.
— Греха-то, греха! — завыл Афанасий.
— А ну, вынырнет где? Или раков кормит? — пьяный губой шлепал Яшка.
Я бросился по штурмтрапу к шлюпке.
Я слышал, как сверху закричали:
— Ай, Машка, выплыл!
Я не успел отвязать шлюпку: испанец неподалеку бил по воде руками. Я подсунул ему весло. Он ухватился.
В кубрике я совал мокрому испанцу свою куртку, Афанасий — кружку с водкой. Испанец отмахивался.
— Ну, скажи, какая утопленница фокусная, — хрипел Яшка.
Они с Афанасием допили.
— Дай черт с тобой! — бубнил Яшка. — Утопленница! Думаешь, испугался? Да тут поискать — может, в каком углу и живой утопленник-то есть, — я говорю, дохлый, — найдется на «Погибели» на нашей, где-нибудь в трюмах. Или под котлами? А? Афонька, правду я говорю?
Но никто не отвечал. Яшка погрыз луковицу. Поглядел на нас и вдруг озлился.
— В воду летом сигать — подумаешь, фокус какой, а вот я сейчас пойду в машину, и я вот этой кувалдой как тарарахну по борту, так вся она, «Погибель» эта, тут на дно и сядет. Что! Тогда сами, как лягушата, с нее попрыгаете. Машка первый. Что? Не пробью? Нет? А вон!
Яшка схватил из-под койки тяжелую скрябку и изо всей силы швырнул ею в борт. На том месте осталась черная дырка — скрябка пролетела наружу.
— Ага! Ага! — закричал Яшка.
Он схватил из угла кувалду, вскинул на плечи и, мотаясь на ходу, побежал к двери.
— Вот сейчас вы у меня увидите!
Афанасий слабо махал ему вслед рукой:
— Не дойти ему… темно… трап крутой…
Мы слышали, как Яшка обронил кувалду на железную палубу и как поволочил ее.
Афанасий пьяно мотал головой и махал на дверь рукой:
— Там и заснет… и свалится в болото.
Испанец подрагивал в одном белье. Лампа потрескивала. Афанасий заснул сидя.
Вдруг мы услышали глухие стуки; они по железу корпуса ясно доносились к нам в кубрик. Афанасий встрепенулся.
— Крушит, ей-богу, крушит! Очень просто, что проломает. Не… не переночуем.
Он встал. Вскочил и испанец. Он бросился к своему сундучку, огарок свечи уж у него в руках; он схватил со стола спички и был уже на палубе, пока я вылез из-за стола.
— Го! Го! — кричал испанец откуда-то снизу.
Я не знал этого огромного парохода. Шел спотыкаясь, наобум, пока не увидел, что свет маячит где-то справа. Я бросился туда. Свет был из входного люка. Оттуда глухо я слышал «го, го!» Я спустился по трапу. Нащупал ход. Вот коридор. Вдали белая фигура со свечкой — испанец. Я догнал его бегом. Сзади где-то дрябло топали сапоги Афоньки. При свечке видны были вымоченные посинелые двери кают, кожа на диванах, треснувшая, как картон, позеленелые медные часы и желтый намет песку в углу кают-компании. Местами сухие водоросли свешивались с потолка и щекотали лицо. А внизу бухал и бухал молот. То замирая, то остервеняясь, ухали удары.
Вот трап вниз. Испанец легко босыми ногами перебирал ступеньки. Я боялся потерять его свечку. Сзади я слышал, как падал и ругался старик. Мы теперь были ниже уровня воды. Вдруг удары молота смолкли, и вдали коридора из дверей высунулась рожа:
— Ага! Перетрусили! А я и не пущу!

И дверь захлопнулась. Когда мы добежали, дверь уже не поддавалась. Яшка, видно, припер ее чем-нибудь изнутри. Молот бил теперь отчаянно.
Я кричал, но не слышал своего голоса за гулом. Удары скоро оборвались.
— Что? — услышали мы запыхавшийся Яшкин голос. — Теперь на коленках… просите… Машка, проси меня по-испански…
Испанец стукнул ногой в дверь. Стукнул голой пяткой, и дверь затрещала. Вот они, легкие ноги!
— Открой, дурак! — крикнул я.
— Стой, ребята! — Афанасий просунулся между нами. — Он это по цементу садит. Там этого цемента пол-аршина, — шептал старик. И вдруг гнусавым голосом, как дьячок с клироса, Афанасий запел: — Тебя мы здесь запр-е-ем! И ты сыщешь себе гнусную могилу на этой «Погибели». А мы пошли! На шлюпку! И на берег! И будь ты четырежды анафема. Примешь смерть, как мышь в ведре. Аминь!
Афанасий икнул. Минуту было молчание. Потом два раза стукнул молот. Но уже слабо.
— Пошли! — скомандовал Афанасий громко.
Мы двинулись. И вдруг сзади услыхали бой и треск: это Яшка крушил кувалдой дверь. Афанасий дунул на свечку, толкнул меня и шепнул:
— Ховайся!
Мы с испанцем ощупью юркнули в какую-то дверь и замерли. Мимо нас прошлепал сумасшедшей рысью Яшка. На бегу он кричал:
— Пошла, пошла! Ходом пошла вода!
Я слышал, как за Яшкой затопал старик. Он успел крикнуть:
— Тикайте!
Но испанец снова зажег свечу и спросил меня, что случилось. Я сказал:
— Он пробил насквозь, пошла вода, как водопад.
Испанец весь напружинился.
— Они туда, — он указал вдоль коридора, — а я должен сюда.
И он зашагал к разбитой двери.
Я понимал, что Яшка не мог сделать пробоину, от которой наша «Погибель» пошла бы ко дну сразу, как дырявая плошка, но, если вся подводная часть держалась на цементе, мог провалиться в тартарары сразу большой кусок обшивки. Она — как слоеный пирог из трухлявых листков хрупкой ржавчины.
Но испанец шел уже со свечкой, он отгреб обломки двери. Он выпрямился, напружинился, будто шел на арену.
Мы вошли в небольшое помещение. Среди разбитых досок, черных, источенных червями, разбросан был цемент, разбитый в щербинку. Кувалда валялась тут же. Воды не сочилось ни капли.
Испанец нахмурился, коряво обругался по-русски, и мы молча поплелись обратно.
В кубрике мы не нашли ни Яшки, ни Афанасия. Под бортом я не увидел шлюпки. Уже занималась заря, когда мы легли спать в кубрике. На «Погибели» нас осталось двое в эту ночь.
— Как это по-русски? — вдруг спросил испанец, когда я уже начал дремать. — Я не можно…
Я догадался.
— Я не должен ничего бояться. Спите, дон Мария, ну его — на сегодня хватит.
Я забыл, что уже наступило завтра.
А назавтра не оказалось ни шлюпки, ни Яшки с Афанасием, ни кое-чего из сундучка испанца.
Испанец мне объяснил, что наша работа заключается в осторожном отбивании ржавчины и подмазывании оставшегося суриком. К полудню он меня спросил:
— Как это: мне не можно?..
Но я был голоден и сказал:
— Не можно голодать вторые сутки, вот что.
Я бросил скрябку и рашкет и полез просить харчей на соседнюю баржу: она стояла у стенки, неподалеку от нас. Я добыл хлеба, кукурузной муки, и мы на горне варили кашу без

грамма жиру. Машка называл наш корабль «Погибелья». Я объяснил ему, что это по-русски значит.
Под вечер приехал хозяин, привез полтора десятка поденщиков, и пошел ремонт.
У нас с испанцем удержалась дружба. Мы работали вместе на подвеске за бортом, и он пел в такт молотка испанские песни. Каждый день хозяин давал расчет, и мы получали свои «рупь двадцать». И каждое утро испанец спрашивал: «Как это: мне не можно?..» — и я учил его говорить: «Я не должен всю жизнь ничего бояться».
Это так. А ремонт я понял. Хозяин готовил судно, как барышник лошадь: лишь бы не тонуло и могло двигаться. «Ремонт» приходил к концу. Все поденщики понимали, в чем дело.
— На таком судне только пьяный дурак в море пойдет, одно слово — «Погибель», — говорили поденщики.
Я это понимал не хуже их.
Судно назвали «Петр Карпов». Сам Петр Карпов как-то под вечер явился на судно и объявил, что все могут идти на берег. Ремонт закончен. На другой день члены комиссии с осмотром прошли по судну, после завтрака, шатаясь и с очень громкими голосами: главный инженер попал ногой между шлюпкой и трапом. Но его быстро вынули из воды, так что даже не успел намокнуть.
— Что, боитесь остаться? — спросил нас хозяин, когда увезли комиссию. — Кто не боится?
И хозяин лихо вздернул подбородком ввысь.
— Не должен бояться…
Гляжу, мой испанец вышагнул вперед:
— Я!
Не знаю почему, но и я сделал за ним шаг. Хозяин прищурился на нас и спросил фамилии.
На другой день нас поставили к пристани под погрузку. Песку уже достаточно взято было для балласта. Ну, пусть песок, это экономия. Но ящики с апельсинами, что подавали с берега в трюм, были что-то легковаты. Я хотел взять хотя бы апельсин, подорвал в трюме ящик, он оказался порожним. Я подорвал еще десятка с три; только в четырех были апельсины. Я сказал об этом испанцу. Он, по-моему, только обрадовался. Будто я не понял, что дело становится все темней и темней. Помощники капитана распоряжались погрузкой. Капитана мы все еще не видели.
Наконец был назначен день отхода. За сутки пригнали кочегаров. Испанец пришел, махая руками:
— Это разбойники и пьяницы. Я один за всех.
Однако пар подняли. Котлы текли, и пар шел от котлов, как от самовара. Два юрких механика поспевали всюду: они сами хватались за лопаты и кидали уголь, потом мазали машину. К нашему удивлению, в четыре часа вечера машина дала пробные обороты.
Наконец пригнали матросов. Их было семеро. Шестеро из них были пьяны, и пятеро сейчас же сознались, что они природные дворники. То есть… Что «то есть?» То есть после военной службы они ничем другим не занимались. Сюда пошли, соблазнившись деньгами. Какими? Они хныкали, пока не заснули.
Последним, за час до отхода, явился капитан. Это был толстенький человек, ядовитый, грязненький. Глазки навыкате. Он ими вовсе не глядел в лицо, а если вдруг упирался глазами в глаза, то глядел, как очумелый баран. И человек не знал: бросится ли он на него или навек замрет, застекленеет в своем взгляде и потом не разбудишь?
Мы о нем ничего не успели услышать. Но только одно: когда он во время отхода вышел на капитанский мостик, то с берега грянуло такое «га», что мы долго не могли расслышать никакой команды. Мне все время хотелось выпрыгнуть на берег, но мне уже нельзя было бросить испанца.
Мы снялись под вечер. Испанец был на вахте внизу, в кочегарке. Мне заступать вахту на руль через час. Я глядел с борта на огни в городе, курил и сплевывал в воду. Было жутковато идти в море на такой посудине и с такой командой, но, признаться, меня забавляло: что же будет дальше? Я думал: «Зачем этот фальшивый груз?»
И вдруг надо мной на мостике я услышал ругань. Сначала вполголоса, потом крик:
— Ну и гони его! В шею!

И по трапу скатился человек. Это был матрос. Следом за ним сбежал вниз старший помощник капитана. Было уже совсем темно. Он подскочил ко мне вплотную, сгреб за плечо и зло тряс:
— А ты-то, ты можешь стоять на руле?
Это шипел он мне в лицо. Я крепче потянул папироску, огонек раздулся, и я увидел лицо, оскаленное от злости. Не лицо, а кулак.
— А конечно, — сказал я.
— Ну так марш, марш! — Он тянул меня, вцепившись в плечо. — Вахта? Какие вам еще вахты? По сто целковых на брата дают, а еще вахты!
— Ничего мне не известно, — говорил я.
Но мы были уже на мостике. Свет из нактоуза освещал лицо капитана — это он сейчас стоял на руле.
— Так вот и держи: зюйд-ост шестьдесят три, — сказал капитан, когда я взялся за штурвал.
«Странный курс», — подумал я. Я знал, что груз адресован на Ялту, что курс наш должен быть приблизительно градусов на двадцать южнее. Неужели такая поправка компаса?
Помощник стоял у меня за спиной и глядел через плечо, держу ли я пароход на курсе. Через пять минут он сунул мне папиросу в рот:
— На, кури!
И сам поднес спичку. Он стал ходить по мостику. Я заметил, что он задерживается иногда подолгу в правом углу.
Наконец я увидел, что он запрокидывает голову, а вот швырнул за борт бутылку.
«Что за плавучий кабак, — думал я, — рулевой с папироской, а вахтенный штурман пьет на мостике прямо из горлышка!»
Я на минуту огляделся по сторонам: капитана уже не было.
Помощник подошел ко мне и над самым ухом сказал:
— Как же тебе не говорилось про сто рублей? — От него сильно разило вином. — Все равно получишь все.
Но в это время на мостик поднялся капитан. Я слышал, как помощник его спросил:
— Так вы говорите — еще упал? А вон штиль какой стоит! Могут и сутки-другие пройти.
Я понял, что они говорят про барометр. Мне слепил глаз свет из компаса, и я не видел впереди ничего, кроме ночи, но знал, что должен уж открыться Тендровский маяк. Он горит на конце низкой песчаной косы. Она тянется почти прямо на юг, сотни на полторы километров. Кроме кордонов пограничной стражи, ничего нет на этом песке. Редкий рыбак забредет сюда в это время года.
— Дайте-ка мне бинокль, — услыхал я голос капитана. — Верно, верно — это Тендровский.
И я услышал, как зазвонил телеграф в машине. Машина сбавила ход и теперь еле слышно ворчала внизу.
— Право! — скомандовал капитан. Он подошел к компасу. — Еще право! Так! Так и держи.
Мы шли теперь малым ходом на юг, то есть вдоль Тендровской косы.
— Огни гасите, — сказал капитан.
Они с помощником ушли в штурманскую рубку. И до меня через открытую дверь долетели слова:
— Именно, именно этим часом, на вашей вахте, так и запишите… Нет, вашей рукой должно быть записано в журнале: загорелся подшипник, коренной подшипник… — Это говорил капитан. — Теперь старшего механика ко мне с машинным журналом.
Через две минуты механик был здесь.
— Принесли машинный журнал? — слышал я капитана из штурманской. — Пишите: загорелся подшипник. Что-о? Струсил? Пиши, а то полетишь у меня за борт… Нет, не я должен, твоей рукой должно быть написано. Писать! Ага, то-то! Покажи! Ты что же это написал? Ах ты…
Механик быстро сбежал с трапа, как скатился. Я слышал, как капитан треснул журналом о стол, точно выстрел.
— А, черт! Помарок же делать нельзя!
Я давно уже отстоял свои два часа, — часа три я уже стоял у штурвала.

— Ты отдохни, — сказал помощник. — Я постою. А ко мне пришли второго.
Я пошел вызывать второго штурмана на мостик. Он был грек, черный, как жук, маленький, на кривых ножках. Он вскочил с койки и затараторил куда-то мне через плечо, как будто кто еще за мной стоял. Я даже не мог понять: по-русски это он или по-гречески?

> — Ой, голубчик, она ж лопнет сейчас, маты панайя [3], лопнет наша барка. Я уже не могу терпеть больше! — Он закрыл глаза и замотал головой. Я думал, она у него отлетит. — А, дьяволос! Когда же берег? Не знаешь? Я тоже не знаю, никто не знает. Хорошее дело. Ай, нет! Дело очень хорошее, очень-очень-очень может выйти хорошее дело. Ай, только надо берег, скорее берег! Ма, давай берег скорей! — Он топтался на месте. — Давай, давай!

Но тут резкий свисток с мостика и крик:
— Спирка!
Спирка замахал руками и, как был, в брюках и сетке на голое тело, покатился по палубе. Таких шулеров я видел в севастопольских бильярдных.
В кубрике все спали. Только двое под лампой дулись в затрепанные карты. В жестяном чайнике нашелся холодный чай. Я потянул из носика и пошел на палубу посидеть.
Тендровский маяк слабо мерцал направо за кормой. С мостика было слышно, как галдел грек и как покрикивал старший помощник:
— Ты правь, Спирка, а не махай руками. Держись хоть за штурвал, обезьяна.
Из кочегарского кубрика протопали четверо — смена. И через минуту испанец сидел со мной рядом.
— Я бил их, механик тоже бил. Они не могут кидать уголь, они не могут держать пар. Это не кочегары, это…
Я перебил его:
— Ты знаешь, куда мы идем?
— Нет. — Испанец стал глядеть по сторонам, как будто что-то можно было увидеть.
— И я не знаю. — И я ударил его кулаком по колену. — Понимаешь ты: это кабак плывет по морю. Кабак — ну, таверна, или как по-вашему?
И в тот же миг я вдруг отчетливо вспомнил треугольник из красных огней на молу на мачте, когда мы выходили, — штормовое предупреждение. Закрыл глаза на минуту и вспомнил, что вверх острием висели огни, — шторм с юго-запада.
— Ты дурак, и я дурак, — говорил я. — Ведь это корыто развалится, это ж песок, склеенный слюнями. Как он от хода не рассыплется в порошок!
— Я не можно никогда… — Испанец встал.
Встал и я И тут заметил, что пароход чуть покачивает на зыби.
Зыбь шла с правого борта, шла к юго-западу. Но ветра еще не было. Зыбь шла с моря, оттуда, где работала уже погода.
— Хозе, — сказал я испанцу на ухо. — Ты смотри за шлюпками с правого борта, вон за теми, а я здесь. Они могут удрать и нас бросить, — я говорю про начальство. Капитан, механики, помощники…
Нет, Хозе ничего не понял.
— Хозе! Сядь здесь и смотри, чтобы не подходили к шлюпкам. И сейчас же скажи мне. Я буду здесь.
Но Хозе хотелось пить. Я сказал, что принесу ему целый чайник воды.
Когда я вышел с чайником на палубу, уже махал в воде порывистый, бойкий ветерок. Он наскакивал, отступал, пробегал дальше. И вдруг задуло. С мостика помощник свистел и кричал, чтобы я шел на руль. Там были уже капитан и оба помощника. Машина все так же работала малым ходом. Я оглянулся с мостика вдаль, назад, — Тендровского маяка уже не было видно.
Я взялся за штурвал, — курс был тот же: на юг.
— Лево! — крикнул капитан.

Я сильно положил руль. Пароход покатился влево, и теперь мы шли прямо на восток, то есть прямехонько в берег, в эту песчаную косу, которую и днем-то за полкилометра иной раз не увидишь.
— Спирка! — крикнул капитан греку. — Пошел на лот! Пошел, не болтать мне!
Кто-то поднялся на мостик; я слышал, как он крикнул через ветер:
— Надо ходу больше, мы воду не успеваем качать!
— Вон отсюда! — крикнул капитан.
Зыбь теперь поддавала в корму справа. Я боялся, что каждую минуту может лопнуть пополам наша жестянка, вода хлынет в машину, под нами взорвутся котлы и кашлянет нами «Погибель», как вареным горохом. Скорей бы к берегу!
— Стоп машина! — скомандовал капитан.
Зазвонил телеграф. Но машина наддала ходу.
— Дайте им по зубам! — заорал капитан.
И помощник скатился с трапа.
Через минуту машина стала.
— Спирка! Набрось! — закричал в рупор капитан. — Сколько? Не слышу!

Спирка взбежал с мокрым линем
[4]
в руках.

— Двенадцать саженей! — крикнул Спирка. — Ну, ей-богу, двенадцать! Сейчас берег, честное слово, как я Спиро Тлевитис.
— Готовь якорь, — сказал капитан.
Но Спирка вернулся через минуту.
— Они все закачались, капитан, они все как барашки, они рыгают, они не могут ничего, совсем…
— Молчать! — оборвал его капитан. — Зови из машины.
Ветер крепчал. Он уже рвал белые гребни валов. Наносило острый дождь; он бил в лицо, как свинцовой дробью.
— Бросай руль! — сказал мне капитан. — Найди людей, бей их аншпугом. Вывалить все четыре шлюпки за борт, приготовить к спуску!
Я бросился к испанцу. Хозе тянул из чайника воду и что-то жевал.
— Хозе, к шлюпкам! Бей их, скажи, что тонем.
Я вошел в кубрик, и меня едва не стошнило от вони.
— Вставай! Гибнем!
Многие сели на койках и глядели на меня, выпуча глаза. Но тошнить их перестало.
— Все на палубу! Марш!
Они спрыгивали с коек; я толкал, бил их в шею. Они падали на мокрой шатающейся палубе, вставали на четвереньки.

На баке
[5]
, я слышал, громыхала цепь, видно, Спирка наладил дело, якорь готовит.

Кое-как добрались до шлюпок. Они лезли в них тут же, не вывалив их за борт. Я нашарил в шлюпке румпель
[6]
и бил этих людей по чему приходилось. Это привело их в чувство. Они теперь слушались и кое-как исполняли, что я велел.

На другом борту орудовал испанец с кочегарами. Мы возились уже с последней шлюпкой. Сколько всякого припасу было наложено в этих шлюпках! Тут грохнула цепь — это отдали якорь. Теперь ничего не было слышно. Над нашими головами ревел пар, его выпускали из котлов, — видно, боялись взрыва.

Теперь дело пошло легче: оба помощника и капитан помогали делу. Я бросил их на минуту, чтоб захватить из кубрика кое-что из моих вещей. По дороге я видел, как два механика освобождали запоры трюмов. В кубрике я застал Хозе. Он возился над своим сундучком, что-то выбирал оттуда. Лампа еще горела, и он подносил каждую вещь к лампе.
— Скорей! — крикнул я. — Они могут нас тут бросить.
— Я не можно… — Хозе улыбнулся.
— Пойдем! — Я дернул его за рукав.
Но он не спеша завязывал в узелок свои вещи. Ох, наконец, он их завязал, надел узелок на локоть. Мы вышли. Команда уже сидела на шлюпках. Я боялся, что трудно будет спустить их с высокого борта. Но вода была теперь совсем близко. «Погибель» быстро набирала воду. Пароход грузно переваливался на волне. Казалось, что меньше стало качать. Он стоял теперь носом к зыби.
Одну шлюпку уже спустили. Никто не греб, только один человек стоял на корме с веслом. Шлюпка быстро исчезла в темноте, в дожде. Мы с Хозе спустили последнюю; в ней, кроме нас, был Спирка и еще двое кочегаров. Мы отвалили по всем правилам. Спирка что-то городил, быстро, как молитву. Но я крикнул ему: «Молчать!» Он затих. Я успел глянуть на «Погибель»: до борта оставалось не больше трех метров.
Нас несло штормовым ветром к берегу, это мы знали. Я правил сзади веслом. Уговорились: при первом толчке о песок — всем в воду и подтащить, сколько можно, шлюпку вручную. Мы уже слыхали, как рассыпался прибой в прибрежном песке. Зыбь становилась мельче и круче. Вдруг я достал веслом дно.
— Готовьсь! — заорал я.
Шлюпку ударило носом в песок, подбросило валом корму и вмиг повернуло. Мы едва успели выскочить, как следующий вал ударил ее в борт и опрокинул. Воды было по грудь.
— Бежим! — крикнул я и дернул за шиворот Хозе.
Я помнил, что он не умел плавать. Нас поддало волной, повалило. Но мы уже стояли на четвереньках, и здесь было на локоть воды. Испанец хохотал и что-то кричал. Куда разбросало остальных, я не видел. Через три минуты мы были уже на суше, то есть на мокром песке. Но это был берег. Я стал гукать, свистеть. «Го, го, го», — кричал Хозе. Нам было холодно в мокрой одежде на ветру. Дождя уже не было, но ветер остервенело рвал и облеплял нас мокрым, холодным платьем. Никто не подходил, не отзывался на наш крик.
— Черт с ними! — сказал я. — Утром увидим.
Мы отошли от воды. Зуб не попадал на зуб. Вдруг мы стали на колени рядом и, не сговариваясь, оба стали рыть песок. Мы накидали руками вал и легли за ним, прижавшись спинами друг к другу. Вал прикрывал нас от ветра.
Мы проснулись, когда совсем рассвело. Еле развели скрюченные ноги и оба сейчас же поглядели на море. Желтый прибой все также буравил берег, низкие тучи гнало от самого горизонта. Из воды, саженях в ста от берега, торчали черные мачты «Погибели». Они, как две пики, направлены были на берег. Из валов временами показывалось жерло трубы, как открытый рот. Я глянул вдоль берега — неподалеку из воды торчало белое дно нашей шлюпки: прибой занес ее песком, как метель снегом. Разбросанные ящики — наш груз — волны таскали взад и вперед, кувыркали и били о песок. Испанец тыкал пальцем куда-то вдаль и гоготал. Я присмотрелся: шалаш из брезента. Дым из него гнало ветром низко по земле. Испанец дергал меня, чтоб идти. Но он глядел уже налево, и было на что: шагах в ста от нас у воды на корточках сидел человек. Он чем-то ковырял в воде.
— Апельсины! Ловит апельсины! Бежим!
Испанец закоченелыми ногами заковылял что было силы по песку. Но скоро мы узнали капитана в этом человеке. У него что-то серое в руках. Теперь видно: это книга. Ну ясно, это машинный журнал в парусиновом переплете, в масляных пятнах. Я дернул испанца, чтобы говорил тише. Но за ревом прибоя капитан все равно нас не услышит. Я подошел совсем близко и присел на корточки. Капитан что-то подмывал морской водой на странице журнала. Наконец он крякнул, закрыл страницу и до половины окунул журнал в подоспевшую зыбину.
— Теперь ол-райт! — сказал капитан. Он повернулся и увидел меня.
Хозе в десяти шагах стаскивал с себя мокрые ботинки. Капитан с минуту глядел на меня, выкатив глаза.

— Это откуда? Наши?
Он не знал в лицо своей команды.
А я молчал, ухмыляясь, и глядел на него снизу.
— Да кто ты есть? — крикнул капитан и шагнул ко мне.
Я молчал. Он сделал еще два шага. Но тут босиком подбежал Хозе.
Капитан глядел на него. Я помотал головой. Хозе понял и тоже молчал.
— Что вы за люди? Говорите, бестии! Говорите же!
Мы молчали. Хозе улыбнулся во весь рот. Игра ему понравилась.
— Тьфу! — плюнул капитан.
Он с журналом под мышкой зашагал прочь. Но вдруг круто поворотил назад.
— Что ты видел? — крикнул он мне. — А ты? А ты?
Капитан двигался на Хозе.
Хозе стал боком, скосив глаза на капитана. Тот насутулился и глядел остекленелым взглядом: неподвижным, пристальным. Он приоткрыл рот и сдвигал все ближе брови, весь подавшись вперед. Я глядел, что будет. Вдруг что-то мелькнуло, и капитан опрокинулся навзничь. Чем и когда попал ему Хозе в переносицу? Я и сейчас сказать не могу. «Вот она, молния», — вспомнил я. Капитан не сразу очнулся. Наконец он сел на песок. Мы оба сидели против него.
— Слушайте, — сказал он хрипло. — Не будем много говорить. Вы, наверное, двое из команды… кого недосчитались. Значит, никто не погиб. Все в порядке. — Он говорил просительно, как больной. — Вы, значит, и есть испанец. — Он указал на Хозе. — А вы рулевой. Ведь верно? Я вами очень доволен. Теперь никакой заботы, всего только — молчать. Вы, я вижу, на это мастера. Вот ему, — он указал на Хозе, — я даю триста рублей. — Капитан выставил три пальца.
Хозе их поймал в кулак и завернул лодочкой: капитан вскрикнул.
— Мало? Поезжайте в Испанию — на триста рублей можно год пьянствовать. Там вино дешевое. И вам триста. И вы уезжайте себе подальше. Понимаете? Чего вы молчите? Не поедете?
И глаза его снова остекленели.
Он встал и пошел к палатке, оглянулся и крикнул коротко, кажется, «ладно» — отнесло ветром.
Хозе хохотал. Он прыгал. Должно быть, чтобы согреться.
Мы выловили дюжины две апельсинов — их вынесло прибоем — и съели. Признаться, я трусил теперь идти к палатке. Нас очень просто могли сделать утопленниками, погибшими при кораблекрушении. Я не говорил об этом Хозе, а то непременно полезет в драку.
Должно быть, было уже около полудня, когда слева показались подвода и трое верховых. Это были пограничники.
Среди солдат сидел на подводе Спирка.
— Хлеб тоже везем! — кричал он нам с подводы. — Борщ немножко, и сейчас едем все на маяк.
Мы пошли за подводой. У Хозе за пазухой были апельсины. Солдаты сейчас же отрезали нам хлеба. По берегу против «Погибели» поставили часовых: «Имущество потерпевших в море под непосредственным ее величества государыни императрицы покровительством».
В палатке дворники кипятили чай на досках от ящиков.
Солдаты провожали нас до маяка. Офицер слез с коня и шел рядом с капитаном. У капитана на лбу был багровый кровоподтек. Офицер глядел и расспрашивал его про катастрофу. Дворники на расспросы солдат только хмыкали, жевали хлеб. Поздно ночью мы добрались до Тендровского маяка, и о катастрофе полетела на берег телеграмма. Наутро, если позволит погода, за нами придет катер.
У смотрителя на квартире офицер записывал показания капитана. В окно мне видно было, как они переворачивали слипшиеся листы судового журнала.
Тут меня застал Спирка. Он тоже не ложился спать. Он взял меня под руку и повел в сторону.
— Ну, слушай: ну какую же пользу ты имеешь? Ты что же хочешь? Пятьсот? Я! Я! — бил себя в грудь Спирка. — Я, вот побей меня бог, не получаю пятисот. А ты тысячу хочешь? Ну, а что? Такой пароход — это хорошо, что погиб, ему так и надо. А? Нет, скажешь?

Человек один пропал? Не пропал! Груз? Какой же был груз? Сам знаешь. Значит, хорошее все это дело. И зачем ты хочешь, один ты, миллионы? Мириадес! А страховку — страховку хозяин получает, а не капитан. Капитан не хозяин. Люди получают сто рублей и говорят спасибо.

И Спирка остановился и снял шапку.

— А ведь вы двое всем делать хотите зло! Люди же тоже могут обижаться. Знаешь, если люди обижаются…

Он тараторил без умолку, и я понял, что надо быть начеку. Я не знал, куда делся Хозе.

— Ладно, мы подумаем, — сказал я и вырвался от него.

— Чего думать? — крикнул мне вдогонку грек. — Это можно сейчас. А то может нехорошо выйти.

Я пошел искать Хозе. Дворники уже спали в сарае на полу. Среди них Хозе не было. Я вышел на двор и вдруг ясно услышал голос испанца:

— О! Я не можно ничего…

Я поспешил на голос. Кто-то прошел мимо меня. Я оглянулся и в свете окна узнал фигуру капитана. Хозе стоял посреди двора и потягивался.

— Он мне говорил: «Возьми триста, а то тебе плохо будет». А я сказал…

Я слышал, что он сказал: на весь двор сказал.

Мы спали вдвоем на кухне смотрителя. Я лег под самой дверью на полу, припер собой дверь.

К полудню шторм стал стихать. За нами приполз катерок только к вечеру. На длинном буксире притащил шлюпку с харчами для маячных. Нас по пять человек подвозили на шлюпке. Катер снялся. На море не улеглось еще волнение, и катерок здорово качало на зыби. Порожняя шлюпка волоклась сзади и мешала ходу. Я хватился Хозе. Мне помнилось, он сел на лавку в каюте. Я всех спрашивал. Дворники проклятые опять все жевали что-то и только мычали. Их скоро укачало. Капитан стоял рядом со шкипером и не хотел со мной говорить. Когда высаживались, я протиснулся к сходне, перебрал всех. Не было только Хозе. Я тогда же ночью пошел в портовую полицию и заявил.

Там сказали:

— Ну, значит, остался на маяке. Капитан список подал на всех людей, ничего не заявлял. Приходи утром.

Тогда я стал ругаться, требовать, чтобы сейчас же записали мои показания, но в это время вошел портовый надзиратель.

— Это еще кто? А ну, документ? Нету? С парохода, говоришь, с погибшего? А ну, дайте-ка мне ихний список! Как, говоришь, твоя фамилия? Такого, братец, нет. Вон ты что за гусь! Гляди-ка, чего выдумал! Ай же и мастер! С погибшего? Отвести! — крикнул он стражникам.

Мне вывернули карманы, сняли поясок и пропихнули в «холодную». На полу храпел какой-то пьяный. Это капитану обошлось, конечно, дешевле трехсот рублей. Я сел в угол на цементный пол и, признаться, заплакал с досады.

Надо было мне взять и за испанца и за себя по триста рублей, тишком-ладком, а потом на суде грохнуть все.

Наутро я растолкал пьяного. Оказался — ломовой извозчик. Я ему толковал, чтобы всем говорил: «Одного человека, мол, утопили, а другого в полицию взяли». Всю ему историю раза четыре пересказал. А он с похмелья только глазами хлопал, как сова.

Его вытолкали на улицу, а меня повели в тюрьму. Я был уверен, что испанца кинули в море, пока мы на катере добирались. Плавать он не умеет, его за три сажени от берега утопить можно.

В тюрьме я ребятам рассказал, в чем дело. Мало кто верил, только стали меня звать «погибшим». А потом меня вызвал жандарм и спрашивал: не я ли слесарь Храмцов Иван с Брянского завода, которого полиция ищет, — он прокламации разбрасывал и «бунтовал рабочих»? Я говорил, что нет. А он говорит: «Погоди, дорогой, доберемся!»

Я уже второй месяц годил. Народу в камере сколько переменилось! Вдруг как-то привели новенького. У него сменка белья в газету завернута. Я попросил газетку. К окну, к решеткам. Вдруг вижу: картинка, и нарисован пароход: лежит на боку, торчат труба и мачты из воды.

Потом читаю:

«Трагическая катастрофа

Пароход «Петр Карпов», следуя по пути в Ялту, был застигнут свирепым юго-западным штормом и прижат к Тендровской косе. Машина не выгребла против урагана. От усиленной работы загорелся подшипник коренного вала. Были отданы оба якоря. Но силой шторма пароход все гнало на берег, и якоря стали сдавать. Распорядительность и хладнокровие капитана, старого, опытного моряка, находчивость и удачные маневры среди разбушевавшейся стихии — все это не дало возникнуть обычной в этих случаях панике. Команда благополучно достигла на шлюпках берега.
Авария произошла по стихийной причине. Судовой журнал — это главный документ корабля, беспристрастный свидетель его героической борьбы со стихией, — час за часом говорит нам, как боролось судно за свою жизнь и честь Машинный журнал говорит об этом размывами чернил по страницам, просоленным морской водой. Многие записи нельзя разобрать. Но они подписаны самим морем.
Пароход шел первым рейсом после капитального ремонта, с грузом апельсинов. Прибывшая на место гибели комиссия нашла пароход занесенным песком. Напором воздуха изнутри, при погружении парохода в воду, вырвало грузовые люки, и груз частью оказался выброшенным на берег в виде обломков ящиков и разбросанных апельсинов, частью же погребен песком. Груз был застрахован в сумме 350 тысяч рублей».

Внизу был помещен портрет нашего капитана. Выражение на портрете было благородное и скорбное. Я даже не узнал его сначала.
Вот те и на! Не боятся даже в газетах писать: «из капитального ремонта», когда весь порт называл пароход «Погибелью». Но коли хозяин получает 350 тысяч, то можно тысчонок пять бросить на подмазку. Комиссии за фальшивый осмотр он дал, агенту страхового общества дал, газетчикам дал…
Черт возьми! Не дал ли он еще кому надо, чтобы меня гноили по тюрьмам, пока я не сознаюсь, что я не матрос Николай Чумаченко, а слесарь с Брянского завода Иван Храмцов?
А не объявить ли, что я и есть Храмцов? Будет суд, на суде все рассказать. На суде уж не затрешь. Я посоветовался с одним рабочим, что сидел в нашей камере, и он сказал:
— Чудак ты! Ты думаешь, они глупей тебя? Никакого суда тебе не дадут, а просто административным порядком сошлют тебя, знаешь, где в бане льдом моются, снегом пару поддают. Там у тебя глаза от холода лопнут. Суда еще захотел! Гляди ты какой!
Я задавил в себе досаду. Но было — хоть об стенку головой!
Тут случился в тюрьме тиф: попал я в больницу. Говорили, я бредил этой «Погибелью». А потом слышно стало: кругом забастовки, тюрьму набили народом доверху. Стало уж не до меня. Одна была бумажка, что из-под следствия освобожден.
Нищим оборванцем добрался я до своего порта. Здесь товарищи мне помогли. Сказали, что суд был, капитана оправдали. Дело у них сошло с рук. Испанца никто не знал, и такого не видели.
— А капитан?
— А он плавает на портовом буксире «Силач».
У меня, видно, рожу перекосило, потому что все стали говорить:
— Брось, мало насиделся?
Но я ничего не говорил.
Вечером я пошел в порт и стал ждать «Силача». Вот он подошел и стал кормой к пристани. Я узнал голос; он крикнул:
— Сходню ставь веселей!
Я прислонился к штабелю угля. В руке у меня был кусок фунтов в десять. Капитану дорога мимо меня, и народу сейчас мало. «Сейчас тебе, дракону, конец», — говорил я про себя. Вот он идет мимо фонаря, вот зашел в тень, и я в тени. Тьфу! За ним бегут двое.

— Господин капитан, Леонтий Андреич! Разрешите полтинничек. Ей-богу, мы ж за вас! В счет получки, вот истинный Христос! — И уж совсем почти рядом со мной: — Мы ж зато молчим.
Знакомые голоса. Фу-ты! Да это Афанасий с Яшкой. Они шли за ним и клянчили. Я пошел следом. Тут уж вышли на людное место, я бросил свой уголь. Капитан полез в карман, и я слышал, как он сказал:
— Последний раз, а то я вас уберу. Знаете?
Афанасий с Яшкой дошли до пивной и ввалились туда.
Они сидели за столиком, когда я вошел. Они меня не узнали — так переменили меня тюрьма и болезнь. Я спросил кружку пива за гривенник и сел рядом. Из их разговора я понял, что их взял служить капитан на «Силач», чтобы они помалкивали, и что теперь как бы в самом деле не был это последний полтинник, что они выудили у капитана. Потом они подвыпили, и Афанасий пьяным голосом кричал:
— Ей-богу, он хороший человек! Вот мы с тобой выпили, честное слово: сам живет и другим жить даст. А это он так. Пугает только. Надо же попугать. А он, ей-богу…
И вдруг он уставился на меня. Обернулся и Яшка и тоже выпучил глаза. Он еле сказал:
— Ты… живой?
Я скорее встал, кинул официанту гривенник и вышел. Может, они еще не поверили своим пьяным глазам. Нет, нет, все равно дурака я свалял. Они скажут капитану, и уж за десятку, а не за полтинник продадут ему меня.
Я ночевал теперь по ночлежкам, работал на сноске. Я решил переждать с неделю и снова пойти стать под углем.
И вот раз в ночлежке, когда все в полутьме уже засыпали и только в углу шел гулкий разговор, вдруг слышу:
— Мне не можно…
Я так и подскочил: не может быть! Я крикнул на всю ночлежку:
— Машка!
Действительно, это был испанец. Он подбежал ко мне. Я не мог ничего говорить. Я его ощупывал и ругал. Ласкательно ругал, но последними словами. Я не мог его разглядеть, было полутемно. Старики уже бранились, что мы шумим.
Хозе начал вполголоса:
— Они спихнули меня с катера. Я не видел, кто сзади. Но я бил руками и ногами. Я не боялся. Браво! Сзади это шлюпка на буксире. О! Я поймал шлюпку. Они не видели, что я влез туда. Я там лег. Они шлюпку оставили на якоре до утра, далеко от берега. Я видел ночной пароход. Они на нем уехали. Утром я попал на берег. Искал тебя до ночи. Значит, и ты уехал с ними. Так я и думал. Я не видел капитана, как он уехал. Я б ему голову разбил, как горшок камнем.
Хозе уже говорил громко, но всем было забавно, как он говорил; многие поднялись и подошли.
— У меня не было денег, не было документов, я в этом городе никого не знаю. Я пошел носить мешки на погрузку. Потом меня взяли на пароход угольщиком. Я думал, ты уехал с ними. Я здесь третий день. Я без места. Нет паспорта. Консул говорит: «Ты эмигрант, пошел вон!» Я его хотел бить, такая каналья!
Я не хотел говорить сейчас Хозе, что капитан здесь. Он бы начал ругаться, грозить, а тут кругом народ и непременно есть «легаши», как во всякой ночлежке. Завтра мы сидели бы за решеткой.
Я рассказал о себе. И мы заснули на одной койке.
Наутро я сказал Хозе, что капитан здесь, на буксире «Силач».
В ту же ночь мы стояли у штабеля угля. Мы слыхали, как стал «Силач» на свое место. Было пусто. Где-то по набережной шаркали пантуфлями грузчики-турки, возвращаясь с работы. Я выглядывал из-за штабеля. Сердце мое колотилось. Вот он, капитан. Он в белом кителе. Да, и двое по бокам. У одного в руке дубинка. Ого! С конвоем. Ну да: Яшка и Афанасий по бокам. Я шепнул Хозе:
— Их трое.
— Мне не можно… — И он прижал меня ближе к углю. — Идут!
И вдруг Хозе сказал что-то по-испански, вышел на середину и стал перед капитаном.

Они все трое остановились как вкопанные.
— Тебе… тебе чего? — сказал Яшка и завел назад дубинку.
Я подбежал с куском антрацита. Яшка попятился.
— А я живой! А! Капитан! — Испанец ударил себя кулаком в грудь. — Я, Хозе-Мария Дамец.
Яшка замахнулся дубинкой. Я бросил изо всей силы в него углем, но уголь пролетел мимо — Яшка уже лежал. Я видел, как капитан сунул руку в карман. Револьвер! Застрелит! Но «молния» — и капитан сел, расставив руки. Револьвер звякнул о мостовую. Афанасий бежал назад и выл на бегу длинной коровьей нотой. Я успел наступить ногой на револьвер. Капитан вскочил — он хотел повернуться. Но Хозе поймал его за грудь.
Да… А потом мы бросили его, как тушу, на штабель. Яшка лежал молча. Мы пошли. Я слышал, что сзади топают несколько ног. Мы вошли в людное место и смешались с народом.
— Идем вон отсюда, из этого города, сейчас же! — говорил я испанцу.
— Ого! Мне не можно ничего…
— Тебе не можно, а мне нужно, и я боюсь один. Ты что же, меня не проводишь?
К утру мы были уже за тридцать пять верст, на берегу, у рыбаков. Там всегда всякого народу много толчется.
А что скажете: в полицию идти жаловаться? Или в суд подавать, может быть?

1934

Механик Салерно

I

Итальянский пароход шел в Америку. Семь дней он плыл среди океана, семь дней оставалось ходу. Он был в самой середине океана. В этом месте тихо и жарко.
И вот что случилось в полночь на восьмые сутки.
Кочегар шел с вахты спать. Он шел по палубе и заметил, какая горячая палуба. А шел он босиком. И вот голую подошву жжет. Будто идешь по горячей плите. «Что такое? — подумал кочегар. — Дай проверю рукой. — Он нагнулся, пощупал. — Так и есть, очень нагрета. Не может быть, чтобы с вечера не остыла. Неладно что-то». И кочегар пошел сказать механику. Механик спал в каюте. Раскинулся от жары. Кочегар подумал: «А вдруг это я зря, только кажется? Заругает меня механик: чего будишь, только уснул».
Кочегар забоялся и пошел к себе. По дороге еще раз тронул палубу. И опять показалось — вроде горячая.

II

Кочегар лег на койку и все не мог уснуть. Все думал: сказать, не сказать? А вдруг засмеют? Думал, думал, и стало казаться всякое, жарко показалось в каюте, как в духовке. И все жарче, жарче казалось. Глянул кругом — все товарищи спят, а двое в карты играют. Никто ничего не чует. Он спросил игроков:
— Ничего, ребята, не чуете?
— А что? — говорят.
— А вроде жарко.
Они засмеялись.
— Что ты, первый раз? В этих местах всегда так. А еще старый моряк!
Кочегар крякнул и повернулся на бок. И вдруг в голову ударило: «А что, как беда идет? И наутро уже поздно будет? Все пропадем. Океан кругом на тысячи верст. Потонем, как мыши в ведре».

Кочегар вскочил, натянул штаны и выскочил наверх. Побежал по палубе. Она ему еще горячей показалась. С разбегу стукнул механику в двери. Механик только мычал да пыхтел. Кочегар вошел и потолкал в плечо. Механик нахмурился, глянул сердито, а как увидел лицо кочегара, крикнул:

— Что случилось? — и вскочил на ноги. — Опять там подрались?

А кочегар схватил его за руку и потянул вон. Кочегар шепчет:

— Попробуйте палубу, синьор Салерно.

Механик головой спросонья крутит — все спокойно кругом. Пароход идет ровным ходом. Машина мурлычет мирно внизу.

— Рукой палубу троньте, — шепчет кочегар; схватил механика за руку и прижал к палубе. Вдруг механик отдернул руку.

— Ух, черт, верно! — сказал механик шепотом. — Стой здесь, я сейчас.

Механик еще два раза пощупал палубу и быстро ушел наверх.

III

Верхняя палуба шла навесом над нижней. Там была каюта капитана.

Капитан не спал. Он прогуливался по верхней палубе. Поглядывал за дежурным помощником, за рулевым, за огнями.

Механик запыхался от скорого бега.

— Капитан, капитан! — говорит механик.

— Что случилось? — И капитан придвинулся вплотную, глянул в лицо механику и сказал:

— Ну, ну, пойдемте в каюту.

Капитан плотно запер дверь. Закрыл окно и сказал механику:

— Говорите тихо, Салерно. Что случилось?

Механик перевел дух и стал шептать:

— Палуба очень горячая. Горячей всего над трюмом, над средним. Там кипы с пряжей и эти бочки.

— Тсс! — сказал капитан и поднял палец. — Что в бочках, знаем вы да я. Там, вы говорили, хлористая соль? Не горючая? — Салерно кивнул головой. — Вы сами, Салерно, заметили или вам сказали? — спросил капитан.

— Мне сказал кочегар. Я сам пробовал рукой. — Механик тронул рукой пол. — Вот так. Здорово…

Капитан перебил:

— Команда знает?

Механик пожал плечами.

— Нельзя, чтобы знали пассажиры. Их двести пять человек. Начнется паника. Тогда мы все погибнем раньше, чем пароход. Надо сейчас проверить.

Капитан вышел. Он покосился на пассажирский зал. Там ярко горело электричество. Нарядные люди гуляли мимо окон по палубе. Они мелькали на свету, как бабочки у фонаря. Слышен был веселый говор. Какая-то дама громко хохотала.

IV

— Идти спокойно, — сказал капитан механику. — На палубе — ни звука о трюме. Где кочегар?

Кочегар стоял, где приказал механик.

— Давайте градусник и веревку, Салерно, — сказал капитан и закурил.

Он спокойно осматривался кругом. Какой-то пассажир стоял у борта.

Капитан зашагал к трюму. Он уронил папироску. Стал поднимать и тут пощупал палубу. Палуба была нагрета. Смола в пазах липла к руке. Капитан весело обругал окурок, кинул за борт.

Механик Салерно подошел с градусником на веревке.

— Пусть кочегар смерит, — приказал капитан шепотом.

Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел и спросил больным голосом:

— Ах, что это делают! Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — И он стал щупать веревку в руках кочегара.

— Ну да, веревка, — сказал капитан и засмеялся. — Вы думали, змея? Это, видите ли… — Капитан взял пассажира за пуговку. — Иди, — сказал капитан кочегару. — Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы идет труба до самого дна.

— До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир.
«Он дурак, — подумал капитан. — Это самые опасные люди».
А вслух рассмеялся:
— Да нет! Труба до дна парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет.
Капитан говорил сущую правду. Такие трубы были у каждого трюма.
Но пассажир не унимался.
— Значит, пароход течет, он дал течь? — вскрикнул пассажир.
Капитан расхохотался как мог громче:
— Какой вы чудак! Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают.
— Ай, значит, мало осталось! — И пассажир заломил руки.
— Целый океан! — И капитан показал за борт.
Он повернулся и пошел прочь. Впотьмах он заметил пассажира.
Роговые очки, длинный нос. Белые в полоску брюки. Сам длинный, тощий.
Салерно чиркал у трюма.

V

— Ну, сколько? — спросил капитан.
Салерно молчал. Он выпучил глаза на капитана.
— Да говорите, черт вас дери! — крикнул капитан.
— Шестьдесят три, — еле выговорил Салерно.
И вдруг сзади голос:
— Святая Мария, шестьдесят три!
Капитан оглянулся. Это пассажир, тот самый. Тот самый, в роговых очках.
— Мадонна путана! — выругался капитан и сейчас же сделал веселое лицо. — Как вы меня напугали. Почему вы бродите один? Там наверху веселее. Вы поссорились там?
— Я нелюдим, я всегда здесь один, — сказал длинный пассажир.
Капитан взял его под руку. Они пошли, а пассажир все спрашивал:
— Неужели шестьдесят? Боже мой! Шестьдесят? Это ведь правда?
— Чего шестьдесят? Вы еще не знаете чего, а расстраиваетесь. Шестьдесят три сантиметра. Этого вполне хватит на всех.
— Нет, нет! — мотал головой пассажир. — Вы не обманете. Я чувствую.
— Выпейте коньяку и ложитесь спать, — сказал капитан и пошел наверх. — Такие всегда губят, — бормотал он на ходу. — Начнет болтать, поднимет тревогу. Пойдет паника.
Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров. Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме.
«Этот длинный — спичка в соломе», — подумал капитан и пошел к себе в каюту. Салерно ждал его там.

VI

— Вы тоже! — сказал сквозь зубы капитан. — Выпучили глаза — утопленник! А этого болвана не увидели? Он суется, носится за мной. Нос свой тычет, тычет, — капитан тыкал пальцем в воздух. — Он всюду, всюду! А нет его тут? — И капитан открыл двери каюты.
Белые брюки шагнули в темноте. Стали у борта. Капитан запер дверь. Он показал пальцем на спину и сказал зло:
— Тут, тут, вот он. Говорите шепотом, Салерно. Я буду напевать.
— Шестьдесят три градуса, — шептал Салерно. — Вы понимаете? Значит…
— Градусник какой? — шепнул капитан и снова замурлыкал песню.
— С пеньковой кистью. Он не мог нагреться в трубе. Кисть была мокрая. Я быстро подымал и тотчас глянул. Пустить, что ли, воду в трюм?
Капитан вскинул руку:
— Ни за что! Соберется пар, взорвет люки.
Кто-то тронул ручку двери.
— Кто там? — крикнул капитан.
— Можно? Минуту! Один вопрос! — Из-за двери всхлипывал длинный пассажир.
Капитан узнал голос.

— Завтра, дружок, завтра, я сплю! — крикнул капитан.
Он плотно держал дверь за ручку. Потушил свет. Прошла минута. Капитан шепотом приказал Салерно:
— Первое, дайте кораблю самый полный ход. Не жалейте ни котлов, ни машин. Пусть ее хватит на три дня. Надо делать плоты. Вы будете распоряжаться работой. Идемте к матросам.
Они вышли. Капитан осмотрелся. Пассажира не было. Они спустились вниз. На нижней палубе беспокойно ходил пассажир в белых брюках.
— Салерно, — сказал капитан на ухо механику, — занимайте этого идиота чем угодно! Что хотите! Играйте с ним в чехарду! Анекдоты! Врите! Но чтобы он не шел за мной. Не спускайте с него глаз!
Капитан зашагал на бак. Спустился в кубрик к матросам. Двое быстро смахнули карты на палубу.
— Буди всех! Всех сюда! — приказал капитан. — Только тихо.
Вскоре в кубрике собралось восемнадцать кочегаров и матросов. С тревогой глядели на капитана. Молчали, не шептались.
— Все? — спросил капитан.
— Остальные на вахте, — сказал боцман.

VII

— Военное положение! — крепким голосом сказал капитан.
Люди глядели и не двигались.
— Дисциплина — вот. — И капитан стукнул револьвером по столу. Обвел всех глазами. — На пароходе пожар.
Капитан видел: бледнеют лица.
— Горит в трюме номер два. Тушить поздно. До опасности осталось три дня. За три дня сделать плоты. Шлюпок мало. Работу покажет механик Салерно. Его слушаться. Пассажирам говорить так: капитан наказал за игру и драки. Сболтни кто о пожаре — пуля на месте. Между собой — об этом ни слова. Поняли?
Люди только кивали головами.
— Кочегары! — продолжал капитан. — Спасенье в скорости. Не жалеть сил!
Капитан поднялся на палубу. Глухо загудели внизу матросы. А впереди капитан увидел: Салерно стоял перед пассажиром. Старик механик выпятил живот и покачивался.
— Уверяю вас, дорогой мой, слушайте, — пыхтел механик, — уверяю, это в Алжире… ей-богу… и арапки… танец живота… Вот так!
Пассажир мотал носом и вскрикивал:
— Не верю, ведь еще семь суток плыть!
— Клянусь мощами Николая-чудотворца! — Механик задыхался и вертел животом.
— Поймал, поймал! — весело крикнул капитан.
Механик оглянулся.
Пассажир бросился к капитану.
— Все там играли в карты. И все передрались. Это от безделья. Теперь до самого порта работать. Выдумайте им работу, Салерно. И потяжелее. Бездельники все они! Все! Пусть делают что угодно. Стругают. Пилят. Куют. Идите, Салерно. По горячему следу. Застегните китель!

VIII

— Идемте, синьор. Вы мне нравитесь… — Капитан обхватил пассажира за талию.
— Нет, я не верю, — говорил пассажир упрямо, со слезами. — У нас есть пассажир. Он — бывший моряк. Я его спрошу. Что-то случилось. Вы меня обманываете.
Пассажир рвался вперед.
— Вы не хотите сказать. Тайна! Тайна!
— Я скажу. Вы правы — случилось, — сказал тихо капитан. — Станемте здесь. Тут шумит машина. Нас не услышат.
Капитан облокотился на борт. Пассажир стал рядом.
— Я вам объясню подробно, — начал капитан. — Видите вы вон там, — капитан перегнулся за борт, — вон вода бьет струей? Это из машины за борт.
— Да, да, — сказал пассажир, — теперь вижу.

Он тоже глядел вниз. Придерживал очки.
— Ничего не замечаете? — сказал капитан.
Пассажир смотрел все внимательнее. Вдруг капитан присел. Он мигом схватил пассажира за ноги. Рывком запрокинул вверх и толкнул за борт. Пассажир перевернулся через голову. Исчез за бортом. Капитан повернулся и пошел прочь. Он достал сигару, отгрыз кончик. Отплюнул на сажень. Ломал спички, пока закурил.

IX

Капитан пошел наверх и дал распоряжение: повернуть на север. Он сказал старшему штурману:
— Надо спешить на север. Туда, на большую дорогу. Тем путем ходит много кораблей. Там можно скорее встретить помощь.
Машина будто встрепенулась. Она торопливо вертела винт. Пароход заметно вздрагивал. Он мелко трясся корпусом — так сильно вертела машина.
Через час Салерно доложил капитану:
— Плоты готовят. Я велел ломать деревянные переборки. Предохранительные клапаны на котлах заклепаны. Если котлы выдержат… — И Салерно развел руками.
— Тогда постарайтесь дать восемьдесят пять оборотов. Только осторожно, осторожно, Салерно. Машина сдаст, и мы пропали. Люди спокойны?
— Они молчат и работают. Пока что… Их нельзя оставлять. Там второй механик. Третий — в машине. Фу!
Салерно отдувался. Он снял шапку. Сел на лавку. Замотал головой. И вдруг вскочил:
— Я смерю, сколько градусов.
— Не сметь! — оборвал капитан.
— Ах да, — зашептал Салерно, — этот идиот! Где он? — И Салерно огляделся.
Капитан не сразу ответил.
— Спит. — Капитан коротко свистнул в свисток и приказал вахтенному: — Третьего штурмана ко мне!..
— Слушайте! Гропани, вам двадцать пять лет…
— Двадцать три, — поправил штурман.
— Отлично, — сказал капитан. — Вы можете прыгать на одной ножке? Ходить колесом? Сколько есть силы забавляйте пассажиров! Играйте во все дурацкие игры! Чтобы сюда был слышен смех! Ухаживайте за дамами. Вываливайте все ваши глупости. Кричите петухом. Лайте собакой. Мне наплевать. Третий механик вам в помощь, на весь день. Я вас научу, что врать.
— А вахта? — И Гропани хихикнул.
— Это и есть ваша вахта. Всю вашу дурость сыпьте. Как из мешка. А теперь спать!
— Есть! — сказал Гропани и пошел к пассажирам.
— Куда? — крикнул капитан. — Спать!

X

Капитан не спал всю ночь. Под утро приказал спустить градусник. Градусник показал 67. «Восемьдесят пять оборотов», — доложили из машины. Пароход трясся, как в лихорадке. Волны крутым бугром расходились от носа.
Солнце взошло справа. Ранний пассажир вышел на палубу. Посмотрел из-под руки на солнце. Вышел толстенький аббат в желтой рясе. Они говорили. Показывали на солнце. Оба пошли к мостику.
— Капитан, капитан! Ведь солнце взошло справа, оно всходило сзади, за кормой. Вы изменили курс. Правда? — говорили в два голоса и пассажир и священник.
Гропани быстро взбежал наверх.
— О, конечно, конечно! — говорил Гропани. — Впереди Саргассово море. Не знаете? Это морской огород. Там водоросли, как змеи. Они опутывают винт. Это прямо похлебка с капустой. Вы не знали? Мы всегда обходим. Там завязло несколько пароходов. Уж много лет.
Пожилая дама в утреннем платье вышла на голоса.
— Да, да, — говорил Гропани, — там дамы хозяйничают, как у себя дома.
— А есть-то что? — спросила дама.

— Рыбу! Они рыбу ловят! — спешил Гропани. — И чаек. Они чаек наловили. Как куры. И петухи кричат: «Ку-ка-ре-ку!»
— Вздор! Вздор! — смеялась дама.
А Гропани бил себя в грудь и кричал:
— Клянусь вам всеми спиртными напитками!
Пассажиры выходили на палубу. Вертлявый испанец суетился перед публикой.
— Господа, пока не жарко, партию в гольд! — кричал он по-французски и вертел черными глазами.
— Будьте мужчиной, — говорил испанец и тряс за руку Гропани, — приглашайте дам!
— Одну партию до кофе! Умоляйте! — Испанец стал на колени и смешно шевелил острыми усами.
— Вот так и будете играть, — крикнул Гропани, — на коленях!
— Да! Да! На коленях! — закричали дамы.
Все хохотали. Испанец делал рожи, смешил всех и кричал: «Приглашайте дам!»
Гропани поклонился аббату и сделал руку кренделем:
— Прошу.
Аббат замахал рукой.
— Ах, простите, я близорук.
Всем стало весело. Кто-то притащил клюшки и большие шашки. Началась игра; на палубе начертили крестики. Клюшками толкали шашки.
XI
— Сегодня особенно трясет, — вдруг сказал испанец. — Я чувствую коленками. Не правда ли?
Все минуту слушали.
— Да вы посмотрите, как мы идем! — крикнул Гропани.
Публика хлынула к борту.
— Это секрет, секрет, — говорил Гропани; он поднял палец и прищурил глаз.
— Матео! — крикнул Гропани вниз. — Скорей, скорей, бегом!
Третий механик быстро появился снизу. Он был маленький, черный. Совсем обезьянка. Он бежал легко, семенил ножками.
— Гой! — крикнул Гропани, и механик с разбегу прыгнул через испанца.
Все захлопали в ладоши.
— Слушай, секрет можно сказать? — спросил Гропани. — Нам не влетит?
— Беру на себя, — сказал маленький механик и улыбнулся белыми зубами на темном лице.
Все обступили моряков. Испанец вскочил с колен.
— Наш капитан, — начал тихим голосом механик, — через два дня именинник. Он всегда останавливает свой пароход. Все выходят на палубу и должны поздравлять старика. Часа три стоим все, поздравляем, все равно, даже в шторм. Вот он и велит гнать. А то опоздает в порт. Чудачина-старичина! И катанье какое-то затевает, морской пикник, — совсем тихо прибавил механик. — Только, чур, молчок! — И он волосатой рукой прикрыл рот.
— Ох, интересно, — говорили дамы.
Буфетчик звонил к кофе.
Механик и Гропани отошли к борту.
— У нас в кочегарке, — быстрым шепотом сказал механик, — переборка нагрелась — рука не терпит. Как утюг. Понимаешь?
— А трюм нельзя открыть, — сказал Гропани. — Войдет воздух, и сразу все вспыхнет.
— Как думаешь, продержимся два дня? Как думаешь? — Механик глянул в самые глаза Гропани.
— Пожар, можем задохнуться в своем дыму, — сказал Гропани, — а впрочем, черт его знает.
Они пошли на мостик. Капитан их встретил.
— Идите сюда, — сказал капитан.
Он потащил механика за руку. В каюте он показал ему маленькую рулетку, новенькую, блестящую.
— Вот шарик. — Капитан поднес шарик к носу механика. — Пусть крутят, бросают шарик, пусть играют на деньги. Говорите — это по секрету от капитана. Тогда они будут сидеть

внизу. Мужчины хотя бы… Дамы ничего не заметят. Возьмите, не потеряйте шарик! — И капитан ткнул рулетку механику.
Третий механик вышел на палубу. Официанты играли на скрипках. Две пары уже танцевали.
XII
Команда работала и разбирала эмигрантские нары. Под палубой было жарко и душно. Люди разделись, мокрые от пота.
— Ни минуты, ни секунды не терять! — говорил старик Салерно; он помогал срывать толстые брусья. — Потом покурите, потом! — пыхтел старик.
— Ну, чего стал? — крикнул Салерно молодому матросу.
— Вот оттого и стал! — во всю глотку крикнул молодой матрос.
Все на миг бросили работу. Все глядели на Салерно и матроса. Стало тихо. И стало слышно веселую музыку.
— Ты это что же? — сказал Салерно; он с ключом в руке пошел на матроса.
— Там танцуют, а мы тут кишки рвем! — Матрос подался вперед с топором в руке. — Давай их сюда! — кричал матрос.
— Верно, правильно говорит! — загудели матросы.
— Кому плоты? Нам и шлюпок хватит.
— А плоты пусть сами себе делают.
Все присунулись к Салерно, кто с чем: с молотком, с топором, с долотом. Все кричали:
— К черту! Довольно! Баста! Остановите пароход! К шлюпкам!
Один уже бросился к трапу.
— Стойте! — крикнул Салерно и поднял руку.
На миг затихли. Остановились.
— Братья матросы! — сказал с одышкой старик. — Ведь там пассажиры. Мы взялись их свезти… А мы их… выйдет… выйдет… погубим… Они ведь ехать сели, а не тонуть…
— А мы тоже не гореть нанялись! — крикнул молодой матрос в лицо механику.
И молодой матрос, растолкав всех, бросился к трапу.
XIII
Капитан слышал крик. Он спустился на нижнюю палубу. Шел к мостику и прислушивался.
«Бунт, — подумал капитан. — Они бьют Салерно. Пропало все. Уйму, а нет — взорву к черту пароход, пропадай все пропадом!»
И капитан быстро зашагал к люку.
Вдруг навстречу матрос с топором. Он с разбегу ткнулся в капитана. Капитан рванул его за ворот. Матрос не успел опомниться, капитан столкнул его в люк. По трапу на матроса напирал народ. Все стали и смотрели на капитана.
— Назад! — рявкнул капитан.
Люди попятились. Капитан спустился вниз.
— Чего смотреть?! — крикнул кто-то.
Народ встрепенулся.
— Молчать! — сказал капитан. — Слушай, что я скажу.
Капитан стоял на трапе выше людей. Все на него глядели. Жарко дышали. Ждали.
— Не будет плотов — погибли пассажиры. Я за них держу ответ перед миром и совестью. Они нам доверились. Двести пять живых душ. Нас сорок восемь человек…
— А мы их свяжем, как овец! — крикнул матрос с топором. — Клянусь вам!
— Этого не будет! — крепко сказал капитан. — Ни один мерзавец не тронет их пальцем. Я взорву пароход!
Люди загудели.
— Убейте меня сейчас! — Капитан сунулся грудью вперед. — И суньтесь только на палубу — пароход взлетит на воздух! Все готово, без меня есть кому это сделать. Вы хотите погубить двести душ — и женщин и малых детей. Даю слово: погибнете вместе. Все до одного.
Люди молчали. Кто опустил вниз злые глаза, а кто глядел на капитана и кивал головой.
Капитан с минуту смотрел на людей.
Молодой матрос вскинул голову, но капитан заговорил:

— Плоты почти готовы. Их осталось собрать и сделать мачты. На шесть часов работы. У нас ведь есть сутки. Двадцать четыре часа. Пассажиры в воде — это дети. Они узнают о несчастье — они погубят себя. Нам вручили их жизнь. Товарищи моряки! — громко крикнул капитан. — Лучше погибнуть честным человеком, чем жить прохвостом! Скажите только: «Мы их погубим», — капитан обвел всех глазами, — и я сейчас пущу себе пулю в лоб. Тут, на трапе. — И капитан сунул руку в карман.
Все загудели глухо, будто застонали.
— Ну так вот, вы — честные люди, — сказал капитан. — Я знал это. Вы устали. Выпейте по бутылке красного вина. Я прикажу выдать. Кончайте скорее — и спать. А наши дети, — капитан кивнул вверх, — пусть играют, вы их спасете, и будет навеки вам слава, морякам Италии. — И капитан улыбнулся. Улыбнулся весело, и вмиг помолодело лицо.
— Браво! — крикнул молодой матрос.
Он глядел на капитана. Капитан быстрыми шагами взбежал по трапу.
— Гропани! — крикнул капитан на палубе. Штурман бежал навстречу. — Идите вниз, — говорил капитан, — работайте с нами во всю мочь! И по бутылке вина всем. Сейчас. Там танцуют? Ладно! Я пришлю за вами, в случае, если станут скучать. Ну, живо!
— Есть! — крикнул Гропани и бегом бросился к люку.

XIV

Капитан прошел в свою каюту. Он сел на койку, сжал кулаки со всей силой и подпер бока. «Держаться, держаться, — говорил капитан, — что есть сил держаться! Сутки одни, одни только бы сутки!» И нисколько не легче становилось капитану. Он знал: не за сутки, а за один час, за минуту все может погибнуть. Крикнет этот матрос с топором: «Пожар!» — и готово. «Дали им вина?» — подумал капитан и вскочил на ноги. Но тут влетел в каюту Салерно. Старик осунулся за эти два дня. Он схватил капитана за плечи, стал трясти. Тряс и все глядел в глаза, и лицо у старика кривилось и вдруг совсем сморщилось, и он заплакал, заревел в голос. Он с размаху сел на койку и уткнул лицо в подушку.
— Что ты? — Капитан первый раз заговорил с ним из «ты». — Что ты? Салерно…
Капитан повернулся, взялся за ручку двери. Старик встрепенулся.
— Минутку! — говорил старик.
Он задыхался, схватил графин и пил из горлышка. Обливался. Другой рукой он держал капитана.
— Ведь я умру подлецом, — говорил старик сквозь слезы. — Пожар не потухнет. В этих бочках, ты не знаешь, — в них бертолетова соль…
— Как? — спросил капитан. — Ведь ты сказал — хлорноватая какая-то соль…
— Да, да! Это и есть бертолетова. Я не соврал. Но я знал, что ты не поймешь.
— Я спрашивал ведь тебя: не опасно? А ведь это — взрыв!..
— Нет, нет, — плакал старик, — не взрыв! Ее нагревает, она выпускает кислород, а от него горит. Сильней, сильней все горит. — Старик умоляюще глядел на капитана. — Ну, прости хоть ты, господи! — Старик ломал руки. — Никто, никто не простит… — И Салерно искал глазами по каюте. — Мне дали триста лир, чтобы я устроил… дьявол дал… эти двадцать бочек. Что же теперь? Что же? — Салерно глотнул воздух ртом. — Иисусе святой, милый, дорогой…
— Идите к аббату, приложитесь к его рясе. Нет? Тогда вот револьвер — стреляйтесь! — сказал капитан и брякнул на стол браунинг.
Старик водил выпученными глазами.
— Тоже не хотите? Тогда умрите на работе. Марш к команде.
— Капитан, — хрипло сказал Салерно, — на градуснике… вчера было не семьдесят восемь, а восемьдесят семь…
Капитан вскинул брови, вздрогнул.
— Я не мог сказать… — Старик рухнул с койки, стал на колени.
Капитан с размаху ударил старика по лицу, вышел и пристукнул за собой дверь.

XV

Капитан взял веревку с градусником. Он сам смерил температуру — было 88 градусов.
Маленький механик подошел и сказал (он был в одной сетке, мокрый от пота):
— На переборке краска закудрявилась, барашком пошла, но мы поливаем… Полно пару… Люди задыхаются… Работаем мы со вторым механиком…
Капитан подошел к кочегарке. Глянул сверху, но сквозь пар не мог увидеть. Слышал только — лязгают лопаты, стукают скребки. Маленький механик шагнул за трап и пропал в пару.
Солнце садилось. Красным отсветом горели буруны по бокам парохода. Черный дым густой змеей валил из трубы. Пароход летел что есть силы вперед. В трюме парохода горел смертельный огонь. Пассажиры приятно пели испанскую песню. Испанец махал рукой. Все на него смотрели, а он стоял на табурете выше всех.
— Споемте молитву, — говорил испанец. — Его преподобию будет приятно.
Испанец дал тон.
Капитан быстро пошел вниз, к матросам.
— Сейчас готово! — крикнул навстречу Гропани.
Он, голый до пояса, долбил долотом. Старик Салерно, лохматый, мокрый, тесал. Он без памяти тесал, зло садил топором.
— Баста! Довольно уж! — кричал ему судовой плотник.
Салерно, красный, мокрый, озирался вокруг.
— Еще по бутылке вина, — сказал капитан. — Выпить здесь — и по койкам. Двое — в кочегарку, помогите товарищам. Они в аду. Вахта по часу.
Все бросили инструменты. Один Салерно все стоял с топором. Он еще два раза тяпнул по бревну. Все на него оглянулись.
Капитан вышел на палубу. На трюме в пазах стена пошла пузырьками. Они надувались и лопались. Смола прилипала к ногам. Черные следы шли по палубе.
Солнце зашло.
Яркими огнями вспыхнул салон; оттуда мирно мурлыкал пассажирский говор.
Гропани догнал капитана.
— Я доложу, — весело говорил Гропани, — очень здорово, то есть замечательные плоты, говорю я… а Салерно…
— Видел все, — сказал капитан. — Готовьте провизию; воду, фляги, ракеты. Фальшфейера не забудьте. Сейчас же…
— А Салерно чудак, ей-богу! — крикнул Гропани и побежал хлопотать.

XVI

Ночью капитан пошел мерить температуру. Он мерил каждый час. Температура медленно подходила к 89 градусам. Капитан осторожно прислушивался, не гудит ли в трюме. Он приложил ухо к трюмному люку. Было горячо, но капитан терпел. Было не до того. Слушал: нет, ничего — это урчит машина. Ее слышно по всему пароходу. Капитану начинало казаться: вот сейчас, через минуту, пароход не выдержит. Взорвется люк, полыхнет пламя — и конец: крики, вой, кровавая каша. Почем знать, дотерпит ли пароход до утра? И капитан снова щупал палубу. Попадал в жидкую горячую смолу в пазах. Снова мерил градусником уже каждые полчаса.
Капитан нетерпеливыми шагами ходил по палубе. Глядел на часы. До рассвета было еще далеко. Внизу Гропани купорил в бочки сухари, консервы. Салерно возился тут же. Он слушал Гропани и со всех ног исполнял его приказы. Как мальчик, старик глядел на капитана, будто хотел сказать: «Ну, прикажи скорее, и я в воду брошусь!»
Около полуночи капитану доложили — двоих вынесли из кочегарки в обмороке. Но машина все вертелась, а пароход летел напрямик к торной дороге.
Капитан не мог присесть ни на миг. Он ходил по всему пароходу. Он спустился в кочегарку. Там в горячем пару звякали дверцы топок. Пламя выло под котлами. Распаренные люди изо всех сил швыряли уголь. Не попадали и снова с ожесточением кидали. Ругались, как плакали.
Капитан схватил лопату и стал кидать. Он задыхался в пару.
— Валяй, валяй, сейчас конец, — говорил капитан.
Гайки закрыли. Капитан вылез наверх. Ему показалось холодно на палубе. А это что? Какие-то фигуры в темноте возятся у шлюпки.

Капитан опустил руку в карман, нащупал браунинг. Подошел. Три матроса и кочегар вываливали шлюпку за борт.
— Я не приказывал готовить шлюпок, — тихим голосом сказал капитан.
Они молчали и продолжали дело.
— На таком ходу шлюпки не спустить, — сказал капитан чуть громче. — Погибнете сами и загубите шлюпку.
Капитан сдерживал сердце: нельзя подымать тревогу.
Матросы вывалили шлюпку за борт. Оставалось спустить.
Двое сели в шлюпку. Двое других готовились спускать.
— А, дьявол! — вскрикнул один в шлюпке. — Нет весел. Они запрятали весла и паруса. Все. Давай весла! — крикнул он в лицо капитану. — Давай.
— Не ори, — сказал тихо капитан, — выйдут люди, они убьют вас.
И капитан отошел в сторону. До рассвета оставалось три часа. Капитан увидел еще одну фигуру: пригляделся — Салерно. Старик, полуголый, шел шатаясь.
Он шел на капитана. Капитан стал.
— Салерно!
Старик подошел вплотную.
— Что мне теперь делать? Прикажите.
Салерно глядел сумасшедшими глазами.
— Оденьтесь, — сказал капитан, — причешитесь, умойтесь. Вы будете передавать детей на плоты.
Салерно с сердцем махнул кулаками в воздухе. Капитан зашагал на бак. По дороге он снова смерил: было почти 90 градусов.
Капитану хотелось подогнать солнце. Вывернуть его рычагом наверх. Еще 2 часа 45 минут до света. Он прошел в кубрик. Боцман не спал. Он сидел за столом и пил из кружки воду. Люди спали головой на столе, немногие в койках. Свесили руки, ноги, как покойники. Кто-то в углу копался в своем сундучке. Капитан поманил боцмана пальцем. Боцман вскочил. Тревожно глядел на капитана.
— Вот порядок на утро, — тихо сказал капитан. И он стал шептать над ухом боцмана.
— Есть… есть… — приговаривал боцман.
Капитан быстро взбежал по трапу. Ему не терпелось еще смерить. Градусник с веревкой был у него в руке. Капитан спустил его вниз и тотчас вытянул. Глядел, не мог найти ртути. Что за черт! Он взял рукой за низ и отдернул руку: пеньковая кисть обваривала пальцы. Капитан почти бегом поднялся в каюту. При электричестве увидал: ртуть уперлась в самый верх. Градусник лопнул. У капитана захватило дух. Дрогнули колени первый раз за все это время. И вдруг нос почувствовал запах гари. От волнения капитан не расчуял. Откуда? Озирался вокруг. Вдруг он увидел дымок. Легкий дымок шел из рук. И тут капитан увидел: тлеет местами веревка. И сразу понял: труба раскалилась докрасна в трюме. Пожар дошел до нее.
Капитан приказал боцману поливать палубу. Пустить роду. Пусть все время идет из шланга. Тут под трюмом пар шел от палубы. Капитан зашел в каюту Салерно. Старик переодевал рубаху. Вынырнул из ворота, увидел капитана. Замер.
— Дайте химию, — сказал капитан сквозь зубы. — У вас есть химия.
Салерно схватил с полки книгу — одну, другую…
— Химии… химии… — бормотал старик.
Капитан взял книгу и вышел вон.
«Может ли взорвать?» — беспокойно думал капитан. У себя в каюте он листал книгу.
«Взрывается при ударе, — прочел капитан про бертолетову соль, — и при внезапном нагревании».
— А вдруг там попадет так… что внезапно… А, черт!
Капитан заерзал на стуле. Глянул на часы: до рассвета оставалось двадцать семь минут.

XVII

Остановить пароход в темноте — все пассажиры проснутся, и в темноте будет каша и бой. А в какую минуту взорвется? В какую из двадцати семи? Или соль выпускает кислород? Просто кислород, как в школе на уроке химии?
Капитан дернулся смерить, вспомнил и топнул с сердцем в палубу.

Теперь капитан как закаменел: шел твердо, крепким шагом. Как живая статуя. Он прошел в кубрик.
— Буди! — сказал капитан боцману. — Двоих на лебедки! Плоты на палубу! Собирать!
Люди просыпались, серые и бледные. Всеми глазами глядели на капитана. Капитан вышел. С бака на него глядели бортовые огни: красный и зеленый. Яркие, напряженные. Капитан уже слышал сзади возню, гроханье брусьев. Тарахтела лебедка. Вспыхнула грузовая люстра.
— Гропани, к пассажирам! — сказал капитан на ходу. Он слышал голос Салерно. — Салерно, ко мне! — крикнул капитан. — Вы распоряжайтесь спуском плотов. И ни одной ошибки!
Второй штурман с матросами вывалили шлюпку за борт. Одиннадцать шлюпок. Капитан глянул на часы. Оставалось семнадцать минут. Но восток глухо чернел справа.
— Всем наверх! — сказал капитан маленькому механику. — Одного человека оставить в машине.
Пароход несся, казалось, еще быстрее: напоследки — очертя голову.
Капитан вышел на мостик.
— Определить по звездам, — сказал он старшему штурману, — надо точно знать наше место в океане.
Легкий ветерок дул с востока. По океану ходила широкая плавная волна. Капитан стоял на мостике и смотрел на сборку плотов. Салерно точно, без окриков, руководил, и руки людей работали дружно, в лад. Капитан шагнул вправо. Ветром дунул свет из-за моря.
— Стоп машина! — приказал капитан.
И сейчас же умер звук внутри. Пароход будто ослаб. Он с разгону еще несся вперед. Люди на миг бросили работу. Все глянули наверх, на капитана. Капитан серьезно кивнул головой, и люди вцепились в работу.

XVIII

Аббат проснулся.
— Мы, кажется, стоим, — сказал он испанцу и зажег электричество.
Испанец быстро стал одеваться. Поднимались и в других каютах.
— Ах да! Именины! — кричал испанец.
Он высунулся в коридор и крикнул веселым голосом:
— Дамы и кавалеры! Пожалуйста! Прошу! Все в белом! Непременно!
Все собрались в салоне. Гропани был уже там.
— Но почему же так рано? — говорили нарядные пассажиры.
— Надо приготовить пикник, — громко говорил Гропани, — а потом шепотом: — Возьмите с собой ценности. Знаете, все выйдет, прислуга ненадежна.
Пассажиры пошли рыться в чемоданах.
— Я боюсь, — говорила молодая дама, — в лодках по волнам…
— Со мной, сударыня, уверяю, не страшно и в аду, — сказал испанец. Он приложил руку к сердцу. — Идемте. Кажется, готово!
Гропани отпер двери.
Пароход стоял. Пять плотов гибко качались на волнах. Они были с мачтами. На мачтах флаги перетянуты узлом.
Команда стояла в два ряда. Между людьми — проход к трапу.
Пассажиры спустились на нижнюю палубу.
Капитан строго глядел на пассажиров.
Испанец вышел вперед под руку с дамой. Он улыбался, кланялся капитану.
— От лица пассажиров… — начал испанец и шикарно поклонился.
— Я объявляю, — перебил капитан крепким голосом, — мы должны покинуть пароход. Первыми сойдут женщины и дети. Мужчины, не трогаться с места! Под страхом смерти.
Как будто стон дохнул над людьми. Все стояли оцепенелые.
— Женщины, вперед! — скомандовал капитан. — Кто с детьми?
Даму с девочкой подталкивал вперед Гропани. Вдруг испанец оттолкнул свою даму. Он растолкал народ, вскочил на борт. Он приготовился прыгнуть на плот. Хлопнул выстрел. Испанец рухнул за борт. Капитан оставил револьвер в руке. Бледные люди проходили между матросами. Салерно размещал пассажиров по плотам и шлюпкам.

— Все? — спросил капитан.
— Да. Двести три человека! — крикнул снизу Салерно.
Команда молча, по одному, сходила вниз.
Плоты отваливали от парохода, легкий ветер относил их в сторону. Женщины жались к мачте, крепко прижимали к себе детей. Десять шлюпок держались рядом. Одна под парусами и веслами пошла вперед. Капитан сказал Гропани:
— Дайте знать встречному пароходу. Ночью пускайте ракеты!
Все смотрели на пароход. Он стоял один среди моря. Из трубы шел легкий дым.
Прошло два часа. Солнце уже высоко поднялось. Уже скрылась из глаз шлюпка Гропани. А пароход стоял один. Он уже не дышал. Мертвый, брошенный, он покачивался на зыби.
«Что же это?» — думал капитан.
— Зачем же мы уехали? — крикнул ребенок и заплакал. Капитан со шлюпки оглядывался то на ребенка, то на пароход.
— Бедный, бедный… — шептал капитан. И сам не знал — про ребенка или про пароход.
И вдруг над пароходом взлетело белое облако, и вслед за ним рвануло вверх пламя.
Гомон, гул прошел над людьми. Многие встали в рост, глядели, затаили дыхание…
Капитан отвернулся, закрыл глаза рукой. Ему было больно: горит живой пароход. Но он снова взглянул сквозь слезы. Он крепко сжал кулаки и глядел, не отрывался.
Вечером виден был красный остов. Он рдел вдали. Потом потухло. Капитан долго еще глядел, но ничего уже не было видно.
Три дня болтались на плотах пассажиры.
На третьи сутки к вечеру пришел пароход. Гропани встретил на борту капитана.
Люди перешли на пароход. Недосчитались старика Салерно. Когда он пропал, — кто его знает.

1932

Павел Бажов

Каменный цветок

Не одни мраморски на славе были по каменному-то делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались, как его было довольно, и сорт — выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходяще. Такие, слышь-ко, штучки, что диву дашься: как ему помогло.
Был в ту пору мастер Прокопьич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был.
Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопьичу парнишек на выучку.
— Пущай-де переймут все до тонкости.
Только Прокопьич, — то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, — учил шибко худо. Все у него с рывка да с тычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, ущи чуть не оборвет, да и говорит приказчику;
— Не гож этот… Глаз у него неспособный, рука не несет. Толку не выйдет.
Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопьича.
— Не гож так не гож… Другого дадим… — И нарядит другого парнишку.
Ребятишки прослышали про эту науку… Спозаранку ревут, как бы к Прокопьичу не попасть. Отцам-матерям тоже не сладко родного дитенка на зряшную муку отдавать, —

выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство, с малахитом-то. Отрава чистая. Вот и оберегаются люди.
Приказчик все ж таки помнит баринов наказ — ставит Прокопьичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику.
— Не гож этот…
Приказчик взъедаться стал:
— До какой поры это будет? Не гож да не гож, когда гож будет? Учи этого…
Прокопьич знай свое:
— Мне что… Хоть десять годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет…
— Какого тебе еще?
— Мне хоть и вовсе не ставь, — об этом не скучаю…
Так вот и перебрали приказчик с Прокопьичем много ребятишек, а толк один: на голове шишки, а в голове — как бы убежать. Нарочно которые портили, чтобы Прокопьич их прогнал.
Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечко. Годов, поди, тогда двенадцати, а то и боле. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявеньки, глазенки голубеньки. Его и взяли сперва в казачки при господском доме: табакерку, платок подать, сбегать куда и протча. Только у этого сиротки дарованья к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что — навытяжку: что прикажете? А этот Данилко забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшенье, да и стоит. Его кричат, а он и ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули:
— Блаженный какой-то! Тихоход! Из такого хорошего слуги не выйдет.
На заводскую работу либо в гору все ж таки не отдали — шибко жидко место, на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаски. И тут Данилко не вовсе гож пришелся. Парнишечко ровно старательный, а все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а коровы-то — вон где! Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался:
— Что только из тебя, Данилко, выйдет? Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя?
— Я и сам, дедко, не знаю… Так… ни о чем… Засмотрелся маленько. Букашка по листочку ползла. Сама сизенька, а из-под крылышек у ней желтенько выглядывает, а листок широконький… По краям зубчики, вроде оборочки выгнуты. Тут потемнее показывает, а середка зеленая-презеленая, ровно ее сейчас выкрасили… А букашка-то и ползет.
— Ну, не дурак ли ты, Данилко? Твое ли дело букашек разбирать? Ползет она — и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу!
Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился — куда старику! Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят:
— Сыграй, Данилушко, песенку.
Он и начнет наигрывать. И песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто пониточек починит, кто холста на онучи отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок и разговору нет, — каждая норовит дать побольше да послаще. Старику пастуху тоже Данилушковы песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушко наигрывать и все забудет, ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда.
Данилушко, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят — той нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе. Пасли около Ельничной… Самое тут волчье место, глухое… Одну только коровенку и нашли. Пригнали стадо домой… Так и так, обсказали. Ну, из завода тоже побежали-поехали на розыски, да не нашли.
Расправа тогда, известно, какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика,

потом и до Данилушки дошло, а он худенький да тощенький. Господский палач оговорился даже:
— Экой-то, — говорит, — с одного разу сомлеет, а то и вовсе душу выпустит.
Ударил все ж таки — не пожалел, а Данилушко молчит. Палач его вдругорядь — молчит, втретьи — молчит. Палач тут и расстервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит:
— Я тебя, молчуна, доведу… Дашь голос… Дашь!
Данилушко дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так и сомлел, а словечка от него не слыхали. Приказчик, — он тут же, конечно, был, — удивился:
— Какой еще терпеливый выискался! Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется.
Отлежался-таки Данилушко. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. За место лекаря по нашим заводам на большой славе была. Силу в травах знала: которая от зубов, которая от надсады, которая от ломоты… Ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав да корешков настойки готовила, отвары варила да с мазями мешала.
Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышь-ко, ласковая да словоохотливая, а трав, да корешков, да цветков всяких у ней насушено да навешано по всей избе. Данилушко к травам-то любопытен — как эту зовут? где растет? какой цветок? Старушка ему и рассказывает.
Раз Данилушко и спрашивает:
— Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь?
— Хвастаться, — говорит, — не буду, а все будто знаю, какие открытые-то.
— А разве, — спрашивает, — еще не открытые бывают?
— Есть, — отвечает, — и такие. Папору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской. Клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв-траве цветок — бегучий огонек. Поймай его — и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит.
— Чем, бабушка, несчастный?
— А это, дитенок, я и сама не знаю. Так мне сказывали.
Данилушко у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковы вестовщики углядели, что парнишко мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит:
— Иди-ко теперь к Прокопьичу — малахитному делу обучаться. Самая там по тебе работа.
Ну, что сделаешь? Пошел Данилушко, а самого еще ветром качает.
Прокопьич поглядел на него, да и говорит:
— Еще такого недоставало. Здоровым парнишкам здешняя учеба не по силе, а с такого что взыщешь — еле живой стоит.
Пошел Прокопьич к приказчику:
— Не надо такого. Еще ненароком убьешь — отвечать придется.
Только приказчик — куда тебе, слушать не стал!
— Дано тебе — учи, не рассуждай! Он — этот парнишка — крепкий. Не гляди, что жиденький.
— Ну, дело ваше, — говорит Прокопьич, — было бы сказано. Буду учить, только бы к ответу не потянули.
— Тянуть некому. Одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай, — отвечает приказчик.
Пришел Прокопьич домой, а Данилушко около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан — кромку отбить. Вот Данилушко на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопьичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось:
— Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?
Данилушко и отвечает:
— На мой глаз, дедушко, не с этой стороны кромку отбивать надо. Вишь, узор тут, а его и срежут.

Прокопьич закричал, конечно:
— Что? Кто ты такой? Мастер? У рук не бывало, а судишь? Что ты понимать можешь?
— То и понимаю, что эту штуку испортили, — отвечает Данилушко.
— Кто испортил? а? Это ты, сопляк, мне — первому мастеру! Да я тебе такую порчу покажу… жив не будешь!
Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопьич-то, вишь, сам над этой досочкой думал — с которой стороны кромку срезать. Данилушко своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопьич и говорит вовсе уж добром:
— Ну-ко, ты, мастер явленный, покажи, как, по-твоему, сделать?
Данилушко и стал показывать да рассказывать:
— Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше — пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить, только бы сверху плетешок малый оставить.
Прокопьич, знай, покрикивает:
— Ну-ну… Как же! Много ты понимаешь. Накопил — не просыпь! — А про себя думает: «Верно парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок — он и ноги протянет».
Подумал так, да и спрашивает:
— Ты хоть чей, экий ученый?
Данилушко и рассказал про себя.
Дескать, сирота. Матери не помню, а про отца и вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой Недокормышем, а как отчество и прозванье отцовское — про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал.
Прокопьич пожалел:
— Не сладко, гляжу, тебе, парень, житьишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое.
Потом будто рассердился, заворчал:
— Ну, хватит, хватит! Вишь, разговорчивый какой! Языком-то — не руками, — всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы! Ученичок тоже! Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись ужинать, да и спать пора.
Прокопьич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей снаходу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать, а вечерами Прокопьич сам управлял, что ему надо.
Поели, Прокопьич и говорит:
— Ложись вон тут, на скамеечке!
Данилушко разулся, котомку свою под голову, понитком закрылся, поежился маленько, — вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени, — все ж таки вскорости уснул. Прокопьич тоже лег, а уснуть не может: все у него разговор о малахитовом узоре из головы нейдет. Ворочался-ворочался, встал; зажег свечку, да и к станку — давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую… прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет, и все выходит, что парнишка лучше узор понял.
— Вот тебе и Недокормышек! — дивится Прокопьич. — Еще ничем-ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок. Ну и глазок!
Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку да большой овчинный тулуп. Подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл:
— Спи-ко, глазастый!
А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то — тепло ему стало — и давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопьича своих ребят не бывало, этот Данилушко и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушко, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопьича забота — как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтоб не такой тощий да нездоровый был.
— С его ли здоровьишком нашему мастерству учиться. Пыль, отрава, — живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет.
На другой день и говорит Данилушке:
— Ты спервоначалу по хозяйству помогать будешь. Такой уж у меня порядок заведен. Понял? Для первого разу сходи за калиной. Ее иньями прихватило, — в самый раз она

теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь — то и ладно. Хлеба возьми полишку, — естся в лесу-то, — да еще к Митрофановне зайди. Говорил ей, чтоб тебе пару яичек испекла да молока в туесочек плеснула. Понял?
На другой день опять говорит:
— Поймай-ко ты мне щегленка поголосистее да чечетку побойчее. Гляди, чтобы к вечеру были. Понял?
Когда Данилушко поймал и принес, Прокопьич говорит:
— Ладно, да не вовсе. Лови других.
Так и пошло. На каждый день Прокопьич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить — пособишь-де. Ну, а какая подмога! Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да и спит покрепче. Шубу ему Прокопьич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопьич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну, и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени.
В хорошем-то житье Данилушко живо поправляться стал и к Прокопьичу тоже прильнул. Ну как! — понял Прокопьичеву заботу, в первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима. Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только и к мастерству Данилушко присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То, другое Прокопьичу расскажет, да и спрашивает — это что да это как? Прокопьич объяснит, на деле покажет. Данилушко примечает. Когда и сам примется. «Ну-ко, я…» Прокопьич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше.
Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду. Спрашивает своих-то вестовщиков:
— Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу… По будням с удочкой балуется, а уж не маленький… Кто-то его от работы прячет…
Узнали вестовщики, говорят приказчику, а он не верит.
— Ну-ко, — говорит, — тащите парнишку ко мне, сам дознаюсь.
Привели Данилушку. Приказчик спрашивает:
— Ты чей?
Данилушко и отвечает:
— В ученье, дескать, у мастера по малахитному делу.
Приказчик тогда хвать его за ухо:
— Так-то ты, стервец, учишься! — Да за ухо и повел к Прокопьичу.
Тот видит — неладно дело, давай выгораживать Данилушку:
— Это я сам его послал окуньков половить. Сильно о свеженьких-то окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу. Вот и велел парнишке половить.
Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушко вовсе другой стал: поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже и на ногах сапожнешки. Вот и давай проверку Данилушке делать:
— Ну-ко, покажи, чему тебя мастер выучил?
Данилушко запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит — у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево. Однем словом все как есть.
Пытал-пытал приказчик, да и говорит Прокопьичу:
— Этот, видно, гож тебе пришелся?
— Не жалуюсь, — отвечает Прокопьич.
— То-то не жалуешься, а баловство разводишь! Тебе его отдали мастерству учиться, а он у пруда с удочкой! Смотри! Таких тебе свежих окуньков отпущу — до смерти не забудешь, да и парнишке невесело станет.
Погрозился так-то, ушел, а Прокопьич дивуется:
— Когда хоть ты, Данилушко, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил.
— Сам же, — говорит Данилушко, — показывал да рассказывал, а я примечал.
У Прокопьича даже слезы закапали, — до того ему это по сердцу пришлось.

— Сыночек, — говорит, — милый, Данилушко… Что еще знаю, все тебе открою… Не потаю…
Только с той поры Данилушке не стало вольготного житья. Приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще что: бляшки, какие женщины носят, шкатулочки. Потом с точкой пошло: подсвечники да украшенья разные. Там и до резьбы доехали. Листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь — у малахитчиков — дело мешкотное. Пустяковая ровно штука, а сколько он над ней сидит! Так Данилушко и вырос за этой работой.
А как выточил зарукавье-змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об этом отписал:
«Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу — Данилко Недокормыш. Работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить али, как и Прокопьича, на оброк пустить?»
Работал Данилушко вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопьич тут сноровку поимел. Задаст приказчик Данилушке какой урок на пять ден, а Прокопьич пойдет, да и говорит:
— Не в силу это. На такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень. Поторопится — только камень без пользы изведет.
Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушко и работал без большой натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопьич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладится приказчиковы уроки за Данилушку делать, только Данилушко этого не допускал:
— Что ты! Что ты, дяденька! Твое ли дело за меня у станка сидеть! Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем скудаться стал, а мне что делается?
Данилушко и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его Недокормышем звали, а он вон какой! Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Однем словом, сухота девичья. Прокопьич уж стал с ним про невест заговаривать, а Данилушко, знай, головой потряхивает:
— Не уйдет от нас! Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет.
Барин на приказчиково известие отписал:
«Пусть тот Прокопьичев выученик Данилко сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу — на оброк отпустить али на уроках держать. Только ты гляди, чтобы Прокопьич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь — с тебя взыск будет».
Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит:
— Тут, у меня, работать будешь. Станок тебе наладят, камню привезут, какой надо.
Прокопьич узнал, запечалился: как так? что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет… Закричал только: «Не твое дело!»
Ну, вот пошел Данилушко работать на новое место, а Прокопьич ему наказывает:
— Ты, гляди, не торопись, Данилушко! Не оказывай себя.
Данилушко сперва остерегался. Примеривал да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай не делай, а срок отбывай — сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушко от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой и вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так и надо, да и говорит:
— Еще такую же делай!
Данилушко сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик и говорит:
— Теперь не увернешься! Поймал я вас с Прокопьичем. Барин тебе, по моему письму, срок для одной чаши дал, а ты три выточил. Знаю твою силу. Не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать! Другим закажет!
Так об этом и барину написал и чаши все три предоставил. Только барин, — то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика за что сердит был, — все как есть наоборот повернул.
Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопьича брать — может-де вдвоем-то скорее придумают что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаша нарисована со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со

сквозным узором, на подножке листочки. Однем словом, придумано. А на чертеже барин подписал: «Пусть хоть пять лет просидит, а чтобы такая в точности сделана была».
Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопьичу и чертеж отдал.
Повеселели Данилушко с Прокопьичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушко вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней многое множество. Чуть неладно ударил, — пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватает — хорошо идет дело. Одно ему не по нраву — трудности много, а красоты ровно и вовсе нет. Говорил Прокопьичу, а он только удивился:
— Тебе-то что? Придумали — значит, им надо. Мало ли я всяких штук выточил да вырезал, а куда они — толком и не знаю.
Пробовал с приказчиком поговорить, так куда тебе. Ногами затопал, руками замахал:
— Ты очумел? За чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первый его делал, а ты пересуживать выдумал!
Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, — не выдумают ли вдвоем-то чего новенького, — и говорит:
— Ты вот что… делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь — твое дело. Мешать не стану. Камня у нас, поди-ко, хватит. Какой надо — такой и дам.
Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано — чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать — не одну ночку с боку на бок повертишься. Вот Данилушко сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. Переводит в голове, какой цветок, какой листок к малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый.
Прокопьич заметил, спрашивает:
— Ты, Данилушко, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь.
— И то, — говорит Данилушко, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо.
С той поры и стал чуть не каждый день в лес бегать. Время как раз покосное, ягодное. Травы все в цвету. Данилушко остановится где на покосе либо на полянке в лесу стоит, смотрит. А то опять ходит по покосам да разглядывает траву-то, как ищет что. Людей в ту пору в лесу и на покосах много. Спрашивают Данилушку — не потерял ли чего? Он улыбнется этак невесело, да и скажет:
— Потерять не потерял, а найти не могу.
Ну, которые и запоговаривали:
— Неладно с парнем.
А он придет домой и сразу к станку, да до утра и сидит, а с солнышком опять в лес да на покосы. Листки да цветки всякие домой притаскивать стал, а все больше из объеди: черемицу да омег, дурман да богульник, да резуны всякие. С лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял. Прокопьич вовсе забеспокоился, а Данилушко и говорит:
— Чаша мне покою не дает. Охота так ее сделать, чтобы камень полную силу имел.
Прокопьич давай отговаривать стал:
— На что она тебе далась? Сыты ведь, чего еще? Пущай бары тешатся, как им любо. Нас бы только не задевали. Придумают какой узор — сделаем, а навстречу-то им зачем лезть? Лишний хомут надевать — только и всего.
Ну, Данилушко на своем стоит.
— Не для барина, — говорит, — стараюсь. Не могу из головы выбросить ту чашу. Вижу, поди-ко, какой у нас камень, а мы что с ним делаем? Точим да режем да полер наводим, и вовсе ни к чему. Вот мне и припало желанье так сделать, чтобы полную силу камня самому поглядеть и людям показать.
По времени отошел Данилушко, сел опять за ту чашу, по барскому-то чертежу. Работает, а сам посмеивается:
— Лента каменная с дырками, каемочка резная…
Потом вдруг забросил эту работу. Другое начал. Без передышки у станка стоит.
Прокопьичу сказал:
— По дурман-цветку свою чашу делать буду.
Прокопьич отговаривать принялся. Данилушко сперва и слушать не хотел, потом, дня через три-четыре, как у него какая-то оплошка вышла, и говорит Прокопьичу:

— Ну, ладно. Сперва барскую чашу кончу, потом за свою примусь. Только ты уж тогда меня не отговаривай… Не могу ее из головы выбросить.
Прокопьич отвечает:
— Ладно, мешать не стану, — а сам думает: «Уходится парень, забудет. Женить его надо. Вот что! Лишняя дурь из головы вылетит, как семьей обзаведется».
Занялся Данилушко чашей. Работы с ней много — в один год не укладешь. Работает усердно, про дурман-цветок не поминает. Прокопьич и стал про женитьбу заговаривать:
— Вот хоть бы Катя Летемина — чем не невеста? Хорошая девушка… Похаять нечем.
Это Прокопьич-то от ума говорил. Он, вишь, давно заприметил, что Данилушко на эту девушку сильно поглядывал. Ну и она не отворачивалась. Вот Прокопьич, будто ненароком, и заводил разговор. А Данилушко свое твердит:
— Погоди! Вот с чашкой управлюсь. Надоела мне она. Того и гляди — молотком стукну, а он про женитьбу! Уговорились мы с Катей. Подождет она меня.
Ну, сделал Данилушко чашу по барскому чертежу. Приказчику, конечно, не сказали, а дома у себя гулянку маленькую придумали сделать. Катя — невеста-то — с родителями пришла, еще которые… из мастеров же малахитных больше. Катя дивится на чашу.
— Как, — говорит, — только ты ухитрился узор такой вырезать и камня нигде не обломил! До чего все гладко да чисто обточено!
Мастера тоже одобряют:
— В аккурат-де по чертежу. Придраться не к чему. Чисто сработано. Лучше не сделать, да и скоро. Так-то работать станешь — пожалуй, нам тяжело за тобой тянуться.
Данилушко слушал-слушал, да и говорит:
— То и горе, что похаять нечем. Гладко да ровно, узор чистый, резьба по чертежу, красота где? Вон цветок… самый что ни есть плохонький, а глядишь на него — сердце радуется. Ну, а эта чаша кого обрадует? На что она? Кто поглядит, всяк, как вон Катенька, подивится, какой-де у мастера глаз да рука, как у него терпенья хватило нигде камень не обломить.
— А где оплошал, — смеются мастера, — там подклеил да полером прикрыл, и концов не найдешь.
— Вот-вот… А где, спрашиваю, красота камня? Тут прожилка прошла, а ты на ней дырки сверлишь да цветочки режешь. На что они тут? Порча ведь это камня. А камень-то какой! Первый камень! Понимаете, первый!
Горячиться стал. Выпил, видно, маленько.
Мастера и говорят Данилушке, что ему Прокопьич не раз говаривал:
— Камень — камень и есть. Что с ним сделаешь? Наше дело такое — точить да резать.
Только был тут старичок один. Он еще Прокопьича и тех — других-то мастеров — учил. Все его дедушком звали. Вовсе ветхий старичоночко, а тоже этот разговор понял, да и говорит Данилушке:
— Ты, милый сын, по этой половице не ходи! Из головы выбрось! А то попадешь к Хозяйке в горные мастера…
— Какие мастера, дедушко?
— А такие… в горе живут, никто их не видит… Что Хозяйке понадобится, то они и сделают. Случилось мне раз видеть. Вот работа! От нашей, от здешней, на отличку.
Всем любопытно стало. Спрашивают, — какую поделку видел.
— Да змейку, — говорит, — ту же, какую вы на зарукавье точите.
— Ну, и что? Какая она?
— От здешних, говорю, на отличку. Любой мастер увидит, сразу узнает — не здешняя работа. У наших змейка, сколь чисто ни выточат, каменная, а тут как есть живая. Хребтик черненький, глазки… Того и гляди — клюнет. Им ведь что! Они цветок каменный видали, красоту поняли.
Данилушко, как услышал про каменный цветок, давай спрашивать старика. Тот по совести сказал:
— Не знаю, милый сын, слыхал, что есть такой цветок. Видеть его нашему брату нельзя. Кто поглядит, тому белый свет не мил станет.
Данилушко на это и говорит:
— Я бы поглядел.
Тут Катенька, невеста-то его, так и затрепыхалась:

— Что ты, что ты, Данилушко! Неуж тебе белый свет наскучил? — да в слезы. Прокопьич и другие мастера сметали дело, давай старого мастера на смех подымать:
— Выживаться из ума, дедушко, стал. Сказки сказываешь. Парня зря с пути сбиваешь.
Старик разгорячился, по столу стукнул:
— Есть такой цветок! Парень правду говорит: камень мы не разумеем. В том цветке красота показана.
Мастера смеются:
— Хлебнул, дедушко, лишка!
А он свое:
— Есть каменный цветок!
Разошлись гости, а у Данилушки тот разговор из головы не выходит. Опять стал в лес бегать да около своего дурман-цветка ходить, а про свадьбу и не поминает. Прокопьич уж понуждать стал:
— Что ты девушку позоришь? Который год она в невестах ходить будет? Того и жди — пересмеивать ее станут. Мало смотниц-то?
Данилушко одно свое:
— Погоди ты маленько! Вот только придумаю да камень подходящий подберу.
И повадился он на медный рудник — на Гумешки-то. Когда в шахту спустится, по забоям обойдет, когда наверху камни перебирает. Раз как-то поворотил камень, оглядел его, да и говорит:
— Нет, не тот…
Только это промолвил, кто-то и говорит:
— В другом месте поищи… у Змеиной горки.
Глядит Данилушко — никого нет. Кто бы это? Шутят, что ли… Будто и спрятаться негде. Поогляделся еще, пошел домой, а вслед ему опять:
— Слышь, Данило-мастер? У Змеиной горки, говорю.
Оглянулся Данилушко — женщина какая-то чуть видна, как туман голубенький. Потом ничего не стало.
«Что, — думает, — за штука? Неуж сама? А что, если сходить на Змеиную-то?»
Змеиную горку Данилушко хорошо знал. Тут же она была, недалеко от Гумешек. Теперь ее нет, давно всю срыли, а раньше камень поверху брали.
Вот на другой день и пошел туда Данилушко. Горка хоть небольшая, а крутенькая. С одной стороны и вовсе как срезано. Глядельце тут первосортное. Все пласты видно, лучше некуда.
Подошел Данилушко к этому глядельцу, а тут малахитина выворочена. Большой камень — на руках не унести — и будто обделан вроде кустика. Стал оглядывать Данилушко эту находку. Все, как ему надо: цвет снизу погуще, прожилки на тех самых местах, где требуется… Ну, все, как есть… Обрадовался Данилушко, скорей за лошадью побежал, привез камень домой, говорит Прокопьичу:
— Гляди-ко, какой камень! Ровно нарочно для моей работы. Теперь живо сделаю. Тогда и жениться. Верно, заждалась меня Катенька. Да и мне это нелегко. Вот только эта работа меня и держит. Скорей бы ее кончить!
Ну, и принялся Данилушко за этот камень. Ни дня ни ночи не знает. А Прокопьич помалкивает. Может, угомонится парень, как охотку стешит. Работа ходко идет. Низ камня отделал. Как есть, слыш-ко, куст дурмана. Листья широкие кучкой, зубчики, прожилки — все пришлось лучше нельзя. Прокопьич и то говорит — живой цветок-от, хоть рукой пощупать. Ну, а как до верху дошел — тут заколодило. Стебелек выточил, боковые листики тонехоньки — как только держатся! Чашку, как у дурман-цветка, а не то… Не живой стал и красоту потерял. Данилушко тут и сна лишился. Сидит над этой своей чашей, придумывает, как бы поправить, лучше сделать. Прокопьич и другие мастера, кои заходили поглядеть, дивятся, — чего еще парню надо? Чаша вышла — никто такой не делывал, а ему неладно. Умуется парень, лечить его надо. Катенька слышит, что люди говорят, — поплакивать стала. Это Данилушку и образумило.
— Ладно, — говорит, — больше не буду. Видно, не подняться мне выше-то, не поймать силу камня. — И давай сам торопить со свадьбой. Ну, а что торопить, коли у невесты давным-давно все готово. Назначили день. Повеселел Данилушко. Про чашу-то приказчику

сказал. Тот прибежал, глядит — вот штука какая! Хотел сейчас эту чашу барину отправить, да Данилушко говорит:
— Погоди маленько, доделка есть.
Время осеннее было. Как раз около Змеиного праздника свадьба пришлась. К слову кто-то и помянул про это — вот-де скоро змеи все в одно место соберутся. Данилушко эти слова на приметку взял. Вспомнил опять разговоры о малахитовом цветке. Так его и потянуло: «Не сходить ли последний раз к Змеиной горке? Не узнаю ли там чего?» — и про камень припомнил: «Ведь как положенный был! И голос на руднике-то… про Змеиную же горку говорил».
Вот и пошел Данилушко. Земля тогда уже подмерзать стала, и снежок припорашивал. Подошел Данилушко ко крутику, где камень брал, глядит, а на том месте выбоина большая, будто камень ломали. Данилушко о том не подумал, кто этот камень ломал, зашел в выбоину. «Посижу, — думает, — отдохну за ветром. Потеплее тут». Глядит — у одной стены камень-серовик, вроде стула. Данилушко тут и сел, задумался, в землю глядит, и все цветок тот каменный из головы нейдет. «Вот бы поглядеть!» Только вдруг тепло стало, ровно лето воротилось. Данилушко поднял голову, а напротив, у другой-то стены, сидит Медной горы Хозяйка. По красоте-то да по платью малахитову Данилушко сразу ее признал. Только и то думает:
«Может, мне это кажется, а на деле никого нет».
Сидит — молчит, глядит на то место, где Хозяйка, и будто ничего не видит. Она тоже молчит, вроде как призадумалась. Потом и спрашивает:
— Ну что, Данило-мастер, не вышла твоя дурман-чаша?
— Не вышла, — отвечает.
— А ты не вешай голову-то! Другое попытай. Камень тебе будет, по твоим мыслям.
— Нет, — отвечает, — не могу больше. Измаялся весь, не выходит. Покажи каменный цветок.
— Показать-то, — говорит, — просто, да потом жалеть будешь.
— Не отпустишь от горы?
— Зачем не отпущу! Дорога открыта, да только ко мне же ворочаются.
— Покажи, сделай милость!
Она еще его уговаривала:
— Может, еще попытаешь сам добиться! — Про Прокопьича тоже упомянула: — Он-де тебя пожалел, теперь твой черед его пожалеть. — Про невесту напомнила: — Души в тебе не чает, а ты на сторону глядишь.
— Знаю я, — кричит Данилушко, — а только без цвет мне жизни нет. Покажи!
— Когда так, — говорит, — пойдем, Данило-мастер, в мой сад.
Сказала и поднялась. Тут и зашумело что-то, как осыпь земляная. Глядит Данилушко, а стен никаких нет. Деревья стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые из змеевика-камня… Ну, всякие… Только живые, с сучьями, с листочками. От ветру-то покачиваются и голк дают, как галечками кто подбрасывает. Понизу трава тоже каменная. Лазоревая, красная… разная… Солнышко не видно, а светло, как перед закатом. Промеж деревьев-то змейки золотенькие трепыхаются, как пляшут. От них и свет идет.
И вот подвела та девица Данилушку к большой полянке. Земля тут как простая глина, а по ней кусты черные, как бархат. На этих кустах большие зеленые колокольцы малахитовы и в каждом сурьмяная звездочка. Огневые пчелки над теми цветками сверкают, а звездочки тонехонько позванивают, ровно поют.
— Ну, Данило-мастер, поглядел? — спрашивает Хозяйка.
— Не найдешь, — отвечает Данилушко, — камня, чтобы так-то сделать.
— Кабы ты сам придумал, дала бы тебе такой камень, а теперь не могу. — Сказала и рукой махнула. Опять зашумело, и Данилушко на том же камне, в ямине-то этой оказался. Ветер так и свистит. Ну, известно, осень.
Пришел Данилушко домой, а в тот день как раз у невесты вечеринка была. Сначала Данилушко веселым себя показывал — песни пел, плясал, а потом и затуманился. Невеста даже испугалась:
— Что с тобой? Ровно на похоронах ты!

А он и говорит:
— Голову разломило. В глазах черное с зеленым да красным. Света не вижу.
На этом вечеринка и кончилась. По обряду невеста с подружками провожать жениха пошла. А много ли дороги, коли через дом либо через два жили. Вот Катенька и говорит:
— Пойдемте, девушки, кругом. По нашей улице до конца дойдем, а по Еланской воротимся. Про себя думает: «Пообдует Данилушку ветром, — не лучше ли ему станет».
А подружкам что… Рады-радехоньки.
— И то, — кричат, — проводить надо. Шибко он близко живет — провожальную песню ему по-доброму вовсе не певали.
Ночь-то тихая была, и снежок падал. Самое для разгулки время. Вот они и пошли. Жених с невестой попереду, а подружки невестины с холостяжником, который на вечеринке был, поотстали маленько. Завели девки эту песню провожальную. А она протяжно да жалобно поется, чисто по покойнику. Катенька видит — вовсе ни к чему это: «И без того Данилушко у меня невеселый, а они еще такое причитанье петь придумали».
Старается отвести Данилушку на другие думки. Он разговорился было, да только скоро опять запечалился. Подружки Катенькины тем временем провожальную кончили, за веселые принялись. Смех у них да беготня, а Данилушко идет, голову повесил. Сколь Катенька ни старается, не может развеселить. Так и до дому дошли. Подружки с холостяжником стали расходиться — кому куда, а Данилушко уж без обряду невесту свою проводил и домой пошел.
Прокопьич давно спал. Данилушко потихоньку зажег огонь, выволок свои чаши на середину избы и стоит, оглядывает их. В это время Прокопьича кашлем бить стало. Так и надрывается. Он, вишь, к тем годам вовсе нездоровый стал. Кашлем-то этим Данилушку, как ножом по сердцу, резануло. Всю прежнюю жизнь припомнил. Крепко жаль ему старика стало. А Прокопьич прокашлялся, спрашивает:
— Ты что это с чашами-то?
— Да вот гляжу, не пора ли сдавать?
— Давно, — говорит, — пора. Зря только место занимают. Лучше все равно не сделаешь.
Ну поговорили еще маленько, потом Прокопьич опять уснул. И Данилушко лег, только сна ему нет и нет. Поворочился-поворочился, опять поднялся, зажег огонь, поглядел на чаши, подошел к Прокопьичу. Постоял тут над стариком-то, повздыхал…
Потом взял балодку да как ахнет по дурман-цветку, — только схрупало. А ту чашу, — по барскому-то чертежу, — не пошевелил! Плюнул только в середку и выбежал. Так с той поры Данилушку и найти не могли.
Кто говорил, что он ума решился, в лесу загинул, а кто опять сказывал — Хозяйка взяла его в горные мастера.
На деле по-другому вышло. Про то дальше сказ будет.

1938

Горный мастер

Катя, — Данилова-то невеста, — незамужницей осталась. Года два либо три прошло, как Данило потерялся, — она и вовсе из невестинской поры вышла. За двадцать-то годов, по-нашему по-заводскому, перестарок считается. Парни таких редко сватают, вдовцы больше. Ну, а эта Катя, видно, пригожа была, к ней все женихи лезут, а у ней только и слов:
— Данилу обещалась.
Ее уговаривают:
— Что поделаешь! Обещалась, да не вышла. Теперь об этом и поминать не к чему. Давно человек изгиб.

Катя на своем стоит:
— Данилу обещалась. Может, и придет еще он.
Ей толкуют:
— Нет его в живых. Верное дело.
А она уперлась на своем:
— Никто его мертвым не видал, а для меня он и подавно живой.
Видят — не в себе девка, — отстали. Иные насмех еще подымать стали: прозвали ее мертвяковой невестой. Ей это прильнуло. Катя Мертвякова да Катя Мертвякова, ровно другого прозванья не было.
Тут какой-то мор на людей случился, и у Кати старики-то оба умерли. Родство у нее большое. Три брата женатых да сестер замужних сколько-то. Рассорка промеж ними и вышла — кому на отцовском месте оставаться. Катя видит, — бестолковщина пошла, и говорит:
— Пойду-ко я в Данилушкову избу жить. Вовсе Прокопьич старый стал. Хоть за ним похожу.
Братья-сестры уговаривать, конечно:
— Не подходит это, сестра. Прокопьич хоть старый человек, а мало ли что про тебя сказать могут.
— Мне-то, — отвечает, — что? Не я сплетницей стану. Прокопьич, поди-ко, мне не чужой. Приемный отец моему Данилу. Тятенькой его звать стану.
Так и ушла. Оно и то сказать: семейные не крепко вязались. Про себя думали: лишний из семьи — шуму меньше. А Прокопьич что? Ему это по душе пришлось.
— Спасибо, — говорит, — Катенька, что про меня вспомнила.
Вот и стали они поживать. Прокопьич за станком сидит, а Катя по хозяйству бегает — в огороде там, сварить-постряпать и протча. Хозяйство невелико, конечно, на двоих-то… Катя — девушка проворная, долго ли ей!.. Управится и садится за какое рукоделье: сшить-связать, мало ли. Сперва у них гладенько катилось, только Прокопьичу все хуже да хуже. День сидит, два лежит. Изробился, старый стал. Катя и заподумывала, как они дальше-то жить станут.
«Рукодельем женским не прокормишься, а другого ремесла не знаю».
Вот и говорит Прокопьичу:
— Тятенька! Ты бы хоть научил меня чему попроще.
Прокопьичу даже смешно стало.
— Что ты это! Девичье ли дело за малахитом сидеть! Отродясь такого не слыхивал.
Ну, она все ж таки присматриваться к Прокопьичеву ремеслу стала. Помогала ему, где можно. Распилить там, пошлифовать. Прокопьич и стал ей то-другое показывать. Не то, чтобы настояще. Бляшку обточить, ручки к вилкам-ножам сделать и протча, что в ходу было. Пустяшно, конечно, дело, копеечно, а все разоставок при случае.
Прокопьич недолго зажился. Тут братья-сестры уж понуждать Катю стали:
— Теперь тебе заневолю надо замуж выходить. Как ты одна жить будешь?
Катя их обрезала:
— Не ваша печаль. Никакого мне вашего жениха не надо. Придет Данилушко. Выучится в городе и придет.
Братья-сестры руками на нее машут:
— В уме ли ты, Катерина? Эдакое и говорить грех! Давно умер человек, а она его ждет! Гляди, еще блазнить станет.
— Не боюсь, — отвечает, — этого.
Тогда родные спрашивают:
— Чем ты хоть жить-то станешь?
— Об этом, — отвечает, — тоже не заботьтесь. Продержусь одна.
Братья-сестры так поняли, что от Прокопьича деньжонки остались, и опять за свое:
— Вот и вышла дура! Коли деньги есть, мужика беспременно в доме надо. Не ровен час, — поохотится кто за деньгами. Свернут тебе башку, как куренку. Только и свету видела.
— Сколько, — отвечает, — на мою долю положено, столько и увижу.
Братья-сестры долго еще шумели. Кто кричит, кто уговаривает, кто плачет, а Катя заколодила свое:

— Продержусь одна. Никакого вашего жениха не надо. Давно у меня есть.
Осердились, конечно, родные:
— В случае, к нам и глаз не показывай!
— Спасибо, — отвечает, — братцы милые, сестрицы любезные! Помнить буду. Сами-то не забудьте — мимо похаживайте!
Смеется, значит. Ну, родня и дверями хлоп.
Осталась Катя одна-одинешенька. Поплакала, конечно, сперва, потом и говорит:
— Врешь! Не поддамся!
Вытерла слезы и по хозяйству занялась. Мыть да скоблить — чистоту наводить.
Управилась — и сразу к станку села. Тут тоже свой порядок наводить стала. Что ей не нужно, то подальше, а что постоянно требуется, то под руку. Навела так-то порядок и хотела за работу садиться.
«Попробую сама хоть одну бляшку обточить».
Хватилась, а камня подходящего нет. Обломки Данилушковой дурман-чаши остались, да Катя берегла их. В особом узле они были завязаны. У Прокопьича камня, конечно, много было. Только Прокопьич до смерти на больших работах сидел. Ну, и камень все крупный. Обломышки да кусочки все подобрались — порасходовались на мелкую поделку. Вот Катя и думает:
«Надо, видно, сходить на руднишных отвалах поискать. Не попадет ли подходящий камешок».
От Данилы да от Прокопьича она слыхала, что они у Змеиной горки брали. Вот туда и пошла.
На Гумешках, конечно, всегда народ: кто руду разбирает, кто возит. Глядят на Катю-то — куда она с корзинкой пошла. Кате это нелюбо, что на нее зря глаза пялят. Она и не стала на отвалах с этой стороны искать, обошла горку-то. А там еще лес рос. Вот Катя по этому лесу и забралась на самую Змеиную горку да тут и села. Горько ей стало — Данилушко вспомнила. Сидит на камне, а слезы так и бегут. Людей нет, лес кругом, — она и не сторожится. Так слезы на землю и каплют. Поплакала, глядит — у самой ноги малахит-камень обозначился, только весь в земле сидит. Чем его возьмешь, коли ни кайлы, ни лома? Катя все ж таки пошевелила его рукой. Показалось, что камень не крепко сидит. Вот она и давай прутиком каким-то землю отгребать от камня. Отгребла сколько можно, стала вышатывать. Камень и подался. Как хрупнуло снизу, — ровно сучок с ломился. Камешок небольшой, вроде плитки. Толщиной пальца в три, шириной в ладонь, а длиной не больше двух четвертей. Катя даже подивилась:
— Как раз по моим мыслям. Распилю его, так сколько бляшек выйдет. И потери самый пустяк.
Принесла камень домой и сразу занялась распиливать. Работа небыстрая, а Кате еще надо по домашности управляться. Глядишь, весь день в работе, и скучать некогда. Только как за станок садится, все про Данилушку вспомнит:
— Поглядел бы он, какой тут новый мастер объявился. На его-то да Прокопьичевом месте сидит!
Нашлись, конечно, охальники. Как без этого… Ночью под какой-то праздник засиделась Катя за работой, а трое парней и перелезли к ней в ограду. Попугать хотели али еще что — их дело, только все выпивши. Катя ширкает пилой-то и не слышит, что у ней в сенках люди. Услышала, когда уж в избу ломиться стали:
— Отворяй, мертвякова невеста! Принимай живых гостей!
Катя сперва уговаривала их:
— Уходите, ребята!
Ну, им это ничего. Ломятся в дверь, того и гляди — сорвут. Тут Катя скинула крючок, расхлобуснула двери и кричит:
— Заходи, не то. Кого первого лобанить?
Парни глядят, а она с топором.
— Ты, — говорят, — без шуток!
— Какие, — отвечает, — шутки! Кто за порог, того и по лбу.
Парни, хоть пьяные, а видят — дело не шуточное. Девка возрастная, оплечье крутое, глаз решительный, и топор, видать, в руках бывал. Не посмели ведь войти-то. Пошумели-

пошумели, убрались да еще сами же про это рассказали. Парней и стали дразнить, что они трое от одной девки убежали. Им это не полюбилось, конечно, они сплели, будто Катя не одна была, а за ней мертвяк стоял.
— Да такой страшный, что заневолю убежишь.
Парням поверили — не поверили, а по народу с той поры пошло:
— Нечисто в этом доме. Недаром она одна-одинешенька живет.
До Кати это донеслось, да она печалиться не стала. Еще подумала: «Пущай плетут. Мне так-то и лучше, если побаиваться станут. Другой раз, глядишь, не полезут».
Соседи и на то дивятся, что Катя за станком сидит. На смех ее подняли:
— За мужичье ремесло принялась! Что у нее выйдет!
Это Кате солонее пришлось. Она и сама подумывала:
«Выйдет ли у меня у одной-то!» Ну, все ж таки с собой совладала: «Базарский товар! Много ли надо? Лишь бы гладко было… Неуж и того не осилю?»
Распилила Катя камешок. Видит — узор на редкость пришелся, и как намечено, в котором месте поперек отпилить. Подивилась Катя, как ловко все пришлось. Поделила по-готовому, обтачивать стала. Дело не особо хитрое, а без привычки тоже не сделаешь. Помаялась сперва, потом научилась. Хоть куда бляшки вышли, а потери и вовсе нет. Только то и в брос, что на сточку пришлось.
Наделала Катя бляшек, еще раз подивилась, какой выходной камешок оказался, и стала смекать, куда сбыть поделку. Прокопьич такую мелочь в город, случалось, возил и там все в одну лавку сдавал. Катя много раз про эту лавку слыхала. Вот она и придумала сходить в город.
«Спрошу там, будут ли напредки мою поделку принимать».
Затворила избушку и пошла пешочком. В Полевой и не заметили, что она в город убралась. Узнала Катя, где тот хозяин, который у Прокопьича поделку принимал, и заявилась прямо в лавку. Глядит — полно тут всякого камня, а малахитовых бляшек целый шкап за стеклом. Народу в лавке много. Кто покупает, кто поделку сдает. Хозяин строгий да важный такой. Катя сперва и подступить боялась, потом насмелилась и спрашивает:
— Не надо ли малахитовых бляшек?
Хозяин пальцем на шкап указал:
— Не видишь, сколь у меня добра этого?
Мастера, которые работу сдавали, припевают ему:
— Много ноне на эту поделку мастеров развелось. Только камень переводят. Того не понимают, что для бляшки узор хороший требуется.
Один-то мастер из полевских. Он и говорит хозяину потихоньку:
— Недоумок эта девка. Видели ее соседи за станком-то. Вот, поди, настряпала.
Хозяин тогда и говорит:
— Ну-ко, покажи, с чем пришла?
Катя и подала ему бляшку. Поглядел хозяин, потом на Катю уставился и говорит:
— У кого украла?
Кате, конечно, это обидно показалось. По-другому она заговорила:
— Какое твое право, не знаючи человека, эдак про него говорить? Гляди вот, если не слепой! У кого можно столько бляшек на один узор украсть? Ну-ко, скажи! — и высыпала на прилавок всю свою поделку.
Хозяин и мастера видят — верно, на один узор. И узор редкостный. Будто из середины-то дерево выступает, а на ветке птица сидит и внизу тоже птица. Явственно видно и сделано чисто. Покупатели слышали этот разговор, потянулись тоже поглядеть, только хозяин сразу все бляшки прикрыл. Нашел заделье.
— Не видно кучей-то. Сейчас я их под стекло разложу. Тогда и выбирайте, что кому любо. — А сам Кате говорит: — Иди вон в ту дверь. Сейчас деньги получишь.
Пошла Катя, и хозяин за ней. Затворил дверку, спрашивает:
— Почем сдаешь?
Катя слыхала от Прокопьича цены. Так и сказала, а хозяин давай хохотать:
— Что ты! Что ты! Такую-то цену я одному полевскому мастеру Прокопьичу платил да еще его приемышу Данилу. Да ведь то мастера были!
— Я, — отвечает, — от них и слыхала. Из той же семьи буду.

— Вон что! — удивился хозяин. — Так это, видно, у тебя Данилова работа осталась?
— Нет, — отвечает, — моя.
— Камень, может, от него остался?
— И камень тоже сама добывала.
Хозяин, видать, не верит, а только рядиться не стал. Рассчитался по-честному да еще говорит:
— Вперед случится такое сделать, неси. Безотказно принимать буду и цену положу настоящую.
Ушла Катя, радуется, — сколько денег получила! А хозяин те бляшки под стекло выставил. Покупатели набежали:
— Сколько?
Он, конечно, не ошибся — в десять раз против купленного назначил, да и наговаривает:
— Такого узора еще не бывало. Полевского мастера Данилы работа. Лучше его не сделать.
Пришла Катя домой, а сама все дивится.
— Вот штука какая! Лучше всех мои бляшки оказались! Хорош камешок попался. Случай, видно, счастливый подошел. — Потом и хватилась: — А не Данилушко ли это мне весточку подал?
Подумала так, скрутилась и побежала на Змеиную горку.
А тот малахитчик, который хотел Катю перед городским купцом оконфузить, тоже домой воротился. Завидно ему, что у Кати такой редкостный узор получился. Он и придумал:
— Надо поглядеть, где она камень берет. Не новое ли какое место ей Прокопьич либо Данило указали?
Увидел, что Катя куда-то побежала, он и пошел за ней. Видит — Гумешки она обошла стороной и куда-то за Змеиную горку пошла. Мастер туда же, а сам думает: «Там лес. По лесу-то к самой ямке прокрадусь».
Зашли в лес. Катя вовсе близко и нисколько не сторожится, не оглядывается, не прислушивается. Мастер радуется, что ему так легонько достанется новое место. Вдруг в сторонке что-то зашумело, да так, что мастер даже испугался. Остановился. Что такое? Пока он так-то разбирался, Кати и не стало. Бегал он, бегал по лесу. Еле выбрался к Северскому пруду, — версты, поди, за две от Гумешек.
Катя сном дела не знала, что за ней подглядывают. Забралась на горку, к тому самому месту, где первый камешок брала. Ямка будто больше стала, а сбоку опять такой же камешок видно. Пошатала его Катя, он и отстал. Опять как сучок хрупнул. Взяла Катя камешок и заплакала-запричитала. Ну, как девки-бабы по покойнику ревут, всякие слова собирают:
— На кого ты меня, мил сердечный друг, покинул, — и протча тако…
Наревелась, будто полегче стало, стоит — задумалась, в руднишную сторону глядит. Место тут вроде полянки. Кругом лес густой да высокий, а в руднишную сторону помельче пошел. Время на закате. По низу от лесу на полянке темнеть стало, а в то место — к руднику солнышко пришлось. Так и горит это место, и все камешки на нем блестят.
Кате это любопытно показалось. Хотела поближе подойти. Шагнула, а под ногой и схрупало. Отдернула она ногу, глядит — земли-то под ногами нет. Стоит она на каком-то высоком дереве, на самой вершине. Со всех сторон такие же вершины подошли. В прогалы между деревьями внизу видно травы да цветы, и вовсе они на здешние не походят.
Другая бы на Катином месте перепугалась, крик-визг подняла, а она вовсе о другом подумала:
«Вот она, гора, раскрылась! Хоть бы на Данилушку взглянуть!»
Только подумала и видит через прогалы — идет кто-то внизу, на Данилушку походит и руки вверх тянет, будто сказать что хочет. Катя свету невзвидела, так и кинулась к нему… с дерева-то! Ну, а пала тут же на землю, где стояла. Образумилась, да и говорит себе:
— Верно, что блазнить мне стало. Надо поскорее домой идти.
Идти надо, а сама сидит да сидит, все ждет, не вскроется ли еще гора, не покажет ли она опять Данилушко. Так до потемок и просидела. Тогда только и домой пошла, а сама думает: «Повидала все ж таки Данилушку».

Тот мастер, который за Катей подглядывал, домой к этому времени выбежал. Поглядел — избушка у Кати заперта. Он и притаился, — посмотрю, что она притащила. Видит — идет Катя, он встал поперек дороги:
— Ты куда это ходила?
— На Змеиную, — отвечает.
— Ночью-то? Что там делать?
— Данилу повидать…
Мастер так и шарахнулся, а на другой день по заводу шепотки поползли:
— Вовсе рехнулась мертвякова невеста. По ночам на Змеиную ходит, покойника ждет. Как бы еще завод не подожгла с малого-то ума.
Братья-сестры прослышали, опять прибежали, давай сторожить да уговаривать Катю. Только она и слушать не стала. Показала им деньги и говорит:
— Это, думаете, откуда у меня? У хороших мастеров не берут, а мне за перводелку столько отвалили! Почему так?
Братья слышали про ее-то удачу и говорят:
— Случай счастливый вышел. О чем тут говорить.
— Таких, — отвечает, — случаев не бывало. Это мне Данило сам такой камень подложил и узор вывел.
Братья смеются, сестры руками машут:
— И впрямь рехнулась! Надо приказчику сказать. Как бы всамделе завод не подожгла.
Не сказали, конечно. Постыдились сестру-то выдавать. Только вышли, да и сговорились:
— Надо за Катериной глядеть. Куда пойдет — сейчас же за ней бежать.
А Катя проводила родню, двери заперла да принялась новый-то камешок распиливать. Пилит да загадывает:
— Коли такой же издастся, значит, не поблазнило мне — видала я Данилушку.
Вот она и торопится распилить. Поглядеть-то ей поскорее охота, как по-настоящему узор выйдет. Ночь уж давно, а Катя все за станком сидит. Одна сестра проснулась в эту пору, увидела огонь в избе, подбежала к окошку, смотрит сквозь щелку в ставне и дивится:
— И сон ее не берет! Наказанье с девкой!
Отпилила Катя досочку — узор и обозначился. Еще лучше того-то. Птица с дерева книзу полетела, крылья расправила, а снизу навстречу другая летит. Пять раз этот узор на досочке. Из точки в точку намечено, как поперек распилить. Катя тут и думать не стала. Схватилась, да и побежала куда-то. Сестра за ней. Дорогой-то постучалась к братьям — бегите, дескать, скорей. Выбежали братья, еще народ сбили. А уже светленько стало. Глядят, — Катя мимо Гумешек бежит. Туда все и кинулись, а она, видно, и не чует, что народ за ней. Пробежала рудник, потише пошла в обход Змеиной горки. Народ тоже призадержался — посмотрим, дескать, что она делать будет.
Катя идет, как ей привычно, на горку. Взглянула, а лес кругом какой-то небывалый. Пощупала рукой дерево, а оно холодное да гладкое, как камень шлифованный. И трава понизу тоже каменная оказалась, и темно еще тут, Катя и думает:
«Видно, я в гору попала».
Родня да народ той порой переполошились.
— Куда она девалась? Сейчас близко была, а не стало!
Бегают, суетятся. Кто на горку, кто кругом горки. Перекликаются друг с дружкой:
— Там не видно?
А Катя ходит в каменном лесу и думает, как ей Данилу найти. Походила-походила, да и закричала:
— Данило, отзовись!
По лесу голк прошел. Сучья запостукивали: «Нет его! Нет его! Нет его!» Только Катя не унялась:
— Данило, отзовись!
По лесу опять: «Нет его! Нет его! Нет его!» Катя снова:
— Данило, отзовись!
Тут Хозяйка горы перед Катей и показалась.
— Ты зачем, — спрашивает, — в мой лес забралась? Чего тебе? Камень, что ли, хороший ищешь? Любой бери, да уходи поскорее!

Катя тут и говорит:
— Не надо мне твоего мертвого камня! Подавай мне живого Данилушку. Где он у тебя запрятан? Какое твое право чужих женихов сманивать!
Ну, смелая девка. Прямо на горло наступать стала. Это Хозяйке-то! А та ничего, стоит спокойненько:
— Еще что скажешь?
— А то и скажу — подавай Данилу! У тебя он…
Хозяйка расхохоталась, да и говорит:
— Ты, дура-девка, знаешь ли, с кем говоришь?
— Не слепая, — кричит, — вижу. Только не боюсь тебя, разлучница! Нисколечко не боюсь! Сколь ни хитро у тебя, а ко мне Данило тянется. Сама видала. Что, взяла?
Хозяйка тогда и говорит:
— А вот послушаем, что он сам скажет.
До того в лесу темненько стало, а тут сразу ровно он ожил. Светло стало. Трава снизу разными огнями загорелась, деревья одно другого краше. В прогалы полянку видно, а на ней цветы каменные, и пчелки золотые, как искорки, над теми цветами. Ну, такая, слышько, красота, что век бы не нагляделся. И видит Катя: бежит по этому лесу Данило. Прямо к ней. Катя навстречу кинулась:
— Данилушко!
— Подожди, — говорит Хозяйка, — спрашивает: — Ну, Данило-мастер, выбирай — как быть? С ней пойдешь — все мое забудешь, здесь останешься — ее и людей забыть надо.
— Не могу, — отвечает, — людей забыть, а ее каждую минуту помню.
Тут Хозяйка улыбнулась светленько и говорит:
— Твоя взяла, Катерина! Бери своего мастера. За удалость да твердость твою вот тебе подарок. Пусть у Данилы все мое в памяти останется. Только вот это пусть накрепко забудет! — И полянка с диковинными цветами сразу потухла. — Теперь ступайте в ту сторону, — указала Хозяйка да еще упредила: — Ты, Данило, про гору людям не сказывай. Говори, что на выучку к дальнему мастеру ходил. А ты, Катерина, и думать забудь, что я у тебя жениха сманивала. Сам он пришел за тем, что теперь забыл.
Поклонилась тут Катя:
— Прости на худом слове!
— Ладно, — отвечает, — что каменной сделается! Для тебя говорю, чтоб остуды у вас не было.
Пошла Катя с Данилой по лесу, а он все темней да темней, и под ногами неровно — бугры да ямки. Огляделись, а они на руднике — на Гумешках. Время еще раннее, и людей на руднике нет. Они потихоньку и пробрались домой. А те, что за Катей побежали, все еще по лесу бродят да перекликаются:
— Там не видно?
Искали-искали, не нашли. Прибежали домой, а Данило у окошка сидит.
Испугались, конечно. Чураются, заклятья разные говорят. Потом видят — трубку Данило набивать стал. Ну и отошли.
«Не станет же, — думают, — мертвяк трубку курить».
Подходить стали один по одному. Глядят — и Катя в избе. У печки толкошится, а сама веселехонька. Давно ее такой не видали. Тут и вовсе осмелели, в избу вошли, спрашивать стали:
— Где это тебя, Данило, давно не видно?
— В Колывань, — отвечает, — ходил. Прослышал про тамошнего мастера по каменному делу, будто лучше его нет по работе. Вот и заохотило поучиться маленько. Тятенька покойный отговаривал. Ну, а я посамовольничал — тайком ушел. Кате вон только сказался.
— Пошто, — спрашивают, — чашу свою разбил?
Данило притуманился маленько, как о чаше помянули, потом говорит:
— Ну, мало ли… С вечорки пришел… Может, выпил лишка… Не по мыслям пришлась, вот и ахнул. У всякого мастера такое, поди, случалось. О чем говорить.
Тут братья-сестры к Кате приступать стали, почему не сказала про Колывань-то. Только от Кати тоже немного добились. Сразу отрезала:

— Чья бы корова мычала, моя бы молчала. Мало я вам сказывала, что Данило живой. А вы что? Женихов мне подсовывали да с пути сбивали! Садитесь-ко лучше за стол. Испеклась у меня чирла-то.
На том дело и кончилось. Посидела родня, поговорила о том-другом, разошлась. Вечером пошел Данило к приказчику объявиться. Тот пошумел, конечно. Ну, все-таки уладили дело. Вот и стали Данило с Катей в своей избушке жить. Хорошо, сказывают, жили, согласно. По работе-то Данилу все горным мастером звали. Против него никто не мог сделать. И достаток у них появился. Только нет-нет — и задумается Данило. Катя понимала, конечно, — о чем, да помалкивала.

1939

Константин Федин

Старик

Предисловие

В раннем детстве моем иногда слышал я разговоры о старине, и из небытия, из совершенной пустоты, из какого-то темного, зияющего «ничто» возникало настоящее. Как происходило это?
Часто речь велась о старом Саратове — городе, которого давно не было и который странно жил где-то тут же, бок о бок с моей маленькой жизнью. Саратов — моя родина. Задолго до моего рождения город начал расти, уходить в сторону от того места, где когда-то закладывалась его судьба. Но старые стены все еще сохранялись, улицы носили прежние названия, и вдруг с неожиданной ясностью, почти до испуга осязаемо, я прикасался к прошлому. Мое воображение было так же велико, как мал был мой возраст, и я населял заброшенные улицы жизнью, которой не видали никогда даже мои деды. Так настоящая жизнь включала в себя это прошлое с тою же силой действительности, с какой для меня — семилетнего мальчугана — действительны были дворовые игры или мой утренний завтрак — молоко пополам с горячей водою, кусок сахару и саратовский белый калач.
Это — начальное основание рассказа…
Возможно, что одним из первых писателей, имя которого я узнал в детстве, был Николай Гаврилович Чернышевский. Мой отец немного знал его лично, имя его изредка поминалось у нас дома, когда — в прекраснодушии — отец рассказывал, на какой бумаге любил писать Чернышевский, когда переводил сочинение немца Вебера. Наверное, с тех пор я привык останавливаться на судьбе этого писателя.
Меня поразило недавно, что Чернышевского в детстве страшно тянуло посмотреть таинственный дом купца Корнилова — на углу Московской и Большой Сергиевской. В одном рассказе он писал: «Угол дома был закруглен и поднят куполом, выкрашенным зеленою краскою, между тем как остальная, тоже железная, кровля была красная».
Слова эти наполнены ужасом.
Угол дома действительно был закруглен и поднят куполом!
И как же не знать мне этого дома (в мое время — братьев Шмидтов), если я пугался не только пройти мимо него, но даже представить его подвальные окна, забранные кованым железом?
Этот дом на самом деле страшен. На протяжении века он излучает своими окнами, своим закругленным углом непонятное представление о таинственном.

И не реален ли был мир моего воображения, когда я вызывал к жизни старый, прадедовый Саратов — вот на этих улицах, около этих стен — и когда улица и стены десятилетия назад и в пору моего детства жили одною неизменяющейся жизнью?
В автобиографии, написанной в Алексеевском равелине, Чернышевский много уделял воспоминаниям о старом Саратове, и теперь составлены целые очерки о топографии города по воспоминаниям писателя.
Наконец, случайно я узнал торопливый набросок Чернышевского под названием «Покража».
История, описанная в наброске, произошла в Саратове, и сюжет ее я кладу вторым основанием моего рассказа…
И вот, последнее основание, третье: член общества «Арзамас», Филипп Филиппович Вигель, автор хорошо известных «Записок», говорит в них об Алексее Давыдовиче Панчулидзеве. Имя это было так многославно в нашем городе, что даже до меня долетели обрывки чудесных, почти невообразимых легенд о былом саратовском губернаторе. Остатки дряхлых рощ окружали уже не губернаторскую дачу, а институт «благородных девиц», но беспокоящее очарование парка, видно, и в мое время было столь же велико, как в детские годы Чернышевского, который пристально и восхищенно вспоминает исчезнувший памятник. Я всегда готов был много дать, чтобы лишний раз побыть в заброшенной губернаторской роще. И я бывал в ней, и я ловил в ней птиц со своим приятелем — таким же бездельником, как я…
И я не знаю точно — где тут действительность, где книги, не спутались ли воспоминания моего отца с живым днем настоящего и нет ли во всей истории чего-нибудь из рассказов протопопа Сергиевской города Саратова церкви отца Гаврилы Чернышевского иль, может быть, арзамасца Филиппа Филипповича Вигеля?
Но единое во многом, и многое в едином.
На этом — конец, вероятно излишнего, предисловия и начало повести, которая могла быть рассказана лет девяносто назад.

Первая глава

На бульваре, на главной просторной аллее, сидел в трехколесном кресле старик. Кресло было поставлено под липу так, чтобы тень защищала голову старика, а ноги его, покрытые одеялом, грело солнце. Старик дремал.
Молодой парень, одетый под господского казачка — в плисовых шароварах и безрукавке, в голубой сатиновой рубахе, — сидел неподалеку на садовой скамейке. Изредка он подходил к креслу и подкатывал его глубже в тень, когда солнечный свет заползал слишком высоко на грудь старика.
Прохожих было мало, кое-кто из них кланялся старику, но он не отвечал. Понемногу — от неподвижности, зноя и однотонного чириканья воробьев — дремота одолела и парня.
Прошло с полчаса. Солнце добралось до головы старика, припекло его, он очнулся, повел вокруг себя прозрачно-водянистыми глазами и вдруг насторожился.
По аллее двигалась к нему молодая модница в розовой пене оборок, под кружевным зонтиком, с беленьким шпицем на шнурочке. Шпиц шел вприпрыжку, подбирая и словно отряхивая лапки, пушистая шерстка на нем подпрыгивала, и так же, как шерстка на шпице, с каждым шагом модницы подымались и падали розовые оборки ее платья.
Шпиц подбежал к креслу, понюхал одеяло, но шнурочек тут же отдернул собаку, и старик расслышал жеманно-протянутые слова:
— Ступай, Дэнди, ступай!
Голос показался старику истомленным, ленивым, но таким увертливым, что захотелось прикрыть глаза, чтобы подольше удержать в памяти его музыку.
— Вася! — крикнул старик. — Василий!
Парень спросонок подскочил на скамейке и заученно откликнулся:
— Слушаю, Мирон Лукич!
— Вези! — быстро приказал старик. — Куда, куда, дурак? — воскликнул он, едва парень начал поворачивать кресло. — Пошел назад! Шибче!
Но уже через минуту он опять приструнил Василия:
— Чего несет нелегкая? Легше!

Кресло катилось по бульвару следом за розовыми оборками, кружевным зонтиком, следом за шорохом шелков и нежным, приторным запахом помады.
Мирон Лукич смотрел на модницу. Он никогда прежде не встречал ее, он не видывал, чтобы барыня хаживала рот с этакой озабоченностью — ну совсем так, будто нельзя потерять ни одной секунды, и в то же время словно и неторопливо, без всякой поспешности, так себе — прогуливает мадам своего песика на шнурочке, в этом и заключается вся приятная забота. Ни такой поступи — безыскусной и как будто хорошо обдуманной, ни такой руки с зонтиком, ни даже такого зонтика ни разу не попадалось Мирону Лукичу на бульваре, и он все тужился разглядеть получше лицо необычной барыни, и все никак не мог, потому что дурак Васька был сбит с панталыку и не знал, как нужно катить кресло.
— Легше! — шипел на него Мирон Лукич.
И опять, спустя недолго:
— Подгоняй, подгоняй! Заснул!
Наконец перед самым выходом из бульвара шпиц потянул куда-то в сторону, барыня приостановилась, откинула на плечо зонтик, кресло догнало ее, и тогда, на одно мгновение, Мирон Лукич увидел пронизанное солнцем маленькое ухо женщины между двумя тонкими завитушками буклей, под шляпой. Оно просвечивало насквозь и было розовое, розовое, как оборки платья, как зонтик, и завитушки буклей горели мягкой рыжизною, почти переходившей в розовое, теплое, солнечное.
— Поправей, вперед! — совсем тихо приказал Мирон Лукич.
Но было уже поздно: шпиц, отряхивая лапки, побежал в воротца, и хозяйка его покинула бульвар, даже не приметив старика в кресле.
Тут же, с улицы, к Мирону Лукичу подошел человек, похожий на приказчика, в парусиновой рубашке, с кисточками на концах пояса, снял картуз и почтительно улыбнулся:
— Как изволите здравствовать, Мирон Лукич?
— Не жалуюсь, — резко ответил старик.
— Слава богу-с, — возразил приказчик и еще более почтительно справился: — В каком нахождении ножки-с?
— Что проку в ногах? — прикрикнул старик. — Я, чай, не плясуном быть!
Он тряхнул головой Василию:
— Чего стал?
— Куда изволите?
— На кудыкины горы! Не знаешь, пора домой!
Он вынул из жилета большие — в кулак — серебряные часы, достал ключик и завел пружину. До самого дома он не проронил ни слова.
Кресло следовало обычным своим путем — по крутой Армянской улице, к Волге, вниз по взвозу, на Миллионную.
Миллионная скрипела телегами, оглоблями, деревянными шестеренками соляных мельниц, петлями и засовами лабазных ворот. Здесь гуляла прохлада, строения громоздились друг на друга, из ворот в ворота тянуло сквозняками, сквозняки несли с собой тяжелый дух пакли, канатов, лежалой соли. Соль хрустела под ногами, под колесами телег, скрежетала и посвистывала в жерновах, и в соляном хрусте, в деревянных скрипах глухо охали человеческие голоса, понукавшие лошадей на мельницах.
Возчики, галахи, базарники дали Мирону Лукичу дорогу. Как всегда, Василий и мельничный работник внесли его в кресле с парадного крыльца в дом. Дом Мирона Лукича — гуляевский дом — был полукаменный. С Миллионной улицы — приземистый, окнами близко к земле, со двора — высокий, в полтора этажа: улица обрывом падала на берег, к Волге.
По бокам дома, лицом на Миллионную, стояли лабазы и мельницы, по двору к ним примыкали гребицы, баня, амбары, кольцом охватывая гуляевские владения. Построек было много; они теснили людей с возами, но теснота была привычной, издавней, и казалось — все было хорошо, удобно.
В этот час, после прогулки, Мирону Лукичу подавали обед. Он не ел мясного, по утрам ему приносилась рыба из садков, с Волги, он сам отбирал на обед подлещика, сазана, стерлядь.

Василий пододвинул кресло к столу, постелил салфетку на колени Мирона Лукича, но хозяин приказал:
— Накрой миску, чтобы не стыло!
Он отвернулся от стола, помолчал, потом вздохнул негромко:
— Ну, наливай!
И тут же, беспокойно зашевелившись, точно разыскивая что-то, окидывая глазами комнату, строго добавила:
— Подай зеркало.
Василий бросился шарить на комоде.
— Подвинь к окну, — сказал Мирон Лукич.
Не спеша он приблизил к лицу овальное зеркальце, и первое, что бросилось ему в глаза, были уши — большие желтые уши, с пучками сивых волос, вылезавшими из раковин. Мирон Лукич пощупал мясистые, покрытые пухом мочки, потер лицо ладонью, пригладил бороду.
— Часу в четвертом сбегай за цирюльником, — сказал он, возвращая Василию зеркало.
Ел Мирон Лукич разборчиво, привередливо и скоро отодвинул тарелки. Василий закатил кресло в темный угол комнаты, за занавеску, подсунул под голову Мирона Лукича подушку, убрал посуду и аккуратно притворил за собою дверь.
Старик остался отдыхать. Но ему не спалось. Руки его — изжелта-красные, в трещинах, как гусиные лапки, — были непокойны. Он постукал ногтями по плетеным подлокотникам кресла, выдернул из-под головы подушку, бросил ее на кровать и схватился за колокольчик.
— Зови, — коротко велел он Василию.
Жернова и колеса на мельницах поскрипывали однозвучно, привороженные к своим осям, не дальше от них и не ближе к ним, чем были минуту назад, час, месяц и год. Васька носился по двору, кликал:
— Пал Мироныч, Пал Мироныч, вас батюшка!
Потом прибегал в комнату старика, запыхавшись, выпаливал:
— Идут-с! — и становился у косяка.
Младший сын Мирона Лукича — Павел — являлся перед отцом.
Он вошел и на этот раз с привычным, затверженным вопросом о том, как отдыхал батюшка, готовый слушать приказанья и давать отчет в дневной работе. Он стоял, тяжелорукий, спокойный, с упрямым взглядом таких же, как у старика, прозрачных светлых глаз.
— Ну, что? — спросил отец и, не подождав, отворачивая голову к окну, объявил: — С чего это нынче подводы стали дороги? Пошли-ка за Денисенкой, пусть придет.
Подводы были не дороже, чем всегда. Летом извоз только и зарабатывал, зимою цену сбивали деревенские. Павел начал было говорить об этом, но старик оборвал:
— А ты слушай: пошли сходить за ямщиком Денисенкой!
По сему и было.
Легко сказать: по сему и было. На шестеренке обломился деревянный зубец — велико ли дело? А надо остановить мельницу, вывести из работы целый постав.
С тех пор как Мирона Лукича паралич усадил в кресло, гуляевское хозяйство, а вокруг него и вся жизнь завертелись без перебоя. И вдруг какой-то зубец дал явную трещину. Мирон Лукич потерял послеобеденный сон, цирюльник затребован был не в банный день, а посередине недели, и опять выплыл на божий свет давно забытый хромоногий Денисенко.
Хуже всего было то, что разговор с Денисенкой велся Мироном Лукичом при закрытых дверях, а вечером, когда Павел — по обычаю — сдал отцу ключи и на дворе спущены были собаки, через парадное крыльцо доставили Мирону Лукичу письмо.
Старик выслал из комнаты Василия, долго ждал, пока на дворе затихнет собачий лай, долго вслушивался в тишину и поглядывал на дверь, потом быстро гусиными своими лапками отодрал с письма сургучную печать и развернул бумагу.
Знакомыми, плохо увязанными буквами на бумаге нацарапано было без подписи:
«Агриппина Авдеевна госпожа Шишкина из девиц на Московском взвозе в доме коллеж, ассе. Болдина наискосок семинарии пониже».
Мирон Лукич осветился улыбкой. Она была неподвижна, Мирон Лукич словно забыл о ней, от напряжения слезы блеснули на его веках. Потом он сунул письмо под себя и громко позвал:

— Васька!
И когда появился Василий, Мирон Лукич поощряюще и ублаженно сказал:
— Ах, пентюх!
Он осмотрел его с головы до ног.
— Растяпа! — проговорил он с удовольствием. — Рохля! Ну, что стал?
Мирон Лукич засмеялся.
— Ступай, болван, подай чаю. Да достань рому из этажерки. Да позови Павла Мироныча, спроси, может, он тоже хочет рому.
Он повторил:
— Пентюх!
И опять засмеялся.
Вторая глава
Соль шла с Елтонского озера, из-за Волги, как только устанавливался санный путь. Тысячи подвод приходили на Елтон и ползли назад к Волге снежной пустыней, рассаживаясь на поворотах дороги, как поплавки сети, натянутой течением реки. Веснами соль грузилась на косоушки, караваны суденышек плыли под парусами, тянулись бечевою против воды, в Саратов.
Летом купцы и подрядчики, очистившись от пошлин, взяв на торгах поставки, ездили на Елтон облюбовывать новые участки промыслов, подписываясь сделками.
Старший сын Гуляева — Петр — с болезни отца правил почти всем делом, не раз бывал на Елтоне и этим летом возвращался с озера домой удачливый, сосредоточенно покойный, степенный не по годам: дела были хорошо слажены, все сошлось колесом к колесу.
Но дома ждало Петра Мироныча расстройство. Колеса, оказалось, сильно покоробило, и опытное ухо сразу разобрало угрожающий треск.
— Что же, он так ни словом и не обмолвился? — спросил Петр у младшего брата, выслушав рассказ об отце.
— Хоть бы словечком, — сказал Павел. — Только что два раза меня ромом попотчевал.
— Ласковый стал?
— Павлуша да Павлуша!
— Ясное дело, — решил Петр. — А Денисенко что?
— Много с него возьмешь: хохол! Все на ужимочке.
— Ладно, — сказал Петр, — пойду докладывать.
Доклад его мало занимал Мирона Лукича. Старик слушал молча, облизывая губы, точно они клеились от сладкого, и только под конец в пустом, водянистом его взгляде словно скользнул мимолетный смешок.
— Стало быть, в полном порядке? — спросил он. — Ну, слава богу. Поди, Петруша, целуй.
Петр нагнулся, поцеловал отца в подставленную щеку, отступил назад.
— У нас тут тоже слава богу, — сказал Мирон Лукич. — Верно я говорю, Павлуша?
Павел промямлил:
— Слава богу.
Старик рассмеялся, по очереди взглянул на сыновей, вдруг оборвал смех и, точно изумившись, что около него все еще кто-то стоит, кончил разговор:
— Что еще? Ступайте к себе.
Он посмотрел сыновьям в спины.
Они были одинаковы: широкие лопатки выпукло обозначились на поддевках, придавленные тяжкими дугами плеч.
— В отца, — прошептал старик и не то о вызовом, не то одобрительно мотнул головою на дверь.
Братья стояли друг против друга, опешив. Старший нашелся первый, сказал:
— Без Денисенки не распутаться.
«— Нужны деньги, — отозвался Павел.
— У меня есть.
— Он балованный. Дешево не отделаешься.
— Хватит. Пойдем.
И они пошли.

Денисенко держал извозный и ямской двор, почти весь перевоз через Волгу был у него в руках, лошади его славились, с легкою доводилось ему бывать и в Пензе и в Тамбове, ямщиком он был отменным.
Двор стоял на краю оврага, за Казанской церквью. Навоз из конюшен и со двора валили в овраг, оттуда поднимался тепло-сладкий парок тлена, и все вокруг дышало этим парком, плавало в нем и утопало.
Как все покровские хохлы, Денисенко коверкал свою речь, мешал ее с кацапской, говорил враспевочку, точно приседая в конце слов. Он прыгал на одной здоровой ноге, подобрав больную по-куриному, под живот, и открещивался:
— Це ж откуда мне ведать, що вин замышляет?
— А о чем ты ему писал письма? — мрачно допытывался Петр.
— Письма? Оборони меня царица небесная! Слыхом не слыхал про письма!
— Ведь я знаю! — сказал Павел.
— Що таке?
— Как от тебя отцу письма приносились.
Денисенко щерился:
— Вы ж те письма не бачили?
— А вот и бачил! — прикрикнул Петр.
— Не бачили! — смеялся Денисенко.
Так они перекались, разглядывая друг друга и прикидывая, когда удобно перейти к самому делу. Наконец Петр спросил:
— Сколько хочешь?
Денисенку точно громом сразило. Он подпрыгнул, метнулся под образа, присел на лавку.
— Чур мне чуру! — тихонько пробормотал он, утирая со лба пот. — Що я, ослыхался, Петр Мироныч?
— Ничего не ослышался, — спокойно заявил Петр. — Сколько нужно, чтобы ты сознался, зачем тебя отец призывал?
— Та нискильки не нужно. Що ж вы прямо не скажете, про какое, мол, дело ходил Денисенко до бати?
Испуг с него как рукой сняло.
Он сказал, смеючись:
— Мирон Лукич на старости заскупился. Денисенко дорого-де за подводы считает. Твое, говорит, счастье, що на ногах стоять не могу, а то б я тебя вихор-то выдрал!
Он дернул себя за черствые клочья волос и поскакал к двери:
— Минуточку, дорогие гости, я тильки до конюшни. Ах, забаламутили мою душу, забаламутили, любезные!..
— Ни с чем уйдем? — обернулся Петр к брату.
— Вот так и будет плясать бесом.
— Ну, к дьяволу! Попусту терять время!..
Дома все было по-старому, ничего не убавилось, а братьям все недоставало спокойствия, вот-вот, чудилось, разразится беда, и с какой стороны ее ждать — нельзя было взять в толк. Они бродили насупленные, работа застревала у них в руках, свет сошелся клином на загадке, загаданной отцом, — как вдруг все стало ясно.
Случилось это вечером, когда стемнело и надо было сдавать отцу ключи. Петр Миронович, собираясь идти вниз, на старикову половину, внезапно прислушался к тишине, чуть-чуть наполненной еще отзвуками дня. Ни слова не вымолвив, быстро и что-то очень легко для грузного своего веса, он выбежал из комнаты. Павел кинулся за ним вниз по лестнице. В темноте коридора не различить было, что происходит, слышалась только возня в сенях у парадного хода, и Павел притулился около косячка.
— Петр Мироныч, Петр Мироныч! — расслышал он сдавленный голос.
— Давай сюда! — рычал Петр.
— Петр Мироныч, истинный бог!
— Чего несешь, ну? Давай, говорю, ч-черт!
— Петр… э… ей-богу!
На мгновенье смолкло, потом вырвалось диким хрипом:
— Уда-вили, Хрис-том-бо…

Опять тишина, глухой стук об пол. Снова хрип?
— Христом-бо… задуши…
И сразу горячее, чуть внятное отчаянное бормотанье?
— За голенищем… правый сапог… Христ…
Возня словно усилилась, вдруг стихла, еще поднялась, и спустя секунду Петр бросил в чулан рыхлым мешком чье-то тело и задвинул щеколду.
— Кто это? — прошептал Павел.
— Васька.
— У меня сердце заполохнулось. Жив ли он?
— Рано умирать дураку! — отдуваясь, сказал Петр. — Я сразу внял, как он крюком лязгнул.
— Ну?
— Ну, и попался. Письмо — видишь?
Они поднялись наверх.
На конверте отцовской рукой было выведено имя Агриппины Авдеевны Шишкиной.
— Новая? — все еще шепотом спросил Павел.
— А ты слыхал?
— Нет.
— Стало быть, новая.
Петр разорвал конверт.
«Почитаемая из отдаления, воистину луч моих дней и надежда счастья, Агриппина Авдеевна! В ожидании ответа не отвергните ищущего, но доверьтеся сердечному намерению оного. Никакой обольститель, но обожающий раб страждет повергнуться к достойному подножию красоты вашей. Размыслите в спокое обо всем, доселе описанном, о том совершенстве жизни и удовольствии, кои всякий час готовы у меня по вашему одному капризу. Ибо все, окромя молодых, легкомысленных и незавидных лет, обещаю вам подарить, да и молодость заменит мой чувствительный пыл. Поелику же беспокоитесь вы о ногах, как вы расспрашивали моего посланца, то эта наносная болезнь проходит, когда о вас думаю, паче и вовсе пройдет без следа, едва взгляну на вас, небесная голубка. Молю отозваться, сгорая от желания, наконец, держать в руках час и время, когда свижусь с моим ангелом, с любовью пребывающий
Мирон Гуляев».
Братья перечитали письмо — раз, другой. Петр поглядел его на огонь, Павел пощупал бумагу, никто не решался сказать, что думал. Так, молча, они распрямились и постояли в неподвижности, каменными спинами своими заслоняя свет. Потом Петр сунул письмо в карман, взял со стола связку ключей и пошел к отцу. Брат двинулся за ним тенью.
Мирон Лукич встретил сыновей подозрительно, отклонившись на подлокотник кресла, точно издали было удобнее следить за их лицами.
— Что это в сенях словно шумел кто? — спросил он.
— Извольте, батюшка, ключи, — сказал Петр и протянул отцу связку.
Но тот не сразу взял, еще больше отклонился на сторону и повторил, сощурившись на сына:
— Я говорю, что за шум был в сенях?
— Извольте ключи, или куда положить прикажете? — проговорил Петр.
Тихо, с раздумьем, старик протянул руку, как будто необычно было холодное позвякивающее кольцо с нанизанными на него увесистыми ключами.
— Где Васька? — спросил он, цепко зажимая ключи в своей гусиной лапке.
— Вам должно лучше знать, он при вас находится.
Ненадолго стало тихо. Все трое перехватили дыханье.
Вряд ли не первый раз за всю жизнь слышал Мирон Лукич такой ответ.
— В своем ли уме, парень? — буркнул он.
У Петра медленно спадала с лица краска.
— Я-то в своем, а вы как, батюшка? На старости вроде совсем лишились? Что же вы с нами хотите делать? За что изволите наказывать?
— Постой дерзить! — перебил отец.

— Уж разрешите сказать, батюшка, — продолжал Петр все упрямее и отчетливее. — Мачехой нас удружать словно поздненько. Не в таких мы годах. Наследницу себе в долю нам с Павлом брать обидно. Дом-то нашим горбом стоит. Вы, чай, знаете. А если вы ради потехи…
— Молчать! — крикнул отец и, перегибаясь через кресло, царапая лапкой тростниковое плетенье спинки, забормотал: — Украл письмо? Отвечай, украл? Мое письмо!
— Вот оно, письмо ваше, — сказал Петр, вытаскивая из кармана скомканный листок.
— А-а! — провопил старик и вдруг с размаху бросил ключи в лицо сыну.
Петр не успел закрыться. Связка со звоном ударилась об его голову и упала. Он быстро зажал лоб обеими руками.
— Батюшка, так убить можно! — закричал Павел, кидаясь к брату.
Мирон Лукич, вытаращив глаза, шипел чуть слышным шепотом:
— Учуяли? Учуяли, коршуны? Нацелились? Смерти моей ждете? Наследство делите? Просчитаетесь! Вы у меня вот где, вот где! Ничего не получите! Пока есть голова да руки, вы у меня — холопы, холопы! А я вас переживу, переживу, переживу!
К нему и правда будто прилила новым потоком жизнь: он поднялся, уткнув кулаки в кресло, одеяло спало у него с колен, он почти стоял на ногах и все шипел:
— Переживу, переживу!
У Петра между пальцев просачивалась кровь. Павел обнял его, повернул и вывел вон из комнаты.

Третья глава

В окно было видно, как у могилы старуха раздавала милостыню убогим и сирым. Из глиняной миски она черпала ложкой кутью и высыпала ее нищим в пригоршни. Запрокинув головы, они спроваживали в рот рассыпчатую пшеницу, жевали и крестились. Старуха крестилась тоже.
По тропинке, выложенной плитами известняка, между могил шел монах.
Где-то густо жужжали пчелы — наверно, возле окна лежал их путь на пасеку.
Было тихо. Беленые стены покоя и коридор, сумрачно исчезавший вдалеке, усиливали каждый нечаянный звук, и он строго и многократно повторялся, как в пустой церкви. Запахи меда, деревянного масла, какой-то рыбы и давно увядшей богородской травы тепло выплывали из коридора и вперемешку улетучивались через открытое окно.
Братья сидели на скамейке, глубоко задвинутой в угол покоя. Посредине спинка ее завершалась крестом. Вдоль стен тянулись редко расставленные стулья, облаченные в белые чехлы.
В переднем углу стоял налой в малиновой парче, над ним теплилась желтая свечка.
Ожидать становилось тоскливей и тоскливей. Павел зевнул уже раза два, когда растворилась дверь и служка-монашенок оповестил, быстро кланяясь назад, в другую комнату:
— Его преосвященство!
Братья поднялись.
Архиерей вошел, нежно пощупывая на груди панагию. Глаза его были не то веселые, не то усмешливы. Следом за ним прибежал пузатый двушерстный кот и сразу пропал у него в ногах, под рясой.
— Ваше преосвященство, владыко, — проговорил Петр и сложил руки для благословения.
— Это который Гуляев?.. во имя отца и сына, — спросил архиерей, — это у которого по Волге соляныча ходят?.. святого духа…
— Тот самый, владыко, Мирон Гуляев.
— Ну, что он?
— Окажите милость выслушать, владыко, мы с жалобой.
— На кого жалоба? — перебил архиерей и недоверчиво взглянул на братьев.
Кот высунул из-под рясы морду и тоже посмотрел вверх, поочередно кольнув братьев отточенными лезвиями зрачков.
— Ежели на родителя, то не похвально, ибо детям должно пребывать в повиновении.
— В повиновении, владыко, — подхватил Петр, — в страхе и повиновении. Однако не столько на родителя имеем жалобу.
— Говорите, — вздохнул архиерей.

— Впрочем, извольте видеть, владыко, — сказал Петр, поворачиваясь к свету и поднося палец к виску, — заметину эту ношу безвинно.
— Сильно, — произнес архиерей, с любопытством разглядывая рану. — Сие чем же?
— Ключами, владыко.
— Говорите.
— Батюшка наш десятый год как в кресле, — обезножел, потерял свободу, и его возят. С тех пор у нас в доме покой, а работа лежит на нас, вот на Павле да на мне. Уж вы, владыко, извините, не знаю, как сказать, но я — как на духу у вашего преосвященства. Появилась в городе девица… такая, из свободных. Впрочем, держит себя по-благородному, увлекательно, но только с виду, владыко. Вот Павел ее видал. Соблазн, владыко.
— Разумею, — сказал архиерей.
— Девице прозвище Шишкина, прежде жила в Тамбове, и оттуда, говорят, бежала, потому должна была скрыться. Опоила тамошнего помещика, обобрала до исподней рубахи, словом, истинная цыганка, владыко.
— Сколько родителю лет? — вдруг спросил архиерей.
— Семьдесят первый, владыко.
— Мать жива?
— Матушка была первой у батюшки, после того мы росли с мачехой, а после того… Батюшка в страстях неудержим, владыко, с ним и ранее случалось.
— Значит, он вдовый?
— Вдовый, ваше преосвященство.
Его преосвященство поднял голову и выдохнул в мягкой примиренности:
— Все в руце божией. Церковь святая допускает вступать в брак трижды.
Петр заглянул ему в глаза. Зрачки были странно сужены, что-то неуловимое сквозило в них: то ли ласка и любопытство, то ли ледяное безразличие.
Петр рухнул на колени, потянул за собой брата и дотронулся лбом пола.
— Не погубите, владыко, дайте совет!
Прямо ему в лицо, с пола, сверкали кошачьи глаза — желтовато-зеленые, с черненькими лезвиями холодных зрачков. Высунувшись из-под рясы, кот подергивал носом, точно примериваясь — поластиться ему к голове человека, неожиданно очутившейся на полу, или поцарапать ее?
Петр торопливо разогнул спину.
— Накажите, владыко, благочинному, чтобы не венчали батюшку! Ваша власть!
— Отколе моя власть! — сказал архиерей, опустив взор на панагию и опять нежно пощупывая ее. — Господь бог наделил человека свободною волею, и человек сам избирает добро или зло.
Он подумал немного.
— Поднимитесь, прошу вас. Ведь родитель ваш находится в здравом уме?
— Можно ли сказать, владыко? От дел отвернулся, пищу и то перестал принимать, меня с Павлом не хочет видеть. Помрачение рассудка, владыко!
— Так угодно судить вам, — тихо сказал архиерей. — Суждение сие много ценнее было бы, буде оно сделано сведущим лекарем, — еще тише добавил он и отвел взгляд в сторону.
Петр посмотрел на брата. Тот почти в испуге глядел на кота, со внезапной преданностью уткнувшегося ему в сапоги.
— Понятно ли? — спросил архиерей.
— Слушаю, владыко.
— Плохо слушаете! — сухо сказал архиерей и поднял руку для благословения. — Все в руце божией, я говорю.
— Владыко! — воскликнул Петр отчаянно. — Коли батюшку удержать не можете, так ужели на девку нет управы? Ежели она к нам в дом войдет, ведь она меня с братом по миру пустит!
Зрачки совсем исчезли из глаз его преосвященства, и он выговорил наставительно:
— Сие скорее будет зависеть от его превосходительства, поелику девица, о коей говорите, внушает сомнения в чистоте нравственной. Так ли разумею слова ваши о ней?
— Точно, владыко.
— Пресечение опасности во власти светской. Идите с миром.

Он опять поднял руку, но тотчас остановился и, опять ласковее, добавил:
— Впрочем, родителя вашего в городе знают. Без оглашения амвона никто венчать не станет. Услышите. Тогда возможно и пресечь. Во имя отца и сына…
Он пошел было в свои покои, но вдруг повернулся и спросил грозно:
— Вклады в храмы господни делаете?
— Делаем, владыко. Укажите, куда пожелаете?
— Не имеет значения. Можно в собор, допустимо и в монастырь. Церковь божия едина.
Он вдруг усмехнулся:
— У меня только два попа есть, кои сомнительны. Те, пожалуй, обкрутят и без оглашения. Один в Курдюме да другой на Увеке. Поглядывайте, — лукаво закончил он и направился к двери.
Кот кинулся за ним, подняв хвост палкой.
Братья прошли монастырским двором, по белым плитам, растянутым дорожками между церковью и жилыми корпусами, в жужжании пчел, в чуть слышном шелестении рощи. Два-три монаха попали им навстречу и поклонились, нищие обступили их в воротах, причитая и бормоча молитвы.
Роща становилась реже, в конце ее, на холмике, высилась ветрянка, лениво, почти неприметно ворочая расщепленными своими крылами.
Здесь было вольнее, чем в роще, напоминавшей монастырскую пахучую тишину, и братья приостановились.
— Он, чай, неспроста о лекаре завел, — сказал Павел.
— Ну?
— Вот те и ну! Кота видел?
— Видел.
— То-то! — важно тряхнул головою Павел.
Оба они сняли картузы и не спеша вытерли запотевшие лбы.

Четвертая глава

Слуга вел Агриппину Авдеевну парком. На ней была черная накидка, вечер скрывал ее в темноте стволов, она следила за белыми чулками провожатого и прислушивалась к хрусту песчаного настила под ногами.
Около мостика слуга остановился, показал вперед и шепнул:
— Извольте обождать в павильоне.
Агриппина Авдеевна взошла на мостик. Он был узким, легким и взбирался горбиком к беседке. Кругом лежал пруд. Вода еще отсвечивала неясными проблесками неба, но по берегам, где чопорно кучились подстриженные кустарники, чернела глубоко и страшно. Беседка замыкалась рамами, тончайший, замысловатый переплет их был наполнен разноцветными стеклами. В этот час здесь было мрачно, как в нагробной часовне.
Агриппина Авдеевна закуталась получше в накидку и стала ждать.
В конце концов жить было не так легко. Правда, трудиться нужды не было, но заботы не давали роздыха, и дела устраивались не больше чем сносно. А жизнь — чудилось Агриппине Авдеевне, — настоящая жизнь, могла бы быть чрезвычайно приятной, и единственным человеком, понимавшим толк в приятной жизни, был его превосходительство Алексей Давыдович.
Ах, какой жизнью сумел он себя окружить! Это была даже не жизнь, а нечто вроде порхания, едва ощутимое скольжение по черте между землею и небом. И земля была вовсе не той, на которой распластались дикие деревни — Пензы, Тамбовы, Саратовы, — земля утопала в тенистых кущах, омывалась ручьями и фонтанами, земля, подобно чаще, вмещала прохладные воды, земля несла на себе цветущую, благоухающую зелень, да и то не простую, а разбитую на французский или итальянский лад. Тут же не было домов, сеней или каких-нибудь сараев, а только одни дворцы, павильоны и гроты. Тут ничего не находилось тяжелого, неудобного, затруднительного. Но даже с этой легкой, укатанной и расчесанной земли холмики и мостики то здесь, то там возносили человека в воздух, к невесомой и блаженной черте, что сливалась с небом. Боже мой, да здесь и само небо было иным, не тамбовским, не саратовским, нет, нет! Здесь все было иным, безоблачным, эфирным, чудесные мечты об Эльдорадо допорхнули сюда с опозданием на добрый век, и

вот озолотилась природа, и кажется, будто люди выросли не на севрюге и не на пирогах с визигой, а…
— Ах! — вскрикнула Агриппина Авдеевна. — Я размечталась, а вы…
— О чем размечтались, драгоценная? — спросил его превосходительство Алексей Давыдович, входя в беседку.
— О визиге… Что я говорю! Что вы подумаете? Я вспомнила, как эти люди могут есть пироги с визигой…
Алексей Давыдович отыскал в темноте руку Агриппины Авдеевны.
— Бывая к обеду у архиерея, я всегда с охотой ем такие пироги! Противен ли я вам оттого?
Она справилась с растерянностью и начала жеманиться ему в тон:
— Прилично ли кавалеру заставлять ожидать себя так долго? Не после ли пирогов с визигой стали вы так медлительны?
— Милый друг, я заботился о вас и приказал репетировать фейерверк. Готовясь к гостям, хотел бы, чтобы вы так же…
— Куда забавнее было бы мне смотреть фейерверк вместе со всеми гостями.
— Друг мой…
— Ах, я знаю, сколь это невозможно, — пропела Агриппина Авдеевна и опустилась на скамейку.
— Нетерпение ваше, поверьте, я разделяю с вами. Однако… вот уже начало, — перебил себя Алексей Давыдович, — пойдемте к стеклам.
Вдалеке, на берегу пруда, вспыхивали пучки огней, ракеты одна за другой взлетали и крошились в сверкающий порошок, он оседал на воду, умножаясь и пропадая в ее глубине.
— Нравится ли вам?
— Я знаю, что фейерверк будет много превосходнее для гостей, хотя и эта репетиция любопытна.
— Уверяю вас, — начал Алексей Давыдович, приближаясь к Агриппине Авдеевне, но она отошла от него.
Против ее лица приходилось красное стеклышко, и она пылала в его свете. Алексей Давыдович стоял против синего. Длинный нос его словно еще больше вытянулся, на плешинке лежал клин зеленой краски, по животу перебегали быстрые разноцветные отблески ракет, ноги были в тени, казалось — одно маленькое туловище, без ног, с мертвенно-синей головой торчало против Агриппины Авдеевны. Она поежилась и сказала:
— Посоветуйте, Алексей Давыдович, что делать? Вот уж второй месяц пошел, как меня досаждает письмами безногий старикашка, купец, что ли. Посуляет мне целое царство. Смерть как наскучил!
— Фамилии купца не запомнили?
— Мирон Гуляев какой-то.
— М-м-м, — промычал Алексей Давыдович. — Не помните ли также, чем он промышляет? Не солью ли?
— Может, и солью, а может, мылом. Что-то такое.
— Ежели солью… — проговорил Алексей Давыдович и помедлил, как делывал это у себя на приеме. — Того будто как раз Мироном зовут… Что же он вам пишет, друг мой?
— Ах, он пишет совершенно как любовник! — воскликнула Агриппина Авдеевна. — Даже нельзя поверить, что старик!
— Это приятно.
— Что?
— Должно быть, приятно, говорю я, иметь столь пылкого поклонника.
— Но ведь он сидит в кресле, Алексей Давыдович! И потом, простой купец!
Его превосходительство покашлял и опять пододвинулся к Агриппине Авдеевне.
— Не мне вам помогать в выборе поклонников, тем паче сам я привык себя считать в числе оных, и даже… — Алексей Давыдович снова помедлил. — Даже предпочтенным всем прочим. Не ошибаюсь ли я, мой милый друг?
Огни на пруду быстро погасли. Беседка окунулась в темноту.
— Ах, вы… — пролепетала Агриппина Авдеевна.
Минута прошла в безмолвии.

— Н-да, — сказал Алексей Давыдович, как будто закончив одно дело и переходя к другому. — Того, припоминаю, действительно зовут Мироном… Ежели это он, драгоценный мой друг, ежели м-м-м… который промышляет солью… то дозвольте сказать вам, что это человек…
— Не терзайте меня! Он же купец и… в кресле! — с отвращением повторила Агриппина Авдеевна.
— …человек с капиталом, — продолжал Алексей Давыдович, — и капитал у него, как говорят, около…
— Около? — поторопила Агриппина Авдеевна.
— Около, ходят слухи, полмиллиона ассигнациями.
Агриппина Авдеевна вздохнула.
— А как я к управлению соляной частью имею близкое касательство, то могу сказать вам, что слухи недалеки от истины.
— Кабы он не старик… — мечтательно проговорила Агриппина Авдеевна.
— То навряд я советовал бы вам остановить внимание на нем. А как он старик, да еще хворый и, стало, проживет не очень долго, то… к примеру, жена его, если бы у него такая оказалась, вскорости могла бы овдоветь…
— Алексей Давыдович! — словно в испуге прервала Агриппина Авдеевна.
Но он все продолжал с мягкой настойчивостью, точно уговаривая ребенка:
— Будучи ж с капиталом, нетрудно молодой и привлекательной вдове составить благородную партию. Наипаче — имея преданного и обожающего друга. И тогда желания ваши…
Новый огонь загорелся на пруду, и Агриппина Авдеевна живо сказала:
— Тогда я буду смотреть фейерверк вместе с другими вашими гостями?
— Да уж не из этой беседки, а…
Но Агриппина Авдеевна не дала договорить.
Огни разгорелись пышно, озарив пестрые стеклышки беседки, и радужные перебежки света смешали, соединили очертания Агриппины Авдеевны и Алексея Давыдовича…
Его превосходительство имел в эту ночь прекрасный и здоровый сон.
Наутро, освеженный, моложавый, он выбежал в приемную, вровень с маленькими своими шажками подергивая носом направо и налево, будто принюхиваясь к тому, что его ожидало. Ожидали его: дряхлая генеральша в наколочке, мужчина в сюртуке, похожий на учителя греческого языка, и два брата Гуляевы. Его превосходительство отпустил посетителей по старшинству — сперва наколочку, затем сюртук и под конец остановился перед купеческими поддевками.
Выслушал он их с великим доброжелательством, перебил только одним вопросом: «Мирон ли это Гуляев?» — достал из жилета таблетку и справился: «Не имеют ли привычки?» — потом нюхнул, заключил:
— Из всего видно, что неприятность проистечь может изрядная. Но какой же вы от меня хотите помощи?
— Полагаясь на ваше превосходительство, — сказал Петр, — смеем просить воздействия на девицу Шишкину, по усмотрению неблаговидности.
— Неблаговидности? М-м-м, — помедлил Алексей Давыдович. — Которая… неблаговидность… чего? Что неблаговидность, а?
— Опасность для почетных горожан… Нежелательность прожития в городе… Соблазн, — нащупывал осторожно Петр.
— М-м-м… Опасность? Соблазн? — не понимал и раздражался его превосходительство. — Как же вы говорите — соблазн, если батюшка ваш желает законного брака?
— Разор, ваше превосходительство!..
— Однако закон! — слегка прикрикнул Алексей Давыдович. — К тому же девица, как вы называете… Что девица, а? Что она?
Его превосходительство постучал ноготками по табакерке.
— Церковное дело, совершенно церковное. Не усматриваю возможным.
Он совсем было дернулся, чтобы откланяться и кончить аудиенцию, но повел носом из стороны в сторону и с легкостью перешел на другой предмет:

— Вы, значит, совместно с батюшкой по соляному делу? Так? Я все собираюсь на Елтон, ознакомиться… м-м… привести в порядок… Ведь вы на Елтоне? Знаю, знаю. М-м-м-м… мне как-то докладывали по управлению, что купцы не хотят торговать одного участочка… на Елтоне… по бездоходности якобы, по невыгодности… не помню сейчас, какой участочек…
Он еще раз протянул табакерку, пожелал узнать: «Не имеют ли привычки?» — и, уже совсем играя мыслью, между прочим осведомился:
— Так не найдете ли вы в том интереса взять этот участочек?
— Ваше превосходительство! — тяжко дыхнув, сказал Петр. — Мы сторгуем хоть теперь.
— Вам, может, придется урезонить батюшку в отношении… м-м… участочка? — озабоченно спросил Алексей Давыдович. — Так в вашем деле с… м… м… девицей…
Он очень продолжительно помедлил и, придя к окончательной ясности, вельможно объявил:
— В случае, однако, неблаговидности положитесь на закон. М-м… нынче, кажется, превосходный день?..
День был правда чудесный. Зелень, цветочные клумбы, мостики и каменные флигеля были залиты солнцем, все кругом сияло, все было таким стройным и таким чуждым, что братья, не сговариваясь, весь парк, до ворот, прошли на цыпочках.

Пятая глава

Послеуспенские ночи, как всегда, были черны. Звездная россыпь вздрагивала в черноте неба. На отмелях неотделимой от неба, такой же черной Волги, точно одинокие угли, тлели костры.
Миллионная тяжело спала — на замках, на засовах. Кое-где мурзились спущенные с цепей дворняжки, лошади переступали с ноги на ногу в стойлах, вдруг оползал в амбаре кусок соли, падал, и тогда с минуту держался шорох и тихий треск катившейся соляной крошки. С Волги притекал сонный окрик вахты, плыл наверх, в город, и там сливался с деревянным бормотаньем сторожевых колотушек.
Петру не спалось. Мирона Лукича стерегли крепко: за домом глядели не один глаз, не два. Со двора, у калитки, подремывал сторож, на улице барабанил в колотушку караульщик, собаки, не кормленные с утра, злобно ждали рассвета, Васька, по обычаю, ночевал у порога хозяйской комнаты. Все было прочно налажено. Но покой не приходил в дом.
Павел сквозь сон застонал, сразу очнулся, вскочил, уставился на брата:
— Никак, собаки брешут?
— Слышу.
— Эх, брат, — сказал Павел, протирая глаза, — чего мне приснилось! Будто суббота, и я рассчитываюсь с мужиками. Полез в карман, в шубу: там наместо кошеля чего-то мохнатое. Вынул — кот. Бросил его наземь, он сжался, того гляди — вцепится. А мужики смеются… Инда в пот ударило.
— Нехорошо, — решил Петр. — Пойти взглянуть.
Он пробрался домом на ощупь, захватил по пути шубу, вышел на крыльцо. Собаки подбежали к нему, усердно работая хвостами, все стихло, на дворе казалось чуть светлее, чем в горницах, от земли веяло влагой. Неподалеку, у монахинь, нежданно ударили в колокол к полуношнице. На берегу раздался протяжный крик.
Петр укутался в шубу, быстро пошел к калитке, к сторожу, спросил:
— Спишь?
Сторож не отозвался.
Петр толкнул его.
— Чего это? — сказал сторож.
— Уснул?
— Не-е, зачем спать! Караулю.
— С берега словно кто на помощь звал, слышал?
— Зря кричат, тоже караульщики! — возразил сторож. — Караулить надо знать. Будешь подшумливать, вор-то побоится. А сиди тише, нишкни, он и придет. Тут ты его цап-царап! И бей вволю… А кричать — этак всю жись карауль, никого не пымашь.
Петр посмотрел в небо, произнес тихо:
— Такой ночью, поди, самые злодейства творятся.

— Не-е, — ответил сторож знаючи, — такой ночью ничего не бывает. Вишь, как звезды дробятся? Злодей теперь дома сидит.
Он подумал и добавил:
— Я те скажу, когда чего, Петр Мироныч. Ступай спи.
Петр вернулся в дом, прошел сенями в прихожую. Васька сопел безмятежно. В комнате Мирона Лукича стояла немота.
Петр тишком поднялся к себе наверх. Брат уже спал. Петр лег и укрылся с головой, чтобы согреться…
Мирон Лукич прислушивался к каждому звуку, как птица. Он различал вздохи половиц и дверей, когда ходил сын, слышал потрескивание свечки, слышал еще что-то, происходившее за пределами внятных шепотов и шелестений, — какой-то внутренний говорок безмолвных вещей. Он ухмылялся, вытянув худую шею, вытаращив глаза, ухмылялся от счастья, что слух его был по-птичьи тонок. Что, если бы сам он сделался птицей? Его давно не было бы в этой клетке, никакая стража не уберегла бы его, он посмеялся бы над своими соглядатаями, пожалуй, колоти тогда в колотушки, шастай дозорами из дверей в дверь!
Надоел, опротивел, осточертел Мирону Лукичу весь дом, со всеми домочадцами, со всем добром, со всею рухлядью. Он гнал всех в три шеи, только бы не вертелись на глазах, не лезли бы с отчетами, не совались бы в его угол.
— Рыбник наказал узнать, — орал Васька, — не желаете ли, Мирон Лукич, нынче подлещиков?
— А мне хоть баклешек, хоть чехонь, — отворачивался Мирон Лукич, — пошел вон, дурак!
Он ничего не хотел знать. Он ждал своего дня, своего часа, и вот, наконец, последней секунды, которая с мгновенья на мгновенье должна была пробить. Он был готов. Дело стояло не за ним.
Он сидел, объятый безмолвием, сухой, напряженный, с растопыренными локтями, словно собравшись выпрыгнуть вон из кресла. Он слушал. Все другие чувства его только помогали слуху или совсем замерли. Если бы возникла у Мирона Лукича в эту минуту какая-нибудь боль, он не заметил бы ее. Рот его приоткрылся, пальцы изредка вздрагивали и осторожно перебегали с места на место.
И вот руки легли на шины высоких колес. Кресло двинулось. Ход был беззвучен, колеса хорошо смазаны, пол устлан ковром. Медленно кресло подкатилось к окну. Десятый раз Мирон Лукич вынул из жилета часы.
Но он не успел открыть их.
В ставню тихо стукнули — раз, другой.
Мирон Лукич быстро поднял голову. Взгляд его уставился на кончик железного болта, торчавший из щели в оконном косяке. Болт дрогнул и пополз в щель.
Мирон Лукич стремительно потушил свечку, нащупал на окне крючок, легонько выпихнул его из петли и потянул раму. Она подалась. С улицы, за ставнею, чуть слышно звякнул коленцем болт.
— Чш-ш! — прошипел Мирон Лукич.
Ставня бесшумно раскрылась. Какие-то руки — холодные, корявые — прикоснулись к его пальцам.
— Отодвиньтеся, — шепнули с улицы.
Потом Мирон Лукич почувствовал, как что-то огромное тяжело поднялось из темноты, взгромоздилось на подоконник и внезапно ухнуло в комнату, толкнув кресло.
— Чш-ш! Ти-ше! — в ужасе махнул руками Мирон Лукич.
Но в тот же миг чужая рука, скользнув по его плечу, пролезла между спиной и креслом, и в самое лицо Мирону Лукичу пахнуло шепотом:
— Цепляйся за шей! За шей меня беритя, крепше!
Мирон Лукич обнял волосатую, стриженную под горшок голову и вдруг, с неожиданной легкостью, отделился от кресла.
— Пущайтя, пущайтя! — услышал он снова, и тотчас другие руки подхватили его за окнами и окунули в ночной холод, как в воду.
Человек, держа Мирона Лукича в объятиях, осторожно бежал в темноте. Позади что-то стукнуло, собаки взялись лаять, из-за ворот выплеснулся старческий голосок:

— По-сма-триваю!
Мирон Лукич начал дрожать.
За углом, поодаль от дороги, на берегу стоял крытый возок. Человек подбежал к нему, усадил Мирона Лукича в кузов, точно ребенка в люльку, метнулся назад. Мирон Лукич расслышал торопливые шаги, как будто настигала погоня, потом — тяжелое дыханье и шепот. Кто-то принялся впихивать в возок кресло Мирона Лукича, оно не умещалось — колесо придавило Мирону Лукичу ноги.
— Потерпитя, — услышал он.
— Денисенко? — спросил Мирон Лукич.
— Я самый.
Мирон Лукич прошептал:
— А где она?
— Чего?
— А она готова? Готова? — сквозь дрожь бормотал он.
— Держитесь-ка! — сказал Денисенко, взбираясь на козлы.
Лошади взяли. Люди, суетившиеся вокруг, канули в темень. Возок пронесся берегом — через рытвинки, намытые родниками, по затянутой тиной гальке — на Казанский взвоз, к оврагу, во двор Денисенки.
Там наскоро распрягли, сунули кресло в каретник, Мирона Лукича внесли в горницу, огни погасили.
Ямской двор проводил обычную ночь — ничего не случилось: кони посапывали на конюшнях, фонарь коптил на столбе посереди двора, рыжей воронкой подымалась над огнем сальная гарь, ямщики спали вповалку, где попало — в тарантасах, под дровами, навесами, на сеновале.
Мирона Лукича усадили в угол, завалив армяками, тулупами, полушубками. Денисенко отсуетился, залез на печь. В тишине Мирон Лукич разворошил армяки, спросил вполголоса:
— Денисенко! А она где теперь?
— Пождем, — сказал хозяин.
Но ждать пришлось недолго. Звякнуло кольцо в калитке, ворота загудели, поднялся крик.
— Заройся глубже, — шепнул Денисенко.
В сенях что-то повалилось на пол, с треском, наотмашь распахнулась дверь, Павел и Петр Гуляевы, с фонарями в руках, ворвались в горницу.
— Денисенко, хромой дьявол! — вопил Петр. — Куда девал отца? Слезай с печи, воровская кровь!
Павел ухватил Денисенку за ногу.
— Убью, цыганская душа! — кричал Петр.
Денисенко сорвался с печи, припал на лавку.
— С нами крестная сила, господи, царица небесная, пресвятая, пречистая мати-дева, Мыкола милосивый, угодник, мученики, господи сил, преславный, преблагий…
— Убью, черт! Куда запрятал старика? Говори!
Петр размахивал фонарем перед носом Денисенки. Денисенко трясся, лопотал:
— Апостолы, евангелисты, преподобные, блаженные…
Ямщики, заспанные, всклокоченные, налезали в комнату, толпились в дверях.
Павел дернул Денисенку за плечо, приподнял его, поставил на ноги.
— Шо таке? — опомнился Денисенко. — Це ж Петро Мироныч! Це ж Павло Мироныч! Господи!
— Отвечай, где отец?
— Мирон Лукич? — испугался Денисенко.
— Прикидывайся! — орал Петр. — Убью! Отвечай, зачем выкрал отца через окошко?
— Мирона Лукича? — вскрикнул отчаянно Денисенко.
Он схватился за голову. Глаза его ужасно раскрылись.
Вдруг он отвел рукой обступивших его людей и ковыльнул на два шага вперед.
— Перед честным животворящим крестом господним, — проговорил он замогильно, — и перед всем народом, — обернулся к ямщикам, — присягаю трижды: непричастен, непричастен, непричастен!

Ямщик-верзила крякнул в тишине, точно сдвинув с места груженый возок. Денисенко медленно перекрестился. Петр посветил фонарем в его лицо: оно было торжественно, веко не дрогнуло на нем ни разу.
— Без твоих лошадей тут не обошлось, — сказал Петр, сбавив голосу и помедлив.
Денисенко сразу взвихрился:
— Присяге не верите? Присяге? Глебка! — рванулся он к ямщику, стриженному под горшок. — Глебка, скажи, скильки у нас усих коней?
— Ямских пять троек.
— Пять троек? Слыхали? Айда на конюшни считать по стойлам, айда! Пять троек?
Он взялся тянуть братьев за рукава.
— С вечера нынче не закладывали, — сказал Глебка.
— Слыхали, слыхали? — досаждал Денисенко.
— Постой, — отмахнулся Петр.
Он пошел в угол, где грудой навалены были армяки, сел на лавку, уперся локтями на колени.
— Вот чертово наважденье!
— И вы, хлопцы мои дорогие, не учуяли, як батюшку вашего злодий через окошко тащил? — сочувственно спросил Денисенко.
Павел с сердцем сказал:
— Поставили глухую тетерю дом хоронить! Самого хозяина умыкали.
— Який бис на его позарился? — удивился Денисенко.
— Ты-то должен знать, лисий хвост, — крикнул Петр, — может, по твоей вине теперь батюшка обвенчан!
— Обвенчан? Кто же его ночью венчать станет?
— Стой! — вскочил Петр. — Стой! Кто венчать станет? Павел, слушай, я знаю, что делать! Ты вали на Увек, я — в Курдюм. Он сейчас либо там, либо тут. Негде ему больше быть. Денисенко, будь отцом, — закладывай две тройки!
— Господи, — подхватил Денисенко, — истинная правда! Либо там, либо тут! Хлопцы, две тройки зараз! Чего стали? Чего пасти разинули?
Он вытеснил ямщиков из горницы и сам кинулся за ними, схватив фонарь.
На дворе забегали, зазвенели сбруей, разбуженные лошади отфыркивались, возки скрипели, голоса перекликались не по-ночному живо.
Павел сидел за столом, Петр расхаживал по горнице, теребил волосы, пошептывал сквозь зубы:
— Только бы поспеть, только бы поспеть!
Он подошел к куче армяков в углу горницы, нагнулся, взял верхний армяк, прикинул на свой рост.
Вбежал Денисенко, вырвал армяк из рук Петра, кинул поверх кучи, схватился за другой.
— Постой, постой, я тебе впору выберу, впору. И Павлу Миронычу выберу, постой.
Он брал один армяк из груды, бросал его в сторону, вытаскивал другой, подбегал к Павлу, к Петру, опять бежал в угол.
— Одна заложена! — закричал Глебка, ворвавшись в горницу.
— Обе готовы! — гаркнул за ним ямщик-верзила. — Пожалуйте!
— Це гарный, дюже гарный! — трещал Денисенко с армяками в руках, приседая и подскакивая вокруг братьев.
— Догоним? — сурово спросил Петр.
— Господи! На моих конях? На моих конях витер догнать можно!
— Сколько концы считаешь?
— До Увека в два часа обернешься, а из Курдюма будешь дома к утру. С богом!
— Пошли!
Спустя минуту тройки одна за другой вырвались из ворот. Шум от них долго не утихал над городом. Денисенко стоял во дворе неподвижно, пока не разбрелись ямщики. Потом он вернулся в дом и подбежал к армякам. Раскидав одежду, он сунул в глубину берлоги фонарь. Огонь замигал, охваченный духотою, пахнувшей снизу. Бескровное, обсыпанное каплями пота лицо заблестело под фонарем. Мирон Лукич лежал с открытым ртом.
— Дать, что ль, тебе чего? — торопливо спросил Денисенко.

Мирон Лукич ответил неслышно, чуть шевельнув белыми губами:
— Пить…

Шестая глава

Беленые колонны семинарии призрачно подымались вверх, здание почти пропадало во мраке, тополя, переросшие крышу, поглощены были ночью. Короткого порядка маленьких домиков против семинарии нельзя было угадать в темноте. Только узенькая щель какой-то ставни теплилась желтым светом.
Это был крайний дом на Московском взвозе, почти у самой Волги — укромное владение коллежского асессора. С вечера не потухал в доме огонь. Агриппина Авдеевна давно была готова. Не раз уже подымалась она с дивана, шла к зеркалу. Тогда подбегала к ней простоволосая девка в сарафане, Машутка, и, присев на корточки, начинала обирать и подергивать на ней платье. Агриппина Авдеевна поправляла завитушки на висках, накручивая волосы вокруг пальчика, становилась то одним боком к зеркалу, то другим, опять шла к дивану.
Машутка вдруг хваталась за грудь и, закатив глаза под лоб, взвизгивала:
— Светики, ой, никак, подкатывают?!
Агриппина Авдеевна вздыхала:
— Почудилось.
— Как я теперя подумаю, — тихонько говорила Машутка, — ну, как погоня? Страх! У нас у соседнего барина меньшую дочку офицер умыкал, невесту, так за ними десятеро суток гнались, покеда не пымали. Три пары кобыл насмерть застегали, страх!
— То невеста, — улыбнулась Агриппина Авдеевна.
— Какой жених! — сказала Машутка. — Коли его стерегут, получается он дороже другой невесты.
Она опять схватилась за сердце:
— Ой, светики, никак, кто к крыльцу подкрался!
Агриппина Авдеевна привстала, послушала.
— Ступай спроси, кто там.
Машутка зажмурилась:
— Бейте меня до смерти, ни за что не выду! Коленки трясутся, дух спирает, а там темень! Ой, стучатся!
Агриппина Авдеевна вышла из комнаты и тотчас вернулась. За нею хромал Денисенко.
— Зараз пийдем, — говорил он. — Что жених, что кони: не сдержать!
Машутка заткнула от страха уши.
Агриппина Авдеевна покрылась кружевною черной косынкой, надела ротонду с меховым воротничком. Придавленная ею, она неловко торопилась за Денисенкой.
Шагах в двухстах от дома, у соборной ограды, нетерпеливо перебирали ногами лошади. Денисенко помог Агриппине Авдеевне забраться в тарантас. Там уже сидел Мирон Лукич. Дрожащими руками он хлопотливо потрогал армячок, который накинут был на ее ноги. Глебка-ямщик отпустил вожжи. Следом за тарантасом тронулся заложенный парой возок: Денисенко сопровождал в нем стариково кресло.
Пока ехали мимо гостиного двора, под его арками лезли из шкуры собаки, звонкие цепи визжали по проволокам, и пристяжные в испуге дергали и толкали коренную. Потом стихло, тройка побежала ровно, все прибавляя ходу, колеса почти не тарахтели: накопившаяся за лето пыль половиком покрывала улицы.
Мирон Лукич молчал. Все чаще его прохватывала дрожь, так что тряслась борода и руки подскакивали на коленях, он робко взглядывал на Агриппину Авдеевну, точно прося извинить его за то, что не может перебороть приступов дрожи. Он думал сказать ей особенные ласковые слова, каких не говорил ни разу в жизни, но она села рядом с ним молча, не поздоровавшись даже, и у него вдруг пересохло в горле. Он пригляделся к темноте. За волнистым краем косынки ему хорошо виден был маленький, немного приподнятый носик невесты, он угадывал очертание ее бровей, подбородка, и они чудились ему точь-в-точь такими, какими он рисовал их себе в безмолвии своей комнаты.
— Не холодно ли вам? — спросил он наконец и не узнал своего голоса.

Агриппина Авдеевна обернулась к нему, он почувствовал ее взгляд, впервые и в такой близости горевший перед ним, подался ему навстречу, но тут же его опять встряхнуло дрожью, и он изо всех сил скрестил и сжал свои руки.
— Вам, как я гляжу, холоднее моего, — сказала Агриппина Авдеевна и перетянула армянок со своих ног на его.
Тогда, растроганный и посмелевший, он наклонился к ней и выговорил:
— Лихорадка это от щастия!
Она отвернулась. Он сказал:
— Верить ли, что мечта моя сбывается?
Он медленно приподнял руку и дотронулся до плеча Агриппины Авдеевны. Она ничего не отвечала, но он слышал, как плечо ее дрогнуло. Он еще выше поднял руку, непослушными пальцами взял край косынки и тихо оттянул его назад. Перед ним забелела щека Агриппины Авдеевны, завитушки волос высыпались из-под косынки, чуть-чуть мелькнул и скрылся тонкий краешек уха.
— Желанная красотка, — шепнул Мирон Лукич и совсем близко наклонился к ней.
Но Агриппина Авдеевна быстро напустила косынку на лицо, и опять Мирону Лукичу виден стал только ее приподнятый носик.
Они уже давно выехали из города, темнота лилась им навстречу и догнала их, — казалось, что лошади топчутся по какому-то кругу, неподвижное множество звезд, светясь, углубляло мрак.
— Гони скорей! — вдруг крикнул Мирон Лукич.
Глебка понял крик по-ямщицки, обернулся вполуоборот к седокам, сказал:
— Выдалась ночка!
Седоки не отозвались.
— Вот это ночка! — повторил Глебка врастяжку. — До смерти не забудешь! Удумано! По этой по самой дорожке прокатил я час назад Пал Мироныча. Взад-вперед. Примчались на Увек — к церкви. На ней будто и замок заржавел. Побежали к попу. А он в сени не пустил — с ума, бает, вы сошли, может, разбойники! Так ни с чем и вернулись… Я-то знаю, а Пал Миронычу не терпится, все меня в спину кулаком тыкал, погоняй да погоняй. Я погонял, мне что!..
Глебка засмеялся, поправился на козлах, весело спросил:
— Вы, чай, Мирон Лукич, страху натерпелись, как под армяками сидели?
— Пошел скорей! — приказал Мирон Лукич.
— Я думал, догадаются, найдут вас. Да где догадаться! Денисенку сызроду никто не перехитрил.
— Гони, черт! — исступленно закричал Мирон Лукич.
Дрожь трясла его безжалостно, не отпуская ни на минуту, говорить он не мог. Агриппина Авдеевна глядела в небо. Прямо над нею сорвалась звезда, чиркнула по черному, рассыпалась ракетой, в порошок. Агриппина Авдеевна вздохнула.
— Вы по-французски знаете? — спросила она в раздумье.
— Нет, — отозвался Мирон Лукич. — Есть ли в том надобность… при моих чувствах к вам? — договорил он, с трудом одолевая дрожь.
Она молчала долго, потом, по-прежнему задумчиво, спросила:
— Вам парки Алексея Давыдовича обозревать доводилось ли?
— Его превосходительства? Был единожды… случаем…
Опять помолчав, Агриппина Авдеевна проговорила:
— Полагать надо, такое только у Лудовиков могло быть…
Мирон Лукич не ответил. Что было силы сдерживал он себя, чтобы не заскулить от необыкновенного озноба.
— Все Лудовики проживали во Франции, в Версале, — плавно пояснила она.
Он не выдержал и застонал. Прыгающая челюсть его разорвала стон на кусочки: а-вва-вва — и, чтобы чем-нибудь загладить этот стон, Мирон Лукич выдавил из себя, простирая руки к Агриппине Авдеевне:
— Ангел, ан-гел…
Но она больше ничего не сказала.
Так, в безмолвии, домчались они до Увека…

Невеста первая вошла на паперть и стала перед запертой церковною дверью. Денисенко притащил кресло и убежал. Глебка вынул из тарантаса жениха, внес его по ступеням на паперть и усадил в кресло, ловко прикрыв ноги одеялом.
Очень живо вынырнул из темноты дьячок, отпер дверь. Потом прискакал Денисенко с попом. Поп был маленький, проворный. Бесшумно ступая валенками, он вошел в церковь, зажег свечку около ктиторского ящика и тут же облачился в помятую зелененькую ризу.
Жениха вкатил Денисенко вслед за невестой. Она скинула ротонду, косынку и сверкнула белизною платья. Жених смотрел на нее, ничего не видя кругом.
Поп раскрыл книгу, закапанную воском, опросил жениха и невесту. За свидетелей расписался Денисенко и, по неграмотности, поставил два креста Глебка-ямщик. У налоя, посередине храма, уже горели свечи. Дьячок потихоньку запел, поп крикнул ему тенорком через всю церковь:
— Постой, постой! Сперва обрученье!
Дьячок легко перешел на другое.
Все двинулись к налою и остановились перед ним.
Денисенко помог Мирону Лукичу расстегнуть поддевку, сюртук и вынуть из жилета обручальные кольца. У жениха тряслись руки, в пламени восковых свечей они больше обычного напоминали собою гусиные лапки, и, когда священник надевал на женихов палец золотое кольцо, палец был похож на птичий — сухой, красноватый, с кривым жестким ногтем.
Агриппина Авдеевна стояла рядом с креслом, опустив глаза, внимательно вслушиваясь в певучее бормотание дьячка и в возгласы священника. В ней было что-то строгое и простое, как в девушке, ожидающей от венчания страшной для себя перемены.
Пораженный, глядел на нее Мирон Лукич. Худая слава, которая ходила о ней по городу, молва о том, что она загубила не одну человеческую судьбу, насмеялась над стариками и, как цыганка, обманула молодых, — все это было ложью, выдумкой, наветом. Подле него была невеста — кроткая, чистая, со встревоженным юным дыханием. Сердце его не ошиблось. Под конец жизни отыскал он вожделенное свое счастье, и вот оставались теперь какие-то минуты, чтобы взять его в руки, какие-то поповские причитанья мешали еще коснуться девичьего сверкающего платья, и — в нетерпении, с мольбою — жених громко сказал священнику:
— Не тяни, сделай милость!
Но невеста набожно перекрестилась, и, глянув на нее снизу вверх, он притих.
Да и нельзя было бы вести дело скорее, чем оно шло. Поп и дьячок были под стать друг другу, и шафера не успели опомниться, как надо было браться за венцы.
Тоненько отдавалось по углам пустой церкви дьячково пенье, неслышно двинулся вокруг налоя поп, помятая риза болтыхнулась на нем мягким платком. И, торопясь, приковыливая, Денисенко покатил за попом кресло, одной рукой держа над головою Мирона Лукича медный венец, усеянный горящими, как рубины, красными стеклами. Страшно вытянув руку, поминутно наступая на белый шлейф невесты, Глебка-ямщик нес такой же горящий венец над Агриппиной Авдеевной.
Мирон Лукич побледнел, пот снова проступил у него на лице, внезапно он схватился за колеса и судорожно начал подгонять движенье кресла.
Так трижды совершен был круг, и тут же, без оглядки кончилось венчанье.
Все бросились к выходу.
Перед дверями остановились, чтобы одеть невесту. В полутьме, накидывая косынку, она скользнула локтем по плечу Мирона Лукича. Он схватил ее и прижал к себе, что-то замычав.
Тогда вдруг с женской стремительной жадностью она сдавила его костлявые пальцы и шепнула, почти дотронувшись губами до его уха:
— Что ты! Погоди!..
Его кинуло в жар от этого погоди, он чуть не выскочил из кресла, поднявшись на руках, но она уже укутывалась в ротонду, и Денисенко, скаля зубы, поздравлял ретиво:
— С законным браком, молодая! С законным браком, молодой!
Забыв, что еще не вышли из церкви, Мирон Лукич цыкнул на него:
— Вези живей, сатана…

Седьмая глава

Вместо эпилога

Уже рассвело, когда прикатил на Миллионную Петр Мироныч. Брат выскочил ему навстречу.

— Ну что? — выпалили они сразу, уставившись друг на друга, и оба развели руками.

Казалось, так же как они, весь дом исполнен был отчаянного недоумения: старик исчез, и след его простыл. Где-то, запрятавшись в угол, скулил побитый Васька. На дворе, требуя расчета, ворчал караульщик:

— Какой сторож даст себя бить? А он прямо в зубы. Мне седьмого десятку сколько годов?

Петр Мироныч, схватившись за голову, метался из стороны в сторону.

— Кабы мы тогда послушались владыку, — устало сказал Павел, — нашли бы лекаря…

— Ну?

— Объявил бы он папашу не в своем уме, не было бы нам нынче заботы. Сколько денег извели на церкви да на участок. Поди возьми теперь чего с участка.

— Крепок задним умом. Лучше скажи, сейчас что делать?

— Что делать? — с досадой переговорил Павел. — Что делать? Пойдем к ней.

— К ней?

— Где же ему больше находиться? Он там хоронился. А ты придумал ветер в поле ловить.

Петр вскинул глаза на брата, подумал и вдруг принял его решение.

Немного спустя они стучали в квартиру Агриппины Авдеевны. Им отперла Машутка и, потеряв платок, стремглав улетела из сеней.

Они вошли в переднюю.

Рядом с ней, в большой комнате, ненужно мигали забытые свечи, все было в беспорядке, одежда валялась по креслам.

Раздались торопливые шаги, женщина в черном платье, прикладывая к глазам мокрый кружевной платочек, остановилась в дверях.

— Что вам угодно? — разбитым голосом сказала она.

— Пришли узнать, куда вы нашего родителя девали, — пробасил Петр. — Ведь это вы сами?

— Ах, — вздохнула Агриппина Авдеевна и тихонько потрогала глаза платочком. — Ах! Вы, наверно, дети Мирона Лукича, сыновья… моего мужа…

— Мужа? — угрожающе переспросил Петр.

Она глубоко всхлипнула и совсем закрыла лицо.

— …моего покойного мужа.

— Покойного? — закричал Павел. — Что ты с ним сделала?

— Ах, что вы! — воскликнула она, вытягивая перед собой руку, точно защищаясь. — Такое злосчастье, такое злосчастье! У него было совсем слабое сердце!

— Где он? — крикнули братья.

— Такое злосчастье! — горячо повторила она, и вдруг у нее прорвались рыдания.

— Он мне… он мне… — силилась она что-то выговорить, — он мне оставил… только половину!

Братья ринулись в дверь, толкнув с дороги Агриппину Авдеевну, пробежали одной комнатой, потом другою, ворвались в спальню и остолбенели.

Старик сидел в своем кресле, фиолетовый, с разинутым ртом. Ноги его были открыты.

1920–1930

Алексей Толстой

Марта Рабе

Это было в первые годы Питербурха. Крепость только что строилась: били частоколы, копали рвы, наваливали раскаты. На болотистых берегах Невы, еще покрытых лесом, кое-где виднелись дощатые бараки, амбары и мазаные хижины. Лишь у деревянного Троицкого собора, что на Троицкой площади, да на Васильевском острову, на мысу, где студеная Нева разбегается на два русла, стояли бревенчатые, нового голландского штиля, избы обоих канцлеров, фельдмаршала генерал-адмирала и других служилых людей. Прочно строиться боялись. Грозный швед был под боком, военное счастье переменчиво: город как лагерь. Один только Александр Данилович Меншиков поставил богатый двор, обшитый тесом и выкрашенный под кирпич, а рядом, у самой Невы закладывал каменный дворец.

У Александра Данилыча все — как в знатных голландских домах. Конечно, наспех, на живую нитку, — но в ассамблейной, небольшой в два света комнате, — камин из сосны, крашенной под дуб, с деревянными же золочеными мужиками по бокам; на стенах, разделанных по тесу под мрамор, висели виницейские зеркала, фламандские срамные картины с голыми девками; в дубовых шкапах выставлена золотая и серебряная посуда, добытая из разоренной недавно Лифляндии. В частые переплеты длинных и узких окон вставлены не то что пузыри или слюда, но прозрачные, как воздух, стекла. Пол натерт воском. Чисто. Все блестит. Солнце над Невой, прорвавшись сквозь весенние облака, заливает рябью синие воды, лужи на топком берегу, где шумно раскачиваются редкие сосны, и, лучами ударив сквозь стекла, играет на кубках и тонком хрустале обеденного стола, покрытого по голландскому обычаю полотняной скатертью.

К столу подошла Марта Рабе. Поправила свечи в медном пятисвечнике, складку на скатерти, подняла на свет виницейский, как мыльный пузырь, кубок, подышала на него, вытерла уголком чистенького фартучка. Взглянула в окно, чуть прищурив черные веселые глаза, — солнце было уже низко, блестел жестяной шпиль крепости, синели леса за рекой Фонтанкой. Легкой походкой Марта Рабе пошла к зеркалу и оглянула себя.

Статная, с высокой грудью, прикрытой косынкой, чернобровая, — горячий румянец, лукавое живое лицо, на висках завитки темных волос. Полосатая шелковая юбка без стыда открывает сильные ноги в белых чулках. Другой такой поискать. Марта глядела на себя и вздохнула коротко. Переступила красными каблучками. Ну, ладно.

Послышались громкие голоса. Марта вернулась к столу. Александр Данилович провожал до передней адмирала, Федора Матвеевича Апраксина, рыхлого большого человека, с бритым, морщинистым, бабьим лицом, с открытой старой шеей, неряшливыми седыми волосами. Он шел озабоченно и торопливо, в дверях задержался, взял Меншикова за кафтан:

— Дела, дела проклятые, а уж вот как надо бы выпить и пошуметь по случаю жалования тебе графского титла, Александр Данилыч, то бишь, прости, ваше сиятельство.

Кланяясь, Меншиков сказал:

— За шумом дело не станет. Вот только обернусь из Копорья. Пятнадцать тысяч четвертей ржи надо запасти.

— А где ее, к черту, взять, голый север, — адмирал поднял густые брови. — Эх, мужи государственные, кабы вы Лифляндию не разорили, сидели бы мы по шею в зерне. Проживем ли эту зиму без хлеба — сумлеваюсь. Народишко и теперь мрет, как мухи.

— Я гетману Мазепе отписал, хлеб повезем с Украины, с Дона — потянем.

— А как мужики не дадут? — адмирал опустил одну бровь.

— Дадут. А драгуны на что?

— Ну, гляди, граф, справляйся. — Адмирал вдруг с досады полез в голову чесаться. — Эх, да еще кирпича мне надобно тысяч сорок… Царю легко сказать — ставь литейный завод… А ты голыми руками ставь. А ну, как не пришлют из Англии мастеров? — пропала моя голова… Рабочих везу с Урала в цепях, чтобы не разбежались сучьи дети, ибо здешние — зело неспособны… И ни гвоздя, ни кола — одно болото… Тьфу! Прощай, ваше сиятельство!

Адмирал поклонился, и Меншиков поклонился по этикету, — отставил ногу в шелковом чулке, низко уронил букли парика, тряхнул кружевными манжетами:
— Ауфвидерзейн, дай боже, в добрый час, мин герр адмирал…
Заперев за Апраксиным дверь, он остановился перед зеркалом поправить алонжевый парик, — черные, круто завитые букли падали едва не до пояса. Малиновый кафтан его, с жесткими как жесть полами, был густо обшит золотым галуном. Длинное лицо Александра Данилыча чисто выбрито. Синие глаза глядели строго. На красивом, слегка кривоватом рту — этикетная улыбочка. Руки в перстнях. Алмазами усыпана рукоять шпаги. Ну, чем не граф!
— Марта, — сказал небрежно, — поди приоденься, царь будет к столу.
— Ох! — Марта всплеснула руками. — Уж вы и придумаете, господин граф… Я не выйду. Оробею…
— Ничто, — царь простых баб любит, смейся веселее.
— Да ведь ца-арь…
— Обойдешься. Ты его царем, величеством не зови, — обругает.
— Как же его величать?
— Господин шаубинахт, — по-нашему, вроде как пониже адмирала. А пока он весел — зови просто: герр Питер. (Марта глядела круглыми глазами, трясла головой. Граф слегка нахмурился.) Сядешь с ним рядом. Потчуй, говори шутки, зря не стыдись. Он нынче — как лев алчный до женского… В нем тысяча любострастных чертей сидит.
Марта перестала трясти головой. Мигнула. Глаза сузились любопытством. Руки спрятала под передничек.
— Вот? — спросила. — Отчего сие?
— Под Шлиссельбургом в прошлом месяце упал в канаву саксонский посланник Кенигсек, будучи зело пьян, да и потонул. Царь сам обыскал карманы его, чая — нет ли цифирных писем, да и наскочил: при посланнике — на груди — письмо Анны Монсовой… Из-за этой шкуры царь законную жену в монастырь сослал… Бывало, прилетит из-за границы и к первой — к Монсихе… Променяла, стерва, на саксонца тонконогого. Царь о ней и слышать не хочет.
Марта промолчала. Молча подошла к Александру Данилычу, — руки под передничком, голова опущенная. Глядит исподлобья странно блестящим взором.
— Господин граф, а вы любите меня?
Александр Данилыч не ждал такого вопроса. Надул щеки, покосился.
— Я есмь муж государственный, — проговорил хотя и с важностью, но несколько нерешительно… У Марты задрожали ноздри.
— Вы взяли меня как пленную рабу, в одной сорочке, господин граф… Вы подняли меня до этих палат, изукрасили меня, — уж чего бы еще желать — не знаю; разве в золотую клетку птицу мне купите райскую… Управляю домом величайшего вельможи… А как была я, господин граф, в нищей сорочке — такой и стою перед вами: раба, рабыня продажная…
Александр Данилыч подался назад, заслонился стулом.
— Раскудахталась, — прикрикнул оттуда. — Строптива, нрав поганый! Иди, говорю, — нарумянься, насурьмись, надень робу парчовую.
— Наряды растопчу! (У Марты щеки, уши горели. Не баба — черт. Топнула башмачком. Зазвенел хрусталь на столе.) Голая пришла, голая уйду. Знать хочу: любите вы меня? За любовь держите при себе? — отвечайте.
— Дура! — закричал Александр Данилыч.
— Вы еще простые слова скажите.
— Скажу… (Начал багроветь.) По матери пущу… Э-ка… дура… Мне с государственными делами дай боже справиться, а ты с бабьим сырьем ко мне лезешь… Мне любить — неприлично.
— Царю хотите меня подсунуть?
— А хотя бы так… Что в том худого?
У Марты руки вылетели из-под передничка. Уперлась в крутое бедро.
— Господин граф, быть вашей роже битой…
Как-никак, а уж этого стерпеть невозможно: маршала бить по роже, победителя шведов и лифляндцев, первого российского графа!

— Быть моей роже битой? Уж не тобой ли? (Подошел вплоть, заорал.) В подполье посажу на цепь!
— Иного от вас и ждать нечего, — и ждать нечего от того, кто пирогами торговал…
— Замолчишь! — Александр Данилыч схватил ее за руки. Она извилась, вцепилась мелкими зубами, — вырвала руку. Схватилась графу за парик. За этим шумством не услыхали, как хлопнула дверь. Насмешливый хрипловатый голос Петра пробасил:
— Ай, славно, ай, подрались. (Марта ахнула, закрылась передником, убежала, только юбка ее полосатая мелькнула в дверях. Петр глядел ей вслед, потом перекатил темные выпуклые глаза на Меншикова.) Попало по роже, Данилыч? Ну, здравствуй, мейн херц.
Петр поцеловал Меншикова в губы крепко и, как был в нагольном расстегнутом кожане поверх кафтана, в финской морской шапке, сел к столу. Светлые чулки и башмаки его в грязи, руки — в смоле. Круглое лицо с маленьким твердым носом, с очень маленьким ртом и выдающимися желваками с боков рта, обветрено и шершаво. Он сейчас же налил стакан вина, не разбирая какого, выпил, крякнул и обернулся. За ним вошли четверо: толстый, багрово-румяный голландский шкипер Пельтенбург, в полосатых широких штанах и ватной куртке; корабельный мастер Ермилов — небольшого роста мужичок с козлиной бородкой (этого взяли прямо с верфи; он был в заплатанном сермяжном кафтане и все прятал руки за спину, пугливо мигал на графское убранство); — затем — огромный, мрачный, скуластый человек, в плисовом кафтане, с серебряным галуном; на стриженой голове венок из листьев, в руках — небольшой бочонок с водкой — это был всем известный Степан Вытащи; четвертый собутыльник Петра — косматый, худощавый, с припухшими глазами, поп Битка, в запачканном подряснике.
Меншиков, кланяясь, отставляя ногу, приветствовал:
— Садитесь, гости дорогие, не обессудьте.
Пельтенбург сейчас же сел напротив Петра. Степан Вытащи, стукнув бочонком о стол, завыл бахусову застольную песню:
— «Восстав поутру чрево свое яко бочку добре наполняю и в очесах моих мгла предстоит».
— Аминь, — кротко сказал поп Битка.
— Бахусова зелья мало зрю, — рычал Степан Вытащи, раскачиваясь, будто стоял в лодке на сильной волне. — Плохо нас чествуют… Уйдемте к черту отсюда, ребята!
— Степка Вытащи пьяный как свинья седьмой день, — сказал Петр без усмешки. — Уж и бил я его.
— Да, бил, ты только одно знаешь: драться. — Вытащи схватил бочонок и начал цедить водку в большой стакан. Александр Данилыч хлопотал у стола. Чествовал. Петр был весел. Зрачки выпуклых глаз перебегали по лицам собеседников. Похохатывал. Ел руками торопливо, не разбирая еды. Корабельному мастеру Ермилову велел сесть рядом, сам подкладывал ему куски на тарелку.
— Мы прямо с моря к тебе, Данилыч. Буер пытали новый, его стройки. (Положил кулак на спину Ермилову так, что тот пригнулся.) Недаром моя наука пошла, мастер зело отменный. Его грамоте научить да в Голландию послать… Данилыч, на море такой ветер — гораздо можно петь лю-лю… Давай-ка нам французскую секту… Сегодня первую сваю забили под бульвар Трубецкого бастиону.
— Сию викторию над слепой натурой надлежит зело возлить дарами Бахуса, — с галантным выговором, с поклонами ответил Меншиков и пошел к двери — распорядиться. Вытащи опять заорал песню, загибая такие простые слова, что Петр разинул рот, — глядя на него, ахнул. Пельтенбург поставил локоть на стол, вытянул палец и сказал как можно трезвее:
— Герр Питер, я много думал: в новом буере форштевень надо поднять на три дюйма. Судно чересчур зарывается в воду, чересчур берет много на себя воды. Это нехорошо.
— Как поднять, почему поднять? Постой, ты начерти, Данилыч, дай-ка перо, чернила.
Пельтенбург взял перо, скрипя, брызгая чернилами, начал рисовать корпус лодки. Петр лег животом на стол, глядел, посапывал.
— Гляди сюда, Ермилов. (Подтащил Ермилова к чертежу.) Он ведь правильно говорит.
Ермилов взял чертежик, посмотрел и так и этак.
— Его, значит, форштевень?.. Поднять его?
— На три дюйма, — важно подтвердил Пельтенбург.

— Ну? — Петр уставился на Ермилова, дернул щекой. — Ну, что скажешь?
— А я вот что скажу… Я бы ту хряновину не на три дюйма поднял, — моя-то воля… Вот — Петр Ликсеич приказал — мы строим… А я бы етот форштевень вон куда изогнул, — зачем ей в воде быть?
— А… Это необыкновенно. Это не бывает. — Пельтенбург помахал толстым пальцем.
Ермилов выставил бороденку:
— Как не бывает?? — а ты пойми да сделай… Лодка на корму должна опираться, а вес вы ей облегчайте.
— Верно! — Петр ударил кулаком, подскочили кубки. — Верно он говорит… Ерема, — ох, дурак мой!.. Голова золотая! — Схватил в большие руки его голову, стал целовать в лоб, в глаза, в рот, отгибая губы, целовал в десны. — Голова моя золотая.
— Голова его, конечно, его тово, — весь помятый, бормотал Ермилов. Александр Данилыч, опять-таки с поклоном, открыл дверь, и вошла Марта в парчовой широкой робе, — взволнованная, чернобровая, с опущенными ресницами. В руках она держала поднос и золотые чарки.
— О! Необыкновенно красивая женщина… Русская Венус, — сказал Пельтенбург, откидываясь на стуле. Вытащи загнул словечко. Битка прогнусавил: «Лобзания хощу, всепьянейшая мати». Петр молчал, глядел. Марта присела перед ним, шурша робой, поднесла чарку. Не сводя глаз, Петр выпил. Жаркий румянец взошел ей на щеки, она нагнулась и поцеловала Петра в губы. Он — будто она и не коснулась его — молчал как каменный. Меншиков шепнул ей торопливо:
— Ермилова, Ермилова поцелуй…
— Ето ни к чему, голубка, мы непривычные. — Ермилов слез со стула и начал пятиться, кланяться, все же чарку взял, выпил: — Ну, дай бог, живи счастливо.
Вслед за Мартой вошли мужики в шелковых красных рубахах, плисовых штанах, сытые, кудрявые. Поклонились враз царю, приставили к губам рожки и заиграли. Петр глазами подозвал Меншикова:
— Откуда красавица?
— Шереметевым взята под Мариенбургом, служанка пастора Глюка… Марта Рабе.
— Красивая баба.
— Я у Шереметева ее выпросил, знаю, старику не под силу. Лаял меня, но отдал. Целенькая была…
— Не хвастай, не хвастай, Данилыч. — Петр застучал ногтями по столу, не слушая больше, следил за Мартой. Должно быть, Александр Данилыч сделал ей какой-то знак, — она внезапно подошла и низко присела перед Петром.
— Прошу на польский, господин шаубинахт.
Петр сейчас же встал, — длинный, сутуловатый, стащил кожан и неуклюже церемонно кивнул одной головой: «Прошу, Марта Рабе», обхватил ее за горячую, под парчой, спину и пошел танцевать, притоптывая, крутя ногами, то задирая высоко голову, то опуская ее, как конь, к обнаженным Мартиным плечам.
Пельтенбург в большом восторге хлопал в ладоши: «О, зеен зи, царь большой мастер плясать». Вытащи и поп Битка стали подзадоривать, кричать Петру: «Прыгай выше… Крути ей подол… Мни… Яри». Рожечники дули изо всей силы. Меншиков сладчайше улыбался. Наконец Петр шибко завертел Марту, опустил на стул. Лоб его был в поту. Он протянул руку, стащил с Меншикова алонжевый парик и вытер лицо: «Горяча плясать, бесовка». Швырнул парик на стол, сел перед Мартой, касаясь коленями ее колен.
— Где плясать училась?
Марта глядела в страшные, выпуклые, темные глаза.
— В Мариенбурге, герр Питер.
— Немка? Чухонка?
— Мы — из Литвы, — Скавронские, по-подлому — Скаврощуки. Батя и маманя померли в чуму. Взяли меня добрые люди в Ревель. Оттуда взял Глюк. Я у него смотрела за малыми детьми, — ну, как сказать: служанка, да не совсем… Грамоте, политесу ученая.
— А муж — кто был?
— Мужем он и часу не был, — шведский драгун Иоган Рабе.
— Убит?

— Убит.
— Что же горевать, — умер с честью.
— У пастора свадьбу играли, да в самый день, когда ваш полководец подступил к Мариенбургу. Вина недопили, — началась пушечная пальба. Иоган взял мушкет и выбежал… Пастор говорит: «Дети, становитесь на колени, — один бог спасет…» В это время небо с землей раскололись, — шведы взорвали крепость… И мы видим — по улице скачут драгуны, — русские ворвались в город.
Марта закрыла лицо, Петр нагнулся к ней, отвел ее руки:
— Ну, знаю… Грабеж, бабий крик, — война не милостива… Что дальше было?
— Со страху не помню, как привели в обоз. Один солдатик пожалел, — холодно было, а я в одном платьишке, — накинул на меня кафтан. А уж из обоза взяли меня в палатку к Шереметеву.
— Где же тебе любо — у пастора или в нашем парадизе?
— Здесь веселее…
— А отчего зарумянилась?
Марта вдруг усмехнулась как заря, поднялась и — без поклона:
— Герр Питер, я вас просить хочу.
— Ну, проси.
— Пойдемте еще раз польский, — уж вы и пляшете!
Петр засмеялся, — громко, шумно, коротко. Встал, налил стакан вина, обернулся к Меншикову и, — выпив вино одним глотком:
— Данилыч (Меншиков подскочил), отдохнуть пойду к тебе на часок.
— Постель готова, мейн херц.
— А пьяной кумпании — не расходиться, ждать меня. Ужинать пойдем на голландский фрегат. (Не оглянувшись на Марту, пошел к дверям, широко шагая, болтая левой рукой. Меншиков летел за ним.) В дверях Петр круто остановился — Данилыч, скажи Марте, — взяла бы свечу, мне посветила в спальне.
— Скажу, мейн херц.
Вдогонку Петру закричал Вытащи:
— Пахом, Битка мне кафтан облювал.
И — Битка:
— Пахом, ты скорей оборачивайся, а то нам скушно…
Петр ушел. Кумпания шумела. Меншиков, не отходя от двери, подозвал Марту. Взял зажженную свечу и — с нежной улыбкой:
— Царь хочет, чтобы ты взяла свечу, посветила ему, — в спальне темно.
— Господь с тобой, Александр Данилыч! — Марта побелела, отступила, положила на грудь руку.
— Иди, — сказал Александр Данилыч.
— Не щадишь? не жалеешь?
Оба помолчали. И вдруг Марта страстным шепотом:
— Сердца нет у вас, господин граф.
— Иди.
Он подал свечу. Она взяла. Свеча не дрожала.
Меншиков поспешно отворил дверь, и она ушла. Тогда он велел музыкантам играть громче, веселее — бахусову. Потребовал еще секту. Вытащи безобразно орал, колотя ладонями по столу:
— Сами баб хощем…
Пельтенбург, отдуваясь:
— Я чересчур выпил, — это нехорошо… Русские, пфуй, чересчур много пьют.
— А ты пей, да голову не теряй, — сказал Ермилов, — а то у нас пропадешь, иностранный.
Потом Пельтенбург плясал, топчась и поводя ладонями.
Ермилов притаптывал: «Ходи изба, ходи печь». Поп Битка обессилел, тихо повалился под стол. Александр Данилыч похаживал, посмеивался.
Прошло более часу. Открылась дверь, и появилась Марта. Темные волосы ее были смяты, несколько пуговок расстегнуто на груди, где белело кружево тонкой сорочки. Ментиков кинулся, пронзительно вглядываясь:

— Ну, что, царь заснул?
Не отвечая, не меняясь в лице, Марта тяжело, полной рукой, хлестнула его по щеке. Александр Данилыч качнулся, весь вспыхнул. И — понял все. Торжествующе усмехнулся — глазами, ртом, всем длинным лицом своим… Склонился в низком поклоне, касаясь буклями вощеного пола и, обеими руками взяв, почтительно поцеловал Марте руку — как будто перед ним стояла уже не Марта Рабе, а Екатерина Алексеевна, императрица всероссийская.

1931

Юрий Тынянов

Малолетный Витушишников

1

Ночь была проведена беспокойно. Дважды поднимался и окидывал комнату строгим взглядом. Потом было сказано:
— То-то.
И сразу же, завернувшись в боевую шинель, уснул.
Он лежал на узкой походной кровати. Похода не было, но иногда к вечеру он уединялся в «походную» комнату, свой боевой кабинет, и там, завернувшись в простую серую шинель, — засыпал.
Было замечено, что такие уединения совершались обычно после дней, когда он бывал отягощен семейными государственными делами.
Вчера и был такой день: Варвара Аркадьевна Нелидова отлучила императора от ложа.
Проведя ночь на боевой постели, он обычно вставал полный решимости. Всегда умывался холодной «солдатской» водой, растирал мускулы и несколько секунд гладил то место, под которым должна быть грудобрюшная преграда. Предложение лейб-медика Мандта для снятия излишнего. Затем быстро одевался и внезапно являлся.

Так было и теперь. Завтрак прошел превосходно. Он приласкал наследника и сказал любезность. Затем отправился в телеграфную комнату — год назад первый электрикомагнитический телеграф был проведен из его зимнего дворца к трем нужным лицам: шефу жандармов Орлову, главноуправляющему инженерией Клейнмихелю и фрейлине двора Нелидовой, которая жила по Фонтанке. Изобретение ученого сотрудника III отделения, барона Шиллинга фон Капштадт. Чуждаясь обыкновенной азбуки, он предпочитал собственную систему шифров — le systeme Nicolas
[7]
. Выслав вон телеграфного офицера, он сам послал особое слово к фрейлине Нелидовой, означавшее:

— Barbe
[8]
.

Несмотря на то что депеша, вероятнее всего, достигла назначения, ответа не было.

Повторено:
— Barbe.
Затем, с поспешностью и огорчением, послано сразу:
— Вы все еще сердитесь?
Вскоре электрикомагнитический аппарат принял ответ:
— Ваше величество…
Обычно для сокращения употреблялось: «Sire — государь».
— … увольте…
Император с длинным карандашом в руке расшифровывал значение слов.
— … на покой…
Он положил карандаш.
Легкий вздох, он нахмурился, и с телеграммами на этот день было покончено.
Потом был выход и прием различных дел.

2

Ссора имела следующую причину.
Будучи образцовым, являясь по самому положению образцом, император желал одного: быть окруженным образцами. Варенька Нелидова была не только статна фигурою и правильна чертами, но в ней император как бы почерпал уверенность в том, как все кругом развилось и гигантскими шагами пошло вперед. Она была племянницей любимицы отца его, также фрейлины Нелидовой, — что, как человека, его вполне оправдывало, — и для отошедшей эпохи получалось невыгодное сравнение. Та была мала ростом, чернява и дурна, способна на противоречия. Эта — великолепно спокойного роста, с бледной мраморностью членов и с тою уменьшенной в отношении к корпусу головой, в которой император видел действие и залог породы.
Несколько дней назад, при обычном представлении императору, она вдруг скрыла лицо на его груди и заявила, что понесла. Это было вопросом столь же семейным, сколько государственным.
Как человек, император был приятно удивлен. Днем он особенно милостиво шутил, легко подписал государственный баланс, внезапно наградил орденом св. Екатерины кавалерственную даму Клейнмихель (родственница), и все ему удавалось. Затем обдумал будущий герб и некоторые мероприятия. Для герба он полагал — овальное голубое поле и три золотых рыбки. Титул: герцог или ниже — граф. Фамилии еще не выбрал, но остановился на трех: Николаев, Романовский, Нелидовский. О том, что может быть дочь, женского пола, он не думал. Затем обдумал поведение матери. Она должна ежедневно гулять по Аполлоновой зале или по Эрмитажу не менее часу. Окруженная со всех сторон статуями, видя вокруг себя мраморные торсы и колонны, будучи сама таким образом центром изящества, молодая мать может произвести только изящное.
Но вслед за этим император немного увлекся. Думая в этот вечер исключительно о предметах, связанных с женщиной и ее назначением, он живо представил себе событие всего и ясно увидел сцену: как он впервые приветствует младенца.
Розовый младенец лежит на руках у кормилицы, и он по простонародному русскому обычаю кладет тут же на подушку, «на зубок», маленький свиток — герб и прочее.
На руках у нарядной кормилицы. И незаметно, может быть мимоходом, вспомнив о форменных фрейлинских платьях, нахмурился: с женской формой дело не удалось и вызвало много толков. Тут же он вдруг подумал о форме для кормилиц. И сам удивился: у кормилиц самых высших должностей не было никакой формы. Полный разброд — включая невозможные кофты-растопырки и косынки. Назавтра он сказал об этом Клейнмихелю: пригласить художников, а те набросают проект. Клейнмихель распорядился быстро. Через два дня художники представили свои соображения.
Головной прибор: кокошник, окаймляющий гладко причесанные волосы и сзади стянутый бантом широкой ленты, висящей двумя концами как угодно низко. Сарафан с галунами. Рукава прошивные.
Художники ручались, что дородная кормилица в этой форме широкими и вместе стройными массами корпуса поставит в тень кого угодно.

Форма вызвала одобрение императора, приказавшего только озаботиться ввести более резкие отличия от парадного, также простонародного, костюма фрейлин. И она же вызвала ссору.
Вареньку Нелидову вдруг стали поздравлять, и дело получило самую широкую огласку. Форма для кормилиц временно оставлена под сукном, но третий день уже длилось охлаждение.
3
Пройдя по Аполлоновой зале, он увидел на мгновение в зеркале себя, а сзади копию Феба, и невольно остановился — он почувствовал свое грустное величие: император, получив горький ответ на свои чувства, — проходит для приема воинов в Георгиевскую залу. И в Георгиевской зале сразу принял эту осанку: старее, чем всегда, много испытавший, император принимает парад старых воинов.
Представлялись старослужилые жандармского корпуса офицеры. Император остановился взором на старом из них. Ему припомнилось, что где-то он уже видел его.
— Мы уже где-то встречались? — сказал он грустно.
— Точно так, ваше величество, имел счастие. Позвольте в отставку, — сказал старец, слезясь.

— Подожди, мой старый… драбант
[9]
,— сказал император, — мы вместе пойдем в отставку.

Все вздрогнули.
Император хотел сказать: старый товарищ, но решительно не помнил, где видел жандарма, и поэтому сказал: мой старый драбант. И об отставке.
Увидя слезы у всех на глазах, остался доволен.
— Входите во вкус делать добро, — сказал он.
Прием кончился.
4
Двум солдатам Егерского полка карабинерной роты захотелось выпить. Браво солдатствуя уже десять лет, эти двое солдат, соседи по нарам, только раз штрафованные, но не бывшие на замечании, одновременно захотели выпить водки. Предприятие было опасное.
— Рыск, — сказал старший и заерзал спиною.
Казармы стояли в одном из невидных мест, которых было много в Петербурге: в десяти минутах ходьбы были присутственные места, Нева, мост, соединявший Петербургскую часть с Васильевским островом, значительные и важные сооружения; но кругом — сады, голые и черные, табачная лавочка, богадельня, в которой виднелись бодрые инвалиды, а дальше — совершенно прозрачная, белесая дичь. По направлению к присутственным местам был кабак. Старший солдат работал в полковой швальне, и ускользнуть можно было, напросившись в одну из перевозок или на поручение. Речь шла о втором. Но и у второго была надежда: его употреблял по сапожному мастерству ротный командир, и могло случиться, что он мог быть вызван на квартиру для снятия мерки с ног супруги ротного командира.
— Рыск, — сказал сапожник, — без рыску нельзя.
Первый же был озабочен. Он сомневался.
В полку у солдат не было излишнего времени, которое не на что употребить, а излишнее время, оставшееся от строевой службы, швальных и пошивочных дел, чистки обмундирования и сбруи и т. д., заполнялось детскими играми. Если же бывали упущения, командир трактовал солдат как людей совершенно другого, зрелого возраста. Также в праздники делалось исключение — выдавалось по шкалику водки, которую звали «пенник» и «добрый пенник», а шкалик — «чаркой»; тогда же, во время праздника, ребята допускались «до девок», что в полку звалось также «попастись» и «на травку». Больные же и наказанные солдаты пользовались в госпиталях.
В утро того дня обоим солдатам посчастливилось.

Выйдя из ворот казармы, каждый по служебному делу, они разошлись в разные стороны, один подождал другого, и вскоре, сойдясь, они вытянулись, выравняли шаг и маршем направились по дороге в кабак.
Был час дня.
5
Принужденный вникать во все стороны подведомственной жизни, император после краткого отдыха принял главноуправляющего путями сообщений и публичными зданиями, генерал-адъютанта Клейнмихеля.
Небольшого роста, очень плотного сложения, с рыжими, чуть потолще императорских, усами, граф Петр Андреевич Клейнмихель был сложной натурой. Управляя, он не любил подписываться на бумагах, а производил дела по личному сговору и устному приказанию. Для быстроты суммы пересчитывались тут же, на месте, при самом заинтересованном лице. Перемещаемый с одного высокого поста на другой, он получил пестрое образование. Девиз его был: усердие все превозмогает. Будучи толст, рыж и усат, имел нежную девичью кожу. Проходя по строю подчиненных, говорил с ними звонким голосом и бывал скор. Допускал при провинностях короткость: трепал карандашом по носу. Но был и откровенен. При докладах открыто трактовал, например, министра финансов Вронченко — скотиной. Когда упоминалось это имя, он сразу заявлял:

> — Скотина! — и более не слушал доклада. Но трепетал, как смолянка
> [10]
> , чувствуя приближение императора. Войдя в его кабинет, он становился меньше ростом, бледнел, усы поникали, он видимо таял. Говорил хриплым страстным шепотом, когда же находил обыкновенный голос, — это был тонкий, детский дискант. Близость императора имела на Клейнмихеля чисто физиологическое действие: когда император сердился, генерала начинало тошнить. Отойдя в угол, он некоторое время с трудом удерживался от спазм. Император знал за ним эту слабость и уважал ее.

— Сам виноват, — говорил он генералу, когда тот терялся.
Вместе с тем эта слабость была силой генерал-адъютанта Клейнмихеля. Она внутренне подстрекала его быстро исполнять приказания по строительной части, а с другой стороны, доказывала полное уничтожение перед волею своего государя.
Постепенно он научился избегать гнева. Будучи дежурным генералом, он каждое утро являлся с экстренным докладом ко дворцу. Его лошади были скоры как ни у кого, что он считал особо необходимым для начальника путей сообщения. «Пух и прах!» — таков был его обычный наказ кучеру.
Ровно к двенадцати часам он прибыл во дворец, привезя с собою в санях черный, плотный, как гроб, портфель.
Мелкими шагами, запыхавшись, с беспечностью на розовом лице, он прошел к императору и на пороге побледнел.
Сдвинув ноги в шпорах, издал тихий звон. Произнес приветствие. Сразу же стал доставать из портфеля различные предметы — и вскоре разложил перед императором желтый шнур для выпушки, пять отрезков темно-зеленого мундирного материала разных оттенков, маленькую, нарочно сделанную для образца, фуражечку путейского ведомства и жестяную, плотно закрывающуюся баночку с черной краской.
Это были образцы.
Император посмотрел на них непредубежденным взглядом; он взял со стола шнур и, поглядев на графа, намотал на указательные пальцы. Генерал выдержал взгляд. Император рванул шнур. Шнур выдержал испытание. Приоткрыв баночку, император понюхал и спросил брезгливо:
— Это что?
— Краска, представленная для покрытия буток, государь.
Император понюхал еще раз и отставил.
— Новую смету приготовил?
— Приготовил, государь.
— Сколько?

— Пятьдесят семь миллионов, ваше величество.
— Сорок пять — и ни полслова более. У меня деньги с неба не падают.
Дело шло о сметных деньгах по новой Николаевской железной дороге. Первоначальная смета была отклонена. Работы же вообще производились по справочным ценам.
Император посмотрел пристально на Клейнмихеля.
— Я прикажу быть инженерам честными, — сказал он. — Тумбы у тебя поставлены?
От здания таможенного ведомства вдоль по Неве тумбы имелись только с одной стороны. Со стороны набережной был переход прямо на холодный невский гранит. Стремясь к симметрии не только во внутренних вопросах государства, но и во внешнем устройстве столицы, государь, проезжая, обратил на это внимание генерала.
— Стоят, ваше величество, — грустно ответил генерал.
Государь указал на шнур, фуражечку и баночку.
— Возьми.
Прием был закончен.
6
Выйдя из дворца, граф Клейнмихель сел в сани и закричал отчаянным голосом опытному кучеру:
— Гони, скотина! В управление! Пух и прах!
Три прохожих офицера стали на Невском проспекте во фрунт. Чиновники чужих ведомств снимали фуражки. По быстроте проезда все догадались, что скачет граф Клейнмихель по срочному делу.
Он пробежал в свой кабинет, не глядя ни на кого.
— Позвать скотину Игнатова, — сказал он.
Скотина Игнатов, статский советник, явился.
— Тумбы! Где Еремеев? Брандмейстер! Брандмейстер! — кричал генерал.
«Брандмейстер» было прозвище статского советника Еремеева, смотрителя уличного благоустройства, неизвестно откуда происшедшее.
Дело объяснялось так: генерал-адъютант Клейнмихель забыл отдать распоряжение о тумбах.
Чувствуя во рту сладкий вкус — предвестие тошноты, — генерал Клейнмихель распоряжался. Тумбы оказались заготовленными, но еще не поставленными. Через пять минут была послана на место производства работ рота строительно-инженерных солдат. Каждые пять минут прибывали с рапортом лица внешнего отделения полиции. Они рапортовали, что все в порядке; ничего особенного по месту производящихся работ не произошло. Слабея, генерал ходил по кабинету и все реже хриплым голосом кричал:
— Я прикажу им быть честными!
Через четверть часа тумбы воздвигнуты в установленном порядке, а следы недавнего внедрения, насколько возможно, скрыты щебнем. Император в местах производства работ не замечен.
Генерал Клейнмихель опустился в кресла.
— Пух и прах, — сказал он.
7
Именно в это утро, более чем когда-либо, император ощущал потребность в государственной деятельности. Образцы, среди них маленькая фуражечка, не удовлетворили его. Ни одной минуты не должно быть потеряно даром. Разве заехать к вдове полкового командира Измайловского полка и сказать потрясенной горничной девке:
— Доложи: приехал генерал Романов… —?
Старо и не следует повторять более разу. Можно устроить чрезвычайный смотр Преображенского полка. Обревизовать внезапно конюшенное ведомство. Затребовать план нового кронштадтского форта, составленный Дестремом. Заняться делом о краже невесты поручиком Матвеем Глинкою.
Он приказал заложить лошадей и поехал внезапно ревизовать С.-Петербургскую таможню. Он прекрасно знал город как стратегический пункт. С того времени, когда в городе случились неприятные беспорядки при его восшествии, он привык по-разному относиться к частям города. Так, например, не любил Гороховой улицы, не ездил по Екатерингофскому проспекту и всегда подозревал Петербургскую часть. Прекрасно зная план своей столицы,

он, однако, выезжая, испытывал иногда чувство удивления, как улицы в их грубом пригородном начертании, усеянные постороннею толпою и зрителями, мало походили на план. Любил поэтому знакомые места — Миллионную, правильный Невский проспект, бранное, упорядоченное Марсово поле.
С Васильевским островом мирился за его немецкий и забавный вид — там жили большею частью булошники и аптекари. Он помнил водевиль на театре Александрины, этого, как его… Каратыгина, где очень смешно выводился немец, певший о квартальном надзирателе:

И по плечу потрепал.

Он тогда сказал Каратыгину: очень неплохо.
— Недурные водевили сейчас даются на театре. Глаз да глаз.
А до таможни проездиться по Невскому проспекту.
Прошедшие два офицера женируются и не довольно ловки.
Фрунт, поклоны. Вольно, вольно, господа.
Ах, какая! — в рюмочку, и должно быть розовая… Ого!

Превосходный мороз. Мой климат хорош. Движение на Невском проспекте далеко, далеко зашло. В Берлине Linden
[11]
— шире? Нет, не шире. Фридрих — решительный дурак, жаль его.

Поклоны; чья лошадь? Жадимировского?

Вывески стали писать слишком свободно. Что это значит: «Le dernier cri de Paris, Modes»
[12]
. Глупо! Сказать!

Кажется, литератор… Соллогуб… На маскараде у Елены Павловны? Куда бы его деть? На службу, на службу, господа!
У Гостиного двора неприличное оживление, и даже забываются. Опомнились наконец. А этот так и не кланяется.
Статский и мерзавец. Кто? Поклоны, поклоны, вольно, господа.

Неприлично это… фырканье, cette petarade
[13]
у лошади — и… навоз!

— Яков! Кормить очищенным овсом! Говорил тебе!
Как глупы эти люди. Боже! Черт знает что такое!
Нужно быть строже с этими… с мальчишками. Что такое мальчишки? Мальчишки из лавок не должны бегать, но ходить шагом.
Поклоны, фрунт.
А эта… вон там… формы! Вольно, вольно, малютка!

Въезжая на мост, убедился в глянце перил. И дешево и красиво. Говорил Клейнмихелю! Вожжи, воздух. Картина! Какой свист, чрезвычайно приятный у саней, в движении. Решительно Канкрин глуп. Быть не может, чтоб финансы были худы. А вот и тумбы… Стоят. Приказал, и тумбы стоят. С тумбами лучше. Только бы всех этих господ прибрать к рукам. Вы мне ответите, господа! Никому, никому доверять нельзя. Как Фридрих-дурак доверился! — и aufwiedersehen
[14]
. — Стоп.

Таможня.
8
Он заметил, как покачнулся толстый швейцар и как сразу выцвели и померкли его глаза в мгновение перед тем, как упасть корпусом вперед в поклоне. И он вступил в здание.
Он любил внезапное падение шума, чей-то отчаянный шепот и затем, сразу, тишину. И появляется — он.
Его глаз замечал все — писец за столиком вдруг перекрестился, как бы шаря у пуговицы.
Он отдал громко приказ:
— Продолжать дела!
Шел обычный досмотр вещей, и чем обычнее были вещи, тем яснее чувствовалось значение происходящего. Его присутствие придавало смысл всем досматриваемым вещам, даже ничтожным; произносились названия. Он стал у весов.
— … золотые дамские, с горизонтальным ходом, женевские…
— Водевиль-Канонес — сигары — ящика: два; Дос-Амигос-Трабукко — ящика: один; Водевиль-Рояль…
Рококо столовых ложек: двенадцать; ренессанс черенков: двенадцать…
— Книги немецкие, в книжный магазин Андрея Иванова.
— Вскрыть.
Книги ему показались дурного тона. Он отобрал из них две неприличные. «Каценияммер» — сборник грязных анекдотов с изображениями женщин, у которых виднелись из-под юбок чулки, и «Картеншпиль» — руководство к выигрышу. Карточная игра в последнее время очень развилась, что серьезно его заботило. Перевод сочинения Александра Дюма «Графиня Берта» отложен за ненадобностью.
Неприметно он увлекся досмотром вещей. Было наперед ясно, что в каждой прибывающей партии товаров имеются вещи злонамеренные. И он ждал их. Но вместе была и полная неизвестность: а вдруг ровно ничего не окажется?
— Подсвечники кабинетные для вояжа, штуки: две.
— Канделябры…
— Сигарочницы, бритвенницы разной величины, штук: десять…
— Машинка для языка…
Он стоял.
Досмотр шел; вскрывались ящики, вещи извлекались.
Оставались всего два ящика, большие и хорошего вида.

— Экспедицьон офицель
[15]
, — сказал таможенный тихо.

Ящики с такою надписью отправлялись на министерство, посольства и вскрытию не подлежали.
Он посмотрел поверх должностных лиц, бесстрастно.
— Expedition — это вы, — сказал он, — officielle — это я. Вскрыть.
Легкий вздох прошел по залу.
Началось вскрытие клади, которая много лет безмолвно пропускалась лицами таможенного ведомства, не имеющими права интересоваться содержанием.
— Досмотреть и перечислить.
И здесь произошло событие, не предвиденное даже императором.
— Сорочки женские шелковые, штук: двадцать, — сказал чиновник.
— Одеяла ватные, шелковые, с кистями, штук: пять…
— Полотно батист, мануфактур Жирард, кусков: десять…
— Зеркала филигрань…
Бросились к ящику проверять адрес — оказалось в порядке: груз казенный, expedition officielle. И что впопыхах раньше не прочли: для отдельного корпуса жандармов шефа графа Орлова.
— Чулок женских шелковых, пар: двадцать…

Император, несколько опешив, стоял.
Вдруг манием руки он прервал пересчет.
— Доставить к нему на квартиру, — сказал он.
Близкостоящему чиновнику послышалось как бы еще:
— Свинья! — но чиновник не осмелился расслышать и до самой смерти донес воспоминание, что император сказал вовсе не «свинья», а «семья», желая таким образом объяснить содержание официального пакета семейными обстоятельствами шефа жандармов графа Орлова.
И большими шагами, производя звон большими шпорами, еще возвысясь в росте, император, посмотрев на всех, удалился в негодовании.
9
Император страдал избытком воображения.
Обычно он не только гневался, но еще и воображал, что гневается. Он даже отчетливо видел со стороны всю картину и все значение своего гнева. Вместе с тем его раздражительность была чувство не простое. Составив себе определенное законными установлениями представление об окружающем, он негодовал, находя его другим. Но как он понимал, насколько ниже его все окружающие, то ничего, в сущности, не имел против того, чтобы они имели свои слабости.
Однако случай с графом Орловым его озадачил.
Направляясь в таможенное ведомство, он думал, что откроет там какое-нибудь злоупотребление, неясно представлял, какое именно. Он знал, что шеф жандармов берет большие взятки и даже переписал на себя чьи-то золотые прииски, но мирился с этим ввиду больших, чисто политических размеров взимаемого. Здесь же эти одеяла и двадцать штук беспошлинных женских сорочек удивили его, так сказать, домашнею осязательностью предметов. Зачем ему нужны эти двадцать сорочек? Тысяча свиней!
Он не любил бывать озадаченным. Ноздри его были раздуты. Выйдя на совершенно опустевшую улицу, он пешком дошел до угла. Кучер Яков ехал мерным шагом за ним, соблюдая расстояние. Перед тем как сойти с панели к саням, император в раздражении ударил носком сапога в тумбу.
Многими историками отмечалось, что бывают такие дни, когда все кажется необыкновенно прочно устроенным и удивительно прилаженным одно к другому, а весь ход мировой истории солидным. И напротив, выдаются такие дни, когда все решительно валится из рук. Тумба, в которую ударил носком сапога, находясь в дурном настроении, император, внезапно повалилась набок. Кучер на козлах крякнул от неожиданности. Улица была безлюдна.
— Где мерзавец Клейнмихель? — спросил себя император, глядя в упор на кучера.
Но кучер Яков был муштрованный и на государственные вопросы не отвечал.
Он тихонько произнес, как всегда в этих случаях:
— Эть (или даже: эсь), — и слегка натянул вожжи, так что это слово, если только это было словом, могло быть отнесено и к лошадям.
Между тем вопрос имел свое значение, что обнаружилось впоследствии.
Если бы здесь, под рукой, оказался Клейнмихель, как всегда в таких случаях, все хоть бы отчасти улеглось. Генерал мог бы сослаться на грунт или отдать под суд роту своих инженерных солдат. Здесь же, имея перед глазами Неву, невдалеке мост, построенный генерал-инженером Дестремом, дальше Петербургскую часть, а у ног тумбу, — император излучал гнев, не находивший применения.
В чисто живописном отношении его лицо чем-то своею быстрою игрою напоминало в такие минуты молнию в «Гибели Помпеи» Брюллова и «Медном змии» Бруни.
Он почувствовал старое военное состояние, в котором был тогда — при Енибазаре — тогда, когда военный совет просил его об удалении с поля битв из-за опасности быть окруженному подобно Петру Великому на берегах Прута. Полный горького сознания, что такой гнев растрачивается впустую, он сел в сани и приказал:
— Через мост, на Петербургскую часть. Кругом, в обход!
Сани помчались.
— Посмотрим, посмотрим, господа мерзавцы!
Был час дня.

10
В это время обер-полицеймейстер генерал Кокошкин, получив ложные донесения о движении императора на Васильевский остров, выехал наперерез, имея в составе полицеймейстера и трех чинов внешнего отделения полиции. Не встречая на своем пути ничего подозрительного, генерал Кокошкин распорядился, однако же, через четверть часа двинуть одного из чинов, поручика Кошкуля 2-го, в обход, по направлению к казармам Егерского полка, на Петербургскую часть.
11
События развивались быстро.
Петербургская часть, при неустроенности мостовых и обилии непроезжих пустырей, имела свои преимущества: редкую заселенность, приземистое строение домов, открывавшее глазу широкую перспективу и отсутствие скопления людей на улицах. Сани, управляемые опытным кучером, неслись.
Была перепугана водовозная кляча, плеснувшая из бочки воду, чуть не понесшая, скрылись две салопницы, мелькнули уличные сцены из жизни простонародья, а там пошли пустыри и осталась позади будка градского стража.
В это время император на повороте, невдалеке от Невы, заметил двух солдат, по форме как будто Егерского полка. Солдаты, бодро идя по чистому зимнему воздуху, не слышали звука саней и оба разом зашли в низенькую дверь строения, не напоминавшего по виду ни одного из зданий военного ведомства. Поравнявшись с дверью, император прочел на вывеске: «Питейное заведение» и надпись мелом, на заборе: «кабак».
Сомнений не было никаких. Двое рядовых лейб-гвардии Егерского полка, или во всяком случае какого-то гвардейского полка, вошли, неизвестно как отлучившись, в кабак.
Это было нарушением, которое надлежало пресечь лично.
Когда нарушение началось, но еще не совершилось или, по крайней мере, не достигло своей полноты, — дело командования пресечь или остановить его.
Но, если оно уже началось, необходимо остановить надо рушение в том положении, в каком оно застигнуто, чтобы далее оно не распространялось.
Здесь же, хотя дело шло о посещении кабака, которое только что началось и во всяком случае не достигло еще своей полноты, однако нельзя было довольствоваться такими мерами. Предстояло восстановить порядок, обличить виновных и обратить вещи в то положение, в котором они состояли до нарушения.
Порядок и расположение пунктов были к этому времени следующие: П — пустырь, Б — будка градского стража, К — кабак, С — сани государя императора, с кучером и с самим императором, остановившим сани, но из саней еще не выходившим.
Император крикнул звучным голосом, обратясь в сторону Б — будки:
— Стра-жа!
В служебное время на каждую будку полагалось три стража. Один из них, по очереди, стоял у будки на часах, вооруженный и одетый по форме, другой считался подчаском, а третий отдыхал.
На беду, было как раз такое положение: вооруженный алебардою страж сдал с утра свою команду другому, другой отдыхал, а подчасок отлучился по своей надобности.
Положение еще осложнилось тем, что император заметил на безлюдной ранее улице, правда на довольном расстоянии, зевак.
Заметен был равнодушный чухонец с горшком из-под молока, две какие-то бабы-раззявы и совсем юный и розовый малолетный подросток.
— Стража! — повторил металлическим голосом император.
В это время из среды простонародья неожиданно отделился подросток и быстрыми шагами подбежал к саням.
— Осчастливьте приказать за стражей, ваше величество, — сказал он довольно бойко.
Император жестом изъявил согласие, но сам между тем рванулся из саней так быстро, что кучер не успел отстегнуть полость, и ее в последний момент отстегнул тут же случившийся подросток.
12

Рядовые карабинерной роты, вошедши в питейное заведение, вели себя как люди, расположившиеся отдохнуть и выпить, или, как говорилось среди унтер-офицерства, дерябнуть.
Они вежливо спросили у хозяйки два шкалика водки, а на закуску по ломтю хлеба, соли и вяленого снетка.
Хозяйка, рыхлая и расторопная женщина, стала хозяйственно нарезать хлеб, а солдаты сели у окошка и хотели приступить к разговору. Один из них, как всегда в таких случаях, смотрел в запотелое окошко, без дальних мыслей, но все же наблюдая на всякий случай улицу.
Вдруг в окне, справа, мелькнули: конская морда, блестящий мундштук, кучерская шапка, и взлетел шпиц каски.
— Частный! — успел крикнуть солдат.
13
Настежь распахнув дверь, император сразу подошел к стойке и безмолвно оглядел, как бы уравнивая взглядом, хозяйку, початый бочонок с медным краном и какую-то снедь на стойке, названия которой не знал. Этого было довольно.
Хозяйка, как сраженная пулей, упала в ноги императору, согнувшись всем станом, рыдая и пытаясь лобызнуть лакированные сапоги с маленькой ступней.
— Тварь, — сказал император.
— Не погуби, батюшка, — сказала хозяйка.
— Тварь, — повторил император. — Разве не знаешь, что запрещено пускать состоящих на службе?
— А что я с ними, окаянными, поделаю, — рыдала хозяйка. — Не губи. Не губи. Нету у меня никого и не бывало.
Кончиком носка император отшвырнул ее и, несколько опомнясь, осмотрелся. Обои были не то с мраморными разводами, не то с натуральной плесенью. В комнате было три стола с запятнанной скатертью, на стене дурная картина, изображающая похищение из гарема, на стойке армия шкаликов, бочонок с медным краном, нарезанный хлеб и какая-то снедь, названия которой он не знал.
Солдат не было.
14
Бойко, весь подобравшись, подросток вернулся к саням, но не застал императора.
Тогда он обратился к кучеру Якову и, почтительно указав пальцем на раскрытую дверь кабака, спросил:
— Находится там?
Осторожный кучер Яков сказал было, натягивая вожжи: «эть» или «эсь», но, видя, с одной стороны, что обстоятельства чрезвычайные, а с другой, что подросток еще малолетный, ответил:
— Там.
— Могу ли я спросить ваше благородие, — спросил отрок, — должен ли я дожидаться его величества здесь или пойти доложить?
— Дожидаться, — ответил кучер Яков.
Потом, отчасти сам любопытствуя, спросил, не оборачивая головы:
— А стража, — эть?
— Стража в горячке, и послано за подлекарем, — ответил подросток.
— Эсь, — сказал кучер Яков.
Потом, полуобернув голову к юноше, он внимательно его разглядел и кивнул головой.
— Вы рассудительный. Благородство.
15
Еще раз окинув взглядом помещение питейного заведения и не найдя солдат, император, отошед в сторону, но отнюдь не сгибаясь, заглянул под стол.
Никого не было.
Тогда, ничего не понимая, но воздержась от дальнейших расспросов, он внезапно двинулся вон из заведения.
Прибывший в это время на место происшествия поручик Кошкуль 2-й застал в отдалении от императорских саней некоторое скопление народа, императора стоящим у самых саней и

тут же подростка среднего роста, с обнаженной головой, рапортующего о чем-то императору.
Завидя поручика Кошкуля 2-го, государь спросил его, с приметным гневом и одушевлением:
— Кто?
После того как поручик Кошкуль 2-й назвал себя, государь погрозил ему пальцем и приказал:
— Место оцепить.
По отношению к окружавшему, пока еще редкому, скоплению публики император отдал распоряжение:
— Осадить и прогнать.
А затем, указав на близстоящего подростка, произнес:
— Отличить.
Тут же случившийся малолетный Витушишников помог его величеству сесть в сани.
16
Через десять минут поручику Кошкулю 2-му удалось стянуть к месту происшествия сильный отряд внешней полиции и оцепить окружающее пространство. Скопление любопытных рассеяно. Малолетного Витушишникова во все время производства операций поручик содержал при себе. После тщательного осмотра местности ничего подозрительного не найдено, за исключением одного пьяного, никогда не состоявшего в военной службе, а числившегося в с.-петербургских шарманщиках.
Тут же на месте была допрошена и тотчас вслед за этим арестована кабатчица, а питейное заведение со всем находившимся внутри инвентарем закрыто на ключ и опечатано. Допрос кабатчицы мало что выяснил вследствие сильного расстройства, в котором она находилась, и затемнения памяти, на которое ссылалась. Выяснилась только одна любопытная подробность, которую поручик Кошкуль 2-й не счел, однако, удобным помещать в протокол.
Неоднократно говоря о том, что у нее отшибло память, она каждый раз упоминала о каком-то «новом»:
— Как новый наехал, так все затемнилось.
И еще раз:
— Еще до нового, я и сама говорю им (то есть солдатам) — запрещается…
Наконец поручик Кошкуль 2-й нашелся вынужденным спросить бабу, о каком новом говорит она, и оказалось, что она говорит о новом частном приставе, только вчера приступившем к исполнению обязанностей в Петербургской части.
Заинтересовавшись этим обстоятельством и ничего не зная о посещении кабака частным приставом, Кошкуль 2-й вскоре выяснил, что вздорная баба все время принимала государя императора за нового частного пристава Петербургской части.
Обругав до последней крайности глупую бабу и сам испугавшись, поручик Кошкуль 2-й прекратил допрос, арестовал допрашиваемую, а сам отбыл в санях вместе с подростком для подробного допроса в полицейском управлении.
Малолетный Витушишников, проживающий на 22-й линии Васильевского острова, сын коллежского регистратора, пятнадцати лет, показал: будучи ребенком, он пробирался на Рыбацкую улицу в Петербургской части, где, на углу у Введенья, как он слыхал, устроилась карусель и производили за плату катанье детей.
С раннего детства воспитываемый отцом в правилах особо живого почитания всей августейшей фамилии, имея у себя портрет в красках всегда висящим на стене, — он, переходя вышеупомянутое место, увидя некоторое скопление народа и сообразив происшествие, сразу же узнал венценосца и, приблизившись, испросил распоряжений. Далее, подойдя к будке градских стражей, нашел стража в сильной слабости, качающегося на ногах и с бессвязною речью, который пояснил, что подчасок сейчас им послан не то за лекарем, не то за липовой, — о чем доложено.
— Однако же, вы хорошо нашлись, — с уважением сказал поручик. — Доложу о вас господину обер-полицеймейстеру как о молодом человеке, лично известном с самой лучшей стороны государю императору. Честь имею кланяться. Не преминитe

засвидетельствовать почтение папеньке. Не извольте беспокоиться, вас доставят домой казенные сани.

17

Если бы солдаты хоть на минуту могли вообразить, что у дверей питейного заведения остановится государь император, — они, без сомнения, растерялись бы и погибли. Их спас, а кабатчицу погубил единственно недостаток воображения. Увидя шпиц каски, первый солдат сразу же подумал о частном приставе, и все дальнейшие действия в питейном заведении протекали именно в этом направлении и были продиктованы желанием спастись от частного пристава, никак не больше.

Но и этого было вполне достаточно. Оба на мгновение вдруг ощутили зуд в спинах от будущих и отчасти бывших палочных ударов. Пока на улице раздавались призывы стражи, оба разом, наклоня головы, сорвались с мест и сунулись в соседнюю комнату, бывшую в личном пользовании кабатчицы. Там, черным ходом, минуя чулан и отхожее место, они спустились по узкой лесенке во двор.

Кабак выходил задним своим фасом на пустырь, и огороженного двора, в буквальном смысле, вовсе не было. Забор имелся только с одного фланга. Картофельная шелуха, яичная скорлупа, кучка золы и вылитые помои означали пограничную черту двора. Поэтому без всяких помех, пока снаружи шли переговоры, солдаты, наклони головы и таясь по правилам военных маневров, прошли, нимало не теряя времени и не производя шума, вдаль. Там они свернули в переулок, некоторое время намеренно плутали, а затем, находясь уже в другом районе, разъединившись, деловым стройным шагом отправились каждый по служебным надобностям. До конца жизни они сохранили воспоминание о том, как ловко улизнули от частного пристава.

Императора же в данном случае сбили с толку непривычные условия местности. Питейное заведение было оклеено мрачными мраморными обоями, на которых к тому же местами выступила в большом количестве плесень. Обои от времени лопнули и рассеялись в разных местах и направлениях. Поэтому небольшая дверь в дощатой перегородке, отделявшая заднюю комнату кабатчицы от питейного зала, ускользнула от внимания императора.

18

Конь был в пене. Император проделал весь обратный путь молча, не отвечая на поклоны, с решимостью. То, что солдаты, вошедшие в кабак, как сквозь землю провалились, нисколько его не занимало. Он не любил неразрешимых вопросов, объясняя их волею провидения. Если бы он застиг солдат — это на многих навело бы страху, а затем даже могло стать легендою и, изложенное приличным слогом, впоследствии заняло бы свое место. Но, устремись на солдат, он не настиг их, и это его оскорбляло.

— Я покажу им, — повторил он несколько раз.

Только пройдя несколько зал, миновав ряд мраморных колонн, лабрадоровые столы, фарфоровые вазы с живописью, порфировые изделия, император снова вошел в легкую атмосферу дворца и вернулся к исходному пункту.

Был вызван генерал-адъютант Клейнмихель.

— Поди, поди сюда, голубчик, — сказал император.

Генерал-адъютант помедлил в дверях.

— Ну что же ты, подойди, — сказал тихонько император.

Подошедший генерал-адъютант Клейнмихель был внезапно ущипнут. Он был так метко и ловко застигнут врасплох, что не имел времени податься ни вперед, ни назад и представил императору свою руку без малейших возражений.

Только когда наступила обычная тошнота, император отпустил генерала и произнес:

— То-то. Вот тебе тумбы.

Вообще в течение дня утраченная бодрость восстановилась. По всему было видно, что император принял решение. После обеда он выслал вон дежурного при телеграфе офицера и сам направил по адресу шефа жандармов Орлова телеграмму без обращения и подписи:

— Свинья.

Именно в этой телеграмме некоторые историки видели причину и зародыш болезни, сведшей впоследствии графа Орлова в могилу. Как известно, на старости лет граф стал воображать себя свиньей, что впервые обнаружилось на одном из парадных обедов в честь

графа Муравьева, когда он внезапно потребовал себе корыто, отказываясь в противном случае есть. Но до этого было еще пока далеко.
К вечеру император принял вполне определенное решение.
— Я покажу им, — сказал он.
Он вызвал обер-полицеймейстера Кокошкина и на секретном докладе спросил о результатах поисков. Поиски оставались, как он и ожидал, безрезультатными. Тогда император перед самою вечернею молитвою наложил на доклад резолюцию:
«Отдать под суд откупщика, которому кабак принадлежит, с прекращением его откупа, а в случае замешанности — со взятием имущества в казну».
— Я покажу им, — произнес он, — что в России еще есть самодержавие.
19
Кабак оказался находящимся во владении винного откупщика Конаки, проживавшего по Большой Морской улице. Назавтра он был арестован по обвинению в злостном содержании лично ему принадлежащих кабаков. Конаки был человек небольшой и недавний. Всего три года, как он прибыл с юга, где имел свой обширный ренсковый погреб. С молодых лет он состоял по винным делам; был наследственный винник. Знал, как нужно давить виноград, чего подмешать; понимал процессы брожения. Торговал крупно. Расхаживая у себя на юге по прохладной Виннице, чувствовал вкус довольства. Но неудержимо растущее состояние оторвало его от этих мирных воспоминаний. Он прибыл в Петербург, чтобы приглядеться, стал понемногу прививаться, осел с большой шумной семьей на Большой Морской, начал уже входить во вкус операций — и вот — среди бела дня, неожиданно сел в яму.
Впрочем, не так уж неожиданно. Имея в лице молодых Конаки-сыновей агентов по налаживанию жизни в питейных заведениях, он уже спустя два часа знал об опечатании кабака, представлял себе в примерных размерах случившееся и успел посоветоваться с несколькими лицами. Но все же он не мог ожидать такого быстрого, молниеносного лишения свободы. Как только дверь затворилась за жандармами, уведшими отца, потерявшего при этом все присутствие духа, Конаки-сыновья предоставили женщинам плакать и метаться по обширным комнатам, а сами сразу же отправились на Конногвардейский бульвар к главному петербургскому откупщику Родоканаки.
20
Если Конаки был еще совершенно свеж и в нем еще держался дух ренскового погреба, то начало Родоканаки было далеко и всеми забыто. Известно было, что он из Одессы, и сам он всегда любил это подчеркивать.
Однажды он явился в Петербург, небольшого роста, в черном сюртуке и отложных воротниках, и купил место против самых конных казарм, что было смелостью для человека статского. Пригласив к себе видного архитектора, он заказал ему планы и чертежи дома, чтоб дом не напоминал ни одного из петербургских, а все южные, роскошные дома, как у итальянцев.
— Я негоциант, — пояснил он.
На воротах он велел вылепить две черные мавританские головы с белыми зубами и глазами, постарался обвить окна плющом и стал жить. Плющ скоро засох, но Родоканаки получил в винных откупах большую силу. Если бы он старался слиться по образу жизни и вкусам с окружающим с. — петербургским населением и благородными лицами, — все бы о нем говорили, что он грек, а может быть, даже «грекос». А теперь все к нему ездили и говорили о нем: негоциант, и он был вполне петербургским человеком.
Он открыто предпочитал Одессу, ее улицы, строения, хлебную биржу, и даже одесские альманахи ставил в пример петербургским.
У него были свои вкусы.
Обивку стен он сделал из черного дерева. Везде у него было черное, красное и ореховое дерево. Мрамора он не терпел.
— Это мой дом, — говорил он. — Если я хочу мрамор, я пойду в Экономический клуб обедать и спрошу у лакея карту.
В Экономическом клубе, старшиной которого он был избран, случалось ему играть в карты со знаменитыми писателями, и он уважал из них того, который его обыграл:
— Без двух в козырях. Это человек!
Пушкина он считал раздутым рекламой.

Особенно не нравился ему «Евгений Онегин», где говорилось об Одессе:

В Одессе пыльной…
В Одессе грязной…
Я сказал…
Я хотел сказать…

— Что это за стихи? — говорил он.
Вообще же не чуждался поэзии. Был склонен ценить Бенедиктова:

Взгляни, вот женщины прекрасной
Обворожительная грудь.

— Это картина, — соглашался он.
Ему нравилось также изображение цыганского табора у этого поэта и знаменитой Матрены, которую он лично слышал у Ильи:

А вот «В темном лесе» Матрена колотит,
Колотит, молотит, кипит и дробит,
Кипит и колотит, дробит и молотит,
И вот поднялась, и взвилась, и дрожит.

— «Дрожит» — это картина, — говорил он.
И отзывался о поэте:
— Его даже Канкрин считал очень способным человеком.

Больше всего его здесь удовлетворяла, как он выражался,
аккуратность
поэта, которую он видел в этих стихах:

— Сначала он говорит: колотит, молотит, кипит и дробит, без разбору, а потом уже с разбором: кипит и колотит, дробит и молотит. Это человек.
Ему нравился большой размах, хотя сам он был человеком сдержанным.
Так, например, из женщин он ценил Жанетту с Искусственных минеральных вод, которая первая ввела таксу на каждую руку и ногу в отдельности.
— Это женщина, — говорил он.
Но допускал существование и других.
Когда кто-то отозвался тут же о покойной актрисе Асенковой, что она — святая, Родоканаки согласился:
— Это другое дело. Это святая.
При величайших операциях, которые он вел, он вовсе, однако, не был каким-нибудь отвлеченным человеком. Он живо понимал людей, и для него не было понятия «человеческая слабость», а только: «привычка».
Комбинации он составлял ночью.
На кроватном столике всегда стояли у него сушеная седая малага, сигары, вино. Он обдумывал план, жевал малагу, запивал глотком красного желудочного вина, выкуривал сигару — и крепко засыпал.
Когда Конаки-сыновья, связанные с ним деловым образом, посетили его, он прежде всего приказал им успокоить женщин:
— Пусть не плачут и сидят дома.

Затем, расспросив подробности, некоторые записал и отпустил их, успокоив.
В голове у него не было еще ни одной мысли.
Ночью он сжевал ветку малаги, выпил зеленый ремер-бокал и выкурил цигарку.
Он составил предварительный план действий и заснул.
21
Назавтра стало известно, что у Родоканаки будет дан фешьонебельный бал, на котором будет петь сама дива, госпожа Шютц.
Комбинации свои Родоканаки обычно строил на привычках нужных лиц. Если чувствовалась нужда в каком-либо определенном лице с известными привычками, оно приглашалось почтить присутствием обед.
Ни мраморов, ни мундиров; открытый семейный доступ к человеку. Разговор все время о Карлсбаде, Тальони, Жанетте из Минерашек, строительстве нового храма и конного манежа архитектором Тоном, о крупном проигрыше барона Фиркса в Экономическом клубе, о гигантских успехах науки: гальванопластике — все это смотря по привычкам лица; наконец, о сигарах Водевиль-Канонес.
— Я люблю Трабукко, — говорил Родоканаки.
Если гость также любил Трабукко, ему назавтра же посылались с лакеем две коробки отборных.
Разговор велся пониженным голосом; Родоканаки был внимателен и относился серьезно даже к вопросу о Жанетте. В судьбе ее принимал участие министр финансов, и предметом беседы как бы выражалось уважение к собеседнику. По части винных откупов Родоканаки считался самым сильным диалектиком. Он не любил, когда лакей докладывал о срочном деле.
— Меня нет дома, — говорил он сдержанно и не оборачиваясь.
А при прощании говорилось что нужно, и если условия заинтересованных лиц бывали приемлемы, — все кончалось. Если же нет, — производились розыски, знакомства, обходные действия и подыскивалось более важное и при этом более сговорчивое лицо.
Все происходило перед лицом прочных деревянных стен, паркетов, старых ковров и коллекции китайской бронзы и имело спокойный и глубоко основательный, даже исторический вид. И действительно, у каждой вещи была своя история — пивную кружку на камине подарил князь Бутера в Карлсбаде, а бронза — из Китая.
— Негоциант, — говорили со вздохом очарованные лица.
Так бывало, когда дело шло о каком-либо одном ясном деле.
Когда же дело по сфере действий было рассеянное или даже неуловимое, когда предстояло еще наметить лиц, нащупать их привычки и уловить моральный курс дня, — давался вечер, бал. Главное внимание уделялось дамам, и тут бывали простые, верные комбинации. В это время учреждались и раскассировались разом многие комиссии, комитеты и пр., выплывали новые люди, и дамы являлись тою общею почвою и предметом, которые объединяли самые различные ведомства, утратившие единый язык. У самых чиновных лиц был принят легкий тон.
На этот раз были созваны самые видные питейные деятели, один молодой по юстиции, один действительный по финансам, несколько чужих жен, литература, карикатуристы.
22
С внешней стороны бал удался. Принужденности не было, а только полное внимание к чину или заслугам. Лакеи разносили лимонад и содовую воду. Подавались пулярды по-неаполитански, рябчики в папильотах, яйца в шубке по методе барона Фелкерзама. У Родоканаки был славный повар. Каждое блюдо имело свою историю: устрицы из Остенде, вина от Депре.
У самого буфета черного дерева сидела госпожа Родоканаки в вуалевом платье, средних лет, обычно таившаяся в задних комнатах, исполнявшая роль хозяйки.
Из питейных деятелей пришли: в черном фраке Уткин, Лихарев и барон Фитингоф (подставное лицо). Уткин был человек, умевший изворачиваться как никто, но по самолюбию попадал в ложные положения: лез в литературу. Дал деньги на издание журнала с политипажами, а там вдруг появилась карикатура на него же. Лихарев был московской школы, в поддевке, с улыбающимся лицом, стриженный в скобку. Барон Фитингоф был подставное лицо, брюки в обтяжку.

Дива, госпожа Шютц, пропела руладу из «Idol mio»
[16]
и тотчас уехала, получив вознаграждение в конверте.

Поэт прочел стихотворение о новейших танцах:

Шибче лейся, быстрое аллегро!
В танцах нет покорности судьбам!
Кавалеры, черные, как негры,
Майских бабочек ловите — дам!

Чужая жена хлопнула его веером по руке.
— Ах, как Матрена скинула шапочку: «Улане, улане!»
— Поживите, Клеопатра Ивановна, у нас в Петербурге, полюбуйтесь этою ежечасною прибавкою изящного к изящному.
— Том Пус лилипут, это совершенно справедливо, но он и генерал. Ему пожаловано звание генерала. Как же! В прошлом году.
— И вот она подходит ко мне: а в Карлсбаде все девицы в форменных кепи и белых мундирах — там строго.
— Звонит в колокольчик, ест вилкой. На вопрос, сколько ему лет, лает три раза. Пишет свое имя: Эмиль, и уходит на задних лапах.
— Она сказала ему: ваше сиятельство, если вам не нравится мой голос, вы должны уважать мои телесные грации.
— Теперь шелк для дам будут делать из иван-чая. Уже продают акции.
— Это другое дело. Это иван-чай.
И все же Родоканаки был обеспокоен.
Кое-кто не явился, чужих жен и поэтов пришло слишком много. Жанетта с Искусственных минеральных, на которую возлагались надежды по особой ее близости с министром финансов, отлучилась на гастроли. Юстиция прислала извинение, а тайный напустил такого холоду и туману, что остальные, из разных комиссий, почувствовали каждый служебные обязанности. Знаменитый уютный характер Родоканакиных вечеров как бы изменился. Испортился стиль. Одна дама с плотным усестом была положительно развязна. Литераторы много пили. Чувствовалось, что образовался тайный холодок, пустота, и — испытанный барометр — Пантелеев из комиссии смотрел по сторонам слишком бегло и кисло.
Ушли раньше обычного.
Тогда, оставив чужих жен и карикатуристов доедать пулярды, Родоканаки незаметно увел к себе в кабинет питейных деятелей: Уткина, Лихарева и барона Фитингофа (подставное лицо).
Последние его слова за этот вечер были следующие:
— Жив Конаки или нет, меня это не касается. Больше одним греком или меньше. Но арест — арест это другое дело.
23
Назавтра министр финансов, тайный советник Вронченко, принял коммерции советника Родоканаки.
Министр был человек грузный. Принимая его на службу, бывший министр Канкрин решил, что он «пороху не выдумает». Теперь наступило время, когда требовались именно такие министры. Говорили о нем еще, что он «задним умом крепок». Пригодилось и это. Став министром, Вронченко обнаружил отличные мужские качества и шутливость. Его поговорки пошли в ход. Например, когда министр соглашался, он говорил:
— То бе,
если же нет:
— То не бе, —
и нюхал при этом табак.

Говорили, что он таким образом парафразировал известную фразу Гамлета: to be or not to be — быть иль не быть.
Вообще же он был вполне государственным человеком, лично понимающим всю важность финансов.
Родоканаки он принял холодно, но вежливо.
— Прошу пожаловать и сесть сюда, на диван.
Родоканаки изложил цель посещения и высказал пожелание, чтобы кабатчица была наказана самым строгим образом, а Конаки освобожден, если возможно.
Министр Вронченко не согласился и даже нахмурился.
— Бо он сам виноват, il est coupable.
Родоканаки сказал, что лица, несущие откупные труды, не могут отвечать за лиц, посещающих питейные заведения, и что Уткин, Лихарев, барон Фитингоф ожидают, что Конаки не будет предан суду.
— То бе, — сказал министр и равнодушно нюхнул табаку.
Тогда коммерции советник Родоканаки, вздохнув, тут же примолвил, что говорит не от своего имени: он — это другое дело, потому что давно готов на отдых и смотрит на откупные операции как на непосильные, но принужден передать от имени вышеупомянутых, да уж и своего, его высокопревосходительству, что все они намерены учредить акционерный капитал по разматыванию шелка, не могут поэтому долее нести откупа и принуждены отказаться.
— То не бе? — сказал изумленный Вронченко и подпрыгнул на стуле.
— К душевному сожалению, ваше высокопревосходительство, то бе, — сказал с печальною улыбкою, кланяясь, Родоканаки.
24
Только после ухода Родоканаки Вронченко опамятовался:

— Что за бес? Иль э фу
[17]
, — сказал он тут же случившемуся секретарю. — Какой там к бесу шелк?

Но сам он вскоре понял, что шелк имеет во всем деле лишь чисто формальное значение, и вспомнил, что сумма питейных откупов равняется двадцати миллионам. А всех чрезвычайных доходов, огулов и кругом, на глаз, дай бог, сорок. Чрезвычайные же расходы вовсе неопределимы и непреодолимы.
Министр Вронченко почувствовал одиночество. Он задал себе вопрос, как поступил бы на его месте великий Канкрин, и даже приложил руку ко лбу козырьком, так как тот, страдая слабым зрением, всегда надвигал на лоб в служебные часы зеленый козырек, предохраняющий от света.
Решительно не находя ответа, Вронченко сказал секретарю фразу, в которой выразил положение:
— Вся совокупность такая…
Ответа не было.
Надув щеки и пофукав, он отдышался и решил, что возможны перемены.
Он решил посетить некоторых товарищей по министерским обязанностям, а лично до вечера ничего не предпринимать.
25
Как всегда бывает с человеком растерянным, он поехал на верный провал, к министру юстиции Панину.
Министр юстиции отличался прямолинейностью. Буквально понимая принцип непреклонности, он ни перед кем, исключая императора, не преклонял головы, и если ему, например, случалось уронить носовой платок или очки, то, при высоком росте, приседал за нужною вещью на корточки, не склоняя корпуса. Он отличался нравственностью, преувеличенные слухи о которой дошли даже до иностранных дворов.

Объяснив суть дела Панину, Вронченко указал на то, что, если рассудить антр ну де
[18]

,— кабатчик не может уследить за всеми и за всех отвечать, и просил о помощи:

— Бо трещим.
Панин ответил ему с откровенностью:
— Всегда рад, любезный Федор Павлович, вашим представлениям, когда они касаются правосудия. Заверяю, что виновные будут строго наказаны. Преступление, подобное описанному вами выше, не может в просвещенном государстве остаться без наказания. Но приложу все старания, дабы охранить спокойствие вашего министерства.
Нюхнув табаку, заехал к Левашову, но генерал делал свою утреннюю гимнастику, и из комнаты доносилось:
— Ать! Два! — Рыв-ком!
Пробираясь на усталой лошади к Алексею Федоровичу Орлову, Вронченко опустился, обмяк, почувствовал, что погода изменилась, тает, и что баки у него мокрые, как будто он никогда и не был министром.
Алексей Федорович Орлов принял его с всегдашнею осанкою воина.
Первые фразы, произнесенные им, были энергичны!
— Садитесь! Что такое?
Но потом, со второй же фразы Вронченка, он стал совершенно рассеян, смотрел все время на свои каблуки, завивал крендельком конец аксельбанта и наконец, как-то странно хрюкнув, сказал:
— Хоша я и понимаю, что финансы нужны, да в кабак ходить строго воспрещается.
Выйдя на улицу и найдя там уже совершенную слякоть и разлезлое таяние снега, Вронченко посмотрел на осиротелую лазурь и, сказав сам себе:
— В отставку! — приказал кучеру:
— Отвези меня на квартиру.

26

На очередном докладе государю Вронченко крепился и наконец, побагровев, доложил, что с откупными операциями обстоит неблагополучно.
Он долго готовился к этому докладу.
Император прервал его.
— Утри нос, — сказал он строго.
Это могло быть понято буквально, потому что в сильном волнении министр действительно почасту и помногу нюхал табак, так что позднейшие домыслы о том, что в эту минуту у него «повисла капля», может быть, имели основание. У императора было наследственное отвращение к табаку. Но, с другой стороны, это могло быть понято как приказ об отставке.
Сразу же после этого доклада стало известно, что министр финансов на днях выходит в отставку.

27

Когда граф Клейнмихель прослышал, что у Вронченка неладно с откупами, он пришел в хорошее расположение духа.
— Скотина, — сказал он, — пусть посидит без миллионов, скотина, с миллионами всякий умеет.
Когда же разнесся слух об отставке Вронченка, он окончательно повеселел.
— Уходит в отставку, — сказал он в разговоре со своим любимцем директором департамента публичных зданий. — И уходи, скотина.
Директор тоже высказал радость, но прибавил, что с балансом и бюджетом теперь, по-видимому, произойдет перемена.
— Какая перемена? — спросил граф. — К чему?
Директор объяснил, что откупа отпадают, и это дает в ведомстве финансов будто бы разницу в двадцать с лишком миллионов.
— Конечно, отпадают, пусть посидит без миллионов, скотина, — сказал граф, но тут же вспомнил, что скотина-то выходит в отставку, а он, граф, остается.
Он посовещался кой с кем.
К вечеру погрузился в размышления и начал быстро ходить по кабинету.
Поставлена на стол бутылка зельцерской, что всегда делала в таких случаях заботливая графиня.

Ему стало вдруг ясно: отпадают миллионы — не на что строить железные дороги и мосты. Не на что строить — не строятся. То есть исчезают в первую очередь подрядчики.
Граф Клейнмихель увидел перед собой бездну разорения.

28

Слухи, которые поползли разом и вдруг, имели особенно злонамеренный характер. Передавалось на ухо и с оглядкою, что двое солдат угрожали жизни императора, но его спас малолетный подросток. Другие же, главным образом из военных, с досадою возражали, что, напротив, юный наглец бросил снежком в императора, но был задержан полицейским поручиком, а теперь нахал содержится в Петропавловской крепости.
Отставка министра финансов широко огласилась, хотя и не была еще объявлена. Причина была, по общему мнению, — скандальная Жанетта с Искусственных минеральных вод.

> В донесениях французского атташе своему правительству о деле рассказывалось более точно. Группа знатных откупщиков, нечто вроде fermiers gênêraux [19] старого режима, d'encien rêgime, во Франции, предъявила иск правительству на пятьдесят миллионов рублей; население в панике; министр финансов не у дел и проводит дни у известной Жанетты на Мещанской улице. На императора сделано покушение во время выезда на охоту (oblava russe).

Атташе писал: Auf nuns, aut nunguam — теперь или никогда.

29

Он сидел в кругу семейства. Ощущение семейного счастья заменяло ему все остальное. В такие дни он требовал, чтобы к чайному столу подавался настоящий самовар и чтобы сама императрица разливала чай. Он все время шутил с молоденькими фрейлинами и рассказал исторический случай из своей молодости: когда кавалер, состоявший при нем, задал ему тему для сочинения: «Военная служба не есть единственная служба дворянина, но есть и другие занятия», — император, которому в то время шел пятнадцатый год, подал по истечении часа с половиною чистый лист бумаги. У фрейлин вздрогнули плечи при этом рассказе.
Ни за чаем, ни в какое другое время не упоминалось о Вареньке Нелидовой.
Однако же состояние духа не могло назваться спокойным. У императора, кроме всего прочего, была хотя и застарелая, но сильная натура, которая требовала своего моциона. Это сказывалось и на его лице, которое один придворный сравнил с эоловой арфой, отражающей все движения природы.
В государственном же отношении он был тверд. Клейнмихеля, который попробовал в доклад о мосте вплести выражение «финансовая смета», он просто выгнал вон.
После обеденного сна устроился небольшой семейный вист по маленькой; император выше двадцати пяти копеек поэнь не играл. Приглашены были три камергера: двое молодых, один старый. Пальцем поманив маленькую фрейлину, у которой при этом покраснела грудь, он сделал ее своей советчицей.
Фрейлина, в прекрасном оживлении, старательно советовала, а император поступал по своему усмотрению. Так, вопреки ее советам, он сразу взялся за туз, что, как известно, в висте при тузе, короле и трех маленьких не годится.
— Ваше величество, — сказала счастливая, но испуганная фрейлина, — но так никто не делает!
Император ответил внезапно сухо:
— Так делаю я.
— Ваше величество, — пролепетала фрейлина, — но обычная система виста…
Император открыл туз.
— Le systeme Nicolas, — сказал он.
Молодой камергер, заметно побледнев, долго выбирал карту, наконец выбрал — положил — и проиграл.
— Le systeme Nicolas, — повторил император.
Начался второй роббер. Играющие переменились местами, чтобы каждому за вечер выпало играть с императором на одной руке.

Старому камергеру шел восьмой десяток; он был глух и не замечал кругом ничего, даже женских глаз. Он был углублен в игру.
— Le systeme… — начал император.
В одну минуту дрожащими руками камергер покрыл все карты императора.
Император выложил на стол три проигранных рубля и повернул спину играющим.
— Я недостаточно богат, чтобы играть в карты, — сказал он и показал улыбку под усами. — Пренебречь, — добавил он неожиданно, строго взглянул на всех играющих и грудью вперед вышел вон из комнаты.
Семейный круг расстроился. Старый камергер более ко двору не приглашался.
К вечеру того же дня получено известие о колебании ценностей на бирже.
30
На Васильевском острове были замечены невдалеке от места происшествия двое студентов, подозрительно молчавших.
Мещанин на Кузнецком рынке предлагал «пустить петуха».
Все трое задержаны.
Фаддей Венедиктович Булгарин был потревожен в своем уединении.
Это уже не был брызжущий жизнью и деятельностью ученый литератор, которого знал Петербург в старые годы. Но жил и теперь в непрестанных трудах. Только что недавно определился членом-корреспондентом специальной комиссии коннозаводства и по случаю нового служения стал издавать журнал «Эконом».
— Лошадки, лошадки — моя страсть, — говорил он.
За труды жизни был представлен к чину действительного статского советника.
Из капитальных вещей подготовил к изданию «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века» и приступил к печатанью на собственный кошт с рисунками, награвированными на дереве.
Летом жил в деревне, а зимою на просторной петербургской квартире, где завел, соревнуя с Гречем, громадную клетку в полкомнаты, содержа там певчих птиц. Весною он открывал окно и выпускал какую-нибудь птицу на волю, произнося при этом стихи покойного Пушкина:

На волю птицу отпускаю.

Это вызывало большое скопление мальчишек, торговцев вразнос и соседей, знавших, что литератор Булгарин ежегодно выпускает по одной птице на волю.
Обдумывал план своих воспоминаний. Говоря с молодыми литераторами, он утверждал, что существенной разницы между ним и Пушкиным не было.
— Всегда оба старались быть полезными по начальству.
И добавлял:
— Только одному повезло, а другому — шиш.
И, наконец, конфиденциально наклоняясь к собеседнику, говорил на ухо:
— А препустой был человек.
Теперь Фаддея Венедиктовича посетили по важному делу.
Пришли трое: полковник особого корпуса жандармов, поручик Кошкуль 2-й и одно из статских лиц.
От Фаддея Венедиктовича просили и ждали помощи как от редактора «Северной пчелы», чтобы успокоить умы.
Фаддей Венедиктович попросил поручика Кошкуля 2-го подробно описать все происшествие и с пером в руке стал думать. Все трое с невольным уважением следили за переменами его лица, понимая, что это вдохновение.
Фаддей Венедиктович хлопал глазами. Глаза его были без ресниц, в больших очках.
Он стал рассуждать вслух:
— Представить можно, что две бешеные собаки напали, а отрок храбро… Нет, не годится.
— Можно также себе представить, что два волка из соседних деревень забежали… Волки — это весьма годится, это романтично… А отрок… нет, не годится…

Все оказывалось неудобным и не годилось по той простой причине, что император был образцом для всего. Так, например, статья о том, что на императора напали две бешеные собаки, а отрок храбро оказал им отпор, была бы очень прилична, но не годилась: если уж на императора напали, то других и подавно покусают.
Рассказ о двух волках из соседних деревень был романтичен, но несовместим с уличным движением. Замена лисицами обессмысливала вмешательство отрока.
Вдруг взгляд Фаддея Венедиктовича остановился.
— А ну-косе, благодетель, попрошу, — сказал он поручику Кошкулю 2-му, — извольте-с начертить мне план происшествия. На этом лоскуточке.
Поручик Кошкуль 2-й обозначил пустырь, будку, питейное заведение, сани государя императора.
— Попрошу реку, — сказал нетерпеливо Фаддей Венедиктович.
Поручик сбоку отчеркнул реку.
Тогда Фаддей Венедиктович описал за чертой кружок, а внутри кружка с размаху поставил точку и написал «У».
— Утопающая, — пояснил он ничего не понимающему поручику Кошкулю 2-му, — в проруби.
31
Назавтра же в «Северной пчеле» появился в отделе «Народные нравы» фельетон под названием: «Чудо-ребенок, или Спасение утопающих, вознагражденное монархом».
На окраине столицы (рассказывалось там) в реке Большой Невке молодая крестьянская девица брала ежедневно воду из проруби. Вдруг — кррах! Неверный лед подломился и рухнул под ее ногами. Несчастная, не видя ниоткуда спасения, погрузилась в воду. Она издает только время от времени протяжный вопль и смотрит со слезами в открытое небо. Но провидение!.. Она слышит над собой чей-то голос — к ней спешат на помощь. То был отрок, малолетный г. Витушишников, проживающий на 22-й линии Васильевского острова с престарелым отцом своим, коллежским регистратором Витушишниковым. Будучи ребенком, он спешил для детских забав на Петербургскую часть, но, услышав жалобные вопли, повинуясь голосу сердца, обратился на помощь погибающей. Однако неокрепшие руки отрока не в силах были удержать жертву. Казалось, и девица и юный спаситель равно изнемогали. Но монарх, в неусыпных своих попечениях проезжая мимо, услышал вопль невинности и, подобно пращуру своему, простер покров помощи.
Вскоре спасенные отогревались в будке градских стражей, и жизнь их ныне объявлена вне опасности. Провидение!..
В знак исторического сего дня не замедлится прибитием памятная доска на будке градских стражей — в память отдаленным потомкам.
Принимая близкое участие в жизни чудо-ребенка г. Витушишникова, редакция объявляет сбор доброхотных пожертвований на приобретение дома для него. Устроителем счастия вызвался быть г. поручик Кошкуль 2-й, который заведует сборами при помещении газеты «Северная пчела».
На доброхотные сборы согласие изъявили: его высокоблагородие г. Алякринский — 3 рубля серебром; его высокоблагородие г. Булгарин — 1 рубль серебром; его благородие г. поручик Кошкуль 2-й — 1 рубль серебром; коммерции советник Родоканаки — 200 рублей серебром.
Тут же принимается подписка на изящное издание со 100 картинками исторического нравоописательного романа: «Победа от обеда. Очерки нравов XVII века». Сочинение г. Ф. В. Булгарина.
32
И все же успокоение не наступило.
Император услышал фамилию Родоканаки. Это была новая, доселе не встречавшаяся фамилия. Император спросил у церемониймейстера де Рибопьера. Всегда откровенный Рибопьер ответил ему честным недоумением. Он знал только две сходных фамилии: Родофиникин и Роде; о последней, как принадлежащей музыканту, в разговоре не упомянул. Из камергеров не оказалось знающих Родоканаки или желающих в этом сознаться. По виду фамилия была, впрочем, греческая.

Греческий посол, приятель Рибопьера, был немец, говорил по-немецки, родился в Баварии, был на лучшем счету у короля Отто и вообще не был знаком с греческими фамилиями.
С холодным видом император внезапно спросил во время доклада графа Клейнмихеля:
— Что такое Родоканаки?
Графу Клейнмихелю показалось, что его в чем-то подозревают.
— Не знаю, ваше величество.
— А я знаю, — сказал государь.
Клейнмихель побледнел, однако государь действительно не знал, кто такой, или, как он сказал, что такое Родоканаки.
К концу дня он наконец добился ответа. Родоканаки оказался совершенно частным лицом, откупщиком, имеющим смелость проживать противу конных казарм. С тайным содроганием император повторил:
— Родоканаки!
Он решился на крайние меры.
33
Был вызван министр двора. Император спросил у него ведомости о расходах. Просмотрев, остался недоволен и вздохнул:
— Я не могу тратить столько денег. Возьмите от меня эту маппу.
Он потребовал уменьшения количества свечей в люстрах, в каждой на две, что по всему дворцу давало экономию в свечах. Запросив ежедневные обеденные меню, собственноручно вычеркнул бланманже.
— Я требую, ты слышишь, требую, чтобы в государстве не было долгов, — сказал он, глядя в упор на министра.
Дворец притих.
Выйдя в Аполлонову залу, император вдруг велел убрать статую Силена.
— Это пьяный грек, — сказал он.
Вечером услышали старинную фразу, которая заставила побледнеть:

— Le sang coulera!
[20]

34
Родоканаки совершил свой поступок в надежде, что дело скоро разъяснится. Он вовсе не собирался прекращать откупные операции. Сохраняя все привычки и наружное спокойствие, Родоканаки был внутренне не спокоен и даже проигрался в Экономическом клубе. Хуже всего было то, что в своих действиях он был связан с другими лицами. Очень шаток был Уткин, по мнению Родоканаки, готовый продать в любую минуту. Лихарев стал молчалив, барон Фитингоф (подставное лицо) — излишне развязен.
Все это сказалось уже в том, что все они, не исключая и самого Родоканаки, стали, точно сговорясь, прибавлять к имени Конаки ругательное слово.
— Когда болван Конаки еще был на свободе…
— Что бы этой дурынде Конаки подумать…
— Вы помните, в клубе, когда еще оболтус Конаки обожрался севрюжиной…
Их жертва, принесенная такой мизерной личности, начинала казаться им самим смешной, дурацкой и совершенно неуместной. И, ничего пока не говоря друг другу, они говорили своим, а то и чужим женам:
— Ввязались с этим подлецом Конаки…
Они даже преувеличивали свою жертву, потому что откупные операции не были прекращены, а были только словесные и отчасти письменные, правда далеко зашедшие действия. Колебания биржи заняли, впрочем, на некоторое время все их силы и воображение. Все играли на понижение, даже Конаки из тюрьмы давал указания Конаки-сыновьям, какие бумаги продать.
Все питейные деятели безропотно прислали следуемые с них доброхотные даяния в «Северную пчелу».
Родоканаки сказал при этом:
— Это другое дело. Это ребенок.

По ночам он жевал малагу.
Он составлял комбинации.
Между тем министр Вронченко, если и не засел в публичном доме на Мещанской улице, как о том ложно доносил французский агент, то во всяком случае действительно уделял все свое внимание и свободное время Жанетте с Искусственных минеральных вод, уже вернувшейся с гастролей и приступившей к исполнению своих обязанностей.
Не имея, после исторической фразы, точных инструкций, а с другой стороны, видя нежелание откупных деятелей примириться с изъятием Конаки, тайный советник Вронченко как бы повис в воздухе и с тупым равнодушием наблюдал колебания биржи. Министерство финансов, так сказать, отправляло свои естественные ежедневные потребности чисто механически, ничем не одушевляемое, — чиновники приходили, уходили, комиссии заседали, но дух отлетел.
В этот период безвременья лихорадочную деятельность развил поручик Кошкуль 2-й. Подписка на приобретение дома для чудо-ребенка шла хорошо. Его благородие Мендт фон — 1 рубль серебром, мать семейства г-жа N — 1 рубль серебром, купец 2-й гильдии Мякин — 10 рублей серебром.
35
И счастие его устроилось.
Был высмотрен на Крестовском острове маленький домик и куплен у бабы, коей принадлежал. Приглашен был художник, который изукрасил крышу резьбой наподобие кружев, а ставни искусно расписал цветками в горшках и снопах. Получился такой домик, в котором как бы самой природой назначено жить инвалиду, состарившемуся на царской службе, а ныне скромно воспитывающему своего сына. На оставшиеся деньги поручик Кошкуль 2-й купил малолетному г. Витушишникову барабан, чтобы ребенок мог учиться в свободное время барабанной трели. Барабан был отличный, со звуком светлого и пронзительного тона. Обо всем этом было сообщено подписчикам и читателям «Северной пчелы» в отделе С.-Петербургских происшествий.
Больше всего возни было с отцом, коллежским регистратором Витушишниковым. Прежде всего он вовсе не оказался таким престарелым, как предполагалось. Затем воспротивился переселению на Крестовский остров, где отныне должен был исправлять обязанности отца. Ссылался при этом на доводы такого характера, что ему далеко будет с Крестовского острова на службу, что он живет на Васильевском острове семнадцать лет и т. п. Поручику Кошкулю 2-му пришлось даже прикрикнуть на него. С другой стороны, поручик прельстил его курятником, имевшимся при доме, где можно будет содержать кур.
По переезде малолетный Витушишников научился бойко барабанить зорю. Его сразу же было решено отдать в одно из закрытых военно-учебных заведений.
Затем разыгрался эпизод, о котором упоминает один из историков.
Молодые великие княжны совершенно случайно на прогулке проезжали мимо домика, где жил малолетный г. Витушишников со своим престарелым отцом-инвалидом. Отрок стоял у ворот, одетый в мундирчик закрытого военно-учебного заведения, и, завидя проезжающих, ударил барабанную дробь. Тут же стоящий инвалид-отец поднес великим княжнам на простом блюде, покрытом чистым полотенцем с кружевами, хлеб-соль.
Между тем не была забыта и будка градских стражей. На ней над самым окошком воздвиглась простая белая мраморная доска с золотыми буквами: «Император Николай I изволил удостоить эту будку своим посещением в день 12-го февраля 184…-го года и присутствовать при отогревании утопающей».
36
Граф Клейнмихель был в упадке. Выгнанный за выражение «финансовая смета», непозволительно проворонив случай с вопросом о Родоканаки, он видимо опустился. С трудом принуждал себя бриться, порос рыжим пухом. Ему ставили припарки, давали грудные порошки, его непрерывно тошнило. Появились признаки геморроидального состояния. Изредка электрикомагнитический аппарат принимал слабые стуки. В минутной надежде на то, что стучит император, граф бросался в телеграфную каморку, отталкивал дежурного офицера, но аппарат затихал. То ли воля императора, то ли действие атмосферных колебаний. При всем том был еще обременен обязанностями. Как раз в это время решался трудный вопрос о железнодорожных тендерах. Граф всегда считал тендера

особым видом морских шлюпок и теперь решительно не знал, что делать с ними на суше. А суммы требовались большие.
Приезжавшая к графу его сестра, пожилая девушка, видя брата в отчаянном состоянии, просила его пойти в кирку помолиться.
Граф ответил ей, что в кирку не пойдет, потому что Лютер — скотина.
— Православие, самодержавие и народность, — сказал он потрясенной девушке, — а Лютер — скотина.
37
Министерство двора сосредоточивало в себе фрейлинскую часть, императорскую Академию художеств, охоту, духовенство и конюшенную часть. Заведующий государственным коннозаводством Левашов быстрым шепотом говорил:
— Стать, стать и стать, милостивые государи! Какая стать! Какие статьи! Бока!
Прусский художник Франц Крюге, которого специально приглашали из-за границы писать портреты, говорил о знаменитой Фаворитке:
— Главное ноги; поджарость ног — признак породы. Овальный круп и крутые бока.
Опытная камер-фрау Баранова так определяла состояние и служение фрейлин:
— Фимиам. Готика, готика, готика. Вы слышите запах?
Камер-фрау Баранова учила молоденьких фрейлин твердости. В Петергофе, в домике императрицы, куда она иногда заезжала, было чрезвычайно сыро, капало со стен. Домик напоминал более всего античный небольшой храм, но был устроен на крошечном острове среди озера, ранее бывшего болотом.
В этом озере была поставлена гипсовая статуя девушки, которую воды омывали ниже пояса. Когда какая-нибудь фрейлина жаловалась на сырость, камер-фрау брала ее за руку и указывала на статую:
— Учитесь у нее, — говорила она.
Император убрал домик разными вещами античного характера. Были сделаны точные копии с лампад, открытых при раскопках языческого города Помпеи, засыпанного пеплом вскоре после рождества Христова. К общему скандалу, все лампады оказались крайне двусмысленного вида и вызывали на неописуемое сравнение. Фрейлинам было раз и навсегда запрещено об этом думать, а по своему призванию они даже не могли знать о предметах сравнения.
Камер-фрау Баранова объяснила им лампады.
— Это готика, — сказала она, — это, правда, еще языческая готика, но все же готика.
Храм, который император приказал соорудить у себя в Александрии, своей петергофской даче, «малютка-храмик», как называли его, был чистой готикой и не походил на пузатые купола. Указывая на стрельчатые окна и каменные кружева и оборки по углам, камер-фрау Баранова говорила:
— Учитесь у них.
Фрейлины были полны какого-то воздушного стремления и по утрам сообщали друг другу сны. Они отличались большой чуткостью и ловили неясные намеки. Фантастика владела ими. Мисс Радклифф была их моральный катехизис.
— Магнетизм, магнетизм, о этот магнетизм! — говорили они.
Со времени ссоры императора с Нелидовой — все пришло в необычайное волнение. Ловили друг друга в углах и пожимали украдкою значительно руки. Обменивались взглядами. Составлялись партии, между которыми шла война, незаметная для посторонних. Почти все перестали спать, почти всем снился то император, то Варенька Нелидова. Одной из фрейлин явилась тень Марии-Антуанетты. Другой фрейлине во сне явился император Александр I и сказал: «Это я», — но к чему, точно неизвестно.
Между тем сама Варенька Нелидова, обнаружив при разрыве с императором изумившую всех смелость, после разрыва сразу же пала духом. Явиться самой или постучать по электрикомагнитическому аппарату она боялась до смерти.
38
Утром вдруг произошло чудо.

Пришел человек удивительно обыкновенного вида, в чуйке, и принес пакет со вложением двухсот тысяч рублей асс. На пакете была надпись: A M-lle Nelidoff

[21]
. При деньгах обнаружена записка «На детский приют. Коммерции советник Р.». Человека спросили, не сказано ли ему передать что-нибудь изустно, на словах. Человек попросил помолиться за заключенных и ушел, оставив всех в недоумении.

К кому поехать, кому сообщить, с кем посоветоваться о деньгах?
Были еще живы обломки старых фрейлинских поколений, знавшие эпоху Марьи Саввишны Перекусихиной. Но донельзя опытные, эти ветеранши были глухи или слепы, ничего не знали о магнетизме и употребляли убийственные конногвардейские слова.
Из эпохи предшествующего царствования, которая среди фрейлин называлась эпохой Мари — по имени Марии Антоновны Нарышкиной, — были фрейлины, но они оставались в полном небрежении и, когда являлись ко двору, семенили от волнения, как маленькие девочки.
Затем, уже при новом императоре, была вначале эпоха маскарадов, когда он сливался со страной и нисходил к дамам третьего сословия, а вслед за нею — эпоха разнообразия.
С камер-фрау Барановой можно было говорить о чуде, но о деньгах неуместно.
Советоваться было не с кем.
Нелидова поехала к графу Клейнмихелю. Граф Клейнмихель и жена его, кавалерственная дама, родственница Нелидовой, пришли в сильное волнение. Граф дрожал как бы под действием электрикомагнитического тока.
— Двести тысяч, — говорил он. — Для малолетных бедных! Это для них много.
Прежде всего он спросил Нелидову, о каком приюте шла речь в записке. Но Нелидова и сама не знала. Тогда кавалерственная дама, просмотрев списки всех существующих приютов, установила, что Нелидова действительно является членом-покровительницей дома призрения малолетных бедных.
Ни адрес этого учреждения, ни его размеры не были указаны; Варенька Нелидова никогда в нем не бывала.
Граф Клейнмихель посоветовал деньги принять, а о приюте навести справки.
— Деньги немедля принять, — сказал он Нелидовой, — и без всяких отлагательств молиться за заключенного.
— За какого заключенного? — спросила в ужасе Нелидова и зажмурилась.
— За этого… — сказал граф, — за скотину… за откупного.
И граф довольно связно рассказал о том, что в тюрьме сидит откупщик-скотина, которого необходимо во что бы то ни стало выпустить, или — все пропало. Он хриплым шепотом заявил глубоко тронутой Вареньке Нелидовой, что она может стать спасительницей государства, наподобие Жанны д’Арк.
И граф распорядился.
Адрес дома призрения малолетных бедных был разыскан. Штатный смотритель дома был вызван. В тот же день малютки шваброю истребляли запах кислой капусты. В честь покровительницы устроен бал. Вечером малютки подвигались довольно точно, учебным шагом по скромному, только что выбеленному залу дома призрения, вытягивая носки, а потом с помощью штатного смотрителя пели кантату «Гремят и блещут небеса» и затевали шалости.
Вечером успокоение вернулось к ней.
Вспоминая детский учебный шаг и кантату, она уснула.
Назавтра она посетила кавалерственную даму. Граф, который был в обычном припадке, с утра ходил в туфлях. Вдруг из кабинета донесся четкий и ясный стук.
Стучал электрикомагнитический аппарат.
39
Сильная натура императора не выдержала напряжения. Он стучал беспрерывно, домогаясь немедленного прибытия фрейлины двора Варвары Аркадьевны Нелидовой. Отговорки болезнью были заранее отвергнуты.
Граф Клейнмихель застегнулся перед аппаратом на все пуговицы и шлепнул туфлями.
— Слушаю, ваше величество, — сказал он тихо.
— Живо! — показал аппарат.

Выйдя военною походкою к дамам, граф сказал со слезами на глазах, обращаясь к фрейлине Нелидовой:
— Зовет.
По отбытии Нелидовой графу едва успели натянуть сапоги, как аппарат снова застучал.
— Отбыла, — протелеграфировал граф и щелкнул каблуками.
— Молодец, — ответил император по системе Nicolas.
Граф тотчас велел звать цирюльника побрить его.
40
Иной раз в течение каких-нибудь десяти минут разрешаются сложнейшие исторические вопросы.
Варенька Нелидова вернулась к дисциплине. Простая, даже суровая обстановка походного, боевого кабинета императора придала сцене примирения особую значительность.
— Простите, — сказала она.
— Простил, — ответил император.
— Откупщика, — вдруг сказала она.
Снаружи, за стенами, протекала жизнь его столицы, здесь — жизнь его сердца.
Маршировали по улицам столицы гвардейские полки, выкидывая ноги; готовились симметричные проекты; над рекою Невой воздвигались мосты полковником инженером Дестремом. Финансовые колебания кончались. Можно разрешить к завтрему бланманже. — Вольно, вольно!
41
Становились в тупик перед внезапным освобождением откупщика Конаки, уроженца города Винницы, проживавшего по Большой Морской улице, в доме купца Корзухина, обвинявшегося в побуждении к пьянству рядовых лейб-гвардии Егерского полка.
Историк юридической школы колебался, чему приписать тот факт, что никто, даже в министерстве юстиции, не догадался, что самое наличие в кабаке особой комнаты было уже актом противозаконным, и таким образом заключение Конаки под стражу, в камеру для производства следствия, было актом сугубо законным.
Психологическая школа, анализируя состояние императора, все приписала внезапным проявлениям его характера.
Вице-директор Игнатов, которого граф Клейнмихель называл скотиной и чем-то впоследствии обидел или обошел, оставил мемуары, в которых заявляет, что император испугался биржевых колебаний и отступил перед Конаки, что прошение фрейлины Нелидовой и было потому так быстро уважено, что сам император будто бы ждал с нетерпением, как бы наконец покончить с инцидентом.
Дело было проще.
Во-первых, откуда мог так называемый «скотина Игнатов» знать об этом деле? Затем, если уж говорить о ком-нибудь, так разве о Родоканаки, а никак не о Конаки. Конаки был вполне ничтожный человек и принужден был даже на год отсрочить возмещение Родоканаки расходов по своему делу. Да и сам Родоканаки был частным лицом, нигде не служил и уже по одному этому, как указывали историки юридической школы, не мог иметь влияния на государственные дела.
Он был негоциант, откупщик — и только.
Дело объяснялось тем, что император, как это нередко бывало с ним, просто прекратил самый вопрос.
Финансы были на время оставлены, он не желал ими более заниматься. Самое это слово опускалось в докладах. Свечи зажжены, бланманже вновь подавалось к столу. Он вычеркнул в своем сердце весь этот вопрос. Вронченко снова приступил к своим обязанностям. Таможня продолжала действовать.
Может быть, в глубине души император даже пожалел заключенного Конаки и вполне удовлетворился ссылкою в каторжные работы преступной бабы-кабатчицы. При этом, по своему рыцарскому пониманию мужских обязанностей, он и не мог изменить обещанию, данному женщине в такую минуту.
42
Через два дня господином Родоканаки дан раут на сто кувертов.

Дива, госпожа Шютц, в мужском костюме, впервые исполнила победный марш из новой оперы «Пророк» г. Мейербера.
Парижский магнетизер магнетизировал редкого медия. Медий исполнял все желания гостей.
43
Жизнь малолетного Витушишникова была описана в одном из нумеров «Чтений»: «Детство ста славных мужей», в то время издававшихся магазином живописных книг Андрея Иванова, на Невском проспекте, в доме Петропавловской церкви: герцог Веллингтон-ребенок, Фультон-ребенок, граф Клейнмихель-ребенок, Чудо-ребенок. Последний нумер и содержал описание жизни и полную апофеозу малолетного Витушишникова. Иногородние платили за пересылку по количеству веса и сообразно с платой, взимаемой по почтовой таксе. Требования исполнялись с первоотходящей почтой.
Последующая его жизнь целиком связана с историей закрытых военно-учебных заведений, затем 5-го Апшеронского, имени его величества короля Прусского, полка и, наконец, с внешним отделением с.-петербургской полиции (пристав 3-й части). Но это уже относится ко времени полицеймейстера Бларамберга.
Еще в 1880 году военный историк С. Н. Шубинский, редактор «Исторического вестника», посетил историческую будку с сохранившейся в целости памятной доской. Ему удалось еще застать стража. Бодрый старик сидел за столом, на котором стояла деревянная тарелка с нарезанными ломтями хлеба и неприхотливый водочный настой на липовых почках.
— Помню, как же, ваше сиятельство, — такой бравый из себя, видный. Идет, вижу, себе. А потом распоряжался.
— Но ведь он еще был ребенок? — спросил историк.
— Нет, — сказал старик, — какой там ребенок, такой бравый. Это только его звание было такое, что малолетный. Он уж при самом императоре состоял малолетным. Так значился.
— А самый случай помнишь? — спросил историк.
— И случай, — ответил старик. — Я и при случае был. Вижу — кто едет? Та-та-та, император. Я эту медаль на шею навесил. Ну, не эту — эта мне за тот самый случай и дадена, — другую навесил. Вышел, стою, жду. Вдруг — снегом как фукнет мне в лицо. Думаю: неужели сам государь император? Он и есть. «Что, говорит, делаешь?» — «Охраняю, говорю, вас, ваше императорское величество». А потом вот и произошел случай. Младенец утоп.
— Но это, кажется, было не так, это опровергается, — сказал историк Шубинский. — А императора помнишь?
— Помню, — ответил инвалид. — Я его как вас видел. На нем был серый походный сюртук. И шинель надета была нараспашку. Император… Как же… Делал посещения… При нем турецкая кампания была…

1933

Примечания

Максим Горький

Максим Горький — псевдоним Алексея Максимовича Пешкова (1868–1936). Родился в семье столяра-краснодеревщика. Рано лишился отца и начал трудовую деятельность. Переменил множество профессий, исходил и изъездил значительную часть России. За революционную деятельность неоднократно подвергался арестам и ссылкам. Сидел в Петропавловской крепости. Печатался с 1892 г.

Максим Горький — один из крупнейших писателей XX столетия, родоначальник литературы социалистического реализма, по словам В. И. Ленина, «громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению»
[22]
. Перу М. Горького принадлежат романы «Мать» (1906), «Дело Артамоновых» (1924–1925), «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936), многие повести, рассказы, очерки, пьесы, статьи.

М. Горький был выдающимся организатором, руководителем и редактором: издательское товарищество «Знание», издательство «Парус», журнал «Летопись», в советское время — серии «История гражданской войны», «История фабрик и заводов», «Жизнь замечательных людей» и др., журналы «Работница», «Крестьянка», «СССР на стройке» и др. Крупнейший общественный деятель, тесно связанный с международным рабочим движением, Горький был личным другом В. И. Ленина. Один из организаторов и первый председатель правления Союза писателей СССР (1934–1936).

«Рассказы о героях» впервые опубликованы в журнале «Наши достижения», 1930, № 4, 7; 1931, № 10–11. Рассказ «Бык» впервые опубликован в журнале «Колхозник», 1935, № 3. Печатаются по изданию: Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 17.

Всеволод Вишневский

Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951) родился в Петербурге в семье землемера. Член КПСС с 1937 г. В 14 лет добровольцем участвовал в первой мировой войне. Участник Октябрьского вооруженного восстания и гражданской войны. Был журналистом, в годы Великой Отечественной войны военным корреспондентом. Главный редактор журнала «Знамя» (1944–1951).

Наиболее известные произведения В. Вишневского пьеса «Оптимистическая трагедия» и сценарий кинофильма «Мы из Кронштадта» (и то и другое — 1933). Удостоен Государственной премии СССР (1950).

Рассказы «Гибель Кронштадтского полка» и «Взятие Акимовки» входили в цикл «Матросы», впервые опубликованы: в альманахе московского товарищества писателей «Боевые годы», 1933, кн. 1-я и журнале «Залп», 1931, № 2.

Борис Лавренев

Лавренев Борис Андреевич (1891–1959) родился в Херсоне в семье педагогов. В детстве сбежал из дома, плавал несколько месяцев юнгой на морских судах. В дальнейшем тема моря, моряков, преимущественно военных, стала ведущей в творчестве писателя. Учился в Московском университете, участвовал в первой мировой войне. В дни Февральской революции Б. Лавренев был адъютантом коменданта Москвы. В конце 1918 г. вступил добровольцем в Красную Армию, работал в газетах.

Впервые в печати Б. Лавренев выступил как поэт в 1911 г. Сам он считал началом своей работы 1916 г. (антивоенный рассказ «Гала-Петер»), читательское признание пришло к нему с публикацией повестей «Ветер», «Сорок первый» (обе — 1924) и др. Кроме повестей и рассказов особую известность получила драма Б. Лавренева «Разлом» (1927), посвященная событиям Октябрьской революции на Балтийском флоте. Дважды (1946 и 1950) Б. Лавренев был удостоен Государственной премии СССР.

Рассказ «Комендант Пушкин» впервые опубликован в журнале «Звезда», 1937, № 1. Печатается по изданию: Лавренев Б. Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Худож. лит., 1964. Т. 3.

Валентин Катаев

Катаев Валентин Петрович (1897–1986) родился в Одессе в семье учителя. Участник первой мировой войны. Член КПСС с 1958 г. Герой Социалистического Труда (1974).

Печатается с 1910 г. Автор многочисленных произведений стихотворных, прозаических и драматических жанров.

Наибольшей известностью пользуются романы «Время, вперед!» (1932), тетралогия «Волны Черного моря» (1936–1961), повести «Сын полка» (Государственная премия СССР, 1946), «Маленькая железная дверь в стене» (1964), «Трава забвения» (1967).

Рассказ «Сон» печатается по изданию: Катаев В. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1.

Леонид Соболев

Соболев Леонид Сергеевич (1898–1971) родился в Иркутске в семье чиновника. Учился в Петербургском кадетском корпусе, морском училище, штурманских классах. С 1918 г. служил в Красном Флоте на штурманских должностях. В годы Великой Отечественной войны военный корреспондент. В течение многих лет был одним из руководителей Союза писателей РСФСР (председатель правления Союза писателей РСФСР в 1957–1970).
Печатался с 1926 г. Творчество Л. Соболева связано с темой военно-морского флота. Наибольшее признание получили роман «Капитальный ремонт» (кн. 1-я, 1932), сборник рассказов «Морская душа» (1942; Государственная премия СССР, 1943), повесть «Зеленый луч» (1954).
Рассказ «Перстни» печатается по изданию: Соболев Л. Избр. произведения: В 3-х т. М, ГИХЛ, 1962. Т. 2.
Сергей Сергеев-Ценский
Сергеев-Ценский (настоящая фамилия — Сергеев) Сергей Николаевич (1875–1958) родился в Тамбовской губернии в семье учителя. Окончил учительский институт, служил в армии, учительствовал. Участник русско-японской войны. С 1906 г. и до конца жизни в основном жил в Крыму. Академик АН СССР (1943).
Печататься С. Н. Сергеев-Ценский начал в 1898 г. Автор повестей «Печаль полей» (1909), «Пристав Дерябин» (1911) и многих других.
За роман о Крымской войне «Севастопольская страда» (1937–1939) писателю была присуждена Государственная премия СССР (1941). Наиболее известное произведение С. Н. Сергеева-Ценского, над которым он работал почти всю жизнь, — эпопея «Преображение России», в которую были включены и некоторые из ранее написанных произведений (всего в эпопее 12 романов и 3 повести).
Рассказ «Платаны» впервые опубликован в газете «Известия», 1934, № 182, 6 августа. Печатается по изданию: Сергеев-Ценский С. И. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 3.
Лидия Сейфуллина
Сейфуллина Лидия Николаевна (1898–1954) родилась в семье бедного сельского священника, крещеного татарина. Воспитывалась у бабушки До того, как стала писательницей,
Л. Н. Сейфуллина работала учительницей, актрисой — преимущественно в сельских районах. Первые произведения Сейфуллиной печатались на страницах журнала «Сибирские огни». Появившиеся в середине 20-х гг. повести «Перегной» (1922) и «Виринея» (1924) утвердили имя ее в литературе.
Рассказ «Таня» впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1934, №8.
Печатается по изданию: Сейфуллина Л. Н. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Худож. лит., 1969. Т. 2.
Андрей Платонов
Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899–1951) родился в Воронеже в семье слесаря. С 14 лет А. Платонов начал трудовую деятельность. После окончания политехникума работал председателем губернской комиссии по искусственному орошению, специалистом по электрификации сельского хозяйства.
В печати впервые выступил в 1918 г. В 1922 г. выходит в свет первая книга стихов
А. Платонова. В последующие годы появились повести «Город Градов» (1926), «Епифанские шлюзы» (1927), «Сокровенный человек» (1928), рассказы, литературно-критические статьи.
Рассказ «Фро» впервые опубликован в журнале «Литературный критик», 1936, № 8. Печатается по изданию: Платонов А. Собр. соч.: В 3-х т. М.: Сов. Россия, 1985. Т. 2.
Иван Катаев
Катаев Иван Иванович (1902–1939) родился в Москве в семье преподавателя. Учился в гимназии. В 1919 году добровольцем ушел в Красную Армию. В том же году вступил в РКП(б). Был одним из руководителей литературной группы «Перевал» (1926–1932), в которую входили М. Пришвин, А. Веселый, А. Платонов, Э. Багрицкий, М. Светлов и другие писатели.
Печатался с 1921 г. Наибольшую известность получили повести «Поэт», «Сердце» (обе — 1928), «Молоко» (1930).
Рассказ «В одной комнате» печатается по изданию: Катаев И. Избранное. М.: ГИХЛ, 1957.
Борис Пильняк
Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894–1941) родился в Московской губернии в семье земского ветеринарного врача. Детство его прошло в уездных городах Подмосковья и на Волге

— в Саратове и Нижнем Новгороде, где он окончил гимназию. Затем — Московский коммерческий институт.
Творчество Б. А. Пильняка крайне неровное в идейном и художественном отношении. Он автор многих повестей и рассказов, путевых очерков. Наибольшую известность получил его роман о революции и гражданской войне — «Голый год» (1921).
Рассказ «Рождение человека» впервые опубликован в журнале «Новый мир», 1935, № 1. Печатается по изданию: Пильняк Б. Избр. произведения. М.: Худож. лит., 1976.
Юрии Олеша
Олеша Юрий Карлович (1899–1960) родился в Елисаветграде в небогатой дворянской семье. Детство и юность провел в Одессе. Окончил гимназию. Печататься начал в одесских изданиях. С 1922 г. жил в Москве, в газете «Гудок» выступал с фельетонами на железнодорожные темы, подписывая их псевдонимом «Зубило».
В 1924 г. опубликовал сказку для детей «Три толстяка», сделавшую его имя известным широкому читателю. Писательскую славу еще больше упрочил роман «Зависть» (1927) и спектакль по пьесе на основе романа — «Заговор чувств» (поставлена во МХАТе). Посмертно (1961) опубликована книга эссеистско-автобиографических записей «Ни дня без строчки».
«Три рассказа» впервые опубликованы в журнале «30 дней», 1936, №11. Печатаются по изданию: Олеша Ю. Избранное. М.: Худож. лит., 1974.
Вячеслав Шишков
Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) родился в Тверской губернии в семье купца. После окончания технического строительного училища отправился работать в Сибирь, ставшую второй родиной писателя и давшую основной материал его творчеству.
Литературную деятельность начал в 1908 г., будучи опытным инженером-геодезистом, исследователем сибирских рек и дорог.
С 1915 г. опубликовал десятки рассказов, многие повести, очерки. Самое значительное произведение писателя — роман «Угрюм-река» (1933), рассказывающий о развитии и гибели русского капитализма в Сибири. Перу В. Шишкова принадлежит исторический роман «Емельян Пугачев» (1938–1945, не закончен), за который писателю была присуждена Государственная премия СССР (1946).
Рассказ «Чертознай» впервые опубликован в журнале «Литературный современник», 1938, № 5. Печатается по изданию: Шишков В. Я. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Правда, 1974. Т. 3.
Исаак Бабель
Бабель Исаак Эммануилович (1894–1941) родился в Одессе. Окончил Одесское коммерческое училище. Печататься начал в 1916 г. в журнале «Летопись». В годы гражданской войны — боец и сотрудник газеты Первой Конной армии. В 1923 г. выступает в печати с рассказами, составившими книгу «Конармия» (1926). Автор цикла «Одесские рассказы» (1931), других рассказов, очерков, пьес.
Рассказ «Пробуждение» впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия», 1931, № 17–18. Печатается по изданию: Бабель И. Избранное. М.: Худож. лит., 1969.
Илья Ильф и Евгений Петров
Ильф (настоящая фамилия Файнзильберг) Илья Арнольдович (1897–1937). Родился в Одессе в семье банковского служащего. Переменил немало профессий. С 1932 г. жил в Москве. Работал в газете «Гудок», сотрудничал в различных периодических изданиях. С 1926 г. писал в соавторстве с Евгением Петровым.
Петров (настоящая фамилия Катаев) Евгений Петрович (1903–1942) родился в Одессе в семье учителя. Служил в уголовном розыске, в газете. С 1923 г. жил в Москве, сотрудничал в периодических изданиях. Погиб в годы Великой Отечественной войны.
Огромную известность получили сатирические романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой теленок» (1931). Они авторы многих рассказов, фельетонов, киносценариев, книги о поездке в США «Одноэтажная Америка» (1936).
Рассказ «Граф Средиземский» впервые опубликован в журнале «Огонек», 1957, № 23. Печатается по изданию: Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5-ти т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 2.
Михаил Зощенко
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958) родился в Полтаве. Учился в Петербургском университете, добровольцем ушел в первую мировую войну на фронт, был командиром

батальона. После революции и в годы гражданской войны будущий писатель служил в Красной Армии, испробовал множество профессий.
Первые публикации относятся к 1921 г. «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова» (1922) имели большой читательский успех. Творчество Зощенко высоко ценил М. Горький. С конца 20-х и в 30-е гг. Зощенко — один из популярнейших советских писателей. Его многочисленные короткие рассказы выходили во многих издательствах, печатались в журналах и газетах. В 1934 г. выходит «Голубая книга» — произведение необычной жанровой структуры, соединяющее в себе традиционный зощенковский короткий рассказ с философскими размышлениями о путях цивилизации, с историческими отступлениями. Перу М. Зощенко принадлежат также пьесы, переводы.
Рассказы «Западня», «Беспокойный старичок», «Страдания молодого Вертера» печатаются по изданию: Зощенко М. Рассказы. Сентиментальные повести. Комедии. Фельетоны. М.: Сов. Россия, 1977.

Михаил Кольцов

Кольцов (настоящая фамилия — Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1942) родился в Киеве в семье кустаря. Учился в Петроградском психоневрологическом институте. Принимал участие в Февральской и Октябрьской революциях. В 1918 году вступил в РКП (б). В 1918–1921 г. находился в Красной Армии, затем на дипломатической работе. Был организатором и редактором ряда периодических изданий: «За рубежом», «Огонек», «Крокодил», «Чудак». Печатался с 1916 г. Автор множества статей, фельетонов, очерков, рассказов, которые в 20–30-е гг. пользовались широкой популярностью.
Много путешествовал, писал на международные темы. В годы гражданской войны в Испании находился в этой стране (Книга «Испанский дневник», 1938). Член-корреспондент АН СССР (1938), депутат Верховного Совета РСФСР (1938).
Рассказ «Иван Вадимович — человек на уровне» печатается по изданию: Кольцов М. Избр. произведения: В 3-х т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 1.

Всеволод Иванов

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) родился в Семипалатинской области в семье учителя. Рано «пошел в люди», перепробовал множество профессий, обошел и объехал значительную часть Сибири.
Публиковался с 1915 г. Переехал в 1921 г. в Петроград, вошел в круг людей, близких к М. Горькому. Вс. Иванов стал одним из организаторов и членов литературной группы «Серапионовы братья», в которую входили также Н. Тихонов, К. Федин, М. Зощенко, В. Каверин и другие. Вс. Иванов — автор многочисленных произведений, среди них повести о гражданской войне «Партизаны» (1921), «Бронепоезд 14–69» (1922), «Цветные ветра» (1922), роман «Похождения факира» (1935), пьесы, рассказы.
Рассказ «Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов» печатается по изданию: Иванов Вс. Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 3.

Константин Паустовский

Паустовский Константин Георгиевич (1891–1968) родился в Москве в семье железнодорожного статистика. Детство и юность провел в Киеве, где окончил гимназию, учился в университете. Сменил много профессий.
Печатался с 1912 г. Автор многих произведений, из которых наибольшую известность получили повести «Кара-Бугаз» (1932), «Исаак Левитан» (1937), «Повесть о лесах» (1949), «Золотая роза» (1956), цикл рассказов «Летние дни» (1937), автобиографический цикл «Повесть о жизни» (1945–1963).
Рассказы «Золотой линь», «Последний черт», «Кот Ворюга», «Резиновая лодка», входившие в цикл «Летние дни», печатаются по изданию: Паустовский К. Собр. соч.: В 8-ми т. М.: Худож. лит., 1969. Т. 6.

Александр Грин

Грин (настоящая фамилия Гриневский) Александр Степанович (1880–1932) родился в Вятской губернии в семье служащего. Окончил начальное училище. Много скитался, был матросом, рыбаком, солдатом. За участие в революционной работе подвергался арестам и ссылкам. С 1912 г. жил в Петербурге. С 1924 — в Крыму.
Печатался с 1906 г. Автор многих романов, повестей, рассказов, действие которых в основном происходит в романтически-вымышленном мире. Приподнятость, остросюжетность

произведений Грина обусловили значительную их популярность. Наибольшую известность получила феерия «Алые паруса» (1923).
Рассказ «Зеленая лампа» впервые был напечатан в журнале «Красная нива», 1930, № 23–24. Печатается по изданию: Грин А. С. Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Правда, 1980. Т. 6.

Борис Житков

Житков Борис Степанович (1882–1938) родился в Новгороде в семье преподавателя. Участвовал в революции 1905 г. Много путешествовал.

Печатался с 1924 г. Б. Житков написал много книг, получивших широкую известность прежде всего у юного читателя. Детям адресованы многие познавательные произведения Житкова, прежде всего «Что я видел» (1938), в которых с редкой естественностью и занимательностью раскрывается красота человеческого труда. Он также автор многих рассказов, романа «Виктор Вавич». Рассказы «Погибель» и «Механик Салерно» печатаются по изданию: Житков Б. Что бывало Куйбышевское кн. изд-во, 1968.

Павел Бажов

Бажов Павел Петрович (1879–1950) родился близ Екатеринбурга в семье горнозаводского мастера. Окончил Пермскую духовную семинарию, работал учителем русского языка. После 1917 г. журналист. В 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию, с того же года — член РКП (б). Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1948–1950).

Работа П. Бажова над уральским фольклором привела к созданию сборника сказов «Малахитовая шкатулка» (Государственная премия СССР, 1943), который получил широкую известность.

Сказы «Каменный цветок» и «Горный мастер» входят в сборник «Малахитовая шкатулка». Впервые «Каменный цветок» опубликован в «Литературной газете», 1938, 10 мая, «Горный мастер» — в газете «На смену», 1939, № 7–10, 12–13. Печатаются по изданию: Бажов П. П. Соч.: В 3-х т. М.: Правда, 1976. Т. 1.

Константин Федин

Федин Константин Александрович (1892–1977) родился в Саратове в семье приказчика. Учился в Московском коммерческом институте. В 1914 г. отправился в Германию усовершенствоваться в немецком языке и, застигнутый войною, оставался там вплоть до 1918 г. Вернувшись в Советскую Россию, служит в Красной Армии, активно сотрудничает в красноармейских и советских газетах. С 1922 г. находится на творческой работе, входит в группу «Серапионовы братья».

Печататься начал в 1915 г. Широкую известность и признание К. Федину принес роман «Города и годы» (1924). За ним последовали «Братья» (1927–1928) и другие романы, повести, рассказы. Более 30-ти лет писатель работал над трилогией о становлении советской интеллигенции — романы «Первые радости» (1945), «Необыкновенное лето» (1948; за оба романа — Государственная премия СССР, 1949), «Костер» (1961–1977, роман не окончен).

К. Федин был крупным общественным и литературным деятелем, одним из руководителей Союза писателей СССР (в 1959–1971 гг. — первый секретарь правления, в 1971–1977 гг. — председатель правления). Избирался депутатом Верховного Совета СССР в 1962–1977 гг.

Рассказ «Старик» впервые опубликован в журнале «Красная новь», 1930, № 1. Печатается по изданию: Федин К. Собр. соч.: В 9-ти т. М.: ГИХЛ, 1961. Т. 6.

Алексей Толстой

Толстой Алексей Николаевич (1883–1945) родился в дворянской семье в Самарской губернии. Учился в Петербургском технологическом институте.

В печати впервые выступил в 1904 г. как поэт. В предреволюционные годы выдвигался в число наиболее авторитетных прозаиков-реалистов, его творчество получило горячее одобрение М. Горького, большевистской «Правды». В дни первой мировой войны — военный корреспондент газеты «Русские ведомости». Октябрьской революции поначалу не принял, в 1919–1923 гг. находился в эмиграции. В 30-е гг. А. Н. Толстой становится одним из самых популярных советских писателей. Наиболее известны трилогия о революции и гражданской войне «Хождение по мукам» (1921–1941, Государственная премия СССР, 1943), исторический роман «Петр Первый» (1929–1945, не окончен, Государственная премия, 1946), научно-фантастические романы «Аэлита» (1922) и «Гиперболоид инженера Гарина» (1927–1939), повести «Детство Никиты» (1921), «Гадюка» (1927), повесть-сказка для детей «Золотой ключик» (1935). Во время Великой Отечественной войны А. Н. Толстой снискал себе

всенародную любовь пламенными патриотическими статьями. А. Н. Толстой избирался депутатом Верховного Совета СССР (1937–1945), был действительным членом Академии наук СССР (1939).

Рассказ «Марта Рабе» впервые опубликован в книге: Толстой А. Необычайные приключения на волжском пароходе. Л., 1931. Печатается по изданию: Толстой А. Полн. собр. соч.: В 15-ти т. М.: ГИХЛ, 1948. Т. 6.

Юрий Тынянов

Тынянов Юрий Николаевич (1894–1943) родился в Витебской губернии в семье врача. Окончил Псковскую гимназию и историко-филологический факультет Петербургского университета. Был переводчиком, профессором (1921–1930) Российского института истории искусств. Автор работ по истории русской литературы и литературно-критических статей. Тынянов — один из родоначальников советской исторической прозы: романы «Кюхля» (1925), «Смерть Вазир-Мухтара» (1928), «Пушкин» (1935–1943, не окончен).

Рассказ «Малолетный Витушишников» впервые опубликован в журнале «Литературный современник», 1933, № 7. Печатается по изданию: Тынянов 10. Кюхля. Рассказы. Л.: Худож. лит., 1973.

Примечания

1

Руни — районное управление недвижимым имуществом.

2

Бандерильи — стрелы, которые бросают в быка, чтобы раздразнить его.

3

Греческая божба.

4

Линь — веревка лота.

5

Бак — носовая часть палубы.

6

Румпель — рычаг, который надевается на руль для поворота.

7

Система Николая
(франц.).

8

Варвара
(франц).

9

Драбанты — дворцовая гвардия.
(Примеч. Ю. Тынянова.)

10

Смолянка — воспитанница Смольного института.
(Примеч. Ю. Тынянова.)

11

Unter den Linden
(нем
.) — буквально «Под липами» — одна из главных улиц Берлина.

12

«Последний крик Парижа. Моды»
(франц.).

13

Эта трескотня
(франц
.).

14

До свидания
(нем.).

15

Expedition officielle
(франц.)
— официальная посылка; экспедиция — отделение почтамта.

16

«Мой идол» (
итал.).

17

Il est fou (
франц
.) — он с ума сошел, одурел.

18

Ente nous deux (
франц

.) — между нами двумя.

19

Генеральных откупщиков (
франц
.).

20

Прольется кровь!
(франц.).

21

Мадемуазель Нелидовой (
франц
.).

22

Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 31, с. 49.